РОДИНА
МАСТЕРОВ

РОДИНА МАСТЕРОВ

Н. Лесков
Ф. Решетников
А. Голицынский
А. Левитов
Н. Благовещенский
Г. Успенский
Н. Наумов
Д. Мамин-Сибиряк
С. Каронин
(Н. Е. Петропавловский)
В. Гаршин
А. Куприн
В. Короленко
А. Серафимович
Н. Гарин-Михайловский
С. Семенов
В. Дмитриева
М. Горький
С. Скиталец

РОДИНА МАСТЕРОВ

рассказы / очерки

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Р1
Р60

Составители
Н. Д. Ткаченко, А. Д. Шавкута

Рецензенты
доктор филологических наук *А. И. Овчаренко*,
доктор филологических наук *В. И. Сурганов*

Художник
Г. И. Метченко

Родина Мастеров: Рассказы. Очерки/Сост.
Р60 Н. Д. Ткаченко, А. Д. Шавкута; Худож. Г. И. Метченко.— М.: Сов. Россия, 1986.— 464 с.

Во второй половине XIX века для русской прозы приспела пора воздать должное человеку труда. Рабочие, мастеровые, бурлаки, мелкие городские труженики прочно утвердили за собой право быть литературными героями. В сборник вошли рассказы Лескова, Решетникова, Левитова, Скитальца, Куприна, Горького и других о русском мастеровом, рабочем человеке, о тяжкой его доле, о стойкости и мужестве в борьбе с бесчеловечными обстоятельствами, о его трудолюбии и упорстве, о нравственной ответственности и стремлении к справедливости.

Р $\frac{4702010100-222}{М-105(03)86}$ 94—86 **Р1**

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В этой книге о русском мастеровом человеке, первой из трех, задуманных издательством, отражен трудовой, нравственный и социальный опыт рабочего человека с начала 60-х годов XIX века до начала событий первой русской революции 1905 года. То есть с тех пор, когда зафиксировано появление собственно рабочего человека в литературе, до первых его революционных выступлений, характеризующих уже его определенную цельность как класса. В литературе этого периода, представленной творчеством Н. Лескова, Ф. Решетникова, А. Левитова, Д. Мамина-Сибиряка, М. Горького, С. Скитальца и других замечательных писателей, заключен огромный познавательный материал.

М. Горький, характеризуя этот период, писал: «Я думаю, что, когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного, весь мир связующего значения труда,— он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот уставший и обезумевший от преступлений мир».

И не случайно книга открывается «Левшой» Н. С. Лескова, который, как никто из тогдашних писателей, сумел создать обобщенный, почти символический образ русского труженика, талантливого мастерового и преодолеть гнетущую, смертоносную стихию безысходности, полностью подминавшую под себя рабочего человека. Характер Левши показан Н. С. Лесковым как бы изнутри — форма сказа позволила ему поведать о рабочем человеке устами рабочего же человека. Главное — в этом характере то, что он сформировался творческим трудом. Через труд он познает мир, обретает свое человеческое достоинство, понимает красоту и обнаруживает в себе гражданское чувство, ибо начинает мыслить в масштабах государства. То, о чем просит Левша перед смертью, говорит само за себя: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся».

В «Левше» Лескова, в рассказе «Сигнал» Гаршина, а также в других произведениях этой книги патетически звучит мотив нравственной ответственности русского трудового человека, показывается его стремление преодолеть среду, прорваться к иной, осмысленной жизни, в которой мастеровой становится личностью, а труд источником творческой радости.

Во второй книге главной становится мысль о том, что человек форми-

руется в активном преодолении и изменении существующих обстоятельств. Именно эта мысль лежит в основе произведений таких выдающихся советских писателей, как А. Новиков-Прибой, А. Неверов, В. Иванов, А. Платонов, П. Бажов. Советские прозаики создают образ нового рабочего человека, максимально раскрывающего свои профессиональные, гражданские и чисто человеческие возможности в процессе социалистического строительства. Высокий патриотизм рабочего человека, соединенный с профессиональным и государственным его мышлением, органично выявляется благодаря тому, что писатели, чтобы понять рабочего человека, заинтересованно-лично относялись к его жизни и работе, а зачастую и сами генетически были связаны с рабочим классом, крестьянством, с народной интеллигенцией.

«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства,— говорил о периоде социалистического возрождения М. Горький.— Я вижу, что процесс создания новой действительности у нас, в Союзе Советов, развивается с удивительной быстротой, вижу, как хорошо, творчески вливается в жизнь новая энергия — энергия рабочего класса, и я верую в его победу».

В третью книгу войдут произведения, написанные в период после Великой Отечественной войны и до наших дней. Сюда будут включены произведения лучших советских прозаиков, работающих и работавших на нелегкой ниве рассказа о человеке труда, таких, как А. Твардовский, Б. Шергин, В. Шукшин, А. Чугунов, Г. Немченко, А. Проханов, А. Плетнев, О. Ждан, О. Куваев и других, отмеченных высокой оценкой читателя.

Итак, три книги, как они задуманы, должны приоткрыть «занавес», до сих пор скрывавший от читателя почти полуторавековую историю литературных дерзаний на почве, дающей им силы и вдохновение. Почва эта в высшей степени благодатна — русский трудовой человек.

Три книги — три окна в историю его жизни, в текущие будни его дела и его души. Думается, что этот непростой, однако же продуктивный и эмоциональный экскурс в историю и современность нашей словесности принесет читателю и неожиданные открытия, и откровения в историческом плане и личном и доставит истинное эстетическое наслаждение от общения с искусством, со С л о в о м высокого творческого накала.

Сказ о тульском косом Левше
и о стальной блохе

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейхгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,— Платов сказал себе:

— Ну уж тут шабаш. До сих пор еще я терпел, а дальше

нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобой едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки[1], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит, а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,— только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

[1] Кизлярки. *(Примеч. автора.)*

Государь говорит:
— Это безрассудок.
Платов отвечает:
— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.
А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.
— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.
Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:
— Эта пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.
Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.
Взахался ужасно.
— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит:— Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.
А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».
Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:
— Ох-де, мы маху дали!
А государь Платову грустно говорит:
— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.
Сели опять в ту же двухсестпую карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.
Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!
«Через что это государь огорчился? — думал Платов.—

Совсем того не понимаю».— И в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво?*

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво́, молво́», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара́ есть, а «молва́» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво́ Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут

стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял, и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кадриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами — хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни клю-

чика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр,— говорят,— будто казенный, а у них насчет казенного строго,— хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр,— говорит,— всегда при всякой вещи принадлежит

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело,— не порть мне политики. У них свой обычай.— И спрашивает:— Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут.

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли.

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[1]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни,

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». *(Примеч. автора.)*

науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе невоздержан и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкова моста из противной аптеки химика, который па самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит:

— Чувствую хлад, как от крепкого металла.— А потом зубом ее слегка помял и объявил:— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем, что хочу, и всем доволен,— а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это,— говорит,— так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это,— говорит,— ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этим удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,— тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,— не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю проверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами меж-

доусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее,— говорят,— надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал, но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть,— говорит,— будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,— я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,— тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники вполне его успокоили.

— Тонкой работы,— говорят,— мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А что *именно*, этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветоваться там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большому служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона святого Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного»,— святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой — меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: святой Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит,— не выскочат ли в перепуге и не объявится ли тогда, что́ ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров: один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда,— и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням потюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики, те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же, как прискочили, сейчас вскрикнули и, как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставен, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раз нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем, и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот, пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою — думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат, да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Все,— отвечают,— готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так, замахнувши, и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех — видит: аглицкая блоха лежит там, какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же,— где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые,— ловил, ловил — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам головы сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете,— мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,— мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит: каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди,— говорит,— здесь до самого Петербурга вроде пубеля,— ты мне за всех ответишь. А вы,— говорит свистовым,— теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак, такой страшный — бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он, хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со

шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория,— говорит,— ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов его стал уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе

не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то,— говорит Платов,— что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказать, а левше только погрозился:

— Я тебе,— говорит,— такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая» — и дальше, как падобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят,— потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут,— и приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком,— словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится:

«Что же такое? — думает,— если государю угодно меня видеть,— я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен, и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! — а он не понимает, как надо по-придворному — с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрость — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы,— говорит,— вот как клали,— и положил блоху под мелкоскоп.— Смотри,— говорит,— сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо,— говорит,— всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи,— говорит государь,— это уже очень сильно мелко!

— А что же делать,— отвечает левша,— если только так

нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был, неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы,— говорит,— был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,— говорит,— видать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подкову делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет,— отвечает левша,— моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому,— говорит,— что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосы отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит,— это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курь-

ер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще ýже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ай-люли — се тре жули!»*

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе в рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь поаглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что́ ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть» — и вкушать не стал,— они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал,

что́ всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера,— говорят,— мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и, как равного себе,— за руки.

— Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем после будем, а теперь выпьем за твое благополучие.

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, может быть, отравить с досады хотите.

— Нет,— говорит,— это пе порядок: и в Польше нет хозяина больше,— сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали пакачивать вином и левшу, и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это,— спрашивают,— за книга в России «Полусонник»?

— Это,— говорит,— книга, к тому относящая, что если в Псалтыре что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом,— говорит,— спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

Англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня,— говорит,— дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы,— говорит,— к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— отвечает левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают.— Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить,— и отнекался.— Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если и заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленам с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето

и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

От отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены. Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не смогли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и всё ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: всё, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке

одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирах написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимания обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет, и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет.

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли,— говорит,— я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь: это ведь не то что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут

поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит:

— Где наша Россия?

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше, а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечал полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно — что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: «Небо тучится, брюхо пучится,— скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно,— парей держать все-таки веселее будет».

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.
— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.
Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали, и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины!

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь,— говорит,— я тебя в море швырну? Ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и свое пари выдержать,— а горячего студинга с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря,— лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверх шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

2 Заказ 1277

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать — всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так и в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обуховскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон — чтобы не смел поминать душу человечкина. А потом ему

кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал; Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец,— говорит,— очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь, потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, а ты беги скорее к комендапту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный,— он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог война, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал.

— Знай,— говорит,— свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся — в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,— тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,— так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже — «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

Недавно я обедал в одной из петербургских кухмистерских. По окончании обеда я стал читать газету, но так как в комнате было много народу и каждый человек был уже навеселе, то чтение казалось не совсем удобно: крупные происшествия врезывались в голову; газету приходилось класть назад, потому что рассказы людей были интереснее печатного. Наконец меня заинтересовал один господин, недавно пришедший. Он был среднего роста, одетый в пальто неказистой формы, так что сразу можно было в нем отличить человека мастерового, на голове мерлушчатая шапка. Лицо его было избито и обезображено так, что сразу можно было подумать, что этого мастерового избили на каком-нибудь вечере при получке денег.

В нашей кухмистерской обедают люди почтенные, и потому многие из обедающих подозрительно взглянули на обезображенную физиономию вошедшего, когда он велел подать себе обед и потом сел к одному пустому столу, охая при каждом повороте головы, при движениях руками.

— Да у те есть ли деньги-то? — спросила его разбитная женщина.

— Есть... дайте... если можно,— проговорил он больным голосом и вынул деньги.

Сидевший за противоположным окном мастер-немец, лицом к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?

— Нафилармонили,— произнес избитый.

— Где же?

— На филармоническом вечере.

— На каком? — спросили двое господ в меховых пальто, собиравшихся уже выходить.

Избитый повторил сказанное.

— Да мы сами там были. Это было седьмого января, в дворянском собрании.

— Да. Восьмого января такого-то года была моя свадьба, но на ней не было такой филармонии.

— Странно... мы были сами, но у нас рожи не избиты.

— То-то што вы были в дворянском собрании, слушали музыку настоящую, а я вместо дворянского собрания попал сперва в участок, а потом в часть, и надо мной была исполнена такая отличная музыка, о которой всю жизнь не забудешь.

— Должно быть, ты был где-нибудь около части, а не дворянского собрания?

— То-то и есть, что я дворянское собрание, то есть дом-то, только едва-едва разглядел... Да! славный был вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то плохо помогло. Придется, верно, похворать недельку-другую... Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоминать всю жизнь... Но вам, господа, не советую, когда вы будете немножко выпивши, как был и я седьмого числа, искать развлечений: как раз угодите на такой вечер.

— Но как же тебя черти угораздили попасть на такую комедию?

— Очень просто. Слыхал я, что седьмого января будет в дворянском собрании филармонический вечер или концерт,— право, забыл. Знал я только, что там будет хорошая музыка и пение, но не знал, когда начало. Раньше я не ходил брать билета, потому что у меня не было времени, а живу я от дворянского собрания за четыре версты; такие же газеты, в которых можно узнать о концерте, не всегда достанешь, если имеешь много работы и тебе некогда часто расхаживать по кухмистерским. Ну вот седьмого января, в это незабвенное для меня число, я отправился к дворянскому собранию. Надо вам заметить, что у меня время дорого, я машинист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное время и я этим временем располагал как умел. Но черт меня сунул зайти в портерную и выпить две кружки пива, отчего я и засиделся в портерной до шести часов. Ну, думаю, если я теперь не поеду, то мне, пожалуй, и не удастся в другой раз послушать филармонического концерта. Надо будет во

что бы то ни стало добыть билет. Поехал. Приезжаю. Около собраиия стоят кареты. Ну, думаю, еще приехал раио, и иа хорах мне придется преть. Тут я спохватился, что я забыл очки, ио чтобы ие опоздать покупкой билета, я подхожу к одному подъезду и спрашиваю городового:

— Куда на хоры?

— Билет!

— Покажите, где можно получить билет.

Но городовой пошел отгонять извозчика, и я пошел в другой подъезд, ио там меия схватил за рукав полицеймейстер.

— Куда?

— На концерт.

— Кто такой?

— Мастеровой.

— Ты, братец, пьян,— не зиаешь, куда лезешь. Городовой, взять его в участок!

И меия городовой повел в участок.

И иачал я скорбеть!.. Горько мне стало; лучше бы дома поиграть на гармонии, чем разыскивать, дураку, коицерты.

— Это куда же вы меня ведете? — спросил я городового.

— Узнаешь — куда! Увидишь филаитронию... Мы тебя поучим, как по дворянским собраииям шляться.

— Послушайте... Да ведь я хотел за свои деньги слушать.

— Ну-иу... иди, знай, вперед! — И он толкиул меня, потом взял извозчика.

Што же зто такое? Пиво, што ли, бродит в моей голове. Нет! Городовой сидит рядом, смотрит как-то иеприятио иа меня, считая меия за мазурика.

— За что же меня взяли-то? — спросил я городового.

— Не ругай полковника.

— Разве я ругал? И как вам ие стыдно говорить-то зто?

— Ты, братец, не ругайся... Нынче...

Но ои не кончил — мы подъехали к подъезду участка. Городовой мне велел подниматься по лестнице. Поднялся. Узкая прихожая с полукруглым окиом в канцелярию, что-то вроде стола и люльки — вероятно, диван с провалившейся подушкой. Из канцелярии вышел высокий человек в зполетах.

— Откуда? — спросил ои городового.

Тот сказал.

— Кто ты такой? — крикиул иа меня офицер так, что как будто я убил человека.

— Мастеровой... Я шел слушать филармонический коицерт.

— А! — И я был оглушен здоровою оплеухою, от которой меня отшатнуло в сторону.

— Што вы деретесь-то? — сказал я.

Но я был оглушен уже двумя офицерскими оплеухами.

— Он полковника обругал пьяницей,— пояснил городовой.

— А! ты так! Вот... вот... Бей его, мерзавца! Бей его до полусмерти!

И меня били жестоко. Я лежал на полу и только молился: господи, укроти филармонию... Никогда больше не стану разыскивать хороших концертов.

Слава богу, оставили целого, но сильно измятого.

Наконец городовой повел меня в часть: но мы шли немного, городовой взял извозчика. От городового я узнал, что филармонический концерт уже давно окончился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, не спросясь броду. Городовой был вежлив и сообщил мне, что меня, БЫТЬ МОЖЕТ, и выпустят завтра.

О, роковое это слово «быть может»!

— А бить будут? — спросил я городового.

— Накладут...

— Но за что? за что, господи! — возопил я.

Долго мы ехали от участка в часть; много миновали мы народу. Весь хмель у меня прошел от побоев, стыдно мне было людей, тех людей, которые шли пешком. Попадались даже и пьяные, и я бы дорого дал городовому, если бы он меня пустил, но городовой помалчивал, и извозчик говорил про меня: «Знать, впервые привелось на саночках кататься. Ишь, любите даром ездить, мазурики эдакие!.. Пусти тебя пешком,— небось убежишь ведь!..»

Было уже темно, как мы приехали в часть; но здесь уже угощение было получше.

Сперва меня ударил городовой за то, что я не стал платить извозчику деньги. И, отняв у меня портмоне, сам рассчитался с извозчиком, потом портмоне возвратил мне.

— При бумаге из участку... Обругал полковника,— сказал городовой дежурному.

— Ты?.. ты обругал! — закричал дежурный офицер, сопровождая слова ударами.

Я молчал. Тут было людно, мрачно. Голова моя и бока мои начали болеть.

— Што ж ты молчишь? — крикнул другой, по-видимому, из подчасков, ударив меня в шею так, что я толкнулся на что то твердое, но оттуда тотчас же отскочил от удара в угол.

— Как вы смеете драться? — крикнул я с остервенением, но меня вытолкали в дверь на двор и через три минуты втолкнули с побоями в темную, большую, грязную, вонючую избу не избу, комнату не комнату, подвал не подвал, освещенный лампой с керосином. В ней слышалось множество голосов, в нее доходили откуда-то песни, свистки, ругань.

— Вот тебе и филармония! — проговорил я.

— Зададим мы тебе гармонию. Раздеть его! — крикнул дежурный городовой.

Я не стал давать своей одежды, но я не знал полицейских порядков: я был здесь как игрушка, как котенок, которого ребятишки пичкают и таскают за хвост как угодно. Так над моей особой излавчивались отличным образом, колотя в щеки, по голове, в грудь — и особенно в шею. И я молчал, думая: скоро ли они мне отведут квартиру? Но долго еще сопровождалось отрезвление. С меня было снято все, кроме рубашки и подштанников, но зато теперь больнее были удары, голые мои ноги зябли от холодного сырого пола.

Думал ли я когда-нибудь попасть так неожиданно в этот вертеп?

Наконец меня втолкнули в удушливый темный коридор, по обеим сторонам которого сквозь деревянные решетки едва мелькал огонь и откуда выглядывали, как призраки в тумане, люди в рубахах или рваных поддевках. По обеим сторонам народ говорил, ругался, по коридору кто-то ходил и сопровождал меня ударами до двери в одну камору, называемую мышеловкой. Эта камора — сажени полторы длины, около сажени ширины и сажени полторы вышины, с полукруглым окном почти около потолка над нарами, устроенными на пол-аршина от полу, с когда-то крашенными охрой стенами, с отстающей уже штукатуркой, с грязным полом, на который постоянно плюют,— была пропитана махоркой и другим запахом. Камора освещалась изломанной лампой; в каморе топилась печь; у двери висело ведро с водой. Камора была набита людьми: народ сидел и лежал на нарах, лежал под нарами, сидел на полу, стоял около стен.

— Пьяницу привели! спрыски надо делать,— кричали арестанты.

Я стоял среди полу; меня не пускали ни на нары, ни под нары, ни на пол.

— Дайте барину подушку!

И меня ударили в шею.

— Братцы, меня уж много били! — сказал я, плача.
— Дайте ему платочек слезы утереть.

. . . .

Я не буду описывать вам всего подробно, как меня били. Но в каморе били меня немного. Я сказал арестантам, что у меня есть деньги, которые отобрал от меня дежурный, и обещался дать им рубль перед выпуском. За это мне дозволили лечь на нары и даже давали покурить табаку. Но с непривычки, братцы мои, да еще избитому не очень-то приятно лежать на голых досках, подложивши под голову кулак. Но еще неприятнее вместо филармонического концерта попасть в мышеловку.

Камора наша не запиралась на замок, и так как она находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали часто; к нам приходили посетители, которые приходили посмотреть на пьяницу, но я лежал, прикинувшись очень больным.

— Саданите его хорошенько, чтобы он чувствовал, каково в часть попадать.

— Чувствую, други! Ох, как чувствую... Едва жив.

— Не беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, умеючи. Хорошу ли ты науку-то прошел?

— Хорошу.

— То-то. От нас еще достанется — свезут в больницу, а потом и на кладбище.

— Да разве они смеют бить?

— Толкуй. Место такое, што бить можно: начальство не побьет, мы побьем.

После ужина пришел дежурный посмотреть меня.

— Жив ли ты? — спросил он у меня.

— Не бей меня, ради христа,— взмолился я.

Но он повернулся, а потом проговорил арестантам:

— Берегите его! смотрите... что будет, донести мне,— и он ушел.

— Ловко же они его побили.

Немного погодя по коридору разнесся чей-то вой.

— Пьяницу обивают! — кричали с радостью арестанты.

— Неужели здесь, в участке и в части, начальство всегда бьет пьяниц?

— Вытрезвляет отлично! В другой раз не захочешь.

— Еще бы!

Пришел другой пьяница, но его лицо было не избито. Он плакал и говорил, что у него нет ни копейки денег, и его не пускали даже на пол.

— Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарища,

когда меня вновь прибывший арестаит из ТУТОШНИХ стащил с иар.

— Нет! городового обругал.

Я рассказал свои похождеиия, и арестаиты прозвали меия ФИЛИМОНИЕЙ.

Ночь я пролежал под нарами, где даже и повериуться было иельзя и куда сверху в щели плевали старосты и хозяева этой каморы. Такое удовольствие мне досталось еще потому, что я обещал арестаитам деньги, ио другого пьяиицу арестаиты довели до того, что он ушел жаловаться дежуриому, который и велел ему иочевать где-то в коридоре.

А очеиь приятио лежать под иарами, особеиио когда арестанты поют песии... Хоть эти песии ие совсем хороши, ио их слушаешь даром; а в дворянском собраиии мие па хоры пришлось бы заплатить рубль да, кроме того, платить за одежду...

Утром я получил свою одежду и облекся в нее. Не украли ее; даже платок был в целости, только я иикак ие ожидал, что спину моего пальто разрисуют мелом так, что без щетки этот круг с крестом в середиие иикак ие сотрешь. И вот с этим крестом иа другой деиь мие пришлось, прежде получеиия свободы, исходить пол-Петербурга, от части к двум участкам, и прийти с иим домой.

(Рассказ полесовщика)

Скажу я тебе, хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди такие. Вот слушай-ка! До той поры как нашего брата божиею милостью ие уволили всех совсем, мы были люди казеииые, подначальные, самые такие малеиькие, потому, зиачит, нашим братом всякий чин поиукал, потому, опять, нам на роду было написано быть так: как ты родился от рабочего или мастеро-

вого, так и умрешь рабочим или мастеровым... Да. Наш брат смекал тоже, что крестьянин или иной какой мужик бородастый все же лучше нас живет, потому, значит: заплатит он подать да отбудет кой-какие повинности — и шабаш; вольный человек; на все четыре стороны ступай, только билет выправь; делай что хочешь, а если капитал имеешь,— в купцы можно махнуть, а наш брат — шалишь!.. Твердо он-то, да приперто!..

А почему это так? У нас, на матушке-Руси, много разных заводов и промыслов, казенных и таких, которые принадлежат богатым людям. Вот к этим-то заводам, рудникам да промыслам и были давным-давно, по указам государевым, навечно причислены или подарены люди, земли и леса. Люди эти как жили в этих местах, так и стали казенными или господскими навсегда, и звания им разные дали, а казенные были уравнены с военными и бород не носили. Всех их наделили покосами и домами.

Вот эти-то казенные люди, земли да заводы и стали управляться разными чинами, должностными людьми да присутственными местами, которые и назывались горным ведомством. В маленьких заводах заведены конторы заводские и полиции, которые управляли людьми, заводом, рудниками и землями, которые находились около завода. Над всем этим был управитель — горный инженер. В больших заводах были главные конторы, которые заведовали несколькими заводскими конторами, заводами, рудниками или целым округом, которым управлял горный начальник — тоже горный инженер, подполковник или полковник (или, как прежде было, обербергауптман или бергауптман). Всеми этими горными начальниками, людьми, заводами и начальниками управляло уральское горное правление, которое было сперва в Перми, а теперь в Екатеринбурге, и город этот назван горным, потому, значит, в нем главное управление уральским горным ведомством и живет главный начальник, который еще выше горного правления и глава надо всем, а выше главного начальника есть еще министр финансов. Еще есть горные правления в Сибири и других местах, да там меньше заводов и людей, чем у нас. Наше горное правление не одними казенными правит, но и частными заводами и промыслами, которых много в Екатеринбургском уезде и еще более в Пермской губернии, и начальствует чуть не надо всем Уральским хребтом в Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерниях, где есть заводы, земли и люди — казенные и частные.

В казенных заводах, селениях, рудниках и в городе Екатеринбурге жили горнозаводские люди. Люди эти были вот какие чины: горные инженеры и другие чиновники нижние, и рабочие и сословие рабочих. Все они слушались своих командиров, знали свои места, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться из своего места без воли начальства и не могли выйти в другое состояние (если родились в горном звании). Всем служба тридцать пять лет.

Кроме инженеров, вот какие были названия: нижние чины назывались урядниками, унтер-шихтмейстерами, межевщиками, чертежниками, фельдшерами и аптекарскими учениками; нижние рабочие чины назывались: уставщиками или кондукторами, мастерами и писарями; прочие назывались сословием рабочих людей и были: мастеровыми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. Были у нас еще баталионы и лесная стража. Баталионы с первого начала набрались из солдат, а потом составляли его дети их, записанные к горному ведомству. Люди из баталионов стерегли казенные места; сторожа, рассыльные и казаки — всё из баталионов и все носят горную форму и имеют командира — главного начальника. Наши леса стерегли наши же люди. Леса разделялись на округи, или лесничества, объезды, или дистанции, и обходы. Они управлялись лесничими и их помощниками, а стража называлась объездчиками, стрелками, полесовщиками и сторожами. Все эти люди получали жалованье, провиант, имели дома, которые строили на казенный счет, и покосы.

Нижние рабочие чины командовали над рабочими людьми — мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь ремесло и занимались работою дома, а в казну нанимали работника. Урочные работники не имели ремесл и работали на заводах, фабриках, в рудниках и исправляли все работы в казну. Эти урочно-рабочие делились на конных и пеших. Конным давались от казны две лошади, и они работали на казну двести дней в году; пешие — сто двадцать пять дней и, кроме того, летом, с первого мая по первое ноября, половину месяца работали на себя, потому, значит, давалось время за уходом покосов. Конные и пешие делились на десятки и сотни, коими управляли десятники и сотники, а всеми — старшины. Каждый десяток, сотня отвечали за свой участок или десяток и сотню и обязывались сделать все, что им назначалось особо от другой сотни или десятка, и каждый работник отвечал сам за себя и следил за другим работником. Для того, значит, чтобы работа

в участке была для всех поровну и кончалась в срок.

Все рабочие, сверх жалованья, получали провиант и дрова. Холостые получали провианта по два пуда в месяц, женатые — четыре пуда; на сына полагался пуд, на дочь, до восемнадцатилетнего возраста — полпуда или где как назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести копеек за рабочий день, на две лошади, а если они ездили на работы менее пятнадцати верст, то получали еще по две копейки в сутки на пропитание, а если дальше пятнадцати верст от своего жительства — по три рубля в месяц, если только не работали куренные работы, за кои платилось по особым положениям.

После тридцатипятилетней службы мастеровые и рабочие получали пенсион — половину годового жалованья, или несколько копеек в месяц; за сорок лет — две трети, а кто не хотел пенсии — получал единовременно трехгодовой оклад жалованья. Жены, после мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети до двенадцатилетнего возраста — по десяти копеек в месяц, с двенадцатилетнего — по двадцать две копейки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста.

Каждый мастеровой и урочно-рабочий был женат с семнадцати лет, потому, значит, что без жены нельзя жить; муж уйдет на работу, а дома хоть шаром кати. С женою потому хорошо: она и накормит мужа, и хлеба на дорогу напечет, и провианта больше дают, и детей она родит, кои тоже провиант получают и помогают отцам. Значит, хорошо и весело, и без бабы жить нельзя. У жен наших были свои работы: они управляли домами, смотрели за детьми, садили летом в огородах разные овощи, коров и овец держали, нитки пряли, работали на свое семейство. Значит, простые были, такие же, как и мы грешные — мужья. Мы были командирами над ними и всем своим имуществом; они орудовали над детьми и скотом.

Наши сыновья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осьмнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и, кроме провианта, дети наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц жалованья!..

Для наших сыновей были устроены в заводах школы, куда они брались осьмилетние и за учение получали по пятнадцати копеек в месяц. По окончании учения они брались в работы или их переводили в окружные училища, кои были в тех заводах, где главные конторы и где жил горный начальник. Там они жили в казенном доме и учились четыре года. После учения в этих училищах их определяли в конторы писцами или в другие места, в той части, чему они научились в училище. Хорошие ученики поступали в уральское училище, которое находилось в Екатеринбурге; учили там четыре года горные науки и выходили с званием урядника на службу или в управление, или в заводы.

Для нездоровых у нас были поделаны лазареты и богодельни. Там были наши же фельдшера и лекарские ученики, только присылали лекаря или аптекаря не нашего ведомства.

Вот кто мы такие были. Начальство тоже заботилось о нашем брате, только не выпускало нас из нашего звания. Уж так, верно, нам на роду было написано. Ничего бы и это, да то скверно: много у нас начальников было; много от них непорядков делалось; больно они уж важничали и худо обращались с нами. Ближайшее наше начальство были сотники и старшины. Они назначали нам места работ, требовали сделать какое-нибудь дело непременно к такому-то дню, и если кто-нибудь из нас не слушался их — они того драли и приказывали ему работать в те дни, когда он должен быть свободным от работы. Бывало, наш брат никакой вины за собой не знает, а работает весь год в казну; нет ему спуска, а стал говорить — хуже: отдерут и провианта лишат. Богатому еще можно было *отдыхать* от работы, потому, значит, стоило только подарить старшину, а бедный и жаловаться не смел, потому, значит, жалобам высшее начальство не верило. И бывало то: конные часто имели одну лошадь и не получали на нее денег; когда ездили далеко, не получали жалованья; и конторы хитрили в выдаче провианта, так что вместо шести пудов рабочий получал два пуда, а за остальными ходил круглый год, да иному и ходить некогда было, так и попускались, потому, значит, боялись жаловаться и работали через силу. Досадно нам больно было, что нами всякий чин понукает; думали мы: «как же, мы работаем исправно, а почто нам за наши труды не дают всего, что требуется по закону?»

Зато с своим братом, рабочим или мастеровым, мы жили дружно, душа в душу: любили выпить компанией и всё ругали своих командиров. Тогда никто не попадай нам под руку —

поколотим как шельму, а если что набедокурим, ни за что не выдадим друг друга. И жены наши между собой жили дружно, а если ссорились, то скоро мирились. Все мы не любили тех, кто из нашего брата важничал. С таким мы даже не говорили.

В частных заводах такие же были заведены порядки, как и на казенных: люди получали жалованье, провиант, имели дома и покосы, и такая же была у них служба, только рабочие назывались непременными работниками и ими командовали нарядчики, смотрители работ и приказчики. На малых заводах там были заводские конторы, в больших — главные конторы, которыми управлял управляющий заводами какого-нибудь заводовладельца. От каждого владельца были один или несколько управляющих, например у Сергинских было трое. Управляющие определялись заводовладельцами, по доверенностям, из генералов, чиновников и заводских людей (например, были в Верх-Исетском заводе тамошние заводские люди), такие, кои знали горную часть. Вот эти управляющие управляли всеми людьми, землями, рудниками и заводами хозяина, распоряжались работами и были главным лицом, потому, значит, многие хозяева не жили в своих заводах. За это они получали, сверх квартиры, до двадцати тысяч рублей в год жалованья, ну — и в карман клали, отчего иные заводовладельцы разорялись. Заводовладельцы эти получали от управляющих отчеты такие огромные, что им не хотелось и проверять самим, да они в них и не понимали мудростей управляющих и верили своим управляющим, людям богатым и кои были дружны со всеми властями в нашем городе. Управляющие, по доверенности, предоставляли части управления заводом, людьми и рудниками приказчикам, которые тоже доверяли своим помощникам части управления — нарядчикам и смотрителям работ. Не все управляющие входили в нужды жителей, а предоставляли надзор за ними и работами приказчикам, которые делали все, что хотели, и делили свои барыши с управляющим. С людьми они обращались строже казенных начальников, били правого, драли и не выпускали из рудников. Больно трудна была работа в рудниках. Там иные по неделе из шахты не выходили и ползали там в земле с тачками с рудой на расстоянии сажен десяти и пятнадцати от поверхности... Там, за малую провинку, стегали работника и заставляли работать невзачет, из выгод управляющего. Особенно трудно было на Сысертских заводах незадолго до манифеста о воле. Там управляющий давал приказания приказчикам достать

к такому-то числу столько-то руды и выгнать на такой-то рудник столько-то людей, и если рабочие не могли достать, работы усиливались и их драли. Приказчики, нарядчики и смотрители были мучителями рабочих, и рабочим жаловаться было некому. Управляющие к себе рабочих не допускали, приказчики драли, а хотя и были там исправники, кои определялись горным правлением, но они не разбирали жалоб рабочих на приказчика и управляющего. Жаловались немногие горному правлению и главному начальнику, но таких отсылали обратно в заводы с приказанием наказать. Пятнадцатилетние дети там работали наравне с отцами в рудниках, и их били и драли за лень!

Тяжелые были времена, и ты, милый человек, поди, не веришь этому. Было, братец мой, много мук было... а пристать за народ некому.

Были там еще поверенные чиновники и заводские люди. Они жили в нашем горном городе и ходатайствовали по делам в суде в пользу управляющих и богатых людей. Они обирали управляющего и своих доверителей и делали в суде, что хотели. Если они хлопотали за бедных, кои давали им последние свои деньги, то они все-таки держали сторону богатого и заводских властей. Через них-то правому и не было в суде защиты, и правый делался виноватым или лишался своего имущества, а виноватый делался правым...

Однако не во всех заводах частных было так. Вот в яковлевских да демидовских хорошее было житье людям, оттого, значит, там хорошие были управляющие, кои сами присматривали за работами и не обижали людей. Все не жаловались на свою жизнь; и в Нижне-Тагильском и Верх-Исетском много было богачей, и заводы эти богатые. Демидовские и яковлевские люди приобретали тайком металлы, делали из них вещи и продавали в то время, когда отправлялся караван весной по воде, или изделия свои они продавали на ярмарках и в городе. Зато там большая половина жителей были единоверцы или раскольники.

От непорядков в других заводах многие воровали, убивали, делали серебряные и бумажные деньги, за что их ловили и ссылали в Сибирь. Деланием кредитных билетов, воровством и убийством славились невьянские; с других заводов бегали и говорили, когда ловили их, что они не помнящие родства, или уходили в леса к раскольникам. Им лучше нравилось идти в Сибирь, чем терпеть в заводе.

Ну, а теперь, слава тебе господи, воля вышла. Шабаш!.. Всяк вольный стал: хочешь — работай, не хочешь — как хо-

чешь, силой никто не заставит. Сначала, как прочитали нам манифест, мы и руки сложили, лежим себе дома, а как потребовали нас на работу, мы и говорили: «Знать никого не хочем... Дождались мы матушки-воли — и шабаш!..» А когда нам растолковали, что еще два года останется прежний труд, мы долго не могли понять: зачем еще два года! Коли манифест прочитали — и давай билет на все четыре стороны! Мы еще до манифеста слышали, что нас уволят, только не могли понять, как уволят. Что будет с нашими домами и покосами? А многие богатые да начальники наши печалились, что их от команды отставят; ну, да им можно было, а мы-то как? Терпели-терпели, а потом и выдворят нас из своих домов?.. Урядники тоже побаивались: им хорошо жилось, а как погонят их метлой из службы, куда они денутся? Нынче, братец ты мой, хороший человек, писарей-то вono сколько развелось, и чиновникам местов мало, а нашему брату и подавно. Ну, а когда мы прочитали положение и поняли дело — ничего: домов не отнимут, а кто выслужил года — покоса не отнимут, а не выслужил — деньги плати. Хорошо, ей-богу! Хочешь работать — работай, денежки будут давать, а драть да бить по морде уж не станут, значит, воля, и сам можешь сдачи дать. Слава те господи! Мы, казенные люди, рады были воле, только — по привычке, что ли, или бог знает отчего — нам как-то неловко казалось вдруг сделаться вольными: работал ты, били тебя, драли как сидорову козу, и вдруг ты вольный, хоть в купцы ступай! Эко диво! Эко счастье! Эвоно, куда пошло!.. Да мы, братец ты мой, хороший ты человек! — да мы, скажу я тебе, целую неделю, как прочитали положение, из кабаков не выходили, а дома все батюшку-царя родного благодарили! На что наши жены — дуры, и те себе по обновке купили да по гривенной свечке за царя поставили в церкви... Ай да батюшка-царь! Большое тебе спасибо: не ты бы, голубчик, так поедом бы нас заели...

Два года еще мы работали по-старому, только наши начальники затихли: не стали нас драть. В частных заводах бунты затевали, оттого, значит, что там усилили на рабочих работы, для того, значит, чтобы рабочие больше сделали, а то, пожалуй, после рудники станут; к тому же находились там такие умники, кои сбивали народ, что работать больше не следует. Ну, а у нашего брата, сказал что один толково, и все в один голос говорят: так! Ну, и не шли на работы, к управляющему лезли, побить его хотели... Их усмиряли солдаты и губернатор и драли потом, а все-таки не объясняли

толково... Потом, как уволили нас совсем в нынешнем году, начальство и давай упрашивать нас остаться при тех же работах, плату нам назначило. Ну, мы, бедные люди, казенные и бывшие господские, подумали-подумали — куда пойдешь? Да и на одном месте камешек обрастает, говорит пословица; денег нет, и стали опять работать по-прежнему; только теперь уж — вольные люди и денег больше дают. Да и опять, как подумаешь,— ведь без нас казна не обойдется; кто, кроме нашего брата, пойдет на фабрику да в рудник: крестьянин или иной какой к этой работе не сроден, а мы сызмалетства привыкли к ней. Нам и холод и голод — все нипочем. Ну, так все и остались при своих местах, и теперь лучше стало как у нас, так и в бывших частных заводах. Иные, богатые, в мещане да купцы записываются, другие куда-то разъехались, а мы, маленькие люди, так и будем маленькими людьми; только теперь мы — вольные люди, никто нами не смей понукать... А все батюшка-царь нам это добро сделал. Ну, как не молить нам за него бога... Вот, значит, он один понял да вникнул в наше положение...

ОЧЕРК I

*Небывалая рыба
и особого устройства машина*

луживши некогда врачом в уездном городке N...ой губернии, езжал я иногда на одну фабрику верст за восемнадцать от города, в случае если фабричный доктор, постоянно, впрочем, страдавший ожирением, делался серьезно болен или отлучался куда-нибудь надолго.

Но прежде я должен познакомить моего читателя и с фабрикой, о которой хочу рассказать, и с самими фабрикантами, без чего очерки мои не будут иметь надлежащей полноты. Это была, изволите ли видеть, большая мануфактура, устроенная в диком лесистом месте, на берегу небольшой, но быстрой речки Проворки и принадлежавшая двум богатейшим купцам в губернии братьям Ватрушкиным. На ней работало тысяч никак до трех народу и жило полдюжины англичан, выписанных прямо из Манчестера; а в былое время имелся там, говорят, даже и брандмейстер для всякого пожарного случая, да однажды во время пожара, кто говорит, будто печаянно, а другие рассказывают, что будто, вишь, с умыслом, окатил он из пожарной трубы директора фабрики, так после такого случая личность эта, как необыкновенно зловредная, была не только уничтожена там навеки, но даже и говорить об ней на фабрике запрещено было строжайшим образом, как некогда запрещено было говорить про Емельку Пугачева. Ну-с: местоположение было — прелесть! — жаль только, что немного низменное и болотистое, вследствие чего

работники беспрерывно страдали злейшими перемежающимися лихорадками. (Местоположение, впрочем, от этого нисколько не портилось...) Зато жизнь для работников на этой фабрике была самая привольная. Куда! — в нашем уездном городе вполовину нельзя было иметь тех удобств, какие можно было найти там: там, например, были устроены от самих хозяев — хотя они держали это почему-то в сильном секрете — два, так сказать, увеселительные заведения: овощная лавочка, нечто вроде... да нет, сравнения едва ли приищешь... Такого заведения не существует ни в Москве, ни в Петербурге, ни даже в Лондоне. Лавка эта была в одно и то же время: лабаз, погребок, булочная, кондитерская, мясная лавка, рыбная лавка и модный магазин, и в ней, следовательно, можно было найти все, начиная с сена, дегтя и хомутов до самых тончайших галантерейных поделок и даже кринолинов; а другое заведение — это был трактир. Что? Вы не верите, чтобы на фабрике можно было открывать трактиры? Трактир — честью вас уверяю! Да еще это бы все ничего — главное-то дело заключалось в том, что фабричные имели право в обоих этих заведениях брать на книжку во всякое время дня и ночи все, чего только душа желает,— даже модные материи отпускались на книжку. Зато оба эти заведения приносили хозяевам доходу столько же почти, сколько и самая фабрика. И для хозяев, значит, было оченно хорошо и для работников оченно приятно!..

Носился, впрочем, слух, что расплачивались с работниками Ватрушкины честно.

Вследствие всех этих причин мужички нашего уезда смотрели на фабрику как на землю обетованную, текущую медом и млеком, и валили туда толпами, чтобы только какнибудь попасть в это Эльдорадо.

Теперь мануфактура эта, как сказывают, начала поупадать немного,-но в то время она гремела по всей губернии и, гляди, чуть ли не была известна самому китайскому императору, потому что некоторые произведения ее отсылались в большом количестве в Кяхту и выменивались там китайцами на чай, которым Ватрушкины торговали в больших размерах.

Что касается до сих последних, то это были люди, украшенные всеми возможными качествами, необходимыми для русского фабриканта тогдашнего времени: оба были ребята ражие, краснощекие и упитанные, как тот телец, который некогда был предан закланию по случаю возвращения блудного сына под кров родительский; оба, хоть и плохо, знали

читать и писать по-русски и разумели три первые правила арифметики: четвертое, то есть деление, как-то им пе далось... оба имели но большой золотой медали на шее; оба, наконец, были церковными старостами в своих приходах; всякий праздиик скликали огромные толпы нищих к своим воротам и рассылали калачи в острог и в общественные больницы — одним словом, слыли по губерниии благодетелями рода человеческого.

Можете же себе представить после всего этого, каким уважением пользовались оии в пашем уезде.

У бывшего иашего исправиика, а также и у станового и теперь еще висят иа стенах их фотографические нортреты: у исправиика, как у человека военного, рядом с Шамилем, а у станового, как вышедшего в люди из духовиого звания, по бокам какого-то архимандрита. Кроме того, в фабричном доме самих Ватрушкиных, как я узнал впоследствии, существовали две комнаты, из коих одна называлась архиерейская, а другая губернаторская — знак, что и такие высокие особы удостоивали их своим посещением.

Об их уме, характере, взглядах и убеждениях я судить не берусь, потому что знал их очень немного; притом же они были чрезвычайно хитры и осторожны и с людьми, ие принадлежавшими к их обществу, никогда не высказывались. Ощупать их головы по методе доктора Галли тоже было дело довольно затрудительное,— и потому маленькое понятие, которое я об них составил себе впоследствии,— так это, знаете ли, по каким признакам? По ушам. Что вы, читатель? После галлевской методы это вернейший патогмоиический признак. У старшего ушки были маленькие, аккуратные, очень красивые и чрезвычайно плотио прилегавшие к затылку, а у младшего они были гораздо мягче, длиннее, ие так красивы и торчали в стороны, как у тушкапчика. Кроме того, старший был господин необыкновенно опрятный, чопорный, высматривал джентльменом и носил всегда стоячие воротнички, которые удивительно плотно облегали его полные розовые щеки, и никогда нельзя было заметить на них ни единой морщинки, ни складочки; младший, напротив, мало заботился о своем костюме: воротнички были у него постоянно измяты, испачканы и торчали, так же как и уши, кой-как, один в одну, а другой в другую сторону. Из всего этого с некоторою вероятностью можно было заключить, что старший был человек робкий и осторожный и обладал более, так сказать, административными способностями, а младший, стало быть, был несравненно общительнее, смелее и способ-

ностями был одарен более исполнительным. Смелость его ярко выражалась уже и в том, что он выучился тихонько от отца танцевать французскую кадриль, несмотря на то, что подобная сатанинская потеха чуть не под смертной казнью была запрещена в доме.

Чтоб проверить свои предположения, я несколько раз пытался расспрашивать про них у фабричных, но толку трудно было добиться; по большей части они отзывались обыкновенно следующим образом: «Да кто ж их знает, ваше благородие, что они за люди такие,— разве в них влезешь? Ведь в них не влезешь... Кабы они почаще на фабрике-то бывали да сами входили во что-нибудь, а то ведь они сами-то почесть ни во что не входят... всем дилехтур распоряжается... Так, межеумки какие-то... Еще младший-то, Микита Самсоныч, так, ничаво... а уж старший, Сила Самсоныч,— ввах!..»

Ватрушкины действительно редко бывали сами на фабрике, и всем делом заправлял у них директор Сидор Астапыч Ослов, человек сухой и длинный, как складень, хотя тоже происходил из купеческого звания. Фабричные преуморительно острили над ним на этот счет: так как уже сказано было выше, что местность на фабрике была низменная, лесистая и болотистая, то вследствие этого в известное время года водилось там бесчисленное множество комаров,— так фабричные, бывало, и говаривали: «Здешние, дескать, комары не кусаются, потому об Сидора Астапыча все носы поломали».

Надобно вам сказать, что Сидор Астапыч этот был существо чрезвычайно загадочное: например, становой и многие другие, кто знал его коротко, рассказывали, что это был человек ума необыкновенного,— между тем как никто и никогда не слыхал от него дельного слова; тих, скромен и смирен был он до того, что не только никогда не горячился, даже голоса никогда не поднимал с фабричными,— а между тем фабричные боялись его как огня, и кроме антихриста другого названия у них ему не было; в фабричном деле, по словам англичан и приказчиков, ни уха ни рыла не смыслил и только мешал делу своими распоряжениями,— а хозяевам казалось, что умри сегодня Сидор Астапыч, завтра же все машины остановятся и прахом пойдет вся фабрика. Странный был человек. Меня же, как медика, интересовало в нем более всего то, что он по всему уезду слыл за девственника и злейшего ненавистника женского пола. Некоторые данные для этого в нем, пожалуй, и были: так, например, неимоверная худоба, о которой я упоминал выше, постоянно потные

и как лед холодные руки, и, наконец, боль в спинных позвонках, на которую он всегда жаловался; но все это в то же время могло зависеть и от других причин. А хотелось мне ужасно повернее об этом дознаться. Думал я иногда, не было ли тут каких-нибудь физических причин, то есть не принадлежал ли он к какой-нибудь раскольничьей секте,— да нет, борода у него росла, и, кроме того, человек он был религиозный до того, что даже по понедельникам не брал в рот скоромного. Подсмеивались некоторые, что он находился будто бы в непозволительной связи со старой хозяйской домоправительницей Кузьминишной,— от этого, вишь, все это и было шито да крыто; но ведь и это могло быть одно только предположение, сплетня, пожалуй... Впрочем, о Сидоре Астапыче, как о личности необыкновенно замечательной, мы подробнее поговорим в свое время.

Так вот-с на эту-то фабрику я и путешествовал иногда в виде временного врача.

Я останавливался постоянно у Сидора Астапыча и приезжал большею частью вечером, с тем расчетом, чтоб осмотреть на другой день пораньше больных и пуститься поскорее в уезд по другим обязанностям.

Однажды я приехал туда накануне какого-то праздника. Это было, как теперь помню, в первых числах июля. Сидор Астапыч раздавал в это время фабричным жалованье. Я осмотрел, каких нужно было, больных, и как оставаться одному в его квартире было немножко скучно, то я и пошел потолкаться, от нечего делать, по нагорному берегу Проворки, поросшему сплошным сосновым лесом вперемешку с осиной, кленом и березником. Вид вдаль с этого места особенно был хорош, хотя глазу ничего не представлялось, кроме бесконечного темного леса, который бежал куда-то верст на полтораста, не прерываясь. Наступал вечер; солнышко медленно опускалось после томительно жаркого дня, и все, что только оно обхватывало своими лучами, все это было залито, так сказать, теплыми, золотистыми потоками света, который сплошными яркими пятнами ложился на песчаных береговых обрывах, на стволах дерев, на сухой, истомленной зноем листве. Вдали гремел колокольчик станового пристава; в реке играли какие-то рыбки, выскакивали и, сверкнув на воздухе серебром своей чешуи, тяжело опять шлепались в воду. Трава делалась заметно мокра от росы, и я пошел по самому краю берега, по узенькой тропинке, протоптанной фабричными. Вдруг я услышал голоса, раздавшиеся где-то невдалеке. Я случайно взглянул вниз — и увидел двух фабричных

мужиков, которые, спустившись с песчаного крутого обрыва, стояли по колена в воде, подвернувши вверх свои синие китайчатые порты, и ставили верши для рыбы. В одном из них я узнал старого слесаря, давно уже жившего на фабрике и приходившего иногда ко мне в больницу с больной ногой; другой был парень лет тридцати, с небольшой русой бородкой, в розовой ситцевой рубахе и в модном фабричном картузике, который с первого же взгляда изобличал в нем одного из опаснейших фабричных ловласов.

Я тоже спустился недалеко от них и приютился на сухом песчаном мыску.

— Что, братцы, рыбу ловите? — спросил я у них.

— Да, вот завтра для праздника ушицы хотим похлебать, господин дохтур,— отвечал молодой парень, между тем как слесарь стоял нагнувшись и старательно привязывал к колышку вершу.

— А водится-таки рыба-то здесь?

— Как же, мало ль тут рыбы? да только ловить-то не смеем; вот и теперь уж так, значит, на страх пошли... а то Астапыч, дилектур здешний, увидит — беда!

— Отчего ж?

— Да говорит, что эта река, вишь, на откупу у него, деньги заплатил, значит,— так окромя его никто, вишь, и ловить не смеет. Теперь вот, если поймаешь, понесешь на фабрику да он увидит, сохрани бог,— беспременно отнимет.

— Что ж он, боится, что вы здесь всю рыбу выловите? — спросил я, засмеявшись.

— Не в том... господин дохтур: этого-то он, может, и не боится... а его, должно быть, вот что больше в сумление приводит, что ежели, тоись, фабричные налягут на одну рыбу, так не будут в лавке провизии покупать — убытку, значит, боится, вот что...

— Ну, Микитка,— сказал слесарь, приподнявшись и погрозив на него пальцем: — когда-нибудь ты за свой язык попадешь, уж я те сказываю.

— Небось!

— Ну, смотри.

Микита замолчал.

— Какая же тут рыба больше водится? — спросил я опять, желая поддержать разговор.

Слесарь опять приподнялся и, боясь, вероятно, чтоб товарищ еще чего-нибудь не выболтал, отвечал мне на этот раз сам:

— Да рыба здесь всяка водится, господин дохтур: окунь,

плотва, таперича голавлики набегают; бывает — иной раз налим и подлещики попадаются, хоть небольшие они, примерно, и есть; ну, а больше все щука, да мы ее почесь завсегда выбрасываем, потому от нее, вишь, лихоманка привязывается.

— Ну, брат, это уж не от щуки.

— Ой ли? А мы все так и думаем, что от щуки.

Между тем Никита во все это время стоял да посмеивался; так его, по-видимому, и подмывало что-то такое высказать. Наконец он не выдержал.

— У нас здесь, господин дохтур, не токма рыба,— сказал он, тряхнув головой: — у нас здесь, пожалуй, и солонина водится...

— Как солонина! — вскрикнул я с невольным удивлением.

— Так же вот, водится, значит...

— Микитка! эй, не болтай, дурень! — перебил его опять слесарь: — узнает Астапыч, он те задаст солонину! Слышь, колокольчик-то звенит? Ведь недалеко...

— Как не слыхать. Уж вестимо, черт к лешему на ночлег едет...

— Ну, быть тебе на каторге!..

Ясно, что солонина эта была какая-то тайна, касавшаяся директора фабрики. Я начал убедительно упрашивать Никиту, чтоб он рассказал мне, что это такое, и, чтоб задобрить его окончательно, дал ему четвертак на водку.

Слесарь только крякнул да покрутил головой.

— Вишь, какое это дело, господин дохтур,— начал Никита,— для нас тут в лавке каждый год солонину солят, потому в свежей говядине мы почесь и скусу не знаем, что она и за говядина такая на свете есть... рази кто поденежнее, так, праздничное дело, фунтика два-три купит... а то нет... потому в городе дорога, а здесь уж лучше и не приступайся — дороже пряников, значит... Вот прошедший год лавочник наш, Никанор Петрович, и насолил солонины, да такой солонины насолил, что не токма ее есть,— мимо лавки-то, бывало, пройдешь, где она стоит, так та́к те с души и воротит... Цинга эта пошла по народу такая — страсть! Половина фабрики почесть совсем обезножела. Дохтур наш, глядим, не вступается в это дело; становой тоже руку лавочника держит,— что ты будешь делать? В сумление в большое, тоись, ввела нас эта солонина. Подумали, подумали мы, напоследок сговорились, пошли все гулом к дилехтуру: так и так, мол, Сидор Астапыч, как хошь, а мы эвтой солони-

ны потреблять не будем: она хошь и ничаво, солонина, да уж, значит, никак нельзя, душа не принимает... Стали просить, чтоб он лавочнику переменить велел; а то, мол, коли ежели да не так — расчет давай, потому еще помрешь от нее, пожалуй... Видит дилехтур, что дело неладно: разойдется с фабрики народ — беда! «Хорошо, хорошо, говорит, братцы, ступайте вы по своим местам, а эвтой солонины больше не будет; я уж, говорит, и сам вижу, что нехороша». А солонины пропасть еще, целый чан ее в лавке стоит. Хорошо: вот и стали они это, дилехтур, тоись, с лавочником, совещаться, куда бы им, например, эвту солонину сбыть? А лавочник у нас, Никанор Петрович, прожженный,— и-и-х! кажись, самого лешего обойдет. Поехал он этта — фабрикантик такой тут есть из мужичков, Афанасий Иваныч, верст за пятнадцать отселе, ткацкая фабрика у него, миткаль производит,— поехал он к эвтому фабрикантику, ухитрился, надул как-то того — сбыл солонину. Хорошо: начали есть у того работники. Ели, ели — «нет, говорят, хозяин, как хошь, от этой солонины не токма человек — собака сдохнет». Тот видит, что и вправду дело не ладно, что, тоись, надул его Никанор Петрович,— к становому: «так и так, говорит, ваше благородие, прикажите им эвту солонину назад взять, а то, говорит, я дальше пойду». Глядим, чрез неделю места опять эта солонина у нас в лавке стоит, и уж так, тоись, что и приступиться нельзя... Ах ты господи! Собрались этта мы опять промеж собой: как же, мол, так, ребята, ведь не с фабрики же бежать нам от эвтой солонины... Прах ее возьми и с деньгами-то... Сделаем, мол, складчину промеж себя, сколько, примерно, кто может, откупим ее, стерву, у лавочника, да и забросим куда-нибудь, чтоб и праху-то ее, значит, на фабрике не оставалось. Вот хорошо, сделали мы это промеж себя складчину, купили эвту солонину да в реке, вот в эвтом самом месте, и потопили. Пропадай, мол, ты, окаянная, и с деньгами-то! Теперь хошь в лавку-то не попадешь по крайности... Так что ж вы думаете, господин дохтур? Уж знать на роду, что ли, ей было так написано: дня чрез три опосля того опять ведь в лавку попала, проклятая... Ей-богу, право!

— Ну как же, как же это, голубчик? Расскажи, пожалуйста,— спросил я, расхохотавшись.

— Да, вишь, как: мы ее, значит, здесь потопили, а Астапыч через три дня опосля того и пошел на это самое место рыбу ловить, пошел да нечаянно неводом вместе с рыбой ее и поймал, а она, знаешь, повымокла в это время в воде-то

маненько, дух-то уж, значит, не тот,— вот он ее опять в лавку и отрядил за свежую...

— Ну, ты, городи, чего не знаешь! — перебил сердито слесарь: — в лавку, вишь, отрядил! чего не скажет...

— А то куда ж?

— Куда? вестимо, выбросили.

— Толкуй! чай, я не сам выдумал... вот спроси: Ванюшка небось, приказчик из лавки, рассказывал.

— Тоже нагородил.

— Чаво нагородил? Чай, лучше тебя знают... Ты где в ту пору был? Вспомни-ка!

— Ну, смотри, Микитка!

— А чаво я буду смотреть? Я правду говорю. Вот хошь провалиться на эвтом месте, господин дохтур,— обратился он ко мне: — в лавку попала, ей-богу, в лавку...

Между тем фабричные уставили как следует свой рыбный аппарат и стали взбираться на берег. Я тоже полез вслед за ними, и чрез минуту мы стояли уже на тропинке, по которой я шел с фабрики.

В это самое время вдали показался еще фабричный. Синяя суконная чуйка едва держалась у него на плечах, а картуз с козырьком почти висел на затылке. Он шел, сильно покачиваясь, останавливался по временам и громко разговаривал сам с собой, разбирая что-то на ладони указательным пальцем. Скоро мы с ним столкнулись. На ладони лежало у него несколько серебряных монет.

— А-а! Семен Прокофьич! — крикнул ему Никита: — что это ты лоб-то засучил, или жалованье получил?

Семен Прокофьич остановился, вытянул губы и опять положил на ладонь указательный палец.

— Хи... Микитка... эх, черт те... леший эдакий...— проговорил он, с трудом отплюнув в сторону:— гляди, во... три двугривенных только, от всего жалованья осталось... ей-богу, три двугривенных... Хи... Микитка! да гляди, черт... ей-богу, три двугривенных... во они... вишь... все новенькие...

— Что ж так мало? по книжке, что ль, вычли? — спросил Никита.

Семен Прокофьич свистнул, махнул рукой и расхохотался, сильно покачиваясь на ногах.

— Все! ей-богу, все! Э... черт его душу!.. Микитка, да ты мотри, дурак: ей-богу, три двугривенных... Все как есть в конторе осталось... Ай, чтоб... Барин,— обратился он ко мне: — а ты меня прости, христа ради... с горя... ей-богу, с горя...

Четырнадцать целковых в месяц получаю... во, мотри: три двугривенных только... все вычли... хи, черт его...

— Отчего ж это так много с вас вычету? — спросил я у Никиты.

— Да уж мы и сами так-то промеж себя рассуждаем,— отвечал он:— что, тоись, эвто за диковинное дело такое? Кажется, и в толк не возьмешь... словно как у них для эвтого машина какая устроена... ей-богу, право: что сколько ты таперича денег ни заработаешь и как, тоись, ты ни стараешься, чтоб лишнюю копейку куда не потратить,— нет. Придешь в контору жалованье получать — все иной раз, случится, до рубля вычтут... Право, словно как машина какая...

Семен Прокофьич так и покатился со смеху.

— Микитка! ах ты, милый человек! — проговорил он, дружески толкнув его кулаком в грудь:— ну, давай поцелуемся... Верно сказал! Машина, ей-богу, машина! Без колес ходит, точно черт водит... Хи... Барин! ей-богу, верно: машина! Во, мотри: три двугривенных... Микитка, милый человек... ах, черт... и кто те это сказал? Верно! Право, верно!

Семен Прокофьич плюнул, махнул рукой и, продолжая хохотать, отправился далее. Слесарь подумал, почесал бороду, подмигнул своему товарищу и пошел вслед за ним. Мы остались одни с Микитой.

— То-то, брат, и есть... Вот у вас, должно быть, машина та где устроена,— сказал я, щелкнув себя по воротнику.

— Эх, господин дохтур, да ведь иной раз нельзя,— возразил с горечью Никита.— Вы, значит, порядков наших не знаете? Вот у нас таперь хошь бы заведение здесь устроено, трактир, примерно сказать: ну, как ты таперича в него не зайдешь? Дело наше тоже рабочее, а работа ночная, трудная... устал, тоже человек... ну, и с приятелем иной раз захочется погулять... все люди, все человеки тоже, господин дохтур... вот что... Двери же в трактире почесь завсегда настежь растворены... когда хошь ступай... Денег в кармане нет — ничаво! — на книжку поверят... Да поди-ка, как ты... блазнительно!.. Кажись, иной раз и мимо бы прошел,— хоть бы ты, думаешь, и с фабрикой-то со всей сквозь землю провалился, проклятый! — глядишь: а там словно как в дверях-то стоит кто, да и манит тебя вот так-то: Микита, говорит, дурак, чаво ты?.. иди! Вот, как привычная лошадь в стойло — и заворачиваешь... А вино-то у нас вполовину водой разбавлено — так, значит, и выпил-то вдвое, да и заплатил вчетверо... вот ведь в чем, господин дохтур... так как тут?..

Я, признаться, невольно задумался.

— Али вот опять овощная лавка здесь: сколько тоже она у нас денег поедает — страсть! Потому харчи дорогие — приступу нет... Вот как таким образом месяц-то пройдет — глядишь, ан все жалованье-то у тебя в книжку и записано... все, стало быть, опять и осталось в конторе...

— Так кто ж вам велит забирать все это здесь? — спросил я.— Вы бы в других местах, где подешевле, брали.

— Эк вы что, господин дохтур,— возразил, засмеявшись, Никита.— Нет, уж у нас здесь порядок, значит, такой: коли хошь жить на фабрике, то все уж должен у хозяина брать... хошь сто рублей фунт стоит, а уж бери, делать нечего... Да уж так все и приспособлено, что никак ты, тоись, ничего не поделаешь... Ежели, примерно, и купил что-нибудь на стороне — сейчас тебя часовой в воротах остановит да к дилехтуру,— ну, сейчас и отберут все... напрасно, значит, и заплатил деньги... Потому ежели, говорит, вы будете на стороне товар брать, так нам, говорит, и торговать будет не из чего. А чтобы эдак водки пронести,— куда! шкалика не пронесешь, да еще полтинник штрафу заплатишь. В трактире, говорит, сколько хошь пей, хошь до смерти упейся, а со стороны — чтобы капли не было.

— Так неужели же вам буквально ничего не позволяют на стороне покупать?

— Хе! да не токма покупать, господин дохтур; прошедший год,— вот не плоше рыбы, что я тебе давеча сказывал,— прошедший год Астапыч запретил нам грибы из лесу носить... вот хошь верь, хошь нет... Это он все боится, чтобы лавке, тоись, убытку не было, потому у него, сказывают, тут тоже свой пай, вишь, есть... Не пускают на фабрику с грибами, хошь ты что хошь... Так уж мы нашего хозяина упросили: хозяин уж разрешил, дай бог ему здоровье.

— Да, брат, это действительно на машину похоже,— сказал я Никите.— Ну, объясни ж ты мне, пожалуйста, что ж это вас так тянет сюда на фабрику-то, если вас здесь стесняют?

— Да бог знает что,— отвечал Никита, разводя руками:— так вот... народу много... житье-то уж больно привольное...

В это время мы миновали ворота, в которые входили на фабрику, Никита со мной раскланялся и пошел в сторону.

Астапыча я застал уже дома. Когда я вошел, он только что собственноручно зажег пред образами лампадку и усердно клал земные поклоны.

ОЧЕРК II

Больница

К числу увеселнтельных заведений на фабрике Ватрушкиных принадлежала некоторым образом и больннца...

Что, господа? Я внжу, вам это кажется уднвнтельным? Читайте дальше, так уверитесь. Еще с вечера, когда фабричные ложнлись спать на нарах, в своих так называемых кухнях, где, надобно между прочим заметить, онн былн набиты, как сельдн в бочонках, уж между нимн составлялнсь самые затейлнвые проекты касательно больннцы на завтрашннй день.

— А что, Андрюшка, завтра в больницу пойдешь? — начннал какой-ннбудь фабричный мальчишка, заднрая кверху ногу н толкая под бок своего товарнща: — я так пойду, лакрнцы у дохтура выпрошу, скажу, кашель.

— Ладно, дело! н я пойду! — отвечал Андрюшка: — ребята! Кто еще в больннцу? Мы со Спнрькой идем!

— Я! я! мы! — отклнкалнсь на это воззвание голоса по разным местам кухнн.

— Акнмка, а ты пойдешь лнхорадку лечить?

— Кто, я? — отклнкался где-то Акнмка: — нет, ребятки, ну ее... Нешто вот пойти на пузырек надуть дохтура... а то у меня давя утром пузырек кто-то спроворнл... Да не даст, шельма, вороват...

— Нет, вот что, ребята,— присоедннялся еще голос: — соберемся завтра поболе народу да пойдем дохтура задорнть — вот так будет потеха! Ведь уж как же серчает — умора! Намедннсь этта я прнкннулся, что у меня серче болит. Уж он меня тыкал, тыкал, пальцем в живот: тут? говорит. Нет. Тут? Нет! Искал, нскал серча — не может, братцы, серча найтн... Ах ты господн!.. У меня ннда бока от смеху расперло... А он опять: тут? говорнт. Нет! Опосля догадался, должно, что я его омманываю,— страсть как обозлнлся, чуть не подавился цыгаркой; насилу откашлялся...

В кухне раздавался обыкновенно дружный залп хохота, н несколько мннут остроты н насмешки, бог знает за что, сыпалнсь на голову бедного доктора.

— Нешто уж н мне, братцы, завтра в больницу сходить, спнртнку от ноги выпроснть,— вслед за тем жалобно говорил чей-то хрнплый голос: — а то, пожалуй, фершел Ннколай Васнльич весь выпьет — опосля не добудешь...

— Сходн, сходи, Лукьяныч,— кричали с протнвополож-

ной нары: — а то, вишь, и в самом деле, как тебя нога-то измучила — извелся, сердечный, в чем душа держится...

— Что делать, парень, видно, бог за грехи наказал, — возражал еще жалобнее Лукьяныч и начинал стонать и охать на всю кухню. На нарах раздавался новый залп хохота.

— Девка, а девка... — где-то шушукались между собою две фабричные девушки... (У Ватрушкиных на этот счет просто было: все — бабы, девки, молодые парни, дети, старики и старухи — все помещались в одной кухне и спали вповалку, друг возле друга, кому где оставалось место...) — Девка, пойдем и мы с тобой завтра в больницу, *финдер-бальзанчику* у дохтура выпросим, а то в воскресенье к обедне пойдем — нечем подушиться будет. Я всё капли гохманные брала для эвтого, да намедни от Марфутки Кутиловской понюхала нечаянно — она все финдер-бальзаном-то прыскается, — так уж куда как хорошо, да душисто пахнет.

— Не даст, девка... и то серчает... уж больно, вишь, много берут...

— Ничаво! прикинемся, что животы болят, — даст. А то, мол, коль не хочешь лечить — к хозяину пойдем жаловаться... Уж дух-то мне, девка, больно нравится, уж пахнет-то больно душисто...

Таким образом, из полутораста человек, помещавшихся в кухне, непременно четвертая доля уговаривалась идти на другой день в больницу надувать доктора; а как таковых кухонь находилось на фабрике десятков около двух, то каждое утро в больницу и валила толпа человек в двести, с песнями и гармониями, отплясывая по дороге, кувыркаясь, задирая друг друга на кулачки и занимаясь другими, более или менее приличными, гимнастическими упражнениями.

Доктор ожидал обыкновенно гостей в аптеке, которая представляла в то время нечто вроде медицинской кондитерской, и в продолжение нескольких часов сряду раздавал им различные умыванья, гофманские капли, лакрицу, содовые порошки, финдер-бальзанчик и другие вкусные и приятные снадобья. Редкие приходили за делом, да и те большею частью совета его не требовали, а сами произвольно назначали себе лекарство. И как бы при этом требования их нелепы ни были, но исполнять их надобно было беспрекословно.

Дело в том, что доктор имел от Ватрушкиных тайную инструкцию отнюдь не стеснять фабричных больничными строгостями и давать им как можно более льготы. Читатель увидит впоследствии, что это входило некоторым образом в их политические расчеты по управлению фабрикой. Доктор

с тем уж и определялся, что если фабричные по каким-нибудь причинам его невзлюбят, то он без всяких разговоров должен был утекать с фабрики. Фабричные, разумеется, это очень хорошо понимали и, следовательно, делали из больницы и из доктора что хотели, а доктор, опасаясь потерять выгодное место, поневоле должен был подличать, кривить душой и смотреть на все это сквозь пальцы...

...Изо всего этого вы видите, господа, что между фабричными, приходившими по утрам за докторскими советами, царствовала совершенная эмансипация. Такая же точно эмансипация царствовала и между больными, лежавшими на койках. У них, между прочим, было какое-то поверие, что если больной наденет больничный халат, так уж дело кончено — умрет неизбежно. Вследствие этого все больные без исключения оставались в своих костюмах. Кроме того, в больнице всегда почти находилось едва ли не вдвое больше посетителей и посетительниц, чем больных. Если фабричный, кончивши свою работу, не попадал почему-нибудь в трактир или в лавочку, то уж непременно отправлялся провести время в больнице — в карточки там, в шашки поиграть или распить принесенную за пазухой косушку с страждущим приятелем. От этого больничные палаты, особенно для непривычного глаза, удивительно смахивали на вагон третьего разряда, битком набитый православными, отправляющимися в осеннее время из Тверской губернии в Москву на заработки: глаза ваши ничего тут не различали, выключая онуч, старых сапог, лаптей, армяков, всклокоченных голов и овчинных полушубков. Случалось, что возле койки другого больного торчали и соответственные его званию инструменты — пилы, лопаты, топоры и тому подобные принадлежности — аккуратно, точно так, как это бывает часто в вагонах третьего разряда. Атмосфера и прочее, разумеется, как нельзя более соответствовали этой обстановке.

Должность обер-кондуктора в этом вагоне исправлял фабричный фельдшер Николай Васильич Запивалов, который по своим свойствам постоянно напоминал мне знаменитого понтийского царя Митридата, потому что без всякого вреда мог пожирать всевозможные ядовитые лекарства, в которых заключалось хоть малейшее присутствие чего-нибудь спиртного. Разница между ними состояла в том только, что царь понтийский, сколько известно, никогда не страдал расстройством умственных способностей, между тем как Николай Васильич никогда почти не выходил из белой горячки. Бывало, когда хочешь зайти в больницу,— вечно увидишь,

что Николай Васильич, бледный, с помутившимися глазами, как шальной бегает по палатам с палкой или с ланцетом в руке и с ожесточением давит ногами различных гадов, которые, как этим людям всегда представляется, ползают по полу.

Стало быть, этот фабричный сановник редко па что-нибудь был пригоден, и все больничные и даже хирургические обязанности исполняла за него старая сиделка Катерина Прохоровна, с давних пор находившаяся при зтой больнице. Она пускала больным кровь, ставила банки, вправляла вывихи и перевязывала фрактуры. Но так как и Прохоровна любила, в свою очередь, куликнуть немножко на старости лет, то больные и распоряжались лечением, как хотели: те, которые были поумнее, еще принимали кое-как лекарство, но зато заедали его клюквой, творогом, солеными огурцами или запивали водкой — припасами, которые вседневные посетители приносили им в обильном количестве; от этого случалось нередко, что больной, еще сегодня подававший надежду на излечение, завтра утром совершенно неожиданно отправлялся в лучшую, хотя не столько привольную жизнь. Но чаще больные не принимали никакого лекарства и лечили друг друга колдовством, наговорами и другими симпатическими средствами; а чтобы здак произвести какую-нибудь операцию, даже самую невинную, которая больному почему-нибудь не нравилась,— об этом и думать было нечего, особливо если это была операция такого рода, которую Прохоровне не совсем удобно было производить над мужчинами...

...О так называемых скорбных листах в больнице у Ватрушкиных даже и предания не сохранилось. Выписки тоже не существовало, а делалось это таким образом: надоедало больному лежать на койке — он брал свою шапку, прощался с товарищами и преспокойно отправлялся на фабрику, нисколько не заботясь, согласен ли будет доктор или нет. Жаловаться было некому. Но зто бы еще все ничего: очень часто, пришедши в больницу, доктор не досчитывался вдруг нескольких человек больных, и больных иногда очень серьезных, и на вопрос — где они? получал ответ: должно быть, дескать, в трактир ушли!.. При посещении инспектора управы, разумеется, все зто принимало более приличный вид, но если бы ему случилось когда напасть на зту больницу врасплох. так ему бы представилось, что он посредством какого-то чуда попал в лечебницу, которую, говорят, открыл недавно сулукский император в своей столице.

Я не могу и теперь еще забыть впечатления, которое она

произвела на меня в первый мой приезд на фабрику. В этот день в сумерки вышел я прогуляться. Надобно было пройти мимо больницы. Вдруг я услышал где-то музыку и дружный топот камаринского, который так и разносился по воздуху.

Со мной встретился младший Ватрушкин, который в это время тоже приехал на фабрику.

— Скажите, пожалуйста, Никита Самсоныч, где это музыка? — спросил я у него.

— В больнице, должно быть,— отвечал он таким топом, как будто дело шло вовсе не о больнице, а о трактире: — праздничный день нынче, так, верно, посетителей много набралось.

— Как? Неужели у вас такие вещи допускаются? — вскрикнул я, удивившись.

— Что делать? Нам иначе нельзя-с,— возразил Никита Самсоныч, пожав плечами: — если мы будем стеснять людей больничными положениями, так они не только в больницу не будут ложиться — половина из них пожалуй, и с фабрики-то совсем разбежится. А наше дело такое-с: мы всячески стараемся привязать народ к заведению... потому народ для нас нужнее всего... Нельзя-с... застращаешь... А главное: еще покойник тятенька завел здесь эдакий порядок, так уж нам его изменять не приходится...

— Но помилуйте, Никита Самсоныч, тут дело идет о жизни человеческой... рассудите, пожалуйста... ведь это что-нибудь значит.

— Это так точно-с...— перебил меня с улыбкой Ватрушкин: — но ведь нельзя же, чтоб и хозяйский интерес страдал от этого... Лишний человек умрет — это еще не беда-с... а как вдруг полсотни человек уйдет с фабрики, так ведь это, знаете... капитал... сто рук-с... Покойник тятенька всегда так говаривал.

— Философ, должно быть, большой был,— заметил я, едва скрыв свое негодование.

— Кто? Тятенька-с? По коммерческому делу другого человека во всей губернии не было... уж это мы можем прямо сказать,— отвечал с гордостью Ватрушкин.

— А музыка-то как отлично наигрывает...— сказал я, затрудняясь продолжать этот странный разговор.

— Да-с, бойко! — отвечал Ватрушкин, расхохотался, пожал мне руку и отправился на фабрику.

Надеюсь, вы согласитесь теперь, читатель, что я нисколько не преувеличивал дела, назвав ватрушкинскую больницу одним из увеселительных заведений? Но все-таки ведь это

была больница, и, следовательно, не всегда ж в ней разыгрывались только комедии: разыгрывались часто и драмы, глубоко потрясавшие душу, и притом драмы, которые исключительно могут иметь место только в фабричных больницах. Одной из таких драм я и намерен теперь заключить мой очерк.

Это было тоже в один из первых моих визитов на фабрику. Однажды, кончивши свое дело в больнице, я приказал было уже закладывать лошадей, чтоб обратно отправиться в город, как вдруг вбежал ко мне, запыхавшись, солдат, сторож больничный.

— Опять поскорее в больницу пожалуйте, ваше благородие,— сказал он: — человек в машину попал!

— Как?

— Рукой, ваше благородие... и так, то есть уж... совсем плохое дело... резать, должно быть, надобно...

Я побежал в больницу.

Фабричный, попавший в машину, сидел на койке, опустив голову, бледный как полотно. Прохоровна промывала ему над тазом руку, которая почти до плеча была раздроблена, изорвана и как будто изжевана острыми зубьями машины. Фельдшер Николай Васильич раскладывал на столе хирургические инструменты. В палате теснилась толпа фабричных, которые уж постоянно стекались на такие спектакли. Мне сказали, что новый мой пациент был сын небогатого мужичка из соседней деревни и на фабрике не жил, а только приходил туда в назначенное время работать. Это был малый лет девятнадцати, сильный, рослый и чрезвычайно красивый. Звали его Яковом. Рука у него никуда не годилась, и, при всем моем желании спасти ее, я решительно не мог ничего сделать. Надобно было немедленно приступить к операции. Раны фабричные всегда бывают такого сорта, что медлить с ними нельзя. Яков и сам это очень хорошо видел. Николай Васильич еще до моего прихода объявил ему об этом без церемонии, но он не хныкал и не предавался отчаянию; в нем скорее было заметно какое-то ожесточение или, лучше сказать, какое-то тупое равнодушие к своему несчастному положению.

— Ну что ж, мой голубчик, рука-то ведь уж не твоя...— сказал я ему скрепя сердце.

— Вижу, господин дохтур.

— Отрезать придется...

— Что ж, режьте, коль надо... уж, верно, своей судьбы не минуешь,— отвечал Яков, слегка содрогнувшись.

Николай Васильич между тем стоял и потрагивал пальцами лезвие ампутационного ножа. Он всегда необыкновенно гордился своим званием.

— Эхма...— заговорили в толпе.

— Ох, малый...

— Работка каторжная...

— Машинки, голубушки!..

— Вот горя-то будет, как узнают отец с матерью...

— Не чают они этого, сердечные...

К счастью, Николай Васильич был на этот раз в здравом рассудке, и через четверть часа бедный Яков лежал уже на койке, перевязанный по всем правилам хирургии. Прохоровна обтирала ему полотенцем пот с лица. Что он думал в эту минуту — бог его знает.

Я вышел расстроенный до крайности.

— Эх, парня-то уж больно жалко, господин дохтур,— проговорил позади меня голос.

Я оглянулся: за мной по коридору шел один из фабричных, которого я немножко знал.

— Да, брат, жалко,— отвечал я.

— Один ведь сын у отца...— продолжал мой спутник: — да уж малый-то больно хорош был... способный, непьющий... супротив его, кажется, теперь на всей фабрике не отыщешь... Ох, машинки, машинки! Чтоб их...

— И часто у вас это случается?

— Часто, господин дохтур... очenно часто... То в машину вот эдаким родом втянет, то паром обожжет, то... Эх, да что уж... и говорить-то не хочется... Летошный год у нас так-то четверых вдруг зашибло — так до смерти... Одному так совсем череп с головы и сорвало... Часто, господин дохтур...— прибавил рассказчик, махнув рукой.— А пальцев таперича, кажется, если их мерить, так полчетверика в год намеряешь — ей-богу, право.

— Да отчего ж это, скажи, пожалуйста? — спросил я с любопытством.— На других фабриках, где мне случалось быть, я не слыхал, чтоб так жаловались.

— А бог знает отчего так... оттого, что, может, там порядки другие и машины, может, тоже другого устройства; а у нас ведь тут работа ночная, а работают больше ребята всё малые — во какие! ну, уж вестимо дело, ночью ребенку дремлется — вот он как шальной в машину суется... машины же у нас наставлены одна от другой часто — теснота; все хочется, чтоб побольше поставить,— выгоду свою, значит, хозяин соблюдает; так как ты хошь таперича остерегайся — ничего не поделаешь...

ОЧЕРК III

Предание о Сидоре Астапыче
и амбар с залежавшимся товаром

Фабричный, провожавший меня из больницы после операции, говорил правду: подобные оказии на фабрике Ватрушкиных в рабочие дни случались нередко. Зато в праздничное время, когда паровики не свистали и машины стояли без движения, фабрика представляла истинно умилительное зрелище, особливо если еще погода тому благоприятствовала. В таком случае на большой площади, перед лицом двух уже известных читателю увеселительных заведений, то есть трактира и овощной лавочки, устраивалось каждый раз нечто вроде гулянья. Фабричные парни, бабы и девки, разряженные как птицы заморские, а которые пококетливее, так, пожалуй, раздушенные *финдер-бальзанчиком* и мятными каплями, стекались туда со всей фабрики, и тут заводились у них песни, пляски, хороводы, раздавались гармонии и балалайки, и народ кутил себе и веселился весь день и часто всю ночь до раннего утра.

Нечего и рассказывать, что трактир играл в этом деле главную роль. Много вина и водки выпивалось в нем и в простые дни, а тут уж и говорить нечего. У Сидора Астапыча ушки на макушке были от радости. Лавочнику Никанору Петровичу тоже не на что было жаловаться: у этого, в свою очередь, был такой сенокос, что на твоих дешевых товарах в Москве. Платочков, супирчиков, сережек и других галантерейных вещей раскупалось у него видимо-невидимо; а пряников, орехов, изюму и прочего поедалось столько, что, кажется, и цифры такой не приищешь ни в одной арифметике, потому что натура у русского человека широкая: не зайти в трактир во время гулянья такой человек уж ни за что в свете не может; ну, а уж если он туда попадет, да пораскуражится, да потом распалит, так сказать, свои чувствия, походивши обнявшись с какой-нибудь Устюшкой или Марфушкой, так уж конечно — деньги для такого человека — плевое дело: последняя копейка ребром пойдет. «Марфа! — скажет такой человек, хлопнув Марфушку по спине ладонью: — Марфа!.. Ты... я... эх, черт твою душу... Ну, хошь, в лавочке супирчик куплю?»...

...Я никогда еще не видал фабричного гулянья и, навестивши больницу, пошел посмотреть, что такое там делается.

Потолкавшись по площади и поглядевши на хороводы,

я отошел к сторонке и присел на бревна, сложенные в одно место для какой-то постройки. Недалеко от меня сидели два мужика и вели между собой одушевленную беседу. Один из них, сколько можно было понять из разговора, был здешний фабричный, а другой приехал к нему из деревни.

В это время на гулянье показалась длинная и сухая фигура Сидора Астапыча, который, вероятно, пробирался в лавку, чтоб осведомиться, каково шла торговля у Никанора Петровича.

— Вон он, антихрист-то здешний, ходит, чтоб ему ни дна ни покрышки,— сказал фабричный, указав на него своему товарищу: — вишь, точно цапля по болоту шагает... вишь, вишь, эх, чер...

— А энто кто он такой?

— Астапыч, дилехтур здешний,— отвечал с каким-то омерзением фабричный.

— Да что ж он у вас... значит, такой человек уж?..

— Ха, ведь я ж те сказываю, что антихрист... Кажись, таких бесчувственных людей — весь свет исходи, так не сыщешь — верно! Кутит да мутит, да штрафы каждый день — поедом всю фабрику съел, ей-богу, право. Да уж хошь бы дело-то фабричное смыслил, так бы и быть, а то только что подрыв хозяевам делает, ничего больше.

— Путает, значит?

Фабричный только рукой махнул.

— Да как же, братец ты мой, опосля всего эвтого такого человека в дилекторы произвели? — спросил его товарищ.

— Как произвели? Линия уж, значит, ему такая вышла; в церкви, вишь, говорят, вымолил у старого хозяина.

— На характер, значит, попал. Да как же это он так в церкви вымолил?

— А вот вишь как: фабрику-то эвту ведь еще старый хозяин заводил, покойник уж, значит, Самсон Карпыч, отец сиречь таперешних-то — понял?

— Так.

— Ну вот, как завел он эвту фабрику... А человек он был, братец ты мой, вот какой: к заутрене это таперича, к обедне, ко всенощной — уж это беспременно, хоть бы тут что — богу молился, значит. Ну, хорошо: завел он эту фабрику и думает: как бы мне, думает, такого способного человека в дилехтуры избрать, чтобы он, тоись, и слуга мне был и к храму божию наподобие мне был привержен... А Астапыч в ту пору так — в худеньком сюртучишке бегал, на скрипке все учился играть, в сидельцах, вишь, или в приказчиках у купца

жил. А купец-то эвтот в сродстве находился с Самсоном-то Карпычем, понял? Вот, братец ты мой, однова и призывает он к себе эвтого самого Сидора Астапыча. «Слушай, говорит, Сидорка, так и так, говорит, ты мне вот столько-то лет верой и правдой служил, барыши с покупателей брал большие, и художества я за тобой никакого не знаю — хошь, я тебя за это к Самсону Карпычу на фабрику в дилехтуры произведу?» — «Отчего ж, мол, хозяин,— это Астапыч-то ему,— на эвтом, мол, благодарим покорно, а я, значит, дилехтуром быть способен, потому грамоте я теперича разумею, торговлю как есть всю произошел, притом же и разную механику на скрипке выделываю; стало, фабричное дело мне нипочем...» — «Ну, хорошо, говорит, Сидорка, слушай же, что я тебе сказывать буду: приход такой-то ты знаешь?» — «Знаю, мол, как не знать».— «Ну, так вот в эвтом самом приходе Самсон Карпыч церковным старостой состоит и завсегда уж собственноручно при ящике со свечами тут и находится. Так ходи ты, говорит, в эвтот самый приход кажинный божий день к заутрене, к часам и вечерне,— потому дело-то это было об великом посте,— и становись, говорит, ты завсегда так, чтоб ты у Самсона Карпыча беспеременчь на глазах находился, и молись, говорит, тоже бесперечь, и больше все в землю, а уж я опосля знаю, что делать». Хорошо: вот и стал этта Астапыч кажинный день в этот приход ходить, и зачал он молиться, как самый, тоись, праведный и благочестивый человек, и позицию, братец ты мой, выбрал такую, что как, тоись, Самсон Карпыч на него ни взглянет — все он у него как бельмо на глазу торчит. И молился он таким родом сорок дней, и все в землю да на коленях,— инда Самсон Карпыч диву дался. «Что это,— думает он про себя,— за человек такой молится? Вот кабы такого человека мне на фабрику к себе в дилехтуры приспособить»... Хорошо: таким родом прошел пост, и напоследок наступила этта, братец ты мой, святая неделя, и приезжает эвтот самый купец, хозяин-ат, значит, Астапыча, приезжает он этта Самсона Карпыча с праздником проздравлять. Тот у него и спрашивает: «Скажи,— говорит, называет его по имени,— не знаешь ли, что это за человек такой ко мне в приход ходит? Сродясь, говорит, не видывал, чтобы кто так усердно богу молился».— «А этот вот, говорит, какой человек, это, тоись, хозяин-то Астапыча: служил, говорит, он мне вот столько-то лет верою и правдою, книжное дело лучше меня разумеет и торговлю всю как есть до тонкости произошел». Умолчал, примерно, только об том, что на

скрипке играет, потому всякое такое дело — танцую там, примерно, и музыку всякую — Самсон Карпыч считал, что это, тоись, от дьявола происходит. Выслушал он это: «Вот, говорит, кабы такого человека в дилехтуры ко мне на фабрику. Только одно, говорит, вводит меня в сумление, что уж больно тонок да жимолостен — фабричные, дескать, бояться не станут».— «А это, мол, оттого он так только и жимолостен, что уж больно строго всякие постные дни соблюдает, а по средам и по пятницам и вовсе ничего не ест,— это хозяин-то Астапыча его урезонивает,— а что фабричные будут его бояться, так я, говорит, за эвто дело собственной головой ручаюсь».— «А когда так, говорит, так быть же ему у меня дилехтуром!» Вот таким-то родом он с тех пор дилехтуром и сделался. Фарисейством, стало, достиг,— заключил рассказчик.

В это время Сидор Астапыч опять показался на площади.

— Да отчего и взаправду он испитой такой да длинноногий? Ишь ты, словно скворечня какая торчит,— заметил, указав на него, мужичок.

— Сроду уж, значит, такой,— отвечал фабричный: — тут у нас на фабрике женщина старуха из их дома живет, так она сказывала, что он, вишь, и родился-то почесть совсем мертвенький. Целый день оттирали его да откачивали,— насилу, вишь, в жизнь привели,— и то уж, говорит, какой-то добрый человек посоветовал, вишь, теплым навозом его обложить... а кабы теплым навозом не оболожили, так и схоронили бы, не окрестивши.

— Да, так вот он злющий-то отчего...

— От эвтого от самого.

— Стало, у вас фабрика-то плохо идет?

— Она ничаво — идет. Да нешто бы она при другом дилехтуре так-то шла? Позачетвертый год он им наткал товару, хозяевам-то, так ведь какой они убыток-то понесли, страсть!

— Ой ли?

— Верно! Они его допрежь все каким-то азиятам сбывали. Ну, и этот сбыли. Те опосля того: нет, говорят, господа, нам такого товару не надо, шалишь! Мы, мол, торговое-то дело не хуже вас произошли. Тем и порешили. А товару-то было заготовлено немало. Весь теперь и лежит вон в амбаре,— вон каменное строение прямо-то — вишь? Весь так снизу доверху битком и набит эвтим товаром. Ничего с ним теперь и не поделают, потому — никто не покупает,— брак.

— А товар-ат какой?
— Материя такая, нетреплис прозывается.
— Как ты сказал?
— Нетреплис.
— Ишь ты, какая мудреная! А бусурманы-то, знать, как стали носить, так она и растрепалась?
— Должно полагать, что растрепалась!
Фабричный и товарищ его захохотали.
— Пойдем-кась, кум,— сказал фабричный, вставая и показав глазами на заведение: — нешто побаловать захотелось.
Кум тоже поднялся, и оба они направились к заведению.
На другой день, управившись в больнице, я проходил по фабрике к квартире Сидора Астапыча. Амбар, про который рассказывал накануне фабричный, растворен был настежь. Возле него стояли в кучке младший Ватрушкин, Астапыч и становой, который, по просьбе Астапыча, еще утром приехал на фабрику производить над кем-то экзекуцию, что там случалось очень нередко. Я тоже подошел из любопытства.
Амбар действительно снизу доверху был набит тюками с нетреплисом.
— Вот-с, не знаем, что делать с товаром-с,— обратился ко мне Ватрушкин: — тысяч на шестьдесят его тут; с рук нейдет.
— Спустите как-нибудь.
— Да, спустите... и рад бы в рай, да грехи не пускают: не покупает никто-с.
— А сбыть как-нибудь надо,— проговорил значительно Астапыч.
Становой стоял и смотрел на них насмешливо.
— Сбыть...— передразнил он Астапыча: — куда вам, войлокам, без меня это сделать! Коль я не научу, что делать, так весь и сгниет тут либо крысы съедят.
— Ну-ка, ну, что такое? — перебил Ватрушкин.— Послушаем.
— Да что ж, не научу, что ли?
— Посмотрим, посмотрим.
— Пятнадцать процентов с рубля?
— Жирно больно,— богат будешь. Три!
— Три!.. Стану я, прости господи, из... руки марать.
— Твое дело.
— Да что ж вы думаете, в самом деле, что я шучу, что ли? — перебил, покраснев, становой.— Ступай сюда! Сек-

рет,— шепнул он мне на ухо и отвел Ватрушкина и Астапыча в сторону.

Что такое он им рассказывал, я слышать не мог, но по всему видно было, что мысль его тому и другому крепко понравилась.

— Ну, понимаешь ли теперь, в чем штука? — вскрикнул, наконец, становой.

— Теперь понимаю,— отвечал, улыбаясь, Ватрушкин.

— Верно ли?

— Верно!

— Стало быть, пятнадцать процентов мои?

— Двадцать! — радостно вскрикнул Ватрушкин, схватив руку станового и хлопнув по ней ладонью.— Ходит!

— То-то же и есть, дураки вы эдакие,— проговорил презрительно становой: — а еще купцы называются... Где вам без меня это дело сделать! Только смотри, Никита Самсоныч,— прибавил он серьезным тоном: — ни гу-гу никому... а то ведь за это нас с тобой, пожалуй, тово... понимаешь?..

Но какого рода торговую операцию предположено было сделать на этом знаменитом совете с залежавшимся в амбаре *нетреплисом,* читатель узнает из следующего очерка. Теперь же скажу покуда только то, что это была одна из любопытнейших и гениальнейших торговых операций, какие когда-либо существовали в коммерческом мире

ОЧЕРК IV

Коммерческая операция.— Толки о вавилонском принце.— Стычка Астапыча с бабами

Надобно вам сказать, что в это время на фабрику ожидали губернатора, о чем я не раз слышал и от самого Ватрушкина; как вдруг с того же самого дня между фабричными пронесся слух, что губернатор приедет не один, а вместе с каким-то иностранным принцем, которому будто бы давно уже хотелось осмотреть фабрику Ватрушкиных как образцовую, с тем чтобы со временем выстроить точно такую же и в своей земле.

Откуда взялся этот иностранный принц и каким образом такое наивное желание могло залезть ему в голову, таких мудреных вопросов на фабрике решать, разумеется, было некому, и все безусловно тому поверили, тем более что в на-

шем губернском городе N... готовилось в это время какое-то торжество, по случаю которого должны были съехаться туда некоторые официальные лица из Петербурга, в число которых мог, пожалуй, попасть и какой-нибудь иностранный принц.

Я, со своей стороны, принял это за чистейший пуф и, следовательно, мало интересовался этими слухами.

Как бы то ни было, но слухи о приезде иностранного принца подтверждались с каждым днем более и более; наконец на фабрику прискакал как-то однажды старший Ватрушкин в страшных попыхах и объявил официально, что принц действительно будет и не дальше как недели через две или три, в сопровождении губернатора и множества иностранных генералов.

Можете себе представить, какая горячка запоролась после того на фабрике. Везде начали подчищать, подметать и подмазывать, контору оклеили новыми шпалерами, а литографированный портрет тятеньки Ватрушкиных, висевший там до сего времени в черной деревянной рамке, вставили в бронзовую; самая больница, так сказать, просияла и сделалась некоторым образом похожа на настоящую больницу. Этого мало: младший Ватрушкин, как человек, умевший танцевать, следовательно, развитой более, нежели старший брат, настаивал из всех сил, чтобы для въезда иностранного принца устроить триумфальные ворота, по бокам которых стояли бы статуи двух русских купцов с протянутыми вперед руками: дескать, просим покорно, пожалуйте! Архитектор, производивший в это время какие-то работы в фабричной церкви, начертил даже и план для этого великолепного здания.

Все это сбило, наконец, и меня с толку. «Что мудреного,— подумывал я в простоте сердечной: — стало быть, и в самом деле какой-нибудь принц приедет. И в голову мне тогда не приходило, чтобы вся эта история находилась в самой тесной связи с операцией над *нетреплисом*. Послушайте ж, как, наконец, это объяснилось. Как-то, бывши на фабрике, проходил я случайно по площади, па которой, как вы знаете, устраивалось гулянье для фабричных. Смотрю: возле овощной лавки собралось народу чуть не половина фабрики. Шум, гвалт, толкотня, кричат: «Нетреплис! Нетреплис!» День между тем был будничный. Что за чудеса? Что бы это значило? И между тем как я отыскивал в голове моей причину такого необыкновенного явления, из толпы, с куском нетреплису в руках, выбился мой знакомец Никита, помните, кото-

рый рассказывал мне, как Астапыч поймал солонину в Проворке?

Я подошел к нему:

— Здорово, Никита!

— Ах, здравствуйте, господин дохтур.

— Что это у вас тут за собрание такое?

— Собрание-то? А вот нетреплис раздают фабричным.

— Как нетреплис? По какому случаю?

— Да, говорят, какой-то, вишь, прынец настранный на фабрику приедет, так велено фабричным нетреплисовые штаны да поддевки шить.

— Всем?

— Да велено-то всем,— ну, кто сошьет.

— Как же это, на хозяйский счет, что ли?

— Эх вы... как можно? Нешто хозяин станет всю фабрику на свой счет обмундировывать? На книжку — известно уж...

Я начал понимать, в чем дело.

— Ну, скажи же ты мне, пожалуйста,— спросил я, изнемогая от любопытства: — принудили вас к этому или вы это добровольно делаете?

— Не то чтобы принудили, господин дохтур,— отвечал Никита, с видом какого-то недоумения разводя руками: — а так... как бы сказать... надо брать поневоле... Микита Самсоныч с Астапычем так всех опутали, что ничего не поделаешь... Разов с пять никак собирали они нас в контору по эвтому делу; упрашивали во как... плакали почесь... Сделайте, мол, милость, ребятушки, выручите: и хозяев, значит, уважьте и себя лицом в грязь не ударьте, а уж мы, говорят, ублаготворим вас опосля как угодно, потому свита приедет большая, так нельзя, чтобы народ в безобразном виде работал. Эфтим, говорят, вы не токма для нас — для всей, тоись, Расеи и даже для самого губернатора заслугу сделаете... Мы было стали приставлять, что очинно, мол, дорого, потому на шаровары да на поддевку нетреплису пойдет немало, ну так хозяин обещал: «я, говорит, для вас по пяти копеек с аршина сбавлю, а деньги, чтобы нетрудно было платить, велю разложить на сроки, чтобы вычету приходилось примерно всего по полтиннику в месяц». Ну, мы подумали, подумали: полтинник, мол, в месяц дело неважное,— все равно его в трактире пропьешь, а тут по крайности хошь хорошая одежда останется... Что ж, мол, делать, братцы, видно, надо уважить хозяина... Просили, примерно, чтобы без шаровар, одни, тоись, поддевки сшить, ну, так Астапыч сказал, что пикак нельзя, вишь, потому,

говорит, кабы это был какой-нибудь шпанский, примерно, а либо тальянский прынец, так оно ничево бы, а это это, вишь, азиат какой-то,— значит, человек великатный, так уж шаровары, говорит, для него первое дело... обидится, значит.

— Ну что ж, так и порешили? — спросил я, засмеявшись.

— Ну, нет, опосля порешили так, что кто, тоись, побольше жалованья получает, так с шароварами, а кто поменьше — так просто одну поддевку.

«Ловко, нечего сказать»,— подумал я и, простясь с Никитой, вошел из любопытства в лавку к Никанору Петровичу.

И действительно, картина представилась мне преживописная: сам Никанор Петрович и трое молодцов в восемь рук отмеривали для фабричных *нетреплис* с таким старанием, что сюртуки на них взмокли и кости хрустели в суставах. У Никанора Петровича, человека довольно тучного, инда одышка сделалась. Фабричные толкались, кричали и наперебой лезли к прилавку, каждый стараясь прежде другого иметь в руках кусок драгоценной материи. Дело в том, что приобрести нетреплисовую поддевку было всегда заветною мечтою для каждого фабричного, и теперь, когда им предложено было добыть себе этот великолепный наряд на таких выгодных условиях, простакам показалось, что им дают его чуть-чуть не даром, и потому охотников оказалось пропасть.

Тут же нашел я Астапыча и младшего Ватрушкина, вероятно, пришедших сюда посмотреть, хорошо ли шла операция. Лица их сияли таким светлым восторгом, как будто они стояли в светлый праздник у заутрени.

Однако ж я заметил, что покупатели требовали нетреплису большею частью на одни поддевки, но продавцы, совершенно сбитые с толку, отмеривали многим при сей верной оказии и на шаровары. Покупатели спорили, протестовали, однако ж волею или неволею, брали отмеренный кусок и, почесываясь, отходили от прилавка, потому что, прежде нежели покупатель успевал высказать свою претензию, кусок был уже отрезан, записан в книгу и, следовательно, исправлять ошибки было некогда. Когда я вошел, один из фабричных сильно спорил за это с Никанором Петровичем.

— Никанор Петрович! сделай милость! — настаивал фабричный: — не возьму... вот те Христос, не возьму! Сказано без шаровар, так уж без шаровар!.. Лучше не режь, не возьму!

— Да что ты, с похмелья, что ли, шальной эдакий, право, шальной,— возражал Никанор Петрович: — то так ему режь, то иначе, ведь уж записано...

— Что хошь пиши, а я лишнего алтына, супротив поддевки, не заплачу — сказано!

Никанор Петрович стоял в нерешимости, прихватив *нетреплис* ножницами.

— Бери, бери, братец, полно ломаться-то,— дружески потрепав фабричного по плечу, вступился Ватрушкин: — ведь ты и в самом деле не один здесь... посмотри, человек без того из сил выбился... А надумаешься, так, может статься, и шаровары сошьешь: по крайней мере человеком будешь — в виду...

— Оно так-то так, Микита Самсоныч, да уж больно обидно будет,— отговаривался фабричный: — ведь за них еще четыре полтинника надо выплачивать...

— Экая важность!.. Ну, уж так и быть грех пополам,— перебил Ватрушкин: — приходи ко мне уже, я тебе что-нибудь на чай дам...

— На эфтом, Никита Самсоныч, благодарим покорно вашей милости... да только...

— Ну, полно же, полно! режь ему, Никанор Петрович.

Кончилось тем, что фабричный, задобренный ласками хозяина и особливо милостивым обещанием на чай, взял-таки отрезанный кусок нетреплису и, почесываясь, вышел из лавки.

— Что, брат Тарасыч, почесываешься? — встретило его несколько голосов, сопровождаемых дружным хохотом:— знать, и тебе на шаровары всучили?

— Что ты будешь делать? В глотку почесь всунули...— отозвался Тарасыч: — хошь — не хошь, а бери... Ах ты господи!..

— Да ты мало взял, право, мало,— подсмеивались над ним со всех сторон:— ты бы уж кстати и на жилетку велел отрезать; ступай-ка, бери скорей! Зато как разрядишься, да прынец настранный увидит, в придворные фабриканты к себе возьмет — чудак!

— Вам сполагоря зубы-то скалить,— кричал, в свою очередь, Тарасыч: — а мне — хошь в петлю полезай, так впору... Тут вон оброк надо взносить барину, да вон — брат вчера из деревни пришел — хлеба, говорит, нету, семья почесь по миру ходит, а ты тут нетреплисовые поддевки шей... Черти эдакие, прости господи!

— Да ты что ж на других-то плачешься! — вступился

кто-то из толпы: — нешто тебя за ворот, что ли, в лавку-то тянули? Ведь не тянули, сам пришел — на себя и пеняй!

— Хитер, вишь, ты больно, — возразил с досадой Тарасыч: — за ворот!.. Кабы не тянули, так и не пошел бы... Сам-то ты зачем пришел? Тоже ведь не тянули... да пра... за ворот!..

— Так я ж и не плачусь.

— Не плачусь... богат, видно!..

— Не богаче тебя.

Уверившись, что операция совершается как следует, Ватрушкин и Астапыч вышли, наконец, из лавки. Я хотел было остаться, чтоб еще полюбоваться на продажу *нетреплиса,* но как за перегородкой, в съестном отделении лавки, стояла кадка с солониной, то привести это в исполнение было крайне неудобно, я вышел вслед за операторами.

Они шли несколько впереди меня.

— Ась?! — сказал, подмигнув, Ватрушкин.

— Gut!.. — отвечал, улыбаясь, Астапыч, знавший это немецкое слово. — Не знаю только, — прибавил он, помолчав немного, — как у нас с бабами дело уладится... заартачатся, канальи, того и гляди...

— Как-нибудь уладите, — проговорил Ватрушкин.

Их этих беглых намеков можно было заключить, что задуманная операция одним *нетреплисом* не ограничилась, но, как всякое гениальное изобретение, повлекла за собою ряд новых открытий. К несчастью, дальнейшего их разговора я слышать не мог. В эту минуту встретился мне один из моих больничных пациентов и отвлек от него мое внимание. Бедняк этот находился в последнем градусе чахотки, едва бродил, и я чрезвычайно удивился, встретив его в толпе возле лавки.

— Ты зачем сюда, Савелий? — спросил я у него.

— В лавку иду, господин доктор, — отвечал, закашлявшись и насилу отдышавшись, Савелий.

— Зачем?

— Да нетреплис покупать... поддевку шить надо.

— Тебе-то поддевку? Да ты еле жив... поправься, братец, прежде.

— Что делать, господин доктор, к горлу пристает шельма Астапыч; всю душу вытянул; сегодня сам нарочно в больницу ко мне приходил: «Все, говорит, поддевки шьют, а тебе, говорит, Савелий, стыдно не сделать, потому ты большое жалованье получаешь». Ну что ж, думаю, черт с тобой! Все делают, так и я сделаю; может, выздоровлю, так пригодится.

И Савелий, снова закашлявшись, начал тихонько проталкиваться к лавке.

Не умею вам сказать, насколько удалась Ватрушкиным эта операция и сколько именно человек из фабричных купили себе нетреплису, но, судя по тому, какое количество тюков было вытащено из амбара, где он хранился, надо предполагать, что его отмерено было в этот день достаточное количество. Да, уж значит, что хорошо было отмерено: вечером, когда я пришел в больницу, на вечернюю визитацию, ко мне явились все три приказчика Никанора Петровича, разбитые и усталые до такой степени, точно как они целый день пни в лесу вырывали.

— Что вам, братцы? — спросил я у них.

— Сделайте милость, дайте нам мази али спирту какого-нибудь, господин доктор, руки помазать...— отвечали приказчики.

— А что?

— Да что, смерть... одеревенели совсем, так и ноют... не свои точно... Ведь, помилуйте, целый день точно машины работали.

— Вот так торговля!

— Да уж сказать, что торговля! Вот уж десять лет при лавке находимся — никогда и сотой доли этого не было.

— А Никанор Петрович?

— Хозяин? Э-э-э... тот совсем врастяжку лежит... в баню, кажись, собирается...

Обстоятельство это, то есть продажа нетреплису, придало и самому иностранному принцу особенный интерес в глазах фабричных. До сих пор они очень холодно смотрели на приготовления к его приезду, а теперь они создали себе об нем чуть ли не сказочное понятие, как о человеке, перед которым без нетреплисовой поддевки показаться нельзя. Ведь этот день между ними только и толку было, что про иностранного принца.

Вышедши из больницы, я слонялся, по обыкновению, по фабрике. Возле одной из кухонь сидело на завалинке несколько человек фабричных, и я услышал следующий разговор.

— И что это, братцы, за прынец такой настранный? — говорил один из них:— ведь это царский сын, значит?

— Уж вестимо царский сын, оттого он прынец и называется,— отвечал другой.

— Хорошо; да из какой он, тоись, земли-то приехал, ты мне скажи,— ведь у него таперича все же своя земля должна быть.

— Да ведь хозяин сказывал же, что азиат, вишь, какой-то, ну, стало, из своей земели и приехал.

— Из азиатской, стало? Это значит, дальше туда, за туречину?

— Нет, уж это не за туречину — это почесь за самый Капказ выходит, где одноглазки живут.

— Ишь ты... Значит, братцы мои, ведь там тоже какие-нибудь царства есть — не иначе?

— А то как же? Вестимо есть.

В это время к кучке фабричных подошел человек с бородкой и в длиннополом сюртуке. Это был известный мне причетник из фабричной церкви, Ефим Архипыч, преподававший в тамошнем училище какой-то учебный предмет и вследствие того пользовавшийся между фабричными сильным ученым авторитетом.

— Мир вашей компании! О чем беседу ведете? — спросил он, приподняв с головы засаленный суконный картуз.

— Да вот толкуем промеж себя, Ефим Архипыч, какие, примерно, находятся царства в азиатской земле,— отвечал один из собеседников: — про настранного, значит, прынца толкуем. Ты ведь вот происходил науку-то, чай, знаешь...

Хотя Ефим Архипыч и был выгнан из второго класса семинарии за леность и тупоумие, но все-таки успел хватить немного книжной премудрости, имел, стало быть, смутное понятие и об Азии, но только не из географии, а священной истории.

— Да какие ж там царства...— отвечал он, растопырив пальцы и глубокомысленно наморщив брови: — Вавилонское царство, я знаю, есть там, а больше, кажется, никаких нет...

— Стой! — крикнул тот же фабричный, остановив Ефима Архипыча:— это, значит, то самое место, где столпотворение было?

— По писанию так!

— Так слышите, ребята? Вон он, прынец-то, откелева, из самого столпотворения, значит.

— Да поди-кась вот не скажи Ефим Архипыч, вжись бы не узнать,— заговорило несколько голосов.

— Ну, хорошо, Ефим Архипыч, хорошо... во што...— перебил прежний фабричный:— Погоди... это прынец, выходит, хорошо, а кто ж там царствует таперича,— отец его, значит? По имени-отчеству-то не знаешь как?

— Ну, братцы, и лгать не хочу, не слыхал. Царствовал

там допрежде этого царь Навуходоносор, которого бог за гордость и сребролюбие в дикую корову превратил, а теперь не знаю, потому этому время давно.

— Еще, стало быть, до француза?

— Дальше.

— Так должно полагать, он, прынец-то этот, внучек доводится тому-то... как ты сказал? Худоносову-то?

Ефим Архипыч отвечал ни да, ни нет. Фабричные потолковали между собой и тут же решили единогласно, что принц, которого ожидали на фабрику, должен быть принц вавилонский, внучек знаменитого царя вавилонского Худоносова.

Я, по обыкновению, ночевал на фабрике. Улегшись после ужина в постель, я долго думал обо всех этих происшествиях. И смешно мне было, и горько, и досадно, но пуще всего занимал меня вопрос: что такое задумали Ватрушкины насчет фабричных женщин? Любопытство меня мучило, но я ждал недолго; загадка объяснилась не дальше, как на другой день.

Рано утром я был разбужен страшным шумом под окнами моей комнаты. Я надел халат и выглянул в окно. Возле крыльца толпилось человек двести фабричных баб и девок с какими-то холстинными свертками в руках и кричали все вместе так, что в ушах трещало. На крыльце стоял Сидор Астапыч и, в свою очередь, горячился, топал и махал руками, стараясь восстановить порядок. Бабы не унимались.

— Тише, мерзавки вы эдакие! слушать не стану... говори которая-нибудь одна,— кричал Астапыч.

Наконец бабы мало-помалу угомонились.

— Ну, что вы хотите? О пустяках каких-нибудь пришли толковать?

— Да помилуйте, Сидор Астапыч,— отвечало несколько голосов: — что же это в самом деле такое?.. Для чего ж это нам холстину-то насильно навязывают?.. Уж хоть бы по одному, а скроили по три фартука, да и всучили насильно... За них ведь, чай, надоть деньги платить... В книжки вон записали... Сделай милость, прикажи назад взять, а нам ее и даром не надоть.

Оказалось, что операторы, нарядивши для приезда иностранного принца мужчин, увидели самую логическую необходимость нарядить и женщин. Решено было украсить всех их цветными платками и прикрыть белыми холстинными фартуками с длинными рукавами, которые тотчас

же были скроены и, не спрашивая согласия, розданы по рукам, со внесением в книжки.

— Да вы поймите... дуры...— уговаривал их Астапыч: — ведь губернатор... принц иностранный...

— Смотри, пожалуйста... велико нам дело до твоего прынеца настранного!..— заговорили опять вдруг все бабы.— Не токма прынец — хошь бы сам окружной приехал... нам-то что до него? Он сам по себе, а мы сами по себе. Он ведь не будет вам за нас деньги платить. Жалованье-то наше не бог знает какое... для всех для них фартуков не нашьешься. Его вон, жалованья-то, на харчи насилу хватает...

Убедившись, что принцем баб не застращаешь, Астапыч прибегнул к другому фортелю.

— Это не от нас,— кричал он, заикаясь,— приказано, чтобы на всех фабриках такие фартуки были, потому что без них вы беспрестанно в машины попадаете. Для вашей же пользы делается, дуры вы этакие... А впрочем, кто не согласен,— прибавил он, разгорячившись,— так долой с фабрики убирайся... На ваше место найдутся — охотниц много.

— Скажите, пожалуйста, важность какая! — снова заговорили на разные голоса бабы:— не уберемся, что ли? Да хошь сейчас! Ишь угрозил чем... важное кушанье фабрика-то ваша... умны, знать, больно... изволь, вишь, у них всю лавку скупить! Уж коли приказано, чтоб были такие фартуки, так мы в состоянии их из своей холстины сделать... У нас на это своя холстина есть... Зачем же нам на нее в контору-то деньги платить? Ведь это разоренье — да, право, ей-богу! И штрафы-то вычитают за каждую малость, и харчи-то из лавки бери, да уж на поди,— и другие товары стали навязывать... Эдак мы, пожалуй, и к самому хозяину с жалобой пойдем! Да, право, на что это похоже?!.

Крик усиливался постепенно. Бабы храбро напирали вперед; две из них вскочили даже на крыльцо и чуть не в нос совали Астапычу своими холстинными свертками. Астапыч заметно трусил и начал понемногу ретироваться к двери.

— Что это? бунт! разбой! Я сейчас за становым пошлю! — говорил он, пятясь к дверям.

— Важное кушанье! — кричали бабы: — да хоть за самим исправником — так мы и испужались, смотри-касы!.. Жидоморы эдакие, право, жидоморы!.. половину анбара *нетреплису* сбыли, да, видно, мало — хочется еще всю лавку сбыть!..

Бабы еще сильнее наперли вперед; Астапыч юркнул в дверь и запер ее на крючок.

Чтобы не конфузить его, я притворил окно, едва удерживаясь от смеху.

— Экий народ! — проговорил он, вошедши ко мне в комнату и задыхаясь от злости: — приедет становой — человек двадцать непременно надо...

— И действительно, стоит, — отвечал я, усмехнувшись: — помилуйте, пользы своей не понимают... И какие они буянки у вас...

Не знаю, как понял мои слова Астапыч.

— А-а... вы еще, верно, не знаете этого народа... — продолжал он, накладывая трубку: — зарежут... что вы думаете... Меня ведь уж раз хотели утопить в Проворке... бог только спас...

— Что вы?

— Истинная правда... лет пять тому назад... Так, батюшка, окрысились... топить, да и кончено дело...

Я с любопытством ожидал, что он мне расскажет об этом происшествии, но в это время в комнату вошел Никанор Петрович с подробным отчетом о продаже *нетреплиса* и расстроил мои надежды. Я оделся, выпил стакан чаю и пошел в больницу.

Бабы все еще толпились возле крыльца. Которые побойчее и посердитее продолжали еще кричать, с азартом размахивая руками, другие, поблагоразумнее, рассчитавши, что лучше оставить за собой холстину, нежели идти долой с фабрики, горько плакали, вытираясь рукавами и фартуками, а одна какая-то бедно одетая бабенка, усевшись в сторонке на камешке, выла, как говорится, на голос, обращаясь по времени к ребенку, которого в то же время кормила грудью.

— Соси, касатик, соси, — говорила она, всхлипывая, когда я проходил мимо: — не разживутся они на нашу трудовую копейку... Что облито слезами, впрок не пойдет... Не на самих, так на детях, на внуках, па правнуках отзовется... умрут, так не будет, может статься, куска вот и эдакой холстины, чтоб грешное тело прикрыть... Соси, касатик, соси...

Баба снова завыла, я ускорил шаги.

Возвращаясь из больницы, я нагнал на дороге священника, шедшего куда-то со всем причтом.

— Куда это вы, батюшка? — спросил я у него.

— В лавку, молебен служить, — отвечал священник.

— По какому же это случаю?

— Да не знаю, право: хозяева наши, ведь вам известно, купцы, следовательно, ни одного дела не начинают и не оканчивают без благословения божия...

ОЧЕРК V

Приезд губернатора.— Фейерверк

Недели через две после того опять мне надобно было отправиться на фабрику. Я ехал, сгорая любопытством узнать, между прочим, чем разрешилась там задача насчет приезда иностранного принца,— как вдруг на дороге обогнал меня становой, летевший куда-то сломя голову на тройке в своем маленьком тарантасе.

— Куда? — крикнул я ему.

— Встречать губернатора! — отвечал становой, махнув рукою по направлению к фабрике, и исчез в облаке пыли.

«А-а! вот в раз-то попал,— подумал я: — то-то катавасия-то там теперь происходит. Вероятно, никто не сомневается, что вместе с губернатором и принц приедет».

И действительно, въезжая на фабрику, я заметил, что там все было в страшном волнении. Бульвар, находившийся перед хозяйским домом, у которого по всем расчетам должны были остановиться экипажи, был усыпан народом. Многие из фабричных были в *нетреплисовых* поддевках. Старые и малые — все сбежались смотреть иностранного принца.

Любопытнее всего было для меня взглянуть на триумфальные ворота, о которых в последний мой приезд на фабрику толковали очень серьезно; однако ж затея эта почему-то не была приведена в исполнение — ворота оставались те же самые, и возле них стоял тот же сторож, отставной солдат, только не в полушубке, как обыкновенно, а в форменном военном сюртуке, украшенном галунами и приличными регалиями.

Я проехал прямо в больницу. Там было все, как я уже сказал, в изумительном порядке, так что если бы читатель мой мог заглянуть в нее в это время, так подумал бы, что я бессовестнейшим образом наврал про нее все, что было сказано во втором моем очерке; только мне показалось, что больных было уж слишком мало.

— Неужели больных только и есть у нас в настоящее время? — спросил я у фельдшера.

— Как можно столько! — отвечал пренаивно Николай

Васильич.— Человек восемнадцать с оторванными пальцами Сидор Астапыч спрятать велел...

— Для чего ж зто?

— Да как же иначе-то? Ведь если губернатор заметит, сохрани бог, что так много изуродовано народу, так за это знаете что... и фабрику-то, пожалуй, закроют...

— Куда ж вы их спрятали?

— Да вон на чердак заперли... Пусть их там подежурят...

Мне стало смешно и досадно.

— Ничего,— сказал Николай Васильич.— У нас уж завсегда так: как только приезжают кто-нибудь из эдаких да если изувеченных много — всех их не угодно ли на чердак, голубчики...

Я только пожал плечами.

Осмотревши больницу, я тоже пошел поглазеть на приезд губернатора и, не желая показываться ему в моем дорожном костюме, вмешался в толпу.

На дворе хозяйского дома распрягали чью-то дорожную карету; в фабричные ворота въезжал потихоньку тарантас станового. Оказалось, что, пока был я в больнице, губернатор приехал и тотчас же отправился осматривать фабрику.

— Ну, а принц-то иностранный с ним? — спросил я у одного из фабричных.

— Нет, господин доктор, только прождали понапрасну,— отвечал тот с досадой.

— Что ж так?

— Да говорят, что сегодня, вишь, в ночь персидский салтан зачем-то его к себе в туречину вытребовал; вон кучер станового рассказывал.

— Укатил, значит?

— Фю-ю... на курьерских!

— Испужался, должно, чтоб не втянуло в машину,— прибавил другой фабричный, повернув ко мне голову.

— Не то вы говорите, ребята,— подхватил третий: — он, стал быть, обиделся, что хозяева трухмальных ворот ему не выстроили.

И фабричные, смутно понимая, что они кругом одурачены, принялись один за другим фантазировать на зту тему и ввертывать в нее словечки одно другого полновеснее.

В зто время к тому месту, где я остановился, подошел еще фабричный, одетый в новую поддевку, и уж порядочно подгулявший и, как оказалось потом, с досады...

— Нет... послушай... Тимоха!... ты растолкуй мне во што...— проговорил он, толкнув кулаком в грудь одного

из товарищей: — зачем я таперича нетреплисовую поддевку сшил?.. а?.. для коего черта я ее сшил? Принец, вишь, настранный, сказали, приедет... Ну, давай сюда настранного принца!.. а?.. надул шельма Астапыч!.. Нет, погоди... Стара штука... давай сюда настранного принца!.. Знать ничего не хочу!.. давай его сюда, а либо поддевку назад бери!.. Ах, черт его душу... Вишь, ведь каку пружину подвели... а? Тимоха... пружину те каку подладили... Ах ты... че... нет, погоди... давай сюда настранного принца!

— Да, уж нечего сказать, подвели пружину! — подхватило несколько голосов: — важную!

— Саму настранную, значит.

— Салтанскую!

Между тем подгулявший фабричный шумел все громче и толкал в грудь то того, то другого, повторяя:

— Нет... постой... ты растолкуй мне, зачем я себе нетреплисовую поддевку сшил?.. Вот она... Зачем я ее сшил?.. Нет, погоди!..

...Кончилось тем, что русский расквасил турке нос, и зрители, утешенные этим маленьким спектаклем, стали мало-помалу расходиться.

Губернатор был у нас человек новый. Видеть его мне никогда не случалось. Слышал я только, что это был человек строгий и даже немного сердитый, который не любил давать потачки даже таким богачам, каковы были Ватрушкины. Чтобы взглянуть на него, я тоже отправился на фабрику.

Когда я пришел, губернатор успел уже осмотреть рабочие корпуса и направлялся в училище, которое тоже существовало на фабрике. Его сопровождали: становой, одетый в полную парадную форму, младший Ватрушкин, Астапыч и несколько человек купцов, родственников Ватрушкина, нарочно съехавшихся по этому случаю на фабрику.

Отделившись немного от этой свиты, важно выступал какой-то человек в черном фраке, солидных лет и величественной наружности, которому все оказывали самое подобострастное уважение. Он нес, небрежно перекинув на руку, пальто на стеганой шелковой подкладке. Я спросил про него у одного из приказчиков и узнал, что это был любимый камердинер губернатора, без которого он не предпринимал ни одного дальнего путешествия.

Проходя мимо небольшого каменного лабаза, на дверях которого висел пятифунтовый замок, губернатор вдруг остановился и показал на него пальцем.

— Это у вас для какого ж назначения? — спросил он Ватрушкина.

Тот вспыхнул, потом побледнел, переглянулся с Астапычем и заметно смешался. Дело в том, что в этом лабазе была ссыпана у Ватрушкина ржаная мука, из которой пекли для фабричных хлебы, но мука такого сорта, что прежде нежели она поступала в употребление, то огромные комья, в которые она свалялась от времени, разбивали обыкновенно дубинами.

Губернатор ожидал ответа.

— Сидор Астапыч! что у нас тут? Я, признаться, запамятовал, ваше превосходительство,— отвечал Ватрушкин, обращаясь то к губернатору, то к Сидору Астапычу.

— Я... право... и сам...— проговорил, заикаясь, Астапыч: — известка... должно быть... кажется, что в последний раз сюда известку сваживали...

Но губернатор почему-то пожелал видеть и известку. Астапыч засуетился, засовался в разные стороны; отпер дрожащими руками сарай и растворил настежь двери. К счастью, гроза миновалаа благополучно: губернатор взглянул на огромные массы, действительно свалявшиеся наподобие извести, поморщился, ощутивши не совсем обольстительный запах, плюнул и торопливо отошел прочь; но камердинер нагнулся, взял щепоточку, положил на язык, пожевал, улыбнулся и выплюнул.

Ватрушкин, Астапыч и становой опять переглянулись.

— Ну, а это что у вас такое? — спросил опять губернатор, показывая на вывеску, красовавшуюся над дверьми овощной лавки.

— А это лавка, которая продовольствует фабричных необходимыми съестными припасами,— отвечал Ватрушкин.

— От вас содержится?

— Никак нет-с... помилуйте... как же это возможно-с... ваше превосходительство,— отвечал, опять вспыхнув, Ватрушкин: — совершенно посторонний человек содержит-с... мы в этом случае всячески стараемся, чтоб на нас какого-нибудь нарекания не было со стороны рабочих.

Губернатор вошел в лавку. А как кадка с солониной была на этот раз припрятана куда-то и съестное отделение в лавке было вместо того украшено кадками с янтарным коровьим маслом и аппетитными кусками парной говядины и вообще находилось в самом отличном порядке, то губернатор и остался ею чрезвычайно доволен; однако ж, выходя из лавки, погрозился на Никанора Петровича и сказал:

— Смотри у меня, чтоб провизия всегда была свежая!

На это лавочник отвесил ему дюжину полуземных покло-

нов и пробормотал какие-то несвязные слова, которые показались мне похожими на санскритские.

«Что-то он теперь насчет трактира скажет?» — подумал я, выходя вместе с другими из лавки; но, к величайшему моему удивлению, вывеска с трактира была снята, ставни закрыты, и двери плотно заколочены крест-накрест тесинами.

Несмотря на это, губернатор все-таки обратил на него внимание.

— Это что за строение? — спросил он у Ватрушкина.

— А это прежде было у нас училище, ваше превосходительство,— бойко отвечал Ватрушкин,— да в настоящее время упразднено и переведено подальше; вон в энтот дом-с, что вы изволите видеть.

— Ну, для училища здесь, конечно, не место,— сказал, засмеявшись, губернатор:— слишком уж развлечения много.

— Оно, признаться, покойник тятенька для того его здесь и устроил, чтобы, примерно, школьникам учиться веселее было,— заговорил еще бойчее Ватрушкин: — да после, как стал помирать, так и раздумал,— училище завещал перевести вон в то строение, а тут что-нибудь вроде... так... странноприимного дома устроить...

— Для алчущих и жаждущих,— опять перебил, засмеявшись, губернатор: — подвизайтесь, подвизайтесь, господа, доброе дело...

— Что делать, ваше превосходительство? — проговорил, скромно потупившись, Ватрушкин.— Если мы, примерно, о ближнем будем заботиться, так и бог об нас позаботится... Тятенька покойник и сам завсегда соблюдал это правило и нам завещал.

Губернатор только потрепал по плечу доброго Никиту Самсоныча и приказал вести себя в училище, нисколько не подозревая, что восемнадцать человек увечных сидели в это время на больничном чердаке и смотрели на него в слуховое окно, усердно моля бога, чтоб он ускорил минуту их освобождения.

Наконец губернатор посетил и больницу и отправился обратно в хозяйский дом.

Вся эта история происходила в сентябре месяце. Время клонилось к вечеру; ночи стояли чрезвычайно темные; вследствие чего губернатор объявил, что он ночует на фабрике.

Съехались между тем еще кой-какие лица: прискакал

наш исправник, узнав, что губернатор на фабрике, приехал окружной начальник, бывший случайно в гостях у соседнего помещика, и еще кой-то. Началась суматоха; ужин приготовляли на славу; а как вечер был в этот день необыкновенно хорош, то перед ужином решено было закатить, между прочим, великолепный фейерверк.

Надобно вам сказать, что до фейерверков Ватрушкины были большие охотники. Если когда кто-нибудь из них бывал на фабрике, то не проходило ни одного разу, чтоб не был пущен хоть маленький. Сидор Астапыч был такой мастер этого дела, что, бывало, хоть самого Мореля так за пояс заткнет...

...Надобно заметить, что фабричные не совсем охотно смотрели эти фейерверки; отчасти они уже им и пригляделись, а главное — всегда как-то так бывало, что перед каждой подобной потехой человек полсотни из них непременно подвергались денежному штрафу. Непременно что-нибудь случалось: или пропажа какая-нибудь, или к обедне не являлся кто-нибудь из фабричных — обстоятельство, на которое сильно налегал Сидор Астапыч,— или что-нибудь подобное, так что фейерверки и денежный штраф составили, наконец, нечто общее в их воображении. Перед приездом губернатора штраф тоже не замедлил последовать. Оштрафовано было за разные разности человек двести, но, к счастью, большею частью из тех, кто не покупал *нетреплису*. На фабрике по этому случаю произошло даже некоторое волнение, которое Ватрушкин насилу успокоил, и то с помощью станового. Стало быть, удовольствие зрителей и на этот раз было отравлено. Несмотря на это, народу, как я уже сказал, сошлось пропасть. Каждый рассчитывал, что фейерверк, предпринятый в честь губернатора, должен быть не совсем обыкновенный. И действительно, Сидор Астапыч превосходил самого себя. Бураки, ракеты, римские свечи и жаворонки летели в воздух в неимоверном количестве и лопались там с таким оглушительным треском, что, вероятно, в нашем уездном городе было слышно. Лучше же всего удавалось Сидору Астапычу огненное колесо с вензелем Ватрушкиных, которое вертелось с изумительной быстротой и не раз с балкона вызывало громкое браво. Несмотря на это, фабричные нисколько не сочувствовали артисту, и каждый раз, когда дым немного расходился и длинная фигура Астапыча являлась на освещенном фоне,— пускали в нее ракеты другого рода...

— Вишь, лешие эдакие, право, лешие! Штрафных денег набрали, да теперь на них и потешаются!..— толковали в толпе.

Жаворонки летели между тем один выше другого.

— Мишутка! гляди-кась, эвон твой двугривенный-то летит! — острили фабричные:— их ты! на монетки рассыпался! беги скорей — подставляй шапку!

— Четвертак, четвертак чей-то, ребята! Ну, и этот рассыпался... Таперь Астапыч и рад бы простить, да уж нет его, братцы, ау!

— Тетка Аксинья! гривенник-то твой, что ли, это летит? лови, дура!

— Ребята, ребята, поддевка чья-то! Фю-ю... в туречину улетела! Ну!

В то же время стоявший впереди меня мужичок из соседней деревни охал, кряхтел и говорил, почесывая затылок при каждом выстреле:

— Ох, уж дались им эти феверки... откупиться бы, кажись, рад от них... бедовое дело...

— А что? — спросил я.

— Да как же, ваше благородие? — отвечал мужичок. — Как таперь начнут пушшать эвту самую ракиту, то все коровы у нас в деревне... так... не при вас будь сказано... все, тоись, нутро-те из них, кажись, повылезает... кажинный божий раз, право, ей-богу.

— Отчего ж это?

— Ну, пужаются, значит... думают, примерно, что из пушек палят, потому корова таперича не то, что лошадь,— скотина она, значит, к шуму непривычная... как выпалит эфтой ракитой, так они и тово...

Явление это показалось мне чрезвычайно интересным. Я заговорился с мужичком и не заметил, как фейерверк кончился и народ вполовину разошелся...

...Фейерверком уж и позвольте мне, читатель, закончить эту книжку фабричных очерков.

I

Был у нас на посаде мужичонка один — сапожник. Мы его взяли и прозвали Шкурланом, потому он того заслуживал. И утром рано, и ночью поздно все, бывало, пьяный шатается по посадским улицам и орет — все это он одну и ту же поговорку орал:

— Кто еси,— говорит,— из всех вас, посадских, умный человек есть? Выходи,— кричит,— я с ним потолкую...

Только выходить к нему никто никогда не выходил — осрамит.

Он к нам из-под Усмани приехал. Сам он был маленький такой, плюгавый, с черными усами, усищи точно очень длинные и густые были, в синем сюртуке, и жена, как он же, маленькая и плюгавая — вся в морщинах, только платье на ней, словно бы и на купчихе, ситцевое и красная шаль на плечах. И прямо это он, только что взъехал в посад, чем бы на постоялый двор пристать, он, благослови господи, с бацуто в кабак и привернул. Пошел он с женою в кабак, а при телеге шесть молодцов таких-то ли бравых осталось, все тоже в вытяжных сапогах, в картузах и в сюртуках синей нанки. Стоят около телеги. Народ тут к ним подходить стал, кое-кто спрашивать их начали:

— Что, мол, вы за люди будете, честные господа? Откуда и куда путь держите?

— Отходите,— это они-то нам говорят,— подальше, покелича тятенька из кабака не вышел. Беда будет!..

Посмеялись мы тут, что они, эдакие-то балбесы, тятенькой своим нас стращают.

Смотрим: выходит это он сам из кабака с крендельком, картуз заломил на самый затылок, у жены штоф вина в руках, сыновей тем вином обносить она принялась.

— Ну,— говорит,— пейте, ребята, да фатеру скорее искать, потому я спать захотел.

А как раз подле кабака старуха одна сумасшедшая в избушке жила. Синей Каретой мы дразнили ее. Не было у ней ни роду, ни племени, мирским подаянием пропитывалась. Так урлапы-то его, он в кабаке прохлаждался, уж пронюхали, что некому защитить старухи, сейчас ему и докладывают:

— Есть, мол, тут, тятенька, старушка одна убогонькая, Синей Каретой зовут, так к ней можно пристать.

Поселились и скоро старуху совсем из ее жилья вон выкурили. Посылал становой сотских сначала выгнать Шкурлана, так он здорово приколотил сотских и сказал им, что дом его и чтобы становой в чужие дела не совался.

Только удивился же становой этому мужичонке и сам к нему с понятыми нагрянул. Весь посад сошелся смотреть — что, дескать, будет?

Шкурлан стал так-то перед становым, подперся руками в бока, расчистил усы и говорит ему:

— Пошто,— говорит,— барин, пришел ко мне, когда я тебя в гости не звал? Приходи,— говорит,— когда позову.

— Ах ты такой-сякой! — начал было становой; а у Шкурлана всякий сын свое имя имел: одного он князем Кутузовым звал, другого Паскевичем, третьего Дибичем: «Все, говорит, они у меня главнокомандующие».

Как только принялся его ругать становой, он сейчас и говорит Дибичу:

— Дибич! Выведи его вон!

Дибич без разговора взял станового за плечи и вывел. Сотские и кое-кто из посадских попробовали было заступиться,— знатно же, однако, те заступники от Шкурлана с сыновьями по шеям получили.

— Я,— кричал Шкурлан,— один с моими молодцами могу таких два посада куда хочешь загнать. Я,— говорит,— всякого человека, какой меня притеснять станет, беспременно искореню, потому никого не боюсь, и дети мои, кроме меня, никого не боятся.

И жена тоже, бывало, поддакивает ему:

— Точно,— говорит,— мы никого не боимся!

Вот семейка какая собралась!

«Угодит теперь Шкурланище в Сибирь за обиду барину!» — подумали мы, посадские, после такого случая: ан не

туда глядишь! Написал про него становой окружному, что, дескать, так и так: ничего не могу поделать с Шкурланом, потому, говорит, ребята у него здоровы очень,— весь посад они разгоняют.

А Шкурлан только что заслышал про это письмо, сейчас мешок с краюшкой хлеба на спину навалил, закурил трубку — махонькая у него трубка такая была, с расписным коротеньким чубуком — и прямо в губернию. Там господа разные наехали к губернатору, и он с ними вместе затесался к нему и ждет, когда выйдет начальник, а сам так-то ли сердито усы покручивает.

Дошла очередь до него.

— Кто ты? — спрашивает его начальник.— И что тебе нужно?

— А есмь я,— отвечает Шкурлан,— государственный крестьянин и сапожник; а нужда моя в том вся, чтобы ты прогнал из посада станового такого-то, потому он казны государевой расхититель, а миру всему великое зло. Вот,— говорит,— что мне нужно!..

Господа-то даже, какие тут были, сказывают, остолбенели все, глядя, как он так вольно говорит с генералом. Нахмурился и губернатор тоже и долго смотрел на Шкурлана сердитыми глазами, а потом проговорил:

— А что ты,— говорит,— Шкурланище ты эдакой, в острог, что ль, захотел, когда мне такие грубости говоришь?

И Шкурлан тоже оборонился смешком на свои усы и сказал генералу:

— Так я же,— говорит,— еще скажу тебе, что я в острог не пойду, а пойду от тебя прямо в Питер к самому императору жаловаться, и запретить этого ты мне не в силах, потому я,— говорит,— кроме как одного господа небесного, никого не боюсь,— и сейчас же мешок свой навалил на спину и пошел.

Все господа не утерпели и засмеялись — и сам засмеялся.

— Вот,— говорит,— какой озорной мужичонка! Сроду таких не видал. Воротить его,— говорит,— ко мне в кабинет. Мы после с ним потолкуем.

— Отчего не потолковать? — с усмешкой сказал Шкурлан.— Потолковать с начальником я всегда могу.

Неизвестно, что они с губернатором говорили, только еще не дошел до посада Шкурлан, а становой наш уже получил из губернии приказ, что, дескать, быть тебе, становой такой-то, без службы.

II

С тех пор вона какой почет стали мы все Шкурлану отдавать. И как он завсегда в кабаке с своею женою пребывал, так чуть только кто ввернется туда, беспременно и им от своих трудов праведных либо шкалик, либо косушку жертвовал. А Шкурлан это одну руку запустит в карман, а другой все усы старается за уши заложить и говорит:

— Понимайте теперича, почему я завсегда пьянствую. Потому — все вы дураки и мне с вами поделать ничего невозможно...

— Это точно! — непременно подтвердит жена.

И, коли правду говорить, ежели бы он не пил так безобразно, многих бы он, по своему разуму, за пояс мог заткнуть. Одно его мастерство чего стоило! Какие хочешь сапоги, барские, или теперича купецкие — вытяжные, или просто мужицкие, такие-то ли всегда удирал он — смотреть любо! Только редко же этот Шкурланище проклятый работу свою до конца доводил. Всегда почти пропивал он товар, какой ему давальцы принашивали.

— Зачем ты, Шкурланище, мой товар пропил? — начнут его спрашивать.

— А затем,— скажет,— что мне так захотелось...

Жаловаться на него никто уж и не жаловался, потому не помогали жалобы. Всех начальников он умел своими разговорами рассмешить и милости себе всякие от них приобресть. Пробовали тоже своим судом расправляться с ним,— одна драка всем селом выходила, потому заступалась за него жена с сыновьями и еще пономарь один забулдыжный тоже заступался,— Катериничем его прозвали,— так они весь посад одни одолевали. Ну, однако, изловчились и мы, под Шкурланову душу подделались, не скоро только. Теперича, ежели он у тебя один товар пропил, сейчас же другой ему принеси и как можно усерднее попроси, чтобы он этого товару не пропивал.

— Ты уж, мол, тово, Григорий Кузьмич, хошь из этого сшей, а за прежний сочтемся.

— Вот это,— скажет Шкурлан,— я люблю. Я доверие очень люблю,— закричит,— и сам всем готов доверять, только нечем.

И тут же отдаст приказ сыновьям получше сшить сапоги.

— Слушаем, тятенька! — ответят сыновья и примутся за работу так, что стружки летят. Славные они у него ребята были — так отца с матерью слушались, что всем нам завидно было.

— Поди же вот,— толковал посад,— отец с матерью пьяницы, а дети исправные. Все они у него, кроме как грамоте и сапожному мастерству обучены были, всякий от себя самоучкой еще — кто на гармонике, кто на гитаре или на рожке выучились. Выйдут, бывало, летним вечером, как работа кончится, на улицу, сядут все около избы и примутся они так-то сладко песни играть. Ни одного безголосого во всей семье не было! Мать это у них такая-то старуха мозглявая, взглянуть не на что; а как почнет, бывало, «Незабудочка-цветочек» тонким голосом оторачивать — заслушаешься. И Шкурлан сам всем этим затеям первым запевалой считался. Поначалу-то тенорой пустит-пустит, а там всю песню на басе держит. Откуда только такой голос у него брался?

Со всего посада и из слобод даже приходил народ слушать их.

Года три или четыре таким-то манером жил Шкурлан у нас на посаде. И к пьянству его, и к оранию по ночам, и к руготне все мы привыкли и сердиться на него перестали, потому как первое дело: совсем он пропащий мужичонка был, другое: много тоже и добра всякого по посаду и по окрестным селам он делал. Теперича ежели богатый купец какой очень грабить народ принимался, или становой, или писарь нажимать чересчур почнут, Шкурлан сейчас с приятелем своим понамарем придут к нему под окна и такие-то рацеи прочитают ему — свету божьему не обрадуется.

— Отойдите только от окон, ребята, да срамить перестаньте,— умаливает их такой человек.— Я,— говорит,— вас водкой, как угодно, ублаготворю.

Особенно так-то они благочинного посадского донимали. Дочерям его не то что на улицу, а из дверей даже нельзя было показаться, потому пономаря очень обижал благочинный, так он даже охальничал перед ним.

— Ну, Катериныч! — грозил понамарю благочинный,— уж похлопочу же я, чтобы тебе лоб забрили.

— А я,— говорит пономарь,— на всякую минуту готов, потому лучше мне у черта в аду жить, чем у тебя под рукою.

Плюнет благочинный, слушая такие понамаревы речи, и уйдет прочь; а Шкурлан с приятелем со смеху покатываются и про все его тайности крещеному миру во все горло орут.

— Мы тебя,— кричит,— пропечем! Сунься-ка ты на нас.

Устанут кричать, стоявши под окнами, возьмут лягут насупротив дома и, лежа, ругаются. Так до тех пор и не отходят, покуда им либо водки, либо денег не вышлют. А вышлют, так они насмеются.

— А,— скажут,— черти поганые! Вином хотят неправды-то свои смыть. Небойсь ничем их не смоешь,— насмеются и отойдут, а пономарь всегда в таком разе каит запевал.

А особенно умели они отхлопатывать от рекрутчины ребят, каких мир, либо по их бедности, либо по сиротству, без очереди заедал. Придет к ним такой горемыка, купит вина четверть, бумаги, перо, сейчас пономарь за письмо. Так это все чудесно высшему начальству он подведет, что многих из службы назад ворачивали, и миру большой нагоняй выходил. А бывало когда, что и высшее начальство с миром заодно на тех горемык выходило, так писаки-то наши на конце письма подписывали, что, дескать, ежели вы, ваше благородие, парня Ивана Лучину, занапрасно забритого, не ослобоните, мы в ту же пору к самому батюшке царю в Питер жаловаться на вас пойдем. И сейчас же оба подпишутся к письму.

— К сему,— говорят,— прошению посадский пономарь Кузьма Лукич Забубенный и государственный крестьянин и сапожник Григорий Кузьмич, по прозванью Шкурлан, руки приложили.

После таких писем многих парней освобождали. Разве уж такого только не отхлопатывали они, кому на роду написано быть в солдатах, и за такие свои хлопоты, кроме как одного вина, подарков никаких не принимали.

Поэтому-то, всего больше, видючи в нем такую добрую душу, мы и не очень чтобы мешали Шкурлану пить у нас на посаде. Только и прослышали мы в это время про набор.

— Большой набор будет! — стращали нас городские приказные.— Три земли на нас поднялись. С эдакой махиной надобно поправляться.

«Ну,— думаем,— большой так большой. Знать, такой следует»,— а сами, кого надобно было, снаряжаем заране, чтобы были готовы на всякое время и на всякий час, потому не на шуточное дело молодцы наши шли и не на день, не на два...

Были же те слухи как раз перед Севастополем.

Повестили наконец к жеребьям, а там уже и сдавать повезли, а у Шкурлана, года с три прошло ли еще, как племянник в солдаты ушел, и очереди за его семейством покуда не значилось.

— Счастлив,— толкуем промежду себя,— этот Шкурлан. Шесть орлов каких вырастил, а вот, поди ты, все дома сидят.

Смотрим так, однажды поутру Шкурлан со всеми сыновьями куда-то в дорогу собрался. Идет он впереди ребят и трубку курит, а сам такой скучный, повесил усы и не пьян. Старуха их провожает, рекой разливается.

— Куда, мол, собрался, Григорий Кузьмич? Ай место где облюбовал — выселиться хочешь?

— Прощайте,— говорит,— братцы! Иду,— говорит,— я ребят в солдаты отдать всех до одного человека, потому враг на нас идет многочисленный,— говорит,— аки звезды небесные.

И пономарь Кузьма с ними же шел.

— И меня,— говорит,— православные, не поминайте лихом, а я вас совсем поминать не буду, потому надоела,— смеется,— мне дурь ваша. Посмотрю, не лучше ли там будет?

«Шутят они! — подумали мы.— Должно быть, собрались куда-нибудь на охоту либо на рыбную ловлю».

Какая же, однако, шутка вышла? Ведь в самом деле всех ребят и с пономарем Шкурлан в солдаты сдал! И так он через такое свое дело всему губернскому начальству понравился, что много то начальство и ему и ребятам денег надавало. И выпросил он, кроме того, позволение быть его детям и пономарю всем в одном полку и в одной роте.

Хотели было в гвардию таких молодцов представить; упросил Шкурлан, чтобы их прямо в сражение пустили.

— На врагов,— говорит,— я их привел.

Вышла ему от начальства письменная бумага — благодарность; а он пришел домой, повесил этот лист в избушке Синей Кареты и запил.

Долго не верила Шкурланиха, чтоб он всех до одного детей отдал в солдаты. Все думала, что вот-вот хоть один вернется назад, хоть младшенький; а как увидела, что нет оттуда возврату, тоже запила вместе с мужем.

Бывало, и смех тебя берет, и печаль, как она, словно канка, у которой каныши заблудились, по посаду пьяная ходит. Нагнется она, сугорбится, истерзанная вся, и плывет, а сама бурчит что-то и руками разводит; а шаль ее красная спустится с одного плеча на землю и волочится за ней.

Недолго только проходила Шкурланиха таким манером. Вскорости умерла; а умираючи, на чем свет стоит мужа ругала за то, что он ее с милыми детушками разлучил.

Пришли как-то кое-кто взглянуть на умершую, а Шкурлан с ней все равно как с живой разговаривает, потому очень уж пьян он был в это время.

— Глупая! — бормотал он.— Своего счастья не знаешь. Тебе там веселее будет!.. Я бы и сам давно хотел помереть, да смерть нейдет...

И все это тихо он бормотал, не то чтобы, как прежде, горлопятил; жалость большая брала, глядя, как он одиноким

остался. А в избушке такая-то жуть, такая-то бедность! Печка совсем развалилась. Синяя Карета, отрепанная вся, в лохмотьях, в морщинах, забралась на нее и, словно зверь неразумный, смотрит на всех и зубами сердито щелкает...

III

Тише воды, ниже травы Шкурлан сделался, когда своей семьи лишился. По целым дням, бывало, сидят они с Синей Каретой в ее избушке и друг на друга смотрят. Мальчишки посадские найдут к ним в избу, смеются-смеются над стариками и не добьются от них ни единого слова. И только тогда, когда темная полночь весь посад спать укладывала, соседи слышали, как выл Шкурлан:

— Чады мои, чады, что я с вами сделал?..

Подсматривали за ним соседи потихоньку, так видели, как он в это время по земле катался и волосы на себе рвал. А днем опять засядет в свою берлогу и сидит там, не сходя с места, печальный такой, седой, облыселый. Видят посадские, что не только старики не могут себя прокормить своими руками, а даже и по миру не в силах ходить, стали им хлебца носить, водицы, кваску...

— Что же ты, Григорий Кузьмич, сидишь здесь? — старики его спрашивали, когда он мало-мальски очувствуется.

— Смерти,— говорит,— жду, милые мои! Авось она унесет с собой мое горе великое, какое я всю жизнь мою в кабаках пропивал, да не пропил!..

А сам так-то ли горько плачет, словно река разливается.

Дивились мы на него немало и думали: про какое горе он говорит? Человек, можно сказать, весь век в кабаках прохдравствовал на чужие деньги, а теперь горюет. Разве по сыновьям плачет, так ведь сам он их отдал в солдаты.

А горе у него, должно быть, в самом деле великое было, потому истинно, что всеми своими кровями кричал про него Шкурлан по ночам и будил нас... Будил нас теми своими криками страшными, как голос доможила, когда он «к худу» вещает; а мы, слушаючи их, очень ужасались сердцами и господу богу, вставши с постелей, усердные молитвы творили.

(Из очерков русского чернорабочего труда)

Много раз приходилось мне приглядываться к разнообразным видам нашего чернорабочего труда и удивляться при этом чрезвычайной выносливости русской рабочей натуры и способности ее притерпеться к какой угодно обстановке. Видел я, например, нашего землекопа, который за какой-нибудь полтинник в сутки перетаскивает с места на место целую гору земли, более тысячи пудов весом,— и перетаскивает, по-видимому, совершенно безнаказанно для своего здоровья; видел в глинистой шахте того же землекопа, с помятой спиной и ногами, добывающего из земли такие огромные пласты глины, что поневоле удивляешься, откуда у него берется такая силища; видел торфяника, работающего по горло в болотной трясине и по нескольку лет сряду разминающего своим грешным телом гнилые куски торфа; видел, наконец, старика-газовщика, работающего с лишком двадцать лет сряду на газовом заводе в таком удушливом воздухе, в котором я не мог пробыть и десяти минут. Словом, видел я русского мужика за работой в земле, в воде и в воздухе и убедился, что почти все эти работы поставлены в самые невыгодные санитарные условия, при которых работнику приходится расходовать свои силы не столько на самый процесс работы, сколько на борьбу с этими условиями. Но ни одна из работ не бросается так резко в глаза своею разрушительною обстановкою и редко где труд поставлен в такие опасные условия в санитарном отношении, как на литейных заводах. Здесь

мастеровому человеку приходится работать, так сказать, в четвертой стихии — в огне или по крайней мере в адском жару, среди раскаленного и расплавленного чугуна и железа, и в воздухе, постоянно наполненном дымом, чадом и искрами.

Не так давно, в зимний морозный вечер, мне пришлось быть на одном из наших литейных заводов и видеть там эту огненную работу в полном ее разгаре. На не бывалого человека она производит такое сильное впечатление, что, право, дивишься, как сумел освоиться с такой обстановкой привычный рабочий народ. А между тем и там встречаются старожилы, живущие на заводе по многу лет, и там для большинства работников и самый процесс и обстановка работы давно уже успели принять характер обыденности; значит, народ ухитрился притерпеться и к огню и обходиться с ним, как увидим, так же спокойно, как с водою и с воздухом, то есть запанибрата.

Представьте себе широкий деревянный сарай, тесно загроможденный калильными горнами и разнородными машинами, между которыми оставлены небольшие площадки и проходы для рабочих и вообще для путей сообщения. В этих проходах толпится народ, и в разных направлениях шныряют между народом тележки с глыбами раскаленного металла. В самой середине мастерской с громом и воем вертится исполинское маховое колесо паровой машины и приводит в движение множество других — резальных, прокатных, подъемных и прессовальных машин. Все это гремит и мечет искры. Кругом все темно и черно от стародавней копоти, насевшей густыми слоями на стены, машины и людей. Свет прорывается только из мелких скважин в заслонках печей и чуть обрисовывает небольшие группы стоящих возле печей работников. Кое-где зажжены и газовые рожки, но они тускло мерцают в дымном воздухе и мало помогают делу. Вот где-то раскрыли жерло горна, красные струи света прорвались в сарай и на несколько минут ярко осветили и почерневших работников, и весь хаос движения; но закрыли жерло, и тьма стала как будто еще темнее. Вот в другом углу подняли цепями на воздух целую массу каленого железа, и опять все озарилось ярче прежнего, точно солнце какое взошло, а кругом него на далекое пространство густо рассыпались искры... Потом эту светлую массу спрятали куда-то, и в мастерской опять все померкло. Чтобы работникам не было душно и жарко, в крыше сарая разобраны доски, и сквозь эти дыры видно синее небо и светятся звезды. На дворе стоит лютый мороз, но вольный воздух,

проходя по сараю, до такой степени успевает нагреться, что только чуть-чуть обдает рабочих едва заметной прохладой. Но и этой прохладе здесь рады: без нее было бы совсем плохо.

Я между тем с целой компанией товарищей понемногу пробирался вперед между рядами машин и горнов.

— В этих горнах свариваются у нас разные пласты стали, железа и чугуна,— пояснял нам вожатый, сопровождавший нас по мастерским.— Не хочет ли кто-нибудь заглянуть в самое жерло: там, я вам скажу, огонек настоящий!

— Отчего не заглянуть, это любопытно,— ответили мы.

— Извольте, с нашим удовольствием. Ну-ка, Софрон, покажи господам огонек.

Кочегар Софрон, стоявший в раздумье у горна, к которому мы подошли, торопливо взял какой-то крюк и распахнул им заслонку. Оттуда пахнуло на нас нестерпимым жаром; однако я ухитрился-таки заглянуть в нутро, но там до такой степени все слилось в одну огненно-белую массу, что трудно было разобрать что-нибудь, а между тем глазам было больно, и лицо точно кипятком обдавало.

— Сколько же примерно тут градусов? — спросил я.

— Во всяком случае не менее восьмисот, это ведь огонек белокалильный.

— Недурен огонек...

— Зато мы теперича знать будем, каково нашему брату помещение на том свете приуготовано,— заметил, улыбаясь, Софрон и закрыл заслонку.

Этот Софрон сам был вылит точно из железа, до того прокалилось и прогорело его тело от постоянного соседства с огнем. Он был в одной рубахе нараспашку и с черною открытою грудью, по которой сочился пот. Волосы на нем будто спаленные, глаза подслеповатые и опухшие, но зато мускулы богатырские. Мне особенно бросились в глаза его руки, точно обгорелые и обугленные, с растрескавшейся кожей и со следами бесчисленных обжогов. Это — тип литейщика и кочегара. Тут все такие.

— Что брат, тепло тебе тут, у печки-то? — спросил я его.

— Теперь-то что, теперь благодать,— ответил он по-прежнему ухмыляясь.— Теперь хоть с воли-то холодком подувает. А вот летом, так не приведи бог! Тогда бы вы, барин, с нами тут так долго не баловались. Тогда бы...

— Эй, эй! берегись! ожгу! — раздался сзади меня тороп-

ливый крик, и в ту же минуту Софрон сильной рукой оттолкнул меня в сторону.

Я в испуге оглянулся. Трое рабочих с грохотом катили мимо меня тачку, а на тачке лежал огромный кусок прокаленного добела железа. Нас так и обдало от него искрами, светом и жгучим жаром. Кусок подвезли к печи, проворно вдвинули его туда, и опять Софрон повернулся ко мне, как ни в чем не бывало. Все это произошло так быстро, что я не успел опомниться.

— Что же это такое? — спросил я.

— А это, изволите видеть, пакеты для рельсов,— пояснил вожатый.— Они состоят из разнородных пластов чугуна, железа и стали и требуют, значит, различного жара для сварки; вот их и возят от одной печи к другой, пока все эти пласты не сварятся между собою. Тут ведь каждая печь свой жар имеет.

— А вы, барин, на всякий случай оглядывайтесь,— заметил мне Софрон.— Осторожность тут не мешает, неравно опять пакет.

— А бывают несчастия?

— Неровен час, можно ведь и обжечься, особливо с непривычки. У нас тут, слава богу, народ все привычный, и потому несчастия бывают редко. Вот только в прошлом году один новичок попался. Сунулся он впопыхах, с дороги-то, когда пакет везли, да, видно, оторопел и поскользнулся, ну и упал прямо на пакет.

— И что ж?

— Известно, что тут хорошего? Сдернули его проворно с пакета-то, да уж, бедняга, успел прогореть насквозь; с часок этак промучился, да и богу душу отдал. Тут ведь расправа коротка.

Признаюсь, после этого рассказа я смотрел на пакеты с особенным благоговением и старательно посторонился с дороги, когда снова увидел вдали роковую тележку.

Мы прошли дальше к прокатной машине, на которой выделываются рельсы.

Между этими двумя валами устроен целый ряд выемок или дыр, которые, постепенно суживаясь, кончаются отверстием, имеющим форму рельсового разреза. Раскаленные пакеты постепенно пропускаются через две эти дыры, сдавливаются, вытягиваются и таким образом принимают вид обыкновенного рельса. По обе стороны машины стоят прокатчики, самый ловкий и сильный народ на заводе. Вот к маши-

не подвезли тележку с готовым пакетом и с разбегу вдвинули его в первое отверстие; машина подхватила пакет и стиснула его между валами; раздался оглушительный треск, брызнули искры, и железо, извиваясь, вышло по другую сторону валов в виде неуклюжей, но длинной железной полосы. Там прокатчики подхватили ее крючьями, поддели железной цепью, прикованной к потолку, и затем, размахнувшись, вдвинули во вторую дыру. С новым треском прошло железо между валами, а на той стороне ждали его уже другие прокатчики и тем же порядком вдвинули его в третью дыру и т. д. Все это совершается чрезвычайно быстро, и пакет за пакетом прокатывается без перерыва. Я долго любовался на эту оригинальную работу и на ту изумительную ловкость и силу, с какой исполняли ее прокатчики. Действительно, подобная работа требует от работника особенной ловкости и при малейшей неосторожности может окончиться для него очень дурно. Надо заметить, что, когда раскаленная полоса железа проходит сквозь отверстие между валами, из этого отверстия, как из пушки, вырываются в упор работнику миллионы искр, а подчас и небольшие осколки каленого железа. В эту минуту прокатчик должен, что называется, вьюном извиваться, чтобы предохранить себя (особенно глаза) от увечья, и в то же время должен разглядеть сквозь искры и выдвигающуюся полосу железа, чтобы вовремя подхватить ее и отправить далее. Таким образом он в течение целого дня балансирует и извивается, как умеет, корчит страдальческие гримасы и изобретает подчас такие позы, каким, пожалуй, и акробат позавидует. Не забудьте, что при этом он постоянно должен оглядываться и назад, потому что сзади его стоит целый ряд горнов, из которых зачастую вынимают каленые пласты, на которые он при неосторожности может очень легко наткнуться; кроме того, в промежутках между горнами и прокатной машиной постоянно шныряют тележки с пакетами, которых тоже не мешает остерегаться. Приняв все это в расчет, можно судить, до какой степени должен быть ловок, изворотлив и изобретателен прокатчик, чтобы спастись от увечья, угрожающего ему со всех сторон. Что же касается до физической силы, то и она при этой работе нужна недюжинная. Каждый пакет, или рельс, весит средним числом двенадцать пудов, а в течение одного часа прокатчик пропустит через машину до тридцати рельсов, следовательно, он должен передвинуть и перевернуть в течение часа до трехсот шестидесяти пудов раскаленного железа. А в день, значит (считая двенадцать часов рабо-

ты), он передвинет более четырех тысяч пудов — и все это под градом искр, в невыносимом жару и при постоянной бдительности, чтобы не получить увечья.

А между тем эти герои труда с виду вовсе не походят на силачей. Все они тонки и худы, как скелеты, с измученным выражением лиц, с распухшими глазами и с нервными угловатыми движениями. Все они, как видно, до того притерпелись к адской обстановке своего труда, что исполняют свое дело почти машинально. От скуки они иногда разные шутки выкидывают и развлекаются, как умеют. При мне один из прокатчиков в самом разгаре работы, заметив, что сзади него проходит с тачкой какой-то рабочий (должно быть, его приятель), быстро обернулся к нему и под градом искр ухитрился-таки выпачкать ему сажей все лицо, за что и получил от него сердитое прозвание «черта». Затем, как ни в чем не бывало, он с тою же ловкостью подцепил крюком и цепью вылезающий из машины двенадцатипудовый раскаленный пласт, широко размахнулся им над головой и сильным ударом вдвинул в следующее отверстие. Как видите, еще шутят и заигрывают — значит, не совсем еще замерла в них жизнь от такой работы.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я своего вожатого,— насколько жгутся эти искры? Могут ли они, например, прожечь насквозь одежду или поранить тело?

— Если в глаз попадет, будете помнить, могу вас уверить,— ответил тот с своей обычной улыбкой.— Да вот посмотрите, каковы эти искры...

Он остановил первого встречного работника и показал мне его одежду. Она буквально казалась пестрою от множества прожженных дырочек и пятен.

— Это все от искр,— заметил при этом вожатый.— Тут некоторые потому и одежду носят особую, из клеенки или кожи. А иной раз, я вам скажу, вырвется из машины такой кусочек, что, если не увернешься, он сквозь любую одежду до самого тела дойдет. Отчего ж они так и вертятся-то? Тут только гляди в оба, а то беда: с огнем, вы сами знаете, шутки плохие...

— А много ли жалованья получают у вас прокатчики?

— Главный-то приемщик получает в месяц рублей семьдесят, ну а другие, конечно, поменьше. Вообще при прокатных машинах рабочие получают у нас от шестидесяти копеек до рубля в сутки. Плата, как видите, хорошая, но только редко кто выстоит долго при такой работе.

— А что?

— Да так, невмоготу станет, слабеют очень. Иной постоит, постоит, да и просит потом, на перемену, дать ему другую работу; а потом отдохнет опять — на прокатную. Работа-то, изволите видеть, хоть и нелегкая, да выгодная.

Мы отправились дальше.

Вот стоит исполинский паровой молот в пятьдесят пудов весом и под ним исполинская наковальня. Этот молот, как известно, так премудро устроен, что может расплющить и превратить в блин целую гору железа и в то же время по воле механика может ударить по наковальне так нежно, что разобьет только скорлупу подложенного ореха и не раздробит самого ядра. Этот увесистый молот висит над наковальней на высоте нескольких аршин и, по первому движению рукоятки механизма, может сразу грохнуться вниз. Вокруг молота толпятся рабочие, и сейчас, как видно, он войдет в действие. Недалеко от него в огромнейшей печи сваривается масса железа из множества мелких кусков, обломков и обрезков, в печи все они размякнут и даже отчасти слипнутся между собой, а потом их разомнут в блин под молотом, и из этой кучи обрезков выйдет, таким образом, плотная и цельная железная масса, которая и пойдет потом на разные работы. Между молотом и печью стоит подъемная и переносная паровая машина (кран). Вот железная масса уже готова: работники торопливо открыли огромное жерло печи, ловко зацепили крючьями машины за сварившийся кусок, машина завертелась, и кусок медленно поднялся кверху, брызгая во все стороны искрами и обдавая всех кругом невыносимым жаром. Вся эта раскаленная до тысячи градусов масса в несколько сот пудов весом на минуту неподвижно повисла в воздухе на цепях машины, ярко осветила собою все обширное помещение мастерской и затем медленно двинулась к наковальне. Жар от нее был до такой степени силен, что я должен был прикрыться от него полою одежды, несмотря на то, что стоял довольно далеко; а между тем рабочие во все это время сновали и копошились возле самого пласта в таком жару, от которого, пожалуй, и вода могла бы закипеть. Длинными крючьями они снимали с железа цепи и укладывали его как следует на наковальню. Как они могли выносить такой страшный жар — я понять не мог, и только торопливая судорожность движений и страдальческое выражение лиц видимо показывали, что и им нелегко...

Но вот все готово. По знаку мастера рабочие быстро отско-

чили назад; механик тронул рукоятку клапана, и в ту же секунду молот сразу сорвался сверху и с страшным грохотом рухнул на подложенный пласт. Казалось, все здание дрогнуло от этого удара и от того страшного треска, который вырвался из расплюснутой массы. На минуту все кругом исчезло от миллиона искр, брызнувших из-под молота во все стороны, образовался густой огненный туман, заслонивший собою на несколько секунд все предметы; потом туман рассеялся, и молот снова начал подниматься кверху для нового удара. И это с небольшими промежутками продолжается иной раз в течение целого дня, с утра до ночи. Перемежки в работе делаются для того, чтобы молот от чрезмерного жара не раскалился и не испортился. Ему дают время остыть. Что же касается до рабочих, то им остывать не дают, они приготовляют новые пласты для разбивки или чистят самый молот. Вообще опытом дознано, что рабочие от жара не раскаливаются, не плавятся и не портятся, а следовательно, могут работать безостановочно.

А между тем было бы весьма интересно знать в точности, насколько в самом деле подобная работа может влиять на здоровье работника. Мне говорили, например, что почти все рабочие на литейных заводах страдают болезнями, которые редко приходится встречать у русского мужика. Все они больны *нервами* и часто мучаются разнообразными нервными припадками. Это расстройство нервной системы, говорят, сильно влияет и на самый склад их понятий, мыслей и образа жизни: они большею частью очень суеверны, пугливы, склонны к мистике и подчас даже подвержены галлюцинациям. Насколько это верно — утверждать не могу, но невероятного тут ничего нет. Постоянная работа в едва выносимом жару, среди печей и каленого железа, при вечной осмотрительности от увечья, по-видимому, не может не действовать вредно на нервную систему работника. Все это еще непочатый угол исследований для врачей-психологов и физиологов, которым предстоит в будущем решить эти краеугольные вопросы нашего чернорабочего труда. А до тех пор хоть бы цифры-то увечий записывали как следует да статистику болезней вели, а то и того нет!..

Котельное помещение, где производится выделка паровых и всяких других котлов, заказываемых на заводе, помещается в особых светлых и высоких мастерских. Здесь меньше огня, дыма и чада, зато отсюда на далекое пространство раздается

оглушительный стук и грохот. Тут несколько десятков дюжих кузнецов почти без перерыва колотят пудовыми молотами в железные стены котлов, и котлы гудят, как колокола церковные; между котлами бегают другие кузнецы с раскаленными гайками и заклепками; третьи с громом передвигают с места на место железные плиты; четвертые сколачивают их в трубы и цилиндры — словом, деятельность полная и гром отовсюду страшный. Вы, на первый раз, оглушены и изумлены, но ваше изумление еще более возрастает, когда вы замечаете, что даже из самых котлов тоже выглядывают люди. Это так называемые глухари — последний сорт заводских рабочих, обреченных на самый тяжкий, почти нечеловеческий труд и получающих за этот труд самое ничтожное вознаграждение. В котлах они, как оказывается, играют роль подпорок, то есть своими грешными телесами представляют изнутри упоры для котлов, по которым здоровенные кузнецы изо всех сил бьют снаружи молотом. Труд этих глухарей до такой степени поучителен, что о нем стоит сказать несколько слов, тем более что из всех видов заводской работы этот чуть ли не самый тяжелый.

Помню, в детстве видел однажды бродячего фокусника, который, между прочим, позволял ставить себе на грудь небольшую наковальню, а его товарищ в это время колотил по ней молотком — будто ковал что-то. Этим фокусом он приводил в неописанное изумление немалое число зевак, в том числе и меня. Здесь, на заводе, мне неожиданно пришлось увидеть точно такой же фокус, с тем только различием, что, во-первых, глухарь выделывает этот фокус ежедневно, почти без отдыха, по двенадцати часов в сутки, а во-вторых, здесь никто этому фокусу не удивляется, считая его делом самым обыкновенным и неизбежным при котельной работе. Чтобы понять эту неизбежность, надо знать, что котлы составляются из отдельных железных листов, которые по краям скрепляются между собою железными гвоздями. Каждый гвоздь имеет с одного конца неподвижную заклепку, а с другого конца заклепка наколачивается на гвоздь уже тогда, когда он пройдет сквозь листы. Это делается так: котельщик влезает внутрь котла, вкладывает гвоздь острым концом в отверстие, проходящее сквозь оба листа, и затем плотно прижимает головку гвоздя к стенкам котла особым инструментом вроде рукоятки. Другой работник в это время тащит раскаленную добела заклепку и щипцами накладывает ее на наружный конец гвоздя, а третий работник тут же начинает пудовым молотом с размаху наколачивать эту заклепку на гвоздь. В

это время работник, находящийся внутри котла, должен напрягать все свои силы, чтобы гвоздь от ударов не только не выскочил из отверстия, но даже не сдвинулся с места.

Работа, как видите, тяжелая, и напряжение сил должно быть неимоверное; тут грудь человеческая должна иметь крепость и стойкость железа, потому что она прежде всего должна вынести все те удары, которые сыплются на заклепку, мало того — вынести, даже не дрогнуть. Чтобы убедиться, до какой степени подобная работа нелегка для человека, стоит только взглянуть во время работы на лицо и фигуру несчастного глухаря. В эти минуты он имеет такой страдальческий и измученный вид, что, глядя на него, делается «за человека страшно». Всею грудью навалился он на свои руки, которые судорожно сжимают рукоятку; глаза у него вытаращены, рот раскрыт, все мускулы тела неимоверно напряжены; капли тяжелого пота струями бороздят лицо; волосы, несмотря на ремень, встрепались и лезут на глаза. При каждом ударе он конвульсивно вздрагивает и силится ногами упереться во что-нибудь, но ноги скользят по гладкому и вогнутому дну котла — упереться им не во что. Подчас ради удобства ему приходится принимать такие неестественные позы, какие, не видав, трудно и представить себе: то он скорчится в три погибели, то свернется в кольцо на самом дне, то вытянется по диагонали котла, смотря по тому, в каком месте котла вбивается гвоздь — вверху, в середине или внизу у дна. Иногда при всех усилиях удержаться он все-таки теряет равновесие: сильным ударом его вдруг собьет с ног, гвоздь при этом выскакивает, и за такую оплошность на работника налагается штраф. Хорошо еще, если он успеет тотчас вставить гвоздь на прежнее место, но если заклепка успела уже охладеть, она более не годится для дела, и с работника тянут тогда двойной штраф, из-за которого ему придется несколько суток работать даром. Вот почему он так напряженно следит за гвоздем и не жалеет последних сил своих: даром-то работать ему не хочется, особенно такою страшною работой.

Но вот заклепка вбита, удары прекратились, работник переводит дух, торопливо расправляет затекшие члены, отирает пот с лица и затем вставляет новый гвоздь в новое отверстие. И опять визжит молот и трещит рабочая грудь от ударов. А там идет третий, четвертый гвоздь, сотый, тысячный и т. д., словом, идет битье до самой ночи. И за целый день такой мучительной работы котельщик получает вознаграждение

всего от 40 до 60 копеек на своих харчах, между тем как штрафы вычитаются в размере не менее 1 рубля за каждую оплошность и доходят иногда даже до десяти рублей, смотря по вине рабочего. Вот какова эта работа! При виде всех истязаний, какие выносит несчастный глухарь внутри котла, невольно приходит в голову вопрос: неужели при современном развитии техники и механики нельзя придумать никаких средств облегчить для человека эту пытку или даже вовсе заменить ее какой-нибудь механической силой? К сожалению, подобный способ заклепки котлов, насколько мне известно, считается *неизбежным* не только на наших механических заводах, но даже и за границей, где грудь рабочего тоже очень часто служит вместо наковальни. Я хотел было заговорить с нашим проводником и расспросить его поподробнее об этом предмете, но попытка моя оказалась совершенно недостижимой. Я напрягал все усилия, чтобы выговорить или выкричать несколько слов, но даже сам не мог слышать своего голоса от страшного грохота и треска, раздававшегося кругом. Провожатый оглянулся на меня и тоже выразительно пошевелил губами, указывая на какую-то вещь, но я, конечно, тоже ничего не понял. Недаром котельщики носят на заводе название глухарей. Они до того глухи, что с ними и на вольном воздухе разговаривать трудно, и надо кричать им под самое ухо, чтобы они расслышали что-нибудь. Да и не мудрено оглохнуть, проводя целые дни среди такого грохота и особенно помещаясь во время работ внутри котлов, где все звуки концентрируются до высокой степени и легко уродуют уши, а пожалуй, даже и головы работников. Не без удовольствия вышли мы все на воздух из этой мастерской, у всех еще долго отдавался звон в ушах и оставалось на сердце тоскливое чувство.

— Да-с,— проговорил в раздумье один из бывших с нами.— Зрелище весьма поучительное. Если бы сюда притащили какого-нибудь члена общества покровительства животных и заставили его поглядеть на работу глухарей, я полагаю, он от души порадовался бы, что животные — не люди.

Никто не ответил ни слова на эту выходку, только проводник поглядел на говорившего как бы с недоумением и при этом снисходительно улыбнулся.

— А в самом деле, скажите, пожалуйста,— обратился я к нему,— я думаю, из этой мастерской всего чаще таскают работников в больницу да на кладбище?

— Не слыхать, чтобы чаще,— флегматично ответил про-

водник.— Конечно, хворают, как и все другие, но особых болезней не заметно. Да и не с чего, по правде сказать: народ все здоровый.

— Но ведь не может же быть, чтобы такая работа проходила без влияния на здоровье! Ведь это, в сущности, только медленное самоубийство!

— Что вы, полноте! Убить человека не так легко, как вы думаете, а наш русский работник на это особенно живуч. Сначала-то, конечно, поломает его немного, а потом пообколотится, пообтерпится, смотришь — и привык. Вот эти самые глухари, что сейчас мы видели в мастерских, без малого все почти уже по десять лет работают в котлах, а есть и такие, что по пятнадцати и по двадцати лет поддерживают заклепки — и ничего: такие силачи, что смотреть любо. У них, поди, теперь ребра-то такие, что на них хоть железо куй, и то сойдет. Ей-богу-с. Вот глохнут только; да ведь и это мужику не большая беда: не в оперу же ему ездить. Не легко, конечно, что и говорить, да ведь никто его и не неволит: не нравится, ступай с богом, держать не станут. Охотников-то на его место много найдется. Так-то-с!

Он говорил это с такой уверенностью и спокойствием, как будто дело шло о машинах, а не о людях. Но таков уж идеал работника на литейном заводе; он действительно должен быть вынослив, как машина, и по возможности стать выше тех физических ощущений, которым подчинены остальные люди. Зато многие и не выносят, ослабевают и бегут искать других способов существования. Остаются только самые выносливые и сильные, которые в состоянии притерпеться даже к роли наковальни.

Замечательно, что работа в котлах считается на заводе самою *легкою*, то есть легкою в том отношении, что она не требует никакой предварительной подготовки и за нее может взяться всякий, даже неумелый работник. Поэтому на такую работу поступают большею частью новички из пришлых. Придет, например, в Питер на заработки какой-нибудь степняк-мужик, который, кроме полевых работ, и приняться ни за что не умеет, ну и занесет его нелегкая куда-нибудь на литейный завод искать работы. Ему все равно, что бы ни делать, только бы деньги платили. Долго он кланяется заводскому начальству, вымаливает какое-нибудь местечко; по целым часам стоит без шапки у ворот заводских, чтобы явиться на работу по первому зову,— и так, в ожидании этого зова, перебивается со дня на день недели две-три, а то

и месяц. Наконец, если он сумеет разжалобить начальство или чем-нибудь угодить ему, его в виде милости наймут на завод сначала воду возить или грязь какую чистить рублей за пять в месяц на своих харчах; а потом и предлагают: «Не хочешь ли, мол, в котлах работать, мы тебе положим на первый раз копеек по сорока в день?» Измученный ожиданиями, мужик, конечно, рад-радехонек своему счастью: для котельной работы никакого уменья от него не требуется, значит, за ученье никому платить не надо, была бы только грудь здоровая да крепкие руки, а этим богатством мать-природа его не обидела. Спокойно и с уверенностью влезает он в котел, под заклепку, и с этой минуты начинают ему отсчитывать каждый день по нескольку тысяч ударов молотком по груди. Закряхтит мужичок с непривычки, заноет у него грудь, заболят кости, так что в первые дни он еле на ногах держится, а потом постепенно начинает привыкать, да и привыкнет, только осунется весь и пожелтеет. Зато теперь он уж настоящий заводской *глухарь*, за что получает в месяц не пять рублей, как прежде, а десять рублей сорок копеек (конечно, если нет вычета за штрафы).

Но горе ему, если он не сумеет привыкнуть и обтерпеться,— тогда волей-неволей придется ему уступить место другим голодным; а их целые толпы давно уже ждут места и с радостью накинутся на опроставшийся котел пробовать свои силы под молотом. Иной, проработав несколько времени, просит, как милости, другой работы и заступает иногда место товарища, который до сих пор колотил ему в грудь. Таким образом, он, в свою очередь, начинает обколачивать ребра другому степняку, который влезет на его место в котел. Конечно, наносить побои все-таки легче, чем получать их, но за кузнечную работу не умеючи тоже взяться нельзя, потому что тут уже нужна особая сноровка. Кузнецу нужно уметь бить одинаково как с правого, так и с левого плеча, для того чтобы в случае усталости не бросать работу, а только переменить для облегчения размах молота и передавать его из правой руки в левую, и наоборот. Иной раз, говорят, во время битья рука вдруг до того устанет и заноет, особенно с непривычки, что хоть совсем бросай дело; а тут этого нельзя: кузнец должен бить без перерыва во все время, пока это нужно, а то иначе заклепка может остыть раньше времени — и с кузнеца вычтут штраф немалый. В том-то и дело, что тут везде главным двигателем в работе является опять-таки штраф: он-то и принуждает работника изловчаться на все лады и приучать свое тело ко всяким фокусам, чтобы проделать

все нужные штуки и получить таким образом возможность прокормиться и уплатить подати. А пока работник приучится к какому-нибудь мастерству на заводе, какое множество штрафов вычтут с него за его неумелость и невольные промахи! Иной до того проштрафится, что целые месяцы работает чуть не даром и, чтобы не умереть с голоду, входит в долги и в кабалу. Вот почему большинство работников и держатся упорно за ту работу, к которой они уже успели привыкнуть. Вот почему и глухари по десяти да по пятнадцати лет сидят в котлах, не рискуя променять свою тяжелую работу на другую, хоть и более легкую и выгодную, но неизвестную. Котельщику только притерпеться к работе трудно, а как притерпелся, ему все равно, как его ни бей, он, кажется, и боли-то никакой не чувствует.

В самом деле, вглядываясь с любопытством в личности обтерпевшихся глухарей, особенно во время перерыва работ, я не заметил ни одного лица, которое бросалось бы в глаза своим жалким, болезненным видом; то есть, если хотите, все они имеют вид нормальный, все сухощавы, измучены и желты, но зато все, по-видимому, бодры, у всех груди богатырские, руки жилистые, и мускулатура вообще сильно развита. Вылезши из котла, когда представится к тому случай, глухарь торопливо обтирает пот с лица и, улыбнувшись во весь рот, подходит к товарищам — и только учащенное дыхание дает заметить, что он сейчас вынес тысячу-другую ударов молота. Тут, как ни в чем не бывало, идут шутки, щипки, толчки, рабочие мажут друг друга маслом и сажей, замахиваются друг на друга, молотками, толкаются и хохочут, точно школьники, особенно если мастер в это время не следит за ними. Глядя на эти беззаботные игры, я невольно соглашался с мнением нашего провожатого, что убить человека не так легко, как это кажется с первого взгляда.

Нам оставалось осмотреть еще одно отделение завода — литейное, или плавильное. Мы вошли в обширный деревянный сарай с толстыми бревенчатыми столбами в виде колонн, которыми подпирается потолок. В самой середине потолка устроено нечто вроде купола, с круглым отверстием для вентиляции, через которое тоже видно небо и светятся звезды. По углам стоят высокие плавильные печи (вагранки), в которых расплавляется чугун. Справа от нас, в земляном полу сарая, два формовщика старательно выделывали формы для отливки, а по сторонам их уже в готовых четырехугольных формах огромного размера сверкал расплавленный

металл, очевидно еще недавно влитый туда. Уровень металла был одинаков с уровнем земли. В мастерской было темно, несмотря на несколько газовых рожков, мелькавших по стенам, и в этой темноте формы с расплавленным чугуном казались небольшими огненными прудами. Странный вид имеет эта огненная жидкость. Кажется, будто целая масса пламени сжата в одну кучу и придавлена сверху матовым стеклом — под ним она кипит, волнуется, вспыхивает ярким блеском и опять меркнет; огненные струи в разных направлениях перебегают по всей массе; то свиваются в круги, то покрывают поверхность какой-то рябью. В виде опыта я бросил в одну из форм окурок папиросы, бывший у меня в руках, и стал глядеть, что из этого выйдет. К удивлению моему, окурок долго плавал на поверхности жидкости, вертясь и мечась в разные стороны, но только что я успел ответить на какой-то вопрос моего соседа — окурок исчез так быстро, что я и не заметил.

Глядя на массы налитого в формы чугуна, мы, между прочим, разговорились о том физическом законе, по которому в раскаленный металл можно опускать руку без всякого вреда для себя и даже без следа обжога.

— Если хотите, вы можете сейчас же в этом убедиться,— заметил нам проводник наш.— Здесь они все мастера на эти фокусы.

— Будто?

— Да обратитесь к любому работнику, всякий вам устроит что угодно. Да вот, к примеру, стоит молодец, спросите-ка его на пробу.

Мы подошли к вагранке, подле которой стоял парень лет двадцати, все время с любопытством следивший за нами.

— А что, молодец,— спросили мы его,— пробовал тут кто-нибудь из вас опускать руку в расплавленный чугун?

— Да я и сам умею, пробовал,— ответил тот, утираясь рукавом.

— Ну и что ж, горячо?

— Нет, оно ничего, не жжет, только, известно, сноровка нужна. У нас тут на старом заводе и такие мастера были, что вынимали деньги из чугуна.

— Как так?

— Да так; бросят ему в ведро с чугуном примерно двугривенный, он сейчас же руку туда по самый локоть, ну и вынет; только этот двугривенный, по условию, он уж себе берет, в награду, значит. Много он собирал денег, особливо с господ,

а те, известно, за деньгами не стоят, только бы побаловаться.

— А ты пробовал когда-нибудь такую штуку?

— Я? Нет, по правде сказать, не приходилось. Да тут штука, надо быть, тоже не хитрая, только опять сноровка своя нужна. Я вот по плите горячей бегал.

— Это еще что такое?

— Да вот как вынут плиту из печи или пакет, что ли, снимешь сапоги, да и пробежишь из конца в конец, а то и взад побежишь, по плите-то...

— По раскаленной плите?

— Она словно уголь, так и пышет, а ничего — не вредит, только надо примечать, чтоб на ней сору никакого не было, значит, чистая и гладкая была; а то чуть камушек какой попадется или шпенек, что ли, торчит,— беда, так в ногу сразу и вопьется.

— Значит, бывали и несчастья?

— Как не бывать, бывали. Да вот еще не так давно один паренек сгоряча-то вскочил на плиту, не оглядевши ее как следует, да и свету потом не взвидел,— прямо с плиты в больницу его и стащили. После мы оглядели плиту-то, а на ней крохотный камушек лежит, от золы, надо полагать, или ветром, что ли, завеяло,— он-то всему причиной и был. А паренек месяца три пролежал в больнице, да без ног остался. Вот какие дела у нас бывают.

В это время к вагранке подошел старый плавильщик; он приставил к ней железное ведро, покрытое внутри слоем извести, проколупал в печи отверстие и оттуда медленно потекла в ведро струйка огненной жидкости. Вместе с нею из отверстия стали вылетать во все стороны, как ракеты, яркие, радужные искры (шлаки). Ведро мало-помалу наполнялось.

— А что, возьмешься ли ты опустить руку туда? — спросил я того же словоохотливого парня.— Мы бы тебе за это двугривенный дали.

У парня забегали и заискрились глазки.

— Отчего же,— ответил он тихо.— Если прикажете, я хоть сейчас. Только вот что,— прибавил он еще тише,— надо будет главному мастеру про это сказать, чтобы он, значит, штрафу не брал; у нас нынче на этот счет очень строго: чуть прольешь каплю какую, сейчас тебе два рубля штрафу, а тут ведь — неровен час — пожалуй, и расхлещешь маленько.

Мы переглянулись, но не решались.

— Вы только скажите, что вы желаете,— торопил рабочий, заметив нашу нерешительность.— Одно слово скажите, он вас и послушает; вот он там в углу стоит, мастер-то.

— Ну, а если несчастье какое случится,— спрашивали мы,— если руку вдруг сожжешь?

— Зачем ее жечь; вы только мастеру скажите, а там уж мое дело...

На нас напало раздумье и овладел даже некоторый страх: что, если он в самом деле изувечится для нашей потехи, сумеем ли мы тогда обеспечить его? Стали мы рассчитывать, и оказалось, что всех наших капиталов не хватило бы для вознаграждения работника за такую бесполезную жертву. И мы порешили не вводить его больше в соблазн и отказаться от всякого опыта.

— Да ведь это закон науки, вы, значит, науке не верите,— горячо возражал нам бывший с нами студент, которому очень хотелось убедиться в несгораемости русского мужика.

— Вот нашли науку-то где,— ответили ему другие.— Да разве работник по правилам науки это делает? Разве он соблюдает все нужные предосторожности? Он действует просто на авось: сходило, мол, прежде, авось и теперь сойдет, тем более что в перспективе двугривенный.

Это было до того очевидно, что возражать было нечего, и сам студент задумался и примолк.

Между тем работник все время не спускал с нас глаз и нетерпеливо выжидал, чем мы кончим.

— Так что ж, господа? Аль раздумали? — спросил он со вздохом, замечая, что мы собираемся уходить.— Всего бы только два слова сказать мастеру... А то, хотите, я сам скажу, что господа, мол, желают? Я живо!

Мы расхохотались. Ему, очевидно, было жаль посуленного двугривенного, а не руки своей, не увечья.

— Не надо, не хотим, вот возьми твой двугривенный.

— Да за что же-с? — спросил он, машинально протягивая руку.

— За то, что не отказался от опыта.

— Ну, коли так, благодарим покорно; принуждать не могу. А то сказали бы, право. Я бы с нашим удовольствием. Нам это наплевать.

Мы вышли.

— Ну, вот видите, господа, какой тут народ бедовый,— сказал на прощанье проводник наш.— Вы вот давеча изво-

лили дивиться на глухарей, а эти-то, пожалуй, еще почище будут. Тут из-за двугривенного любой готов на всякие штуки, а посулите ему полтинник, так он не только что в котел под заклепку, а, пожалуй, целиком в чугун влезет, да и выкупается в нем. А под заклепку-то он и за гривенник пойдет. Тут ведь деньги дороги.

С этим нельзя было не согласиться.

Г. Успенский

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1

Несмотря на то что новые времена «объявились» в наших местах еще только винтовой лестницей нового суда и недостроенной железной дорогой, жить всем (таков говор) стало гораздо скучней прежнего, ибо вместе с этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма приятную и певучую зевоту, и томит, и мешает. Никогда не было такого обилия скучающих людей, какое в настоящую пору переполняет решительно все углы общества, от лучшей гостиной в Дворянской улице до овощной и мелочной лавки Трифонова во Всесвятском переулке. Все это скучает, томится и вообще чувствует себя неловко.

Без сомнения, существует большая разница в формах тоски, наполняющей гостиную, и тоскою лавки; но так как нам приходится говорить о последней, то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замечательна только потому, что служит пристанищем для тоскующего населения глухих улиц. Людям, потревоженным отставками, нотариусами, адвокатами и прочими знамениями времени, приятно забыться вблизи хозяина лавки — Трифонова, плотного, коренастого мужика, выбившегося из крепостных, любящего разговаривать о церковном пении, женском поле, медицине — словом, о всевозможных вещах и вопросах, за исключением тех, которые касаются современности. Среди современности господствует дороговизна, неуважение к чину и званию, неумение оценить человека заслуженного. У Трифонова же идет пение басом многолетий, варение микстур и целебных

трав «против желудка», а сам хозяин ходит босиком и необыкновенно спокойно чешет желудок ввиду самых разрушительных реформ. И к Трифонову идут... И когда бы вы ни зашли в лавочку, вы всегда найдете здесь двух-трех человек, ропщущих на неправды нового времени...

— Я говорю одно: иди и ложись в гроб! — взволнованным голосом говорит обнищавший от современности купец.— Нонешнее время не по нас... Потому нонешний порядок требует контракту, а контракт тянет к нотариусу, а нотариус призывает к штрафу!.. Нам этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаем по душе, по чести.

— Железная дорога! Ну что такое железная дорога? — говорит длинный и сухопарый чиновник Печкин в непромокаемой шинели.— Ну что такое железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? в чем? почему? в каком смысле?..

Много приходится Трифонову выслушивать излияний в подобном роде, но все это не составляет для него особенной трудности, потому что он, собственно говоря, и не слушает, что ему толкуют, и нуждается в приходящих и тоскующих только потому, что ему нужно кому-нибудь объяснить и свои размышления по части пения и врачевания.

— Ну хорошо,— как будто бы отвечая купцу, говорит он по окончании его речи.— Ну будем говорить так: советуют сшить сапоги из белой собаки. Предположим так, что я возьму и собаку... Но в каком смысле белая собака может облегчать ломоту?..

И купец, и чиновник, получившие такой ответ на свои сетования, никогда не претендуют на Трифонова; напротив: они весьма довольны этим невмешательством, ибо им, как и всякому, пораженному тоскою, хочется отыскать такой уголок, где бы он мог выкричать, занянчить своего нотариуса, свою железную дорогу без помехи. И так как большинство посетителей стоит именно за это невмешательство и уже привыкло говорить свое, не слушая друг друга, то всякий, желающий вести настоящие разговоры, то есть отвечать на вопросы, возражать и т. п., должен невольно покоряться общему ходу беседы и разговаривать сам с собою.

В лавке Трифонова бывает всего один из таких посетителей, пользующийся особенным вниманием потому, во-первых, что звание его, как шатающегося без дела заводского рабочего, уже само собою уничтожает всякое внимание к нему среди присутствующих в лавке чиновников и купцов, и, во-вторых, потому, что разговоры его тоже не идут в общую

колею. И поэтому никто из посетителей не замечает, как тощая фигура Михаила Ивановича (так зовут этого человека), весьма похожая на фигуру театрального ламповщика или наклеивателя афиш, топчется то около купца, то около чиновника и сиплым голосом, в котором слышится чахоточная нота, пытается вступить в разговоры.

— А-а-а! — радостно оскаливаясь, говорит Михаил Иваныч купцу, вытягивая вперед голову и складывая назади руки.— А-а-а!.. не любишь!.. А тебе хочется по-старинному, с кулечком к приказному через задний ход?.. Заткнул ему в глотку голову сахару — и грабь?.. Нет, погодишь!.. Нонче вашего брата оболванивают!.. Ноне, брат, погодишь!.. Нет, повертись!.. Наживи ума!

Кашель прерывает его речь; но Михаил Иваныч не жалеет своей груди и, ответив купцу, тотчас же поворачивает свою вытянутую голову к чиновнику.

— А-а-а!.. Прижучили!..— хрипит он.— Оччень, очень великолепно! Очумели спросонок? Дороги чугунной не узнаете? Я вам покажу чугунную дорогу!.. Дай обладят, я тебе представлю, коль скоро может она простого человека в Петербург доставлять! Смахаем в Питер к Максиму Петровичу — так узнаешь дорогу!.. Н-нет, мало! Очень мало... О-ох бы хорошенько...

— Ну хорошо... будем говорить так...— раздается басистый голос Трифонова, и в ту же минуту Михаил Иваныч обращает к нему пристальные, волнующиеся глаза, какими смотрит голодная собака на кусок.— Предположим, ежели буду я мешать микстуру палкой...

— Палкой? — хватаясь за слово, тоже как собака за кусок, вскрикивает Михаил Иваныч.— Нет, пора бросить!.. Ноне она об двух концах стала!.. Пора шваркнуть ее, палку-то!.. Д-да! Порассказать в Питере — ахнут! Ноне она об двух концах стала... Да-а!.. Позвольте вам заметить.

При последних словах Михаил Иваныч энергично тряс головой; но едва ли десятая часть его слов доходила до ушей посетителей, слишком плотно заткнутых нотариусами и железными дорогами. Кроме заморенного, не звучного, а как-то шумевшего голоса, который уже сам собою уничтожал силу его выражений, невмешательство посетителей было так велико, что к концу вечера Михаил Иваныч принужден был прибегать к содействию неодушевленных предметов.

— Пора простому человеку дать дыхание! — надседается он перед кульком с капустой.— Довольно над ним потешаться, разбойничать!.. Дайте ход!.. Что вы-с?.. Докуда вам раз-

бойничать,— пора и вам охнуть... Нет, поздоровей бы... Дай в Питер смахать,— я покажу!..

Кулек с кочнами долго и внимательно выслушивал ропот Михаила Иваныча на разбойников и грабителей, безмолвно соглашался с его намерением насчет Питера и так же безмолвно провожал его, когда Михаил Иваныч, с сердцем надвинув шапку, уходил вон из лавки.

Перебравшись через длинную дровяную площадь, в виду которой помещается лавка Трифонова, он обыкновенно направлялся к подгородной слободке Яндовищу, иногда пешком, а иногда на береговых дрожках. Миновав Яндовище, он выезжал в поле, на большую уездную дорогу. Здесь, в трех верстах от города, стояло сельцо Жолтиково, с чудотворной иконой и разорившимся барчуком Уткиным, у которого Михаил Иваныч имел пристанище в кухне и исполнял самые разные поручения: ходил к бабушке барчука с письмами о деньгах, узнавал в городе, нет ли какого «представленья», гулянья и проч.

2

Как бы ни странен был Михаил Иваныч, набрасывающийся на людей, не обращающих на него ни малейшего внимания, и объясняющий кульку необходимость хода для простого человека, но его злость на прошлые времена, среди людей, проклинающих времена настоящие, обязывает нас к более обстоятельному знакомству с историей больной его груди.

И это знакомство тем легче, что Михаил Иваныч сам ищет человека, с которым можно бы было потолковать. Неудовлетворенный беседою с кульком, он прилипает ко всякому, кто хотя мельком взглянет на него, кто хотя от нечего делать задаст ему вопрос или ответит ему. Возвращаясь, например, ночью от Трифонова в Жолтиково, он зорко выслеживает, нет ли где огонька и, следовательно, вопроса и разговора. И где бы ни мелькнул такой огонек — в караулке ли господского сада, в кабачке ли,— Михаил Иваныч тотчас привертывает к нему свои дрожки и заводит беседу со всяким, кто попадется ему на глаза.

— Да как же с ними, с чертями, не разругаться! — дребезжит его заморенный голос среди пустынного кабака, где сальный огарок освещает курчавую голову целовальника, покоящегося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо пьяного, пошатывающегося мужика.— Как их, бесов, не лаять, не хаять? — продолжает он, намекая своими словами на трифонов-

ских посетителей.— Ты думаешь, ему это и в самом деле чугунка помешала?.. Ем-му зацарапать нечего в ла-апу!.. Будьте вы покойны!.. Ему не дозволяют по нонешнему времени разбою,— вот он и скулит, как пес: что такое чугунная дорога?..

Сделав несколько торопливых шагов, Михаил Иваныч снова близко подходит, почти подбегает к угрюмому слушателю и продолжает:

— Купец-то вон в гроб просится. «Заройте меня живого!..» Эва! новые порядки, вишь, ему не по вкусу!.. А все потому, что ему с приказным нельзя оболванивать простого человека. И слава богу! И даже так, что поздоровее бы господь-батюшка их хлестанул... Очень великолепно!.. Потому они заморили, задушили простого человека. Через ихнее обиранье простой человек дураком стал... болваном...

Говоря так, Михаил Иваныч не может остаться на одном месте. Гнев заставляет его поминутно отходить от слушателя и тотчас же возвращаться к нему.

— Почему простой человек — дурак, болван? Почему он в жись свою сладкого куска не едал и сапог цельных не нашивал?.. Почему он заместо этого получал по скуле?.. Потому што его сапоги-то чужие носили... Брат!.. Голубчик!.. У чиновника-то, что чугунку лает, небось вон дом; а на какие он труды нажил?.. Жалованья ему всего грош! Откуда-а? — с нас! с нас, христианская душа! Наше все, хрусталь!..

Михаил Иваныч любил посылать слушателям эпитеты вроде «хрусталь», «птичка» и проч., не замечая, как и на этот раз, что они не совсем соответствуют тем лицам, к которым относятся. Михаилу Иванычу некогда было разбирать, что пьяный мужик в грязи далеко не походит, например, на хрусталь: ему нужно было говорить, высказываться.

— На наши! Все на наши, брат!.. Купец брюхо нажевал по какому случаю? — по тому случаю, что с рабочих либо так с мужиков лупил; у мужика совесть, а у купца ее нету,— вот он и загребает его когтями-то. Вот по какому случаю происходит брюхо! Все они домы строили и животы растили на наш счет, а наш брат получал по скуле... И немало их было!.. Ох, и нне-мма-а-ло, купидончик, было их!.. Задушены мы ими — так ли аккуратно...

Михаил Иваныч, произносящий последние слова с особенною протяженностью, вдруг словно вспыхивает и подлетает к самой бороде слушателя.

— Почему я нищий? — почти кричит он, ударяя себя кулаком в грудь и пристально смотря в лицо мужика.— Скажи ты мне, на каком основании до тридцати лет я дожил, нету у

меня ни крова, ни приюта?.. Отвечай: имею ли я равномерную с благородным человеком душу?.. Говори мне!

Часто случается, что во время этих рассуждений Михаила Иваныча слушатель успеет заснуть или уйти; но можно сказать наверное, что в пылу гнева на прошлые времена Михаил Иваныч решительно не замечает этого; слушателем его может быть курчавый затылок спящего целовальника, ползущий по стойке таракан — все равно. Теперь уже нужно иметь только точку опоры для взора; ни вопросов, ни ответов не требуется; все, что накопилось в груди, вырвалось наружу и хлынуло рекой.

— Отвечай мне,— вопрошал он затылок целовальника,— на каком основании обязан я быть дубьем, ходить ощупкой? Пред кем я грешен, пред кем виновен? А потому, что я простой человек! Простого звания! На этом основании я и виновен... Всякому мой хлеб был нужен! Кабы я ел свой-то, трудовой хлеб сполна, значит, получал бы, что мне следует, я, может быть, человеком бы был... Милашка моя!.. Может быть, и я бы все понимал, всякую причину, что к чему... А то, рассуди ты сам, как мне ослом-дуроломом не быть, коли я с малых ден нищим был. Ведь мне каши-то с малых ден в рот не влетало, дубина! А почему я недостоин каши? Почему в нашей губернии, коли кашу на стол, баб и ребят вон? А на том основании, что она другим требуется... Теперича десятнику потребна корова — он к мужику: из каши-то нашей горсточку себе... Сотскому требуется телега, чтоб столярная, например,— он опять к нам, уж поболе зацепляет... Старосте охота пчел держать... голове требуется овец гуртами гонять, чиновников угощать, дом строить, хоромы — все к нам, все из нашей каши! А там и над головами, и над старшинами, и над прочими — еще выше были; те уж, брат, на тройках к нам залетывали с бубенцами и всё спахивали, что-которое осталось,— ровно пожаром... Тем поболе пчелы требовались, тем, братец ты мой, в благородстве надобно состоять, гулять в шляпках, в тряпках! Вот оно по какому случаю мы и побиралися, и просили у проезжающих христа ради, и, ровно собаки, куску радовались!.. Вот оно почему. С этого с голоду-то и родители наши помирали, и сиротами мы оставались... Вот оно что, друг ты мой, купидон, дубина стоеросовая, рыжий черт!

Безмолвствующий затылок не слышит этих ругательств, и Михаил Иваныч может беспрепятственно срывать на нем свой гнев и делиться своими обидами с мертвой тишиной пустынного кабака!

— Вот отчего! — продолжает он.— По тому случаю мы дураки, что прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена! Вот чиновник-то орет: «Плохо жить стало!», а ведь этакую дубину мы прокармливали, мы ему, шалаю, сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видел, поверьте нашим словам! Потому я не в одной деревне претерпел от этого разбою, я и в городе его видел... Городской разбой пуще деревенского был... Тут простому человеку совсем дыхания не было... Привела меня тетка в город, нашлись добрые люди — мещане, взяли меня жить к себе. Девушка была у них одна... что за умница! Грамоте меня стала обучать, и, может, господь бы дал, в люди бы я вышел, человеком бы был (при этих словах Михаил Иваныч с особенною силою ударил себя в грудь, нагибаясь над сонным слушателем). Человеком бы-ы! Так ведь нет,— не дали! Словно они дожидались меня, сироту, потому только было я в тепло-то к мещанину попал, а уж из кварталу бежит скороход. «А где здесь заблуждающий мальчишка?..» — «А что?» — «А то — пожалуйте его в часть». А зачем? Что я преступил? А то, что солдату трубочки надо покурить, водочки хлебнуть,— вот он и волочет меня в фартал, потому, знает, придут, выкупят... Да еще что-о! Везет меня в фартал-то на извозчике, да и с извозчика-то колупнет: «Где билет? Был у исповеди, у причастия?» Да не на одном извозчике-то везет, а норовит от биржи, до биржи, по закону, и со всех получит на свое прожитие; потому всем им, окроме мужика, не с кого взять. Без мужика-то им нечего старшому дать; а старшому тоже ведь надыть помазать квартального, а квартальному — частного... все на наш счет. Доброму человеку дня было не изжить. Вон мещанин-то мне пользу хотел сделать, добро — так они на него набросились, как скорпии! Подлая тварь! Пойми!.. Вот по какому случаю я чиновника-то ноне у Трифонова оборвал... Может, потому я и мучаюсь, что требовался ему каменный дом либо хомут новый,— и он меня в квартале томил и мещанина разорял... У-у! чтоб вам!.. А мало их было, охотников-то трубочки покурить, сладкого кусочка пососать?.. Города строили! Что вы? Сделайте милость! С чего нашему городу быть?.. Кабы бабы наши кашей лакомились, небось бы не оченно-то много этак-то народу к осьмому часу к киатру разлетались на жеребцах... Н-нет, брат!.. Н-не очень! а то... «Эй, кричит, задавлю, мужик! Берегись, мол». Эво ли заг-гибают! Не знают, на какой манер сытость свою разыграть,— а наш брат нищий и чумовой ходит! Я, брат, видел, как из кварталу меня господа чинов-

ники Черемухины «вынули» на прокормление; тут я уведомился, сколь они с чужих денег ошалели,— пиры, да банкеты, да кувырканья — весь и сказ!.. Голодны они — мужик, простой человек, терпит, дает им корм, а накормит он их — опять тоже ему вред от эфтого... Теперьче посуди: жил я у мещанина; жена у него померла; осталось у него три дочки... то есть, я тебе говорю, девушки... Что же, брат? Выбегут это на улицу погулять, ан уж тут с сытыми утробами погуливают разные народы... Вот и колесят. «Мы вас замуж возьмем, благородные будете»... А тем и любо! Потому благородными превосходнее быть, не чем этак-то, как они, по ночам иглой тачать, слепнуть... Ну — и... Теперь вон на! поди! глянь!.. ровно как рваные тряпки по лужам валяются! Полюбопытствуй — поди!.. Может, теперь бы у меня такая ли супруга-пособница была, коли б не сытость-то эта краденая. Я почесть полгода дорывался, чтоб она на меня, на чумарзого, взглянула; да по ночам ворочал на заводе в огне да в пламени, чтоб мне лишний рубь достать, ей купить гостинчика полакомиться... А чиновник-то налетел с мадерой, да с гитарой, да с шелковым платком — ан и взял!.. И шиш под нос! Наш брат ободранный человек песню-то поет, ровно режет ножом, потому голос-то наш в огне перекипел, а тот запоет песенку любо-два — ай-люли! Потому в огне он не горел, а больше нашего брата очищал... И бел он, и мадера, и на гитаре, примерно!.. А нашего брата по скуле! Он вон шваркнул ее, Аннушку-то, разорвал ее, словно собака тряпку завалящую, да и побег к осьмому часу к киатру, а наш брат только жилы свои в работе иссушил попусту; потому нам ее уж взять нельзя, Аннушку-то! уж нам невозможно этого! уж она набалована! Ей уж дай платочек шелковый... Он — шелковый-то платочек — и нашему брату подходит к лицу, да нам об этом надо бросить думать... вот! Потому мы обязаны быть дураками, ошалелыми, коркой дорожить, пособачьи жить,— потому наш хлеб другим надобился... Слышишь, рыжая ты шельма? Другие наш хлеб ели, бешеная ты собака!..

— Вон! — внезапно поднимаясь во весь рост, гремит громадная фигура целовальника, сообразившего, что причиною некоторого беспокойства, испытываемого им во сне, было непрестанное разглагольствование Михаила Иваныча.— У-дди! У-бью!

Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами целовальника, Михаил Иваныч пятится к двери, зажимая рукой рот, чтобы рассвирепевшим кашлем еще более не

рассердить врага; и так как враг в скором времени выказывает намерение броситься к нему из-за стойки, то Михаил Иваныч и исчезает вон из кабака. Спустя минуту дрожки его дребезжат среди темной дороги к Жолтикову. Но необходимость высказаться не прекращается красноречивым внушением целовальника насчет молчания; Михаил Иваныч снова ищет слушателя, огонька, и снова, завидев его, погоняет свою лошадь, и везде, куда бы он ни привернул свою лошадь, в караулке ли при господском саду, на мельницу, к постоялому двору,— везде слышится его чахоточная речь.

— И очень великолепно, коли кого из этих грабителей чем-нибудь да припрут! Рад я! Душевно. Одна мне и утеха, что на это поглядеть. Потому ошалели мы от них, дураками и нищими стали... В прежнее время чиновник-то трифоновский — он бы меня в гроб вогнал ни за что... А теперича погодишь!.. И слава богу!.. Теперича еще и простой человек с ними, пожалуй, потягается... Да-а!..

И затем, в подтверждение слов о господстве в старое время прижимки над простым человеком, Михаил Иваныч приводил множество фактов из своей биографии. И действительно, фактов этих перебывало на его спине достаточное количество, потому что, в качестве сироты и простого человека, он отведал прижимку и в деревне, и в городе, где жил у мещанина, изнывал в квартале, побирался, и, наконец, в казенном заводе, в качестве рабочего. Результатом этой «прижимки», по объяснению Михаила Иваныча, было одурение и обнищание простого человека, что и можно видеть на нашем рабочем, на нашем простом мужике, немыслимых без «зелена вина». Если сам Михаил Иваныч ушел от этого отупения и умеет рассуждать о прижимке, то этому есть особенная причина, о которой Михаил Иваныч рассказывает не с злостью и негодованием, волнующими его при воспоминании о прошлом, а с какою-то необыкновенною нежностью и внимательностью.

— А потому,— говорит он, разъясняя этот вопрос,— что я имею просияние моего ума!.. Вот-с на каком основании я всю эту разбойничью механику понимаю и чувствую и злюсь! Простой мужик делается от этого балбесом, но я, по моему понятию, получаю чахотку... Вот-с на каком основании. В течение времени моей жизни встретил я человека, который по щеке не бил, но внедрил в мою душу понятие...

Михаил Иваныч любил понянчиться с этим воспоминанием из своей несчастной жизни и говорил не спеша, останавливаясь:

— Ну, в то же самое время,— продолжал он,— надо сказать так, что и этот человек, благодетель мой, в первоначальное время нашего знакомства тоже по щеке меня щелконул довольно благополучно... для собственной моей пользы... Именно-с «для пользы», по той причине, что наш брат, простой человек, столь от разных народов за все про все наскулен, что и пользу ежели хочешь ему сделать, то и в ту пору без рукопашья не обойдешься... По этому случаю благодетель мой, Максим Петрович, в достаточной степени меня с печи за волосья сгромыхнул в первоначальное время знакомства... Такое было дело; докладывал я вам, что из части, когда мещанин помер, взяли меня на прокормление чиновники Черемухины. Бывши в побирушках, в нищих, с холоду да с голоду да с кварталу очень мало я в ту пору на человека сходствовал, потому что, живши в квартале, коротко и ясно можно потерять человеческий лик и получить собачью манеру. По этому случаю, когда меня ввели в черемухинскую кухню, то стал я хватать съестное, например, съедобное. Стал рвать, набросился. Кухарка назвала меня в ту пору «волчий рот». И так я набрасывался, так набрасывался, до забвения доходил. Отъедался, отъедался я тут быстро, поспешно: вся прислуга у них очень торопливо отъедалась и щеки нагуливала, потому мужики всего натащат, не жалко — ешь! Хорошо. Как только привык я к сладкому куску, стал я свою бедность вспоминать, и стало мне страшно: ну-ко да выгонят отсюда,— что тогда? Страшна мне корка собачья показалась!.. Стал я об себе думать... И делаю такое замечание, что у всех народов идет грабеж. Кухарка и кучер с мужиков, барин и барыня — с мужиков, все, повсюду, повсеместно идет ограбление человеческое... Думаю: мужик мне не даст, с кого мне?.. Думал-думал, затруднялся в мыслях, глядь — бежит ко мне на печку барчук махонький, черемухинский сынок: «Скажи сказочку...» Изволь. Сказал. Он и повадился ко мне на печку шататься сказки слушать. «Э,— думаю,— друг-приятель; надо быть, тебе в хоромах хвост-от присекают, что ты во мне, в мужике, получаешь нужду...» Подумал так-то. Бежит барчук: «Скажи сказку...» — «Дай копейку!» Эдак-то резанул. «Дашь — скажу, нет — не будет рассказу. Я и то, мол, язык весь отколотил, рассказываючи тебе». Припугнул его таким манером, и стал он мне пятачки да грошики таскать, и стал я их припрятывать... И так было ловко научился я поколупывать с него; ан тут-то и подвернись ко мне человек... Максим Петрович... семинаристик, племянник чере-

мухинский. Часто он к нам в кухню хаживал, дожидался, пока дяденька, сам Черемухин-то, проснутся,— полтинничек у него попросить... Когда тверез — тихий такой... «На сапоги»,— говорит... А Черемухин: «То-то,— говорит,— на сапоги?..» И сердито на него смотрит, а тот боится. Это когда тверез. Ну, а коли ежели да пьян, так уж тут никакого страху для него нету... Тут уж он кричит, бунтует... И дяденьку-то так-то ли поливает... «Взяточники, разбойники!.. Докуда вы разбойничать будете? Провались вы и с полтинниками...» Раз зимой скинул с себя полушубок и шваркнул его объемь. «Подавитесь вы им!..» — и ушел. Бывало так, что и стекла он выбивал в дому и ворота исписывал ругательскими словами. Вот я на этого человека и наскочил... От него я и получил вдохновение, например. То есть сначала-то он меня за виски отворочал, а потом уж объяснил мне существо... Лежу я с барчуком на печке и делаю с ним подлый поступок: продаю ему кошелек, а в обмен требую с него серебряную цепочку... Кошельку цена копейка, а цепочка стоит пять серебром. Желаю я ее получить. Барчук ничего не смыслит: взял да и поменялся, а потом рассмотрел — и в слезы... «Отдай!» — плачет. А я ему: «Нет,— говорю,— не отдам, потому что ты видел, что покупал. Назад не ворочают. Где у тебя глаза были?..» По-базарному поступаю... Максим Петрович пьяный сидел-сидел, слушал-слушал, да шарах меня за волосы с печи... «Мошенник! вор!.. С каких лет мошенничаешь!.. И без тебя много мошенников!..» Да за ухо... за ухо... Тут он меня щекотурил... Цепочку отнял, шваркнул: «Краденую воруешь!..» С этого дня стал я его бояться... Страх почувствовал; боюсь встретиться; ан раз несу водку господам из конторы, он — и валит с приятелями пья-а-аный. «Что такое? стой! Куда? Водка!.. Неси к нам... Там, брат (у дяди-то), за другой четвертью пошлют... Там есть на что выпить...» Тут они меня поволокли в свою квартиру: бедность непокрытая, тараканы... Я сижу, боюсь. «Чего ты? Холуй! Раб!.. С каких лет мошенничаешь!..» Поругали вторительно, а потом сжалились. «Поди сюда,— говорит Максим Петрович.— Ты зачем мошенничаешь? Жить надо? Так нешто грабежом-то хорошо будет?.. Давайте книжку, я его обучу... Как ты думаешь, грамота лучше грабежу?» И сейчас стал меня учить. Тут я ничего не понял, потому пьяные они были; мало-мало погодя и сам к ним пошел... «Обучите», — говорю. Там их много, кутейников-то, было: кто слово покажет, кто так что-нибудь... Я и нахватался, и не умею вам сказать, каким

манером, только что стал я тут понимать, почему это наш брат в дырах, в лаптях, например. И в первый раз в голову мне влетело: «За что же, мол, этак-то?..» Разговоры ли ихние, Максим Петровича, или грамота, уж верно не могу объяснить, а что страсть сколько я разбойников вдруг увидел! И, может, господь мне и больше понятия бы дал, только что пошло вдруг во всем расстройство...

С войны это расстройство пошло... Целые дни, бывало, стоишь на улице, смотришь, как везут на войну пушки да сабли. «Эдакие,— дивовался народ,— на человека страсти припасены!» Пошли тут наборы, мужики, бабы ревут, голосьба по всему городу. У Черемухиных идет огребанье невиданное, пьянство, жранье — боже мой!.. «Господи! — помню, жена Черемухина плачется,— когда это все кончится!..» Ан скоро и кончилось... Прошла война, налетели ревизоры, всех взяточников повязали... Тут пошло швырянье — упаси бог! Один — вор; другой ополченцам сапоги на кардонной подошве делал; третий в рекруты забривал без закону... Стали кидать, швырять подлецами: один вниз, другой вверх, третий торчмя головой... Черемухина выгнали в другую губернию. Максим Петрович так-то ли поспешно в Питер ускакал. «Прощай,— говорит,— помни. Выпишу». Однако же не выписал. Стал я у Птицыных жить, у генералов, и там пошло все врозь. Все сыновья ворами оказались. Плач идет между грабителями. Поглядел, поглядел я, вижу — не до меня пм; надел картуз, пошел своего хлеба искать. В ту пору на казенный завод стали принимать людей со стороны, не казенных, стало быть,— и я попал в завод... В лесу страшно, когда ежели гром да молонья, а тут в заводе еще страшней. Потому в лесу — дело божье, непонятное, там страх берет, а тут злость — потому видишь, из-за чего молота молотят, ножницы разеваются и наш простой человек недоест, недопьет, а в огне горит... Пить бы надо — слаб! не мог, а все больше злился, потому которые я получил от Максима Петровича мысли, то никаким родом они у меня из головы не выходили. Злился-злился я, бесился-бесился да однова подгулял и махнул в арендателя камнем... Спасибо, скрось колесо камень прошел, а то б в каторге быть. Да еще то облегчило, что ночью дело было, не могли вызнать, кто такой, так что, собственно, по подозрению шесть месяцев высидел... Вышел из заключения, вижу — везде я бунтовщиком оказываюсь, никто не берет, и на частные мастерские не допущают... Остался я один; на кого надежда? Окроме Максима Петровича кто ж мне защитник? Дай обладят чугунку... Я на него надеюсь...

Нонче, брат, и им тоже очень мало готовых кусков: не то время идет. И рад я, коли ежели кого из них припрут, рад... Купец-то вон: «Ох-хо-хо,— кряхтит,— хорошо! отлично!..»

3

Михаил Иваныч, известный давно на заводе за строптивого и непокорного человека, последней своей историей с камнем и арендатором окончательно повредил себе; так как все частные заводчики смотрели на ропот его не иначе как на бунт, то Михаил Иваныч, выгнанный с завода, остался буквально без куска хлеба, ибо его нигде не принимали. В эту пору его можно было встретить в небольших подгородных деревеньках, где он писал бабам письма и прошения, получая за работу яйцо, кусок хлеба. Письма выходили такого рода: «Честь имею известить вас, единоутробная дочь наша Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, с маиа месяца сего... года состоим без куска хлеба, в полном смысле этого слова, и почтительнейше уведомляем вас, что подаяния от мирового посредника с сего... месяца настоящего сего года прекращены» и т. д. Извещая о деревенских новостях, Михаил Иваныч всегда умел среди неурожаев и подаяний вставить некоторые фразы, обретавшиеся в фонде его образования и просняния. Но такой работы было мало. Работы «мужицкой» — молотьбы, косьбы — он исполнять не мог: у него болели ноги от стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся, чем мог, и скитался, где пришлось. Среди этой нищеты и одиночества в голове Михаила Иваныча воскресло воспоминание о Максиме Петровиче, и больная душа тотчас же наполнилась какою-то неопределенною надеждою на его помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до громадных размеров. Большие быстрые глаза голодного Михаила Иваныча и его фразы насчет этих надежд, насчет чугунки и Петербурга весьма рассмешили юного потомка господ Уткиных, когда тот однажды вечерком, проезжая по дороге на старой громадной и худой лошади, случайно наехал на Михаила Иваныча, лежавшего в канаве и бормотавшего:

— Нет, брат, не то время! Дай чугунку обладят!

О барчуке Уткине нам покуда надо знать только то, что денег у него не было; что жил он в имении, подлежащем описи; думая, во-первых, основательно заняться подготовлением к практической деятельности, он в то же время не менее основательно думал и овладеть приказчичьей дочерью и все

эти вопросы разрешал внезапным выстрелом из ружья в глубине отцовского сада, разговором с приезжим из города гостем о современных вопросах, которые прерывались тотчас по появлении где-нибудь вблизи деревенской бабы, поездкой в город на гулянье и т. д. Из всего этого следует, что барчук скучал, и, среди скуки, лежащий в канаве при дороге Михаил Иваныч мог обратить на себя его внимание.

— Вы кто такой? — спросил барчук, когда Михаил Иваныч выскочил из канавы.

— Отставной рабочий... с заводу-с... Выгнан за бунты.

— За что?

— За непокорность, потому что я разбойничать им не позволял... Не согласен я на это! Довольно.

Эти речи до того показались Уткину ни с чем не сообразными и до того заинтересовали его, что он позвал Михаила Иваныча к себе поговорить, а потом, боясь скуки, сказал Михаилу Иванычу, чтобы тот оставался у него в усадьбе.

Михаил Иваныч поселился в кухне и в короткое время пошел у всех за большого чудака. Не один барчук смеялся всякий раз, когда из уст его выходили слова вроде «прижимка», «к осьмому часу, к киатру», «уведомился» и проч. Причины этому были его рваные локти, поставленные рядом с Петербургом и чугункой. В сущности же Михаил Иваныч был человек, потерпевший от отечественной прижимки в тысячу раз более других вследствие того несчастья, которое он определял словом «просияние ума», человек, которому осталась одна утеха: созерцать затруднения, выпавшие благодаря «новым временам» на долю людей, привыкших жить на чужой счет.

Ненастный октябрьский день близился к вечеру. Ливший в продолжение нескольких дней дождь размыл глинистый грунт долины, пролегавшей в горах, заросших лесом. Безымянная речка, мелкая в другие времена года, на которой расположился с деревянными пристройками Г-ий прииск, бурливо вздулась от притока впадавших в нее с гор ручьев и грозила вырваться из плоских берегов и затопить прилегающие к ней низменности. Ветер выл в горах, нанося в долину тучи поблеклых листьев; мглистый туман спускался на высокие верхи гор, заволакивая вершины громоздящихся на них сосен и елей, и, словно цепляясь за сучья их, когда, прорывая на минуту густую сеть его, ветер разносил его в пространство разорванными клочьями. Подобная картина осени, неразлучно соединенная с холодом и сыростью, невольно щемит душу и манит скорее вырваться из негостеприимной в это время года тайги. Приисковая администрация и рабочие равно спешат покинуть ее.

С утра в этот день работы были прекращены и часть рабочих употреблена была на разборку золотопромывательной машины; другие сдавали инструменты, которые вместе с частями разобранной машины складывались в сараи. Хлебопеки несколько дней с утра до ночи сушили сухари для продовольствия рабочих на обратный путь. Приказчики приисковой конторы и материальные заведующие вещевыми и продовольственными цейхгаузами занимались сведением счетов. Рабочие тоже в свою очередь высчитывали, сколько придется получить им из заработной платы на руки. На

изнуренных лицах их написано и сомнение в правильности ожидающего их расчета, неизбежно возбуждаемое в них каждый раз многолетним опытом, и радость отдыха со всеми наслаждениями, предстоящими при выходе из тайги в населенные пункты. Радость эта понятна только людям, знакомым с бытом особо выработавшегося в Сибири класса «таежников», как называет народ приисковых рабочих, на которых тяжелый труд и полная лишений жизнь кладут своеобразный отпечаток.

. . . .

...Всмотревшись в оборванные толпы «таежников», выходящих в начале сентября с работ, в их изнуренные, исхудалые лица, наблюдатель по внешнему виду их прочтет горькую повесть страданий, выносимых этим людом. Он прочтет и всю меру злобы, развиваемой в них жизнью и людьми, и понятен станет ему тип этого оборванного, наголодавшегося человека и тот дикий разгул, с каким он пропивает кровью добытые деньги, забывая о семье, о доме и о хозяйстве. Что ему семья, дом и хозяйство, когда все это существо надломлено, когда для него нет просвета в будущем?

Точно блудящие огоньки, замелькали при наступлении сумерек фонари, при свете которых заканчивались дневные занятия. Тусклый отблеск огней мелькал и из окон длинного ряда бараков, сколоченных из сосновых досок, с конусообразными кровлями для стока дождевой воды. В них кипела самая разнообразная деятельность. Каждый рабочий, приготовляясь к длинному пути, чинил рваный полушубок или зипун; кто прикреплял отпавшую подошву сапога или отвалившееся голенище бродня; иной штопал давно провалившийся верх фуражки или приделывал ремни к мешку под свой не обильный вещами скарб. Были и такие, что, наносив в корыто воды, выстирывали, примешивая к ней березовой золы за неимением мыла, запошенные рубахи или онучи, чтобы по выходе в населенные пункты выглядеть почище. Все с утра успели запастись ржаными сухарями и вяленой говядиной для продовольствия во время пути, и бережно уложенная в котомки провизия висела по стенам или на небольших протянутых жердочках.

Говор и смех не умолкали. Иные сводили между собой счеты проигранным деньгам в «юрдон» и «трынку», кто рассказывал для общего удовольствия длинные истории похождений, какими богата жизнь каждого таежника. Иногда, где-нибудь в углу, затягивалась длинная заунывная песня, в другое бы время подхваченная десятками сильных,

звучных голосов, но теперь бесследно замиравшая в общей суматохе. Прикрепленные к стенам жировики лили тускло-багровый свет на черные, загорелые лица рабочих, копошившихся в этой душной атмосфере, наполненной миазмами и едким дымом махорки.

В одной из групп, расположившейся у жировика в переднем углу барака, на низком деревянном обрубке сидел, починивая бродни, человек средних лет, в засаленной ситцевой рубахе и в жилете. Протянутые на сбитый из глины пол босые ноги обращали на себя внимание уродливостью пальцев и мускулистой толщиной их. Такою же мускулистостью отличались и руки, с засученными у плеч рукавами рубахи, то плотно сжимавшие бродень при прокалывании его шилом, то с силою стягивающие ремень, которым он прикреплял, вместо дратвы, отпавшее закаблучье. Время от времени он взбрасывал падавшие на глаза длинные волосы, открывая красивое овальное лицо, поражавшее правильностью линий. На углах сжатых губ, обрамленных темно-русыми усами и клинообразной бородкой, мелькала улыбка; тонко очерченные широкие ноздри постоянно вздувались как бы от внутреннего подавленного смеха. Но особенную оригинальность придавало наружности его выражение больших черных глаз, которые то вспыхивали и светились, и что-то резкое, вызывающее, дерзко-насмешливое дышало в эти минуты в каждой черте его, то вдруг потухали, точно уходили куда-то вовнутрь, и вместе с тем самое лицо принимало безжизненный отпечаток.

Данила Филиппыч Карпов, известный более в Т... тайге под названием «Ежа», появился на приисках юношей и с тех пор не расставался с ними. Тяжесть работ и условий приисковой жизни преждевременно изборОздила лицо его морщинами и усыпала сединами темно-русые вьющиеся волосы; но преждевременно состарившаяся жизнь способствовала в то же время развитию природного ума, находчивости и не поддающейся препятствиям энергии. На каждом прииске он умел приобретать в среде рабочих любовь и доверие к себе, не порождавшие ни в ком зависти, как это часто бывает между людьми. Много таилось в натуре его кипучей страстности, которая, помимо воли, обаятельно действует на людей и подчиняет влиянию подобных натур. Эта присущая ему сила сказывалась во всем, даже в мелочах.

На приисках, например, всегда немало найдется песенников с сильными развитыми голосами, пользующихся обширной славой. Уступая им, Еж все-таки умел петь так, что

каждая нота его хватала слушателя за сердце и в ее безыскусственных звуках выливался весь человек с душой страстной, любящей и детски-доверчивой. Мастер он был и на бойкое слово, и на прибаутку. Иногда что-то наивное, детское проглядывало в этом сильном человеке, но в то же время он — ребенок — не дозволял никому наступать себе на ногу, и люди, физически вдвое более сильные, нередко робели перед ним. Простые самобытные натуры тем сильны, что в них нет выдержанной хладнокровной рассчитанности, с какою большинство людей относится к своим ближним. Они всегда и во всем искренни, смело глядят в глаза каждому и не задумываются перед опасностями, руководимые сознанием своей правоты. Это своего рода фанатики, смешные и непонятные для людей, выросших в правилах, усвоенных образованными сословиями. Там, где другие смиряются, подчиняясь необходимости или падая духом, они вооружаются всею силой своей страстной души, находят цель жизни в борьбе, не радуясь при торжестве и выказывая геройскую стойкость, когда сами становятся жертвами ее. Таков был и Еж. Он не любил, как и большинство людей с сильным, сосредоточенным характером, вдаваться в рассказы о себе и о своих подвигах, но самое название «Ежа», данное ему таежниками, метко характеризовало нравственный склад его и деятельность. Он не покинул ни одного прииска, не оставив по себе рассказа между рабочими, где бы энергичная фигура его не являлась протестующей против произвола и насилия.

Не обошлось у него без столкновения и с администрацией Г-о прииска. В числе рабочих был один старик, называемый «Рубцом» за шрам, рассекавший левую щеку до губы. Это было ветхое существо, доживавшее на приисках свою страдальческую жизнь и превращенное временем в идиота. Силы постоянно изменяли ему и труд, легкий для других, для него становился тяжестью. Но как покорное животное, привычное к работе, напрягая силы стащить грузный воз, наконец, падает, так нередко падал и Рубец от непосильного для его лет напряжения. И как в тусклых глазах животного появляется в эти минуты выражение, молящее о помощи и пощаде,— такое же выражение принимали в подобных случаях и глаза всегда молчаливого Рубца. Он был жалок; молодежь смеялась над ним, он покорно улыбался в ответ на насмешки и шутки их. Однажды Рубца, работавшего в разрезе вместе с Ежом, надсмотрщик ударил по голове за какую-то сделанную им ошибку. Удар

был так силен, что Рубец упал. Остальные рабочие, привыкшие к этим сценам, не обратили на нее внимания; но не то было с Ежом. Помогши Рубцу подняться на ноги, он тихо спросил надсмотрщика: «Кого ты бьешь? Есть ли в тебе душа... одумайся!» Немногих слов этих было достаточно, чтобы надсмотрщик накинулся и на непрошеного заступника. Но едва он ударил Ежа, как в виду всех рабочих покатился кубарем. С налитыми кровью глазами, с лицом, искаженным бешенством, Еж убил бы надсмотрщика, если бы вовремя не отняли его рабочие. «Задеру, задеру насмерть!» — кричал управляющий, приказав привести к себе Ежа, когда ему доложили о поступке его. Но, вероятно, и по фигуре пришедшего к нему Ежа, и по тону, каким он произнес: «Дери! Я здесь!» — управляющий понял, с кем имеет дело, и молча ушел в свой дом. В тот же день Ежа перевели в дальний разрез на тяжкую работу, куда обыкновенно посылали только опальных рабочих. «Ну-у, несдобровать Ежу!» — шепотом говорили между собой рабочие, зная, что управляющий не из тех, которые прощают обиды...

Но возвращаюсь к началу рассказа. Закрепив один бродень, Еж продолжал ту же работу над другим, изредка поправляя светильню чадившего жировика и прислушиваясь к шедшему около него разговору.

— Жиру мужику нагуливать и свыше дозволения нет! — произнес весьма пожилой рабочий с большою лысиной на широкой голове и, высучив на голом колене толстую нитку вдвое, вдел ее к свету в иглу и обвел слушателей лукаво-насмешливым взглядом.— Жир мужику — баловство, на то об тебе и пекутся, чтобы ты не вырос выше меры, а вырастешь — ну и обровняют с того конца, где у нашего брата ума боле. Ты вот погляди на скотину: поколь у ней ребра напоказ — смирна, а нагуляла жиру за лето — отколь и прыть возьмется! Так и мужичье дело. Дай-ко бы мужику за все сытым быть...— и-и не способился бы! Что около сытого коня, то и около сытого мужика, други, ходи с оглядкой — бры-ы-ык-нет! Сытого-то мужика в узкий хомут не впряжешь!

— Нешто, Фрол Иваныч, мужиков-то впрягают? — прервал его молодой парень с худой, впалой грудью, сидевший поодаль от всех.

— Мужик-то, почитай, чище другой лошади на вожжето ходит!

— Впервой слышу!

— А тоже лезешь с людьми разговаривать! Э-эх,

Анчут, Анчут! Голова-то с овин, да в овине-то клин! Знай же, что промеж тобой и скотиной та разница: на скотину хомут силой надевают, а ты в него сам лезешь, да еще потуже затягиваешься! И хомут этот невидимка, простому человеку даже не в примету! А что, к слову спросить, Данила Филиппыч,— обратившись к Ежу, спросил он,— никак у нас ноне с тобой до последней петли затянуто?

— Тугонько! — ответил Еж, взбросив волосы и открыв лицо, с которого не сходило веселое настроение.

— Много, по-твоему, денег-то придет?

— Не выговоришь...

— О-о! Выходит кругло ж, а?

— И кошеля экого не знаю, где подобрать, куда б склаасть!

Фрол Иваныч вместо ответа хихикнул как-то в себя и мотнул головой.

— Ноне, Фрол Иваныч, в плисе не защеголяем! — продолжал Еж,— у всех тугонько!

— Не пораспустить ли, а?

— Боятся!

— Не натерло еще, выходит?

— У иного и перетерло, да, вишь, трахтуют, кабы волдырь не сплыл: уж больно садко!

— Не раскачались,— погоди!

— Не-е-ет, Данилушка! Видал, чего былиночка-то боится? Не дождя, не грозы, не холодной росы, а острой косы!

— Фрол Иваныч! — вступился грубый голос, заглушивший собой и говор, и смех.— А ты слыхал ли: косы-то бояться, и былью б не расти! Да вот растет же?

— Слыхал я это, Панфилушка, а вот ты-то слыхал ли: зернышко на мякине держится, да через мякину и кормится, а все как нардеет, так мякину же к земле клонит, а не мякина его... Отгани-ко вот...

— И прибауток же... ах ты, братец мой... и где это он наковырял их!

— Наковыряешь... как шестьдесят-то семь годков богу и великому государю отслужишь. Много я видывал, други! Видывал, как и зерно мякину гнуло, а колоски с корешком вырывало! Не видал одного только, да и не увижу, чтоб мякина зерно пригнула. И все, други, скажу: ровно прежний-то народ покрепче был, а нонешний что-то жидковат!

— На худой пашне, дядя, и хлеб неиздашен,— заметил кто-то из окружающих.

— Э-э-э!.. одна бы пашня-то, и уход-то один был, да уж так... На крупный народ неурожай пошел, куда ни погляди... Ах, даже говорить-то...

— Аль устал!..

— Устанешь. Язык-то мозолить надоело, и он, что брус,— стирается.

— Стало быть, худой брус, если стирается. Добрую-то брусину не скоро сотрешь.

— Сотрешь и добрую!.. Ржавое железо всякий брус портит! — верь!

— Памфил Карпыч, ты с ним не спорь! Загадки пойдет метать, хошь тын городи! И кто это, дядя Фрол, тебя учил им?

— Учил-то меня один бы с вами учитель, да, вишь, не всем, погляжу, эта грамота далась...

— Я, дядюшка, первый неграмотный, ты меня в свое слово не путай!..

— Ты, Анчутушка, и сам в своем слове запутаешься.

Общий взрыв хохота прервал Фрола Иваныча. Даже сам Анчутка захохотал и закашлялся, схватившись рукою за грудь. Между тем около Фрола Иваныча понемногу стали группироваться и остальные рабочие.

— Ох, горе да нужа, голод да стужа всему, други, научат,— продолжал Фрол Иваныч.— Только не всякий смышлен из энтой грамоты-то выходит!

— Обшлифовала тебя, Фрол Иваныч, наука-то! должно, с нее у тебя и голова, што пузырь, гола!..— послышалось из среды столпившегося кружка.

Большинство рабочих давно уже покинуло свои занятия и стеснилось около словоохотливого Фрола Иваныча.

— А ты, Данилушка, штой-то плотно броденьки-то чинишь? Аль путь-то далек, а? — с лукавой улыбкой спросил он Ежа.

— Мое, Фрол Иваныч, дело такое: не знаешь, где ляжешь, не чуешь, где встанешь! Хочу ноне своим неводом рыбу ловить.

— Закидывай, Данилушка, мутное озеро-то, улов будет, а я на пяту!..

— Становись, дядя Фрол, старый ум молодому заручка. Хошь пуху не добудем, да перье отстоим. Что ж, братцы, пойдет кто в поплавки к моему неводу, а? — взбросив волосы и весело посмотрев на окружающих, спросил он.

Фрол Иваныч, низко наклонившись над работой, чтоб

скрыть выступившую на лице усмешку, быстро замотал в воздухе иглой.

— А глыбко ты будешь закидывать-то, Данила Филипныч?

— Рыба-то поверху не плавает, а по дну! — с улыбкой ответил он.

— С нашего брата пух щиплют — не спрашивают, больно аль нет; так и нам закидывать, так уж во всю мережу! — произнес из толпы пожилой старик.

Кто знаком с русским простолюдином, тот, вероятно, замечал, с какой иногда изумительной легкостью возбуждается он. Одного едкого намека, острого слова бывает достаточно, чтоб перед ним выяснилась истина, до сих пор и не зарождавшаяся в уме его. Но благодаря этой легкости возбуждения он и действует без определенного плана. При всем запасе энергии, в которой нельзя ему отказать, у него недостает твердости выдержать до конца в предпринятом деле. Так и теперь, затаенная дума каждого нашла верный отголосок в общем ропоте неудовольствия, все более и более возвышавшемся в среде рабочих.

— Не совсем же ржаво железо-то, Фрол Иваныч, а? — окликнул, подмигнув на гудевшую толпу, молодой парень с курчавыми светлыми, как лен, волосами,— точил, точил, да и наточи-ил!

Вместо ответа Фрол Иваныч, также усмехнувшись как-то вовнутрь, молча наклонился над своею работой. Фрол Иваныч, как и Еж, пользовался большим авторитетом в среде рабочих. В грубых, но крайне подвижных чертах его лица выражалось много ума и самого наивного добродушия. Небольшие серые глаза в старчески покрасневших веках, окруженные сложною сетью, точно иглою проведенных морщин, казалось, не могли выражать иного чувства, кроме смеха, но смеха, никого не оскорбляющего. Это был человек того типа людей, жизнь которых всегда составляет противоречие с выводами, какие они способны делать благодаря своей наблюдательности. Они всегда бескорыстны вследствие своей безграничной доброты и, несмотря на весь свой опыт, на все уроки жизни, всегда доверчивы к людям. Никто не способен к такой самоотверженной дружбе, как они, и никто не способен в то же время сделать так много зла — при всей своей доброте и незлобивости,— как они, под увлечением охватившего их чувства. Податливость их натуры способствует уживчивости во всякой среде, при всяких обстоятельствах. Они иногда пользуются значительным влиянием на

окружающих, и в то же время никто более, как они, не нуждается в посторонней поддержке, в подчинении влиянию людей, часто стоящих далеко ниже их по своим нравственным качествам, но имеющих более устойчивый характер.

Между Фролом Ивановичем и Ежом, несмотря на противоположность их характеров, существовали самые теплые, дружеские отношения. Подобная дружба, не охлаждающаяся ни при каких обстоятельствах, часто встречается в быту народа. У простолюдина нет ничего заветного для любимого человека. Хозяйство их взаимно открыто для пользования друг у друга. Они без спросу берут лошадей, если встречается в них надобность, берегут, в случае отлучек, оставляемое на их попечение хозяйство с большей заботливостью, чем собственное. Обмануть друга, выдать его в несчастии считается преступлением, для характеристики которого нет и слова.

— Раскачало, Данилушка, мякину-то, быть дожжу с градом! — с иронией произнес Фрол Иваныч, обратившись к Ежу: — устояла б только!

— Устоит!

На следующий день во флигеле, примыкавшем к главному зданию прииска и квартире управляющего, с вывеской на дверях «Контора», с утра густою массою теснились рабочие. Комната, занимаемая конторою, была обширна. В одном углу ее, огороженном плотною решеткою, сидел главный конторщик, молодой человек с длинными белокурыми волосами. Двое помощников и человека три конюхов окружали его. Несмотря на бессонную ночь, проведенную за сведением расчетов, и конторщик, и помощники его были в веселом расположении духа: для них, как и для рабочих, окончание утомительного приискового сезона и выезд на зиму в города — самое веселое время. В среде рабочих шел оживленный говор и смех. Несмотря на то, что дверь была раскрыта настежь и осеннее утро, наступившее после ненастной ночи, было морозно, в комнате царствовала невыносимая духота. У небольшой дверцы, около решетки, стоял конюх, отворяя ее для пропуска за решетку вызываемых в алфавитном порядке рабочих. Расчет их не представляет продолжительной процедуры. Рабочий получает на руки билет, хранящийся в конторе, и при нем счет, в котором выписывается все забранное им, с цифрой стоимости каждой вещи или продукта. Во избежание тесноты рассчитанного рабочего выпускали из конторы в противоположную дверь, также охраняемую конюхом. В то время как в задних рядах рабочих слышался смех и говор, в передних, жавшихся у решетки,

наблюдалось молчание. Каждый из рабочих зорко следил за всеми действиями конторщика и особенно за одним из помощников его, сидевшим по правую сторону стола, около высоких стопок ассигнаций и медных и серебряных монет.

— Николая Митрича с зимним деньком, что с горячим блинком! — произнес вдруг протеснившийся к решетке молодой парень, с бойким, выразительным лицом, вытянувшись во фрунт перед решеткой.

Выходка эта была встречена общим прокатившимся в толпе смехом, конторщик поднял голову и улыбнулся.

— Ты все с шуточками, не унялся еще!

— Мяли, Николай Итрич, да отстали: из неспорой глины, сказывают, горшка не обожжешь! Не томите душ-то в отпущении грехов! — заключил он, кивнув головой на рабочих.

— Абрамов! Егор Абрамов!..— произнес конторщик, глядя на толпу.

К решетке протеснился молодой, неуклюжий на вид парень.

— Иди, растопыривай карманы-то! — сострил конюх, затворяя за ним решетку.

— Тридцать два рубля 83 копейки! — подавая ему билет, счет и деньги, произнес конторщик.

Молча приняв деньги, Абрамов медленно пересчитал их и, немного подумавши, с расстановкой повторил: «Так энто тридцать-то два рубля всего? Ловко!»

Гул смеха был ответом ему.

— Ловко... ай, ай! — снова повторил он, по-видимому, не придя еще в себя от поразившей его цифры.— Энто за какие ж бы провины обшарпали-то?

— Тебе дан счет, и считай,— ответил тот, не глядя на него.

— Считай! Ты мне словом скажи. Я вот еще неграмотный!

— Акимов! — вместо ответа выкрикнул конторщик.

Толпа снова заколыхалась, давая дорогу хромоногому старику с худым, морщинистым лицом, обросшим клочками волос вместо бороды. Войдя за решетку, он перекрестился два раза в передний угол и поклонился конторщику.

— Шестьдесят восемь рублей! — подавая деньги также вместе с билетом и счетом, сказал конторщик.

— Что ж, ответь мне что ни на есть! — снова обратился к нему Абрамов.

— Что же тебе ответить-то?..

— За что обшарпали-то меня! По моему-то счету, боле ста рублев надоть на руки бы!

— Сосчитал же! — с усмешкой обратился к конторщику сидевший около него помощник.

— А ты думал, что мужик, так и счету не знаю,— прервал его Абрамов, весь вспыхнув и встряхнув волосами; — нет я еще тебя научу!

В это время и старик, пересчитав деньги, замялся и робко произнес:

— Маловато бы и мне-то, ровно!

— Чего ты ждешь еще,— нахмурив брови, спросил конторщик, обращаясь к Абрамову.— Тебя рассчитали!

— Нет!

— Как нет, ведь ты деньги получил?

— Додачи жду! Мне следует сто рублев, а кинул, что собаке кость, и рассчитал! Нет, ноне у нас у самих головы-то не в обручах! Ты вот и языком шевельнуть не хошь, за што обшарпал, даешь и спрашивешь: чего мне надоть! Я знаю, чего мне надоть, мне мои деньги подай!

— Да ты пьян, верно? — с удивлением произнес конторщик.

— Студеной воды два ковша выпил, точно! А ты, почтенный, не напоивши, не кори! Пьян! С обману-то вашего охмелеешь!

— Ты забылся! Где ты стоишь?

— Места не продавлю, не бойся!

— Выведите его! — весь покраснев, обратился конторщик к конюхам.

— Энто вместо расчета-то! Нет, я еще не пойду, ты мне наперво подай мое кровное да тогда уж гони! Слышь, братцы, выводить хотят! — обратился Абрамов к толпе, среди которой царило глубокое молчание.

— Егорка! Подь лучше без греха! — вступился один из конюхов, неохотно придвигаясь к нему.

— Мне мое подай, тогда и сам уйду, а ты не подходи!.. и, ей-богу, не подходи, коли скула цела!

Но не прошло и минуты, как с криком: «Братцы, что ж это, ограбили, да и гонят!» он вылетел за дверь конторы и, присев на земляную завалину, заплакал, уткнув голову в руки, забыв и о шапке, выпавшей из рук его при борьбе с конюхом и выброшенной далеко от двери в грязь.

Что-то неясное пробежало в толпе, и вслед затем снова наступила тишина.

— А ты чего ждешь? — спросил конторщик не то уста-

лым, не то взволнованным голосом рассчитанного старика,— ведь деньги получил?

— Получил, получил, дай бог! Только, говорю, маловато бы, ровно... Ну, да уж коли что... так чего говорить... гоняете! А-а-ах! — сжав счет и деньги в руках, он направился к той двери, откуда был выпровожен Абрамов.

Вызванный вслед за ним, по порядку, высокий, сутуловатый рабочий молча всунул полученный билет за пазуху, пересчитал деньги и, размотав веревку, прикреплявшую к ноге голепище бродня, заложил за него деньги и угрюмо спросил конторщика:

— Все?

— Все!..— ответил тот, вопросительно посмотрев на него.

— Видать, густо месили, да хлебать нечего! — задумчиво произнес он.— Неуж и все тут? — снова спросил он.— В эфтакой-то препорции обсчитывать нашего брата, на мой мужицкий ум — грабеж.

— Выражайся полегче, любезный! — предостерег его конторщик, весь покраснев.— В другом месте можешь говорить что угодно, а здесь будь вежлив!

— Слово-то не обух, не бьет! И у березки слезки текут, когда с нее лыко дерут — не токмо наше дело! Заговоришь, как в три-то скребла огребают. А-а-ах, правда! Без пути пустырями по свету бродишь, только к людям не заглядываешь! Дай вам господи чужие крохи есть, не давиться; людской слезой, что соленой водой, не напиться. Экая совесть-то у людей, братцы! — обратился он к толпе.— Почесть, третьей доли не дали того, что доводится, а-а!

— Выведите его! — обратился к конюхам начинавший выходить из терпения конторщик.

— Доколь же это, братцы, глумиться-то над нами будут!

— Иди, иди, Вавило, нечего! — произнес один из конюхов, беря его под руку.

Толпа заколыхалась, и к решетке выступил Еж.

— Иди, Вавило! — произнес он среди невозмутимого молчания.— А ты, ваше почтение, крикни нам управляющего! — обратился он к конторщику.— Мы с ним поговорить хотим!

— О чем это? — спросил его смутившийся конторщик.— Если что нужно, говорите, я передам.

— В чужую кашу, ваше почтение, свою ложку не суй... Мы ее и своими расхлебаем!..

— Ты кто такой, чей прозываешься?

— Карпов, а за все-то Ежом зовусь...

Конторщик молча переглянулся со своими помощниками, лица которых, как и его собственное, выражали полное недоумение. Переглянулись между собой и конюха, поняв, что затевается что-то недоброе и что роль их чуть не окончена. Подумав немного и снова посмотрев на толпу, в среде которой хранилось мертвое молчание — признак твердо принятого решения, конторщик встал и, собрав документы и деньги, сложил их в стол, запер его и вышел из конторы.

При редком расчете приисковых рабочих не возникает между ними неудовольствия на неправильную оценку труда, на высокие цифры, проставляемые за забранные ими товары и продукты. Подобные натяжки при расчетах с рабочими встречаются не только у тех золотопромышленников, дела которых идут плохо и с году на год грозят падением, но и при хорошей организации хозяйства, при благодарном вознаграждении произведенных затрат. Гнет этот всегда идет через руки управляющих приисками, которым вверяется распоряжение работами и вся административная деятельность на правах самостоятельных лиц. Чем больше управляющий соблюдает интересы своего хозяина, тем более гарантирует прочность свого положения, всегда завидного благодаря хорошему содержанию и полному материальному обеспечению.

Василий Никитич Кудряшев, управляющий Г-м прииском, находившимся в ведении конкурса, учрежденного над делами одной из золотопромышленных компаний, не пользовался хорошей репутацией не только между рабочими, но и у других служащих. Человек он был пожилой, с значительной проседью в коротко остриженных волосах и окладистой бородке, пользовавшийся завидным здоровьем благодаря постоянной физической деятельности. Подобострастный и хитро вкрадчивый с высшими, он не знал границ произволу с людьми, зависящими от него.

Как все коренастые, полнокровные люди, он был вспыльчив до исступления, причем хриплый голос его сипел, глаза наливались кровью, и горе было не только рабочим, но и конторщикам, и надсмотрщикам, подвергавшимся в эти минуты припадкам его гнева.

Он рассыпал удары направо и налево, не разбирая ни правых, ни виновных, и считал не только ненужным, но неприличным для своего звания извиняться перед невинно пострадавшими, когда выяснялось дело. Рабочие, окрестив его названием «крутолобый», боялись его. За Василием

Никитичем было много дел, которые другому бы не прошли безнаказанно, но, находясь более чем в интимных отношениях с председателем конкурса и имея репутацию хорошего управляющего, он пользовался неограниченным доверием и заступничеством в случае возникающих жалоб.

Одна неопытность или необходимость отработать забранное гнала рабочих на Г-ий прииск. Василий Никитич никогда не присутствовал при расчетах, предоставляя выносить ропот неудовольствия и нареканий конторщику. Сидя теперь в комфортабельно убранной комнате, стены которой вместо обоев были увешаны коврами, он сверял приисковые шнуровые книги и черновой отчет о приходе и расходе сумм за летний сезон. Переданное ему желание рабочих видеть его и говорить с ним неприятно подействовало на него. Откинувшись на высокую спинку кресла, он побагровел; глаза его сузились, и большой палец правой руки быстро завертелся около рта. Василий Никитич понял, зачем рабочие желают видеть его и о чем будут говорить с ним. Не сказав ни слова конторщику, он встал, надел вместо халата бешмет, опушенный беличьим мехом, и, опустив в карман небольшой шестиствольный револьвер, постоянно заряженный и всегда лежавший у его постели, вышел в сопровождении конторщика.

При входе в контору он зачерпнул из ушата, стоявшего у двери, воды в небольшой жестяной ковш и, выпив несколько глотков, отер рот и усы рукавом бешмета и взялся за дверную скобу. Но прежде чем отворить дверь, пасмурное лицо его, способное повиноваться воле своего хозяина, приняло совершенно иное выражение. Морщины на лбу разгладились, сжатый рот раздвинулся в улыбку; только глаза совершенно скрылись, чуть прорезываясь из сдвинувшихся век, да яркий румянец выдавал еще следы недавнего волнения. Василий Никитич, как и все недаром прожившие на свете люди, умел владеть собой и подавлять свой гнев, прикрывая его улыбкой там, где требовали того обстоятельства.

— Здравствуйте, голуби, здравствуйте! — улыбаясь и потирая руки, приветствовал он молчавшую толпу. И смутившись, не получая ответа от нее, быстро заговорил: — Ну, вот, слава богу, и работы покончили, по домам теперь, на покой к бабам... то-то с голодухи-то, поди, а-а... ха-ха! — сострил он, подходя к решетке. — Ну, что, голуби, обо мне соскучились, а? Спасибо за память!..

— Мы, ваше почтение, все помним! — ответил ему Еж,

глаза которого заискрились и лицо приняло свойственное ему одушевленное выражение.— Только вы-то нас забыли!

— Как же это, чем же я-то забыл вас? Ба-ба-ба... да ты никак знаком еще мне! — вместо улыбки неприятно скривив рот, спросил он, пристально всматриваясь в него.

— Видались за лето-то!

— Помню, помню, как, бишь, тебя?

— Еж, ваше почтение! — подсказал он смело, в упор глядя на него.

— Да, да, да!.. Кто же это тебя окрестил-то так, а?.. Еж... этакого имени и в святцах нет... ха, ха, ха! Не поп ведь, поди, а?..

— Никак нет-с... а уж так, по шерсти и кличку мир дает!

— О-о! Да ты говорок!

— Таежные дорожки всякую шину вгладь оботрут, ваше почтение!

— Говороо-ок!..— протянул Василий Никитич, чувствуя свое неловкое положение и не зная, с чего начать свое щекотливое объяснение с рабочими.— Так что, бишь, зачем вам меня-то, а?..— спросил вдруг он, обратившись к толпе.

— Обкроили уж больно, Василий Никитич, покромки-то у вашего суконца широки, нельзя ли поуже, сле-езно мир просит! — ответил ему Еж.

— То есть что же это? Я не понимаю!

— Расчеты-то ваши-с на вид-то гладки-с, да на ощупь шаршавы, пожалуй, и карманы протрут!

— А-а... да, да! Понимаю! Значит, по вашим покромкам расчеты-то пригнать? — шутливо спросил он.

— Обоюдное было дело! Мы для вас радели, а вы об нас!..

— Сколько кто хочет, столько и дать, а? Так, что ли? — снова спросил он.

— Знаю, знаю! И сам знаю, молодцы,— обратился он к толпе,— что обрадовал бы вас, да не моя воля... Не я хозяин, вы наших дел не знаете! Я ведь и сам понимаю, что если ты... ну, как, бишь, тебя, Еж, что ли?

— Еж... так точно-с!

— Ну, ты, например, взял бродни из цейхгауза... Они стоят рубль.

— По ихним качествам, Василий Никитич, вся им цена — тьфу!

— А знаешь ли, что по справедливости-то я должен бы ставить их в счет три рубля. Мне так и конкурс приказывает, а я ставлю их в два,— на свой счет рубль принимаю, чтоб

только вас не обидеть! Так сколько же этаких-то рублей у меня из кармана выходит?

— Не наше дело хозяйский расчет вести! — послышалось из толпы.

— А у хозяев и карман-то, Василь Никитич, толще вековой сосны: есть из чего и к нашему брату снизойти!.. серьезно произнес Еж.

— У них тыщи,— снова заговорили в толпе,— а у нас крохи: у них лишнюю тыщу потрясти — горе берет, а у нас последнюю кроху отбирают!

— Сказано, что к ихней совести правда, что к сухой лопатке песок, не пристанет! Вот ты бы, Василь Никитич, сам поробил, так проведал бы, каковой оно! И ты бы заговорил, как у тебя стали бы твое-то добро обкраивать!

— Это кто там говорит? Кажись-ка сюда!..— произнес, побагровев, Кудряшев.

— Кто бы ни говорил там, а ты знай слушай да мотай на ус!

Нижняя губа Василия Никитича дрогнула, рука, сжавшаяся в кулак, уперлась в решетку, как бы ища опоры.

— Оно точно, Василь Никитич,— снова вступился Еж.— По вашим словам, хозяевам расход большой, только, на мой бы ум, за плевые вещи им бы и убычиться не след, и мужиков бы не зорить. Лонского году торгующий завез было сюда товары, так ваша же милость приказали его выпроводить, а он не в пример дешевле брал! Тогда бы, значит, и нам бы льгота и хозяину без разорения! — с иронией заключил он, смотря на смущенное неожиданным аргументом его лицо Василия Никитича.— Вот он, зипунчик-то, за лето-то, изволите видеть, окромя как на невод, никуда не пригож, а тоже 15 рубликов поставили, а ему и вся-то цена с лихвой бы пять!

— Зачем же брал, если он дурен и дорог! Ведь не наваливали силой!

— Оно точно! Да ведь народ мы и теплый, а все своя-то овчина не греет... Холодно, и плачешь, да берешь.

— А согрелся, так и хозяйский зипун показался дорог и худ?

— Да от него сугреву-то немного видали, Василь Никитич. Только слова, што на плечах зипун, а все более из своей же каменки пару в кулаки поддавали. Так уж будьте побожески, не обидьте сирот, спустите ценки-то! Лишняя сотенка хозяйского кармана не натрудит, а бедному человеку помога. Ноне же на золотце-то урожай бог послал, а хозяевамто заручка через наши же ручки плывет!.. У путного хозяина,

Василь Никитич, сказывают, и скотина хворает, так уход видит; а ведь мы тоже божье творенье, уж снизойдите, не вычитайте хворых-то дней из платы! Навек ведь мы богомольцы за вас!

— Прежде чем говорить-то бы все это, ребята, да бунт-то затевать, спросили бы, могу ли я еще спустить цены-то? Разве мое добро, разве я хозяин ему? Кого спросят, какое я имел право самовольно распорядиться чужим добром, вас или меня, а?

— Известно, вас, это точно-с!..

— А-а-а!.. А что же я должен буду ответить на это?

— Не мне бы вашу милость учить, да уж коли приказываете, поперек воли начальства не пойдем! Ответьте, ваше почтение, что я, мол, не скариотский Ирод и у меня, мол, душа есть! Э-э-эх! Ваше почтение, Василь Никитич! Привел бы вам бог на наших-то кормах денечек побыть, так поосунулись бы, румянчик-то с личика — что девичья притирка — к ночи бы пооблез! От одного битья-то вашего не одна спина погодку чует. Много православных за нонешнее лето вынесло на них зарубочек на память о вашем раденье и добродетели к нам! Вот Иван-то Малый совсем без ног, носи его теперь, как младенца малого, в дом-то! Придет, что к пустому срубу, ни поесть, ни погреться! А вы и тут вычли все дни! Господи, да неуж к человеку у вас и жалости-то нету! Что ж, значит, и последний час кого настигнет, и тут иди, робь! За мужика, ваше почтение, некому стоять; у него нет защитников, всякий только и норовит из его же овчинки шубу сшить,— так уж вы, ваше почтение, в свою-то речь хозяев не путайте. Мы тоже люди бывалые. Родились-то хоша и дураками, а знаем, что вы тут хозяин, в вашей воле все! Так уж рассчитывайте вы нас по-божески, а без энтого мы ноне и миром положили обратной дорожки в лесу не прокладывать!

— А-ай, Е-еж, важно! И ей-богу, правда!..— проносилось в колыхавшейся толпе все время, когда говорил он.

Положение Кудряшева было более чем жалкое: он то бледнел, то краснел, но все-таки настолько владел собой, что сохранил веселое выражение в лице.

— Молодец, Еж! Молодец!.. Теперь вижу, что недаром тебя окрестили так,— шутливо ответил он, наконец, фамильярно потрепав Ежа по плечу через разделяющую их решетку.

— Он у нас парень — голой рукой не хватай, ваше почтение! — со смехом откликнулись в толпе.

— А задали вы мне, ребята, задачу! Как и быть-то

с вами? — задумчиво произнес Кудряшев.— Ну, я спущу цену, облегчу вас, а что же хозяева на это скажут? Да у меня еще, молодцы, и денег-то не хватит!

— Неуж обнищали, ваше почтение?..

— В обрез, милые! Ведь нам хозяева-то присылают — не разгуляешься, а дай бог у нитки с ниткой концы сплесть!

— Свои потревожьте, хозяева вашу милость не обочтут! — с иронией ответил Еж.

— Свои!.. А ты считал в моем-то кармане?

— Мы, ваше почтение, и в своих-то отвыкли высчитывать, так уж нам ли чужой мерить, глубок аль мелок?

— И спроси прежде, еще есть ли свое-то?

— Полагать бы надоть...

— Почему ж... ну-ко?

— По приметам бы...

— Каким? Что на лбу написаны?

— По нашей, по мужичьей, примете мы судим. На нашу сметку, ваше почтение, коли у человека денег нет, так он и ростом словно пониже выглядит, и с лица будто темней! А человек с деньгой, не во гнев вашей милости, и белей, и румяней... усмешка на алых устах, и живот, как у вашей же милости!

— Ну, так вот что, молодцы, слушайте,— обратился к толпе управляющий.

Толпа стихла и сдвинулась к решетке, надавив на передние ряды.

— Так и быть, исполню вашу просьбу, спущу вам по рублю: довольны ли?

— Обрадовал, ха-ха-ха... ну-у! — прокатилось в толпе.— На помин по душе хватит!

— Ну, по скольку же, наконец?

— Самонастоящую хозяйскую ценку прикиньте, будьте милостивы! А рублик-то мы уж на расходы жертвуем, будто как хозяйские убытки прикрыть...

— Не мелко же ты забрел, любезный!

— В глыбком месте более простору, ваше почтение, по крайности есть где поплавать, ручки, ножки расправить.

— Не могу! — решительно ответил управляющий.

— Ва-аше почтение!

— И не просите, не могу! Что можно сделать, то сделаю по совести. А больше не просите!

— Ах, ваше почтение, на все бы власть ваша, да уж коли вы не можете — что ж, и мы свое слово колышками подопрем!

— Слово... какое слово?

— Обратной дорожки в лесу не протаптывать!

— Силой хотите принудить, что ли?

— Силой-то и детеныш у матки молока не выпросит, а все более лаской, ваше почтение! Мы с доброго слова просим!

— Вы одумайтесь, чего вы просите!..— прервал его взволнованным голосом Василий Никитич.

— Одумайся-ко ты, ваше почтение! — выдвинувшись к решетке, произнес Фрол Иваныч.— Наша-то дума надумана.

По лицу Василия Никитича внезапно пробежало веселое настроение. Он широко улыбнулся, раскрыл глаза, в которых просвечивалась лукавая насмешка.

— Ну, что ж... ребята, как же, а? Хозяйские цены взять, что ли, а? — весело спросил вдруг он.— А?.. обрадовать...

— Истинно, ваша милость! То ись, ах, как обрадуете!

— А наброс-то ваш брать, а? — заигрывающим голосом продолжал он.

— Рублик-то-с?

— Ха... ха... ну, ну, что делать! — обратился он к конторщику.— Уважим им, Николай Дмитрич! На будущий год, может быть, и они нам за это горы разгребут! Так, молодцы, что ль?!

— Озолотим!..— почти в голос ответила толпа.

Более прозорливому наблюдателю невольно бы бросились в глаза и внезапная беспричинная веселость, неподдельно выразившаяся в лице Василия Никитича, и уступчивость этого человека, за минуту еще упорно стоявшего на своем. Все это неминуемо породило бы сомнение в справедливости его слов. Но не таков был стоявший перед ним простодушный, доверчивый народ, принимавший всякое слово за чистую монету. Только конторщик догадался, что Василий Никитич задумал что-то, да в уме Ежа мелькнуло недоверие.

— Значит, ваше почтение, по хозяйским ценам рассчитаете нас? — спросил он.

— Ведь я сказал! Что же еще?

— И у больных не вычтете? — тем же тоном спросил он, пытливо и недоверчиво смотря в глаза его.

— Я, братец, не привык обманывать. Понимаешь?

— Пошли вам господи! Простите, что пообидели...

— Вот это дело! Наговорить-то, ребята, вы много наговорили мне. Особливо вот ты, братец, напел! — обратился он к Ежу.— Не злопамятен я, всегда готов для человека добро сделать!..

— Простите, коли лишнее что сгрубил, ваше почтение!..

— Я добрый, ребята!

— Ужо уж при получке похвалим, ваше почтение!..

— Ну, получку-то, молодцы, вам все-таки подождать нужно. Ведь вас 150 человек, переделать-то все расчеты нелегко; дня три-четыре нужно. А теперь за то, что поладили делом,— так и быть, уж распорядись, Николай Дмитрич, выдать им по чарке водки!

И заликовал прииск после поднесенной чарки водки, зашумел в бараках говор, полились и веселые песни, и не было счета благословениям и похвалам из простодушных уст добродетельному Василию Никитичу, который, через час после этой сцены, послал донесение о бунте рабочих с надежным верховым конюхом горному исправнику, резиденция которого находилась в 80 верстах от этого прииска.

Через двое суток па прииск прискакал исправник в сопровождении конвоя казаков. Следствие о беспорядках было непродолжительно. Главные зачинщики: Еж, Фрол Иваныч и Памфил Карпыч были отправлены в Т... острог, остальные, под конвоем, препровождены обычным порядком.

Не прошло и полугода, как Фрол Иваныч и Памфил Карпыч, оставленные по приговору судебного места в подозрении, были выпущены из острога без всяких последствий. Старик Фрол не покинул Ежа до самого решения дела. Пропитываясь милостыней, он оделял его деньгами и утешал теплым словом. Ежедневно, во всякую погоду, можно было встретить его идущим в острог или со связкой крендельков в руках, или с булкой и с туеском молока. С искренними слезами горя на глазах он проводит его по широкой дорожке, проторенной не колесом, не копытом, а людским горем...

I

— Видели Марзака...— торжественно заявлял наш кучер Яков, неподвижный и вялый хохол.

— Где видели?

— А по улице иде, пранци его батьке...

— Что же его не задержали, Марзака?..

— А зачем его держать: сам приде ночью у кабак — там и словимо.

— А если не придет?

— Приде... Куда вин денется, пранцеватый?..

При последнем слове Яков лениво улыбался, раскуривал трубочку и делал необходимые приготовления к предстоящей ночью баталии, то есть лез на печь и доставал чугунный пест от ступки — единственное оборонительное и наступательное оружие в нашем доме. Хохлацкое спокойствие производило на нас, детей, импонирующее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым ртом, как на героя: Яков будет ловить разбойника Марзака; Яков побежит в кабак с чугунным пестом в руках по первому удару набатного колокола крепостной заводской конторы; Яков будет вязать веревкой Марзака и т. д.

— Яков, а тебе не страшно? — приставали мы к нему.— Ведь Марзак с ножом...

— Нехай с ножом...

— Он тебя зарежет...

— А пест?

Мы, дети, страшно волновались и выслеживали каждый шаг Якова до того момента, когда нас отправили спать. Вол-

новались и большие, хотя эта история повторялась через известные промежутки не один раз. Всего более смущала уверенность, что Марзак должен прийти именно в кабак, и никуда больше. В этой мысли было что-то роковое, неизбежное, как сама судьба, и фатализм положения пугал одинаково как больших, так и маленьких. В Марзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, не укладывавшаяся в тесные рамки заурядного прозябания.

Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно стучала какая-то невидимая, таинственная рука. Кучер Яков, не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептался, а потом возвращался в кухню и упорно молчал.

— Из конторы сотник приходил...— объясняла нам кухарка под величайшим секретом.— Народ сбивают... Легкое место сказать: одного человека пымать!.. тьфу!..

В кухарке сказывалось смутное сочувствие к геройству Марзака, и она любила рассказывать, как этот разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, как его ловили, заковывали в кандалы, драли в «машинной», а потом увозили в Верхотурье, в острог. Марзак сидел несколько времени, а потом уходил и непременно возвращался опять к нам на Шайтанский завод. Раз ушел он из острога зимой в одной рубахе, босой, и ничего, остался жив. Вообще получался легендарный человек, который умел заговаривать даже пули конвойных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припоминались именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом думаешь о «машинной», где наказывали за всякую крепостную провинность розгами, о верхотурском остроге, о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой Марзак, и детское сердце сжимается от ужаса. И жаль делается, и страшно, и какое-то тяжелое чувство поднимается в душе против неизвестного, расплывающегося в детском воображении зла. Приказчик Завертяев, на которого Марзак бросался с ножом, часто бывает в нашем доме, он такой веселый, добрый человек. И его тоже жаль... Зачем Марзак хотел зарезать этого Завертяева? В ушах даже поднимается звон кандалов, в которых мы видали Марзака не раз... Да и вот сейчас этот самый Марзак идет с ножом к кабаку, где его будут ловить... Детское сердце замирало от страха, и ухо старалось поймать малейший шорох.

Действие начиналось обыкновенно ночью.

Прежде всего повторялся таинственный стук в калитку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал из кухни не

менее таинственно. Наступала зловещая тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала и вполголоса начинала причитать:

— Микола милостивый... о-ох, согрешили мы, грешные!..

Делалось вообще ужасно страшно, так что для безопасности забираешься под одеяло с головой и даже затыкаешь уши, точно хотят ловить не Марзака, а тебя, такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло не спасает: ухо ловит осторожный топот торопливых шагов под окнами... Вот во весь опор пронеслась лошадь... От нашего дома до кабака всего сотни две шагов, подняться в гору, повернуть налево, и сейчас под горой, на берегу горной речонки Шайтанки, стоит кабак. Из заводской конторы и господского дома, где учил приказчик, нужно идти мимо нашего дома, и по звуку шагов догадываешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадочным звоном.

— Матушка Казанская богородица... Помилуй нас! — уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят дешевые бабьи слезы.— Микола милостивый... угодники бессребреники...

Такой набат возвещал, что Марзак в кабаке. На улице поднимался громкий топот бегущих — теперь уже никто не бережется. Народ бежал из фабрики и с Заречного конца. А колокол все звонит частыми смешанными ударами, точно пульс лихорадочного больного... Потом все сразу замирает — и колокол, и бегущие шаги, и конский топот, но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего шума, и чувствуешь, как отзванивает набат в груди — собственное сердце, а в висках тяжело шумит кровь. Все чувства напрягаются до последней степени. Не слышно даже причитаний кухарки, которая тоже насторожилась, как птица. «Господи, что же будет, поймают Марзака или он кого-нибудь зарежет и уйдет?..» Точно в ответ, где-то там, под землей, глухо проносится смутный гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий плач — по улице проходит целая толпа народа: это ведут в «машинную» пойманного Марзака.

— Ну что? — спрашивает отец, когда Яков возвращается.

— А пымали... и нож в сапоге: во який нож,— объясняет Яков, охваченный лихорадкой совершенного подвига.— Мы его в кабаке узяли... Подходим: седит, постучали в дверь: седит, вошли: седит...

— То-то, поди, напугали мужика, аники-воины,— язвит

кухарка,— легкое место, всей-то ордой на одного человека навалились. Избили почти насмерть?..

— А як же?.. Вин с ножом...

Кухарка что-то ворчит себе под нос, Яков выкуривает для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает, как засыпает и сам Марзак в «машинной». Всю ночь гремит одна фабрика да дымят без конца высокие трубы, рассыпая снопы красных искр.

Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежьих углов, которые редко попадаются даже на Урале. Он залег своими бревенчатыми избами по западному склону горного кряжа и в описываемое нами время (конец пятидесятых годов) едва имел две тысячи населения, сосланного сюда с разных сторон: основанием служили раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, пригнанных из России. Наш кучер Яков был «пригнанный» хохол, а Марзак — туляк. Характерной особенностью крепостного права на заводах было то, что в это время создался контингент крепостных-беглых и крепостных-дураков. Бегал кержак Савка, потом хохол Окулко и Беспалый, но всех их выше по цельности типа стоял Марзак. По крайней мере, в нашем детском воображении он сложился в сказочного героя, которого не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря уже о «машинной» и своих заводских торгах. Всего сильнее действовал на воображение открытый характер его действия. Втайне все население сочувствовало ему, как живому протесту против жестоких заводских порядков, тем более что Марзак никому, кроме заводских властей, никакого зла не делал.

Пойманный Марзак запирался в «машинную», то есть теплое помещение для пожарных машин, где жили заводские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, и, проходя мимо заводской конторы, можно было частенько слышать отчаянные вопли истязуемых в «машинной». Самое здание конторы уже имело в себе казенный, внушительный вид: низенький, рассевшийся на две половины дом с высоким мезонином и белыми колоннами выстроен был в казарменно-классическом стиле времен Аракчеева и стоял «в самом горле», как говорили рабочие, то есть в конце плотины, так что всякий должен был проехать мимо этой конторы — другой дороги не было. Мы, дети, относились с каким-то особенным уважением к этому таинственному месту, и только желание посмотреть на знаменитого разбойника Марзака побороло спасительное чувство страха. Помню, как под предводительством нашего кучера Якова мы отправились туда в первый раз прямо под

белые колонны, где шел сквозной коридор с улицы на двор. Несколько кучеров, «отвечавших» и по заплечным делам, встретили Якова, как своего,— русские кучера отличаются необыкновенной общительностью и братскими чувствами.

— А мы до Марзака...— равнодушно объяснял Яков, показывая на нас движением головы.

Нас повели через двор к низенькому бревенчатому зданию, которое по наружному виду решительно ничего страшного не представляло: обыкновенный каретник, и только распашные двери были обиты кошмой. Это и была «машинная». Когда дверь растворилась, на нас пахнуло совсем хозяйственным воздухом: пахло дегтем, кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. В «машинной» стояла полутьма, и глазу необходимо было к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, глядело, как единственный глаз.

— Эй, Федя...— осторожно окликнул один из кучеров, заглядывая в решетчатое оконце.

Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, и у оконца показалось красное лицо Марзака.

— Дайте табаку на цигарку...— как-то равнодушно попросил голос из-за решетки.

Наше любопытство было вполне удовлетворено: Марзак оказался настоящим разбойником — в кандалах, в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, а другой отсутствовал.

Через несколько дней, после приличной домашней экзекуции, его увозили в Верхотурье. Картина получалась самая импонирующая: Марзак сидит в телеге в своей кумачовой рубахе, без шапки и, по старозаветному разбойничьему обычаю, истово раскланивается на все четыре стороны. Помню до мельчайших подробностей эту большую угловатую голову, на которой при каждом поклоне трепалась волна русых шелковых кудрей. Сотни народа бегут за телегой, а Марзак все кланяется, пока его красная рубаха, точно кровавое пятно, не исчезла на повороте к роковому кабаку.

II

В начале семидесятых годов, поздней осенью, мне нужно было ехать в Петербург. Уральской железной дороги тогда еще не было, и проехать триста верст до Перми по убийствен-

ному Тороблагодатскому тракту являлось таким подвигом, пред которым отступали завзятые храбрецы,— даже прославленный Сибирский тракт в сравнении с ним являлся чуть не шоссе. Узнав, что с одной из верхних чусовских пристаней отправляется последний караван, я постарался воспользоваться этой оказией.

Осенний сплав по реке Чусовой не представляет опасностей, но требует терпения,— то расстояние, которое весной проходится в трое суток, теперь могло потребовать трех недель. Но выбирать было не из чего, и я отправился. По «межени», то есть летом, по Чусовой могут проходить только полубарки с грузом от пяти до семи тысяч пудов. На одном из таких суденышек я и поместился,— водолив уступил половину своей каютки, и это представляло громадные удобства. Отвал каравана с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием наблюдал суетившуюся на берегу толпу. Весной на Чусовой набирается до двадцати тысяч пришлого «чужестранного» народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних губерний, а осенью работают все свои пристанские или с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки из заводских шли самые оголтелые и замотавшиеся рабочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с заводчиной, и получилась самая пестрая бытовая картина. Меня интересовал не самый сплав, который осенью ничего особенного для нас, уральцев, не представляет, а только бурлаки.

— Да не варнаки ли, а?! — орал водолив, который метался по полубарке во время отвала с таким азартом, точно нас осадил неприятель.— Куда прете?.. Эй, бабенки, вы у меня смотрите... Ну и народец... а?!

Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно отделилась от берега.

— Шапки долой! — скомандовал сплавщик.

Головы обнажились. Посыпались торопливые кресты. В этот момент с берега из толпы вынырнул высокий мужик с котомкой за плечами, догнал медленно двигавшуюся барку и при помощи легонького шестика ловко перепрыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то легко сделать: мужик ухватился одной рукой за канат и замер.

— Не тронь...— спокойно заметил он, не обращая внимания на пинки водолива.

— Эй, Данилыч, отвяжись,— окликнул водолива сплавщик.— Разе ослеп...

Бурлаки сначала захохотали, счастливые даровым представлением, а потом смолкли и зашептались.

Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпиравшие реку разорванной линией чередовавшихся скал; показывались и быстро прятались глухие лесные деревеньки; прошумел первый перебор, где река, сдавленная камнями, неслась с шумом и ревом оперенными белой пеленой майданами, точно в тесноте бежало стадо белых овец; хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху из-за диких скал, и наконец медленно и настойчиво пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где водолив Данилыч уже «смастачил» чай. Я нашел своего сожителя в полном отчаянии.

— Это не барка, а острог...— ругался Данилыч, обрадовавшись случаю поделиться своим горем.— Разбой, одно слово.

— Да что такое случилось?

— А Федька?.. Зарежет он нас всех...

— Какой Федька?..

— А Марзак? Ну, еще даве на шестоке на барку перескочил: разбойник и есть разбойник...

Я не узнал героя своих детских воспоминаний и не мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако, ничего не оказалось. Федька, как ни в чем не бывало, стоял подгубщиком у поносного[1] и ворочал его, как матерый медведь. Картина бурлаков, работавших под дождем, была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик любовно смотрел на него, когда он «срывал» тяжелое поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему сплавщик заступился за Федьку, когда расстервенившийся Данилыч хотел столкнуть его в воду.

Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде заводчины. Чусовляне были как у себя дома, а заводские, привыкшие к своей огненной или куренной работе, выглядели чужими, непривычными людьми. Исключение представлял один Марзак, видимо ломавший не первый караван по Чусовой.

[1] Поносным, или потесью, называется бревно с «пером» на одном конце,— оно на барке заменяет руль и весло; толстый конец поносного, у которого стоят бурлаки, заканчивается «губой». В подгубщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки. *(Примеч. автора.)*

В течение двух недель я внимательно присматривался к оригинальной бурлацкой артели, которая сложилась так же быстро, как и все другие мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, которое меня всегда занимало: в течение нескольких часов сложилось твердое и бесповоротное общественное мнение, и каждому отведено было надлежащее место. Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, и вся барка представляла из себя один организм с тонким распределением ролей, обязанностей и разных возможностей. И разбойник Марзак сразу занял свое особенное место: он не принимал никакого участия в бурлацком галденье, мелких ссорах и ругани, точно не замечал ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому-нибудь экстренному случаю — села барка на мель, подрались бабы — мнение бурлацкого круга, его голос имел решающее значение. Высказывал свою мысль Федька коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдумано и взвешено.

— Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит! — говорили про него бурлаки.— Такой уродился.

Ростом Марзак был невелик, но широк в плечах и, как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же красное, и все те же русые кудри шапкой стояли на угловатой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрюмое выражение. Одет он был как и все: синяя пестрядинная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, шапка в форме вороньего гнезда, и все тут. Разбойничьей красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он точно снял и свое обаяние как разбойник. Оставалась известная авторитетность человека, привыкшего к опасностям, сказывался сильный, властный характер, но чрез эти остатки сквозила какая-то усталость, вернее сказать — грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл свою роль и остался не у дел.

Однажды вечером мы затащили его в свой балаган напиться чаю. Он принял приглашение довольно непринужденно и так же непринужденно разговорился.

— Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпутался? — спрашивал сплавщик, любивший поболтать с хорошим человеком.

— А как волю объявили, ну, я в те поры в бегах состоял,— спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону,— ну, вижу, пошло уже совсем другое... Втроем мы тогда и объявились в Верхотурье по начальству: я, Савка и Беспалый. Так и так, мы, мол, самые и есть. Ну, нас судить, в острог, а у нас свое на уме. Таскали, таскали нас по судам...

— А вы, значит, свое: знать ничего не знаю, ведать не ведаю?

— Знамо дело... Ну, надоело начальству, и выпустили в подозрении.

— Это по старым судам даже весьма много было... Главная причина, што вот бегать незачем стало: все вольные.

— Мы свою-то волю раньше получили... по-волчьему.

Марзак оказался разговорчивым человеком и рассказывал о себе, как о постороннем человеке: дело прошлое, нечего таиться, а что было, то было.

— Чем же теперь занимаешься? — спрашивал я его.

— А разное... Вот на сплав ухожу, потом на золотые промысла. Работы после нас еще останется... Не прежняя пора: палкой на работу гоняли, да всякий над тобой же галеганится.

— А бывает тебе скучно иногда?

Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взглянул на меня своим единственным глазом, тряхнул головой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое больное место.

— Не в людях человек — вот какое мое дело,— ответил после длинной паузы Марзак.— Добрые люди как на зверя смотрят... имя-то осталось... Раньше-то хоть волком ходил, а теперь и этого не стало.

Биография Марзака оказалась несложной. Родился и вырос он в Шайтанском заводе, а подростком уже работал на фабрике в кричной. Тяжелая огненная работа Марзаку была нипочем, но встал поперек горла один крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба между безгласным рабочим и микроскопическим начальством, выбившимся разными неправдами из простой рабочей среды: давил такой же рабочий. Дело кончилось тем, что ни в чем не повинного Марзака отвели в «машинную» и прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоящая порка, кандалы и верхотурский острог, где Марзак закончил круг своего образования в обществе Савки и Беспалого. С ними он ушел из острога и под их руководством быстро прошел весь опытный курс бродяжничества. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении заводской почты и в других шалостях, направленных против заводского начальства.

— Зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда? — удивился водолив Данилыч, успевший примириться с разбойником.

— Когда в бегах состоял?

— Ну, когда бегал... Захаживал и к нам на пристань, как же. Ну, и бегал бы по лесу, а то нет, надо в кабак... Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то заразу и сейчас ловить.

Марзак посмотрел на Данилыча — рассмеялся — это было в первый раз, что он развеселился.

— А ведь я и сам то же самое думал, Данилыч,— ответил он, встряхивая кудрявой головой.— Знаю, што поймают, а иду... Точно вот кто меня толкает. Намерзнешься в лесу-то, наголодаешься, истомишься, оно и тянет в теплое место...

— Ах ты какой, Федя: ну послал кого за водкой — и вся тут.

— Ну, нет... Тут дело особенное: как увидали тебя на улице, значит, быть Федьке в кабаке. Да... Знаешь, что ждут уж тебя, будут ловить, пу вот по этому по самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого... Не одинова уходил из кабака-то целешенек, потому как все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику... Нельзя не прийти.

В Перми мы расстались. Марзак дружелюбно мотнул мне головой и зашагал с толпой бурлаков.

— Ты куда это? — спрашивал я его на прощанье.

— А вон...— указал он на ближайшую кабацкую вывеску.

— В кабак?

— По нашему положенью некуда больше.

III

В последний раз в Шайтанском заводе я был в восьмидесятых годах. Завод значительно увеличился, появилось много новых построек, но из старых знакомых, дорогих по детским воспоминаниям, оставалось уже мало. Народилось и выросло молодое, незнакомое поколение, и успели сложиться уже некоторые новые формы заводского быта. Так, окончательно вымер контингент заводских крепостных разбойников, дураков и дурочек. Вместо одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли целых пять питейных заведений. Да, много было нового, и в душе поднималось невольное старческое чувство, то особенное чувство, когда вас охватывает беспричинная грусть и беспокойные размышления о суете сует.

Поздним летним вечером, когда благочестивые люди улеглись спать, ко мне на квартиру завернул знакомый заводской

служащий сообщить, что сейчас поймали двух бродяг и отвели их в волость.

— Разве есть опять беглые? — удивился я.

— Нет, не свои, а чужестранные,— объяснил служащий.— Надо полагать, сбились с дороги, поплутали-поплутали по горам, ну и зашли в жило[1], а их здесь и накрыли. У них есть свой тракт: по реке Исети, а потом на Чусовую.

Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отправились в волостное управление, до которого было десять шагов.

По заводам волости щеголяют своим приличным видом и даже богатством. Так, шайтанское волостное управление помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном на «пропойные деньги», то есть на те тысячи рублей, какие выплачивались обществу кабатчиками за разрешение открыть на заводе известное число заведений. Во втором этаже брезжился еще огонек, и запоздавший над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным и сердитым лицом.

— Бродяги, известно, бродяги и есть...— ворчал он, зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний этаж, где помещался «карц».— Невидаль какую нашли!

Мы спустились в какой-то коридор, где пахло официальной вонью всех кутузок, холодных и всяких других узилищ.

— Варнаки какие-то,— уже добродушно объяснял писарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную дверь с решетчатым оконцем.— Эй, Федя, где у тебя ключ?

Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, и из темноты выступила плечистая фигура каморника, пошатывавшегося спросонья. Повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась.

— Эй вы, голуби... покажитесь,— командовал писарь, поднимая свечу кверху.— Один назвался «Не поминай лихом», а другой — «Постой-ка». Ну, пошевеливайтесь, господа, не помнящие родства... Который «Постой-ка»-то?

— Я,— ответил разбитый тенорок из темного угла.

Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались они тоже самым обыкновенным образом. «Постой-ка» попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары.

— А они не убегут у вас? — спрашивал служащий, посматривая на деревянную стенку, отделявшую эту камеру от соседней комнаты.

— Ну, у нас-то уж не уйдут,— самодовольно ответил писарь и, мотнув головой на каморника, прибавил: — Вон у

[1] Жило — селение. *(Примеч. автора.)*

нас какой благодетель для них приспособлен... хе-хе!.. Федя, не пустишь?

— Не пущу,— лениво ответил каморник.— Где им... Так, расейские. Их надо еще с ложки кашей кормить.

Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте и только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он,— та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же сутулая, могучая спина.

— Не узнаешь? — спросил я его.

— Запамятовал, ваше скородие,— ответил Марзак тоном человека, приобщившегося к местной администрации.

— А вы его знаете? — спрашивал в свою очередь писарь.— Он у нас в сотских ходит вот уж третий год... Ну, Федя, запирай: сладенького понемножку.

I

Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться и тысячи колес, валов и шестерен безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина какого-то спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими, закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепительных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором

оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякшая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических всполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить все заводское дело и вообще из ничего сотворить мир. На Урале это вошло уже в обычай: плохие дела на заводах поправляются новым главным управляющим и ничем больше. Таким образом, выработался даже тип такого главного управляющего, которого вызывают из-за тридевяти земель с специальной целью поднять на приличную высоту целый заводской округ, спасти веками установленное дело и влить живые силы в умирающего. Конечно, такой чародей может проявлять свои силы только при наличности некоторых экстраординарных условий, то есть увеличенного жалованья. Нормальный главный управляющий довольствуется скромной цифрой в десять или пятнадцать тысяч, а «главный управляющий по преимуществу» поднимает себе цену и тридцать тысяч минимум. На Урале таких необыкновенных людей называют самородками. Самородок поднимает себе цену тем выше, чем отчаяннее положение заводов. Впрочем, это явление выработалось историческим путем и не должно удивлять неподготовленный ум. Чем богаче заводской округ на Урале, тем хуже его дела,— это уже аксиома. В прежние времена, когда горные инженеры сосредоточивались на казенных заводах, заводское дело вершили сами заводовладельцы и их близкие родственники. Когда при помощи этих родственных усилий дело доводилось до невозможного положения, спасителем являлся какой-нибудь доморощенный самородок, который гнул в бараний рог всякое дыханье, дул палочьем и плетями, морил голодом и всякими увечьями, наконец выколачивал известный дивиденд[1]. Это могло совершаться только в «обязательное время», когда жизнь крепостного равнялась нулю. С эмансипацией[2] старые порядки должны

---

[1] Дивиденд — годовая прибыль, приходящаяся на долю капиталистов — участников в общем предприятии.

[2] Эмансипация — освобождение от зависимости. Здесь имеется в виду отмена крепостного права в 1861 году.

были кануть в вечность. Доморощенные самородки не могли пускать в ход своего единственного «средствия». При сокращении казенного горного дела остался свободным целый штат горных инженеров, который и поступил на службу к частным заводовладельцам. Практика показала, что и эти ученые администраторы, поднимавшие казенное горное дело шпицрутенами, были бессильны вести частный интерес нормальными средствами. Находились, правда, искусники, которые на время поднимали владельческий дивиденд на сотни тысяч, но все это оказывалось временным и скоропреходящим: искусник выжигал дотла ближайшие лесные дачи, не затрачивал на ремонт ни одного гроша, не вводил никакого усовершенствования, спекулировал на старательском золоте и т. д. В конце концов искусник, разыграв свою партию, должен был стушеваться вовремя, а его место заступал свой дешевый самородок, который начинал по-домашнему гнуть всех в бараний рог. Но как поверить своему доморощенному человеку, который за две тысячи жалованья сдерет кожу с родного отца? Появился в последнее время самородок интеллигентный, вооруженный всеми чудесами современной техники.

Округ Максунских заводов, выражаясь риторически, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин земли через край наполнены всякими богатствами, а поэтому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских заводов представляла собою печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было идти. Целый ряд самородков довел дело до невозможного положения, а число наследников все росло и дошло, наконец, до парадной цифры 101. Конечно, все эти 101 наследник требовали дивидендов, и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене наследники, наконец, согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех да еще сделана прибавка, потому

что положение заводов было признано всеми отчаянным.

Трудно даже приблизительно представить картину, когда фабрики перестают работать и тысячи людей остаются не у дел. Бедствуют рабочие, бедствуют служащие, и фабрика безмолвствует, как разбитая параличом. Тысячи нужд охватывают все заводское население и в несколько недель высасывают последние крохи. Поэтому понятно то нетерпение, с каким в Максунском заводе ожидали приезда нового главного управляющего. На крылечке у заводской конторы каждое утро собирались служащие и просиживали здесь до обеда. Определенного никто ничего не знал, а поэтому всяким слухам и переговорам являлось открытое поле. Рабочие толпились у фабрики, на базаре и около громадного господского дома, куда должен был приехать главный управляющий. Это был целый дворец, построенный еще в доброе старое время самим заводовладельцем, родоначальником 101 наследника. Господский дом был сейчас пуст. Вся дворня разбрелась куда глаза глядят. Оставался один дворецкий Корляков, лысый и кривой старик, служивший верой и правдой всем главным управляющим. Он представлял собою типичного представителя раболепной заводской дворни: льстил, наушничал, пресмыкался перед начальством и притеснял всех, кто от него зависел. У него была своя кличка: «Поднос пролизал».

— Эй, Корляков, когда новый управляющий приедет? — кричали ему голоса с широкого двора.— Ну-ка, скажи...

— А вот погодите, горлопаны: достанется всем на орехи.

— Нпо-о?..

Корляков вел эти беседы с балкона, на котором располагался со всем комфортом. К мужичью он относился с презрением, потому что причислял себя к заводскому начальству: «Мы покажем!..» Мелкие заводские служащие часто заискивали перед Корляковым, чтобы при случае замолвил словечко у начальства. Теперь все были почему-то уверены, что один Корляков знает, какой управляющий приедет. Если в конторе ничего не знали, так кто-нибудь должен же знать,— конечно, Корляков знает, потому что на его обязанности приготовить «покои» и встретить.

— Иванов едет...— отвечал Корляков с приличной важностью.

— Врешь ты все... Немца, наверное, пришлют. Уж ты лучше не притворяйся...

Уверенность, что пришлют немца, немало угнетала всех.

Ох, прижмет же всех этот немец. Дело известное. Немцев-управляющих народ не любит: хоть живодер, да свой. В конторе говорили, что вообще хорошего нечего ждать. Были тут опытные люди, видавшие виды. Взять того же надзирателя Очкина — прожженный человек, или главный бухгалтер Сыромолотов. Много служащих переменилось при разных управляющих, а они сидят себе, точно приросли. Вон дома какие понастроили, а у Сыромолотова целая заимка на озере. Конечно, с подрядчиками рука в руку живут — вот и богатство. Мелкая заводская сошка, придавленная домашней нуждой, думала одно: только бы скорее... При переменах главных управляющих прежде всего доставалось служащим, потому что новая метла начинала всегда с конторы. И то неладно, и это не так, и пятое-десятое не годится. Да каждый управляющий еще с собой навезет родни да разной челяди — каждому нужно отнять чей-нибудь кусок. Положение рабочих несравненно лучше. Если понизят плату, так всем, а на людях и смерть красна.

Было известно только одно, что приедет один главный управляющий, который будет загребать жалованье всех трех смещенных, и что он едет с особыми полномочиями. Очкин утверждал, что едет какой-то Тараканов, служивший раньше где-то «в казне», а Сыромолотов оспаривал его и называл Шулятникова, служившего в Западном крае.

— А все равно: один черт,— соглашались оба.— Такое копье пришлют, что чертям тошно...

Мелкая заводская сошка глухо молчала. Вот лесной смотритель Трепогов, доктор Носков и другая заводская аристократия, так те в ус себе не дуют. Им что: сегодня — здесь, завтра — там. А настоящему заводскому человеку деваться совсем некуда...

II

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали. Встречал один Корляков, который с вечера переложил лишнее и поэтому бросился услуживать с пьяной угодливостью, как дрессированный пес.

— Ты кто здесь будешь? — довольно грубо спрашивал приезжий, меряя изловчившегося на господской службе «человека» немного тусклыми глазами.

— А как случится, вашескородие. Теперь за всех отвечаю: и за дворецкого, и за камардина, и за человека.

Вытаскивая из экипажа вещи, Корляков смекнул в уме,

что у барина не густо в кармане: чемоданишко съежился, осеннее пальто на среднюю руку, остальное все так себе. Впрочем, все они приезжают сюда в «худых душах», а потом так раздуются, что и рукой не достанешь. Одно не понравилось старому слуге в новом барине: никакого внимания он не обратил на княжескую обстановку господского дома, точно вот на постоялый приехал. Среднего роста, немного сутулый, с большой головой, Шулятников походил на не совсем разжатый кулак. Эта же кулачность сказывалась и в складе всего лица. С дороги он не попросил даже чаю и сейчас же завалился спать.

«Ну, этот доймет...— решил про себя Корляков, мигая слипавшимися глазами.— Орелко!.. Ах, кошки его залягай, и сунуло же меня с вечера натренькаться...»

Утром Шулятников проснулся чем свет, растолкал Корлякова и, на ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопленная за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ларей. Неремонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потеков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это заставило его поторопиться. Обежав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе.

— Однако сколько вас...— удивился он, не снимая фуражки.— Целая армия.

Когда бухгалтер, по заведенному обычаю, хотел отрекомендовать служащих, он махнул рукой: не нужно церемоний. Буркнув что-то себе под нос, он молча оглядел всех и быстро вышел.

Вся контора притихла, как один человек. Вот она когда беда-то накатилась: этот не спустит. У маленьких и забитых служащих со страха захолонуло на душе. Куда они денутся с семьями?

— Жалованье будет урезывать...— вздохнул кто-то в смущенной толпе.

— Хорошо еще, если одно жалованье, а то и совсем по шапке...

Старые служаки достаточно видали на своем веку всякого начальства и порешили в голос, что добра нечего ждать.

А он был уже дома и, не глядя на вытянувшегося в струнку Корлякова, быстро и решительно проговорил:

— Главное, не пускай гурьбой... Буду принимать по одному. Сам пошлю, кого нужно... Ворота запереть.

— А если хлеб-соль рабочие принесут...— заикнулся было Корляков и сам испугался собственной смелости.

— Что-о?.. Гони в шею... Я приехал не в куклы играть.

Корляков сделал налево кругом, чтобы уходить, но Шулятников его остановил:

— Да, вот что... Поищи кого-нибудь на свое место. Мне твоя физиономия не нравится...

— Не погубите, вашескородие... Я тридцать лет верой и правдой...

— Пожалуйста, без разговоров... Не люблю.

Первым козлом отпущения должен был явиться управитель Утяков, старый заводской человек, но он, проведав беду, сказался больным. Таким образом, пришлось испить чашу первому бухгалтеру Сыромолотову. У него подгибались колена, когда он входил в кабинет самого.

— Имею честь представиться...

Шулятников быстро взглянул на него и, не приглашая садиться, проговорил:

— Имеете свой дом?

— Точно так-с...

— А сколько стоит?

— Да как сказать...

— Не отнимайте моего времени и говорите прямо!

— Две тысячи... нет, три.

— Так-с... А жалованье?

— Шестьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки. Семья большая...

— Так-с... Семья большая, жалованье маленькое, а откуда же дом явился?

— Еще от родителей...

— Вздор!

— У других тоже дома: у надзирателя, у управителя, у лесного смотрителя, у плотинного.

— Значит, все вы воры... Да. Ищите себе места... До свиданья.

— Семья... ребятишки, не погубите...— бормотал несчастный, протягивая руки вперед.

— Корляков, кто следующий?..

- Слушаюсь-с.

Сыромолотов вышел из кабинета, пошатываясь как пьяный. В его голове коротенькая сценка приема колесом вертелось. Куда?.. Следующим номером был Очкин, который

по лицу приятеля видел, что дело плохо. Он подтянулся, перекрестился и пошел в кабинет.

— Надзиратель Очкин...

— Ага... Дом имеете?

Вместо ответа Очкин начал тихим голосом, как это делал раньше, наушничать на своих сослуживцев. Что же дом,— есть и дом, как и у других. Жалованье, конечно, маленькое, и приходится иногда получить благодарность. Так уж заведено... Да и какой у него дом? Вот у лесного смотрителя Треногова или у управителя Утякова, так у них, действительно, дома, а у Сыромолотова еще заимка.

— Значит, взятки берете? — спрашивал Шулятников в упор.

— Не отпираюсь... Благодарят некоторые: кто бревно привезет, кто пару рябчиков, фунт чаю... Все берут.

Эта откровенность понравилась Шулятникову, и он проговорил:

— Садитесь... Так все берут?

— Решительно все... Это уж так заведено. Маленький человек маленько возьмет, большой — много...

— Ага... Если берете с рабочих и подрядчиков, то, само собой, воруете владельческое железо, выводите плутни с подрядчиками, составляете фальшивые счета — так?..

Началась тихая, откровенная беседа. Очкин, спасая себя, продал всех остальных, а Шулятников во время разговора делал беглые заметки в своей записной книжке.

— Вы себя спасли откровенностью...— заметил он, делая знак, что аудиенция кончилась.— Я буду иметь вас в виду.

Этот приступ к делу навел на всех панику. Что же будет дальше, если с первого раза половина заводских служащих осталась не у дел, а другая половина ожидала ежечасной кончины? О жалованье, конечно, никто и не заикался: что дадут, то и хорошо. Уныние сделалось общее. Заводские служащие составляли свой замкнутый мирок, который родился, жил и умирал в пределах своей заводской дачи. Кроме своего заводского дела, они ничего не знали и им некуда было идти. Поэтому можно себе представить отчаяние нескольких десятков семейств, выкинутых на улицу... Но Шулятников был неумолим, потому что его принципом было всегда держать данное слово. Он приехал сюда не с благотворительными целями, а заводы не богадельня. Всякая радикальная реформа требует жертв, а Максунские заводы совсем заплесневели в своих допотопных порядках.

Рабочие, действительно, явились с хлебом-солью и не были приняты.

— Оставьте хлеб-то себе: пригодится,— посоветовал ехидно Корляков, все еще не уверившийся в собственной отставке.— А соли вам насыплют...

Да и как было поверить: тридцать лет безвыходно Корляков прожил в господском доме, тридцать лет пресмыкался перед каждым новым начальством, наушничал, подлаживался, подличал,— и вдруг, за здорово живешь, пожалуйте на чистый воздух. В отчаянии Корляков отправился к своему заклятому врагу, заводскому управителю Утякову. Управительский каменный дом красовался у самого базара, как только что снесенное яичко. Ворота крашеные, в палисаднике цветы, двор мощеный, все поставлено так крепко и плотно, как умеют строиться одни заводские управители из готовых «господских» материалов. Утяков прослужил на своем управительском месте тоже тридцать лет, и Корляков пошел к нему, как к сослуживцу и товарищу по несчастию. Конечно, он наушничал на Утякова, но в заводе только он да Утяков на одном месте прослужили тридцать лет.

— Ну что, подколодный змей, получил награду? — встретил Утяков гостя.

— Одно зверство, Спиридон Митрич.

— А на меня опять наушничал?

— Не скрою, был такой грех.

— И не помогло?

— Нет... Вот Очкин, так тот в самую точку попал. Ловок!..

Дома Утяков ходил в халате и с длинной трубкой в руках. Его седая голова точно вросла в широкие плечи; темные живые глаза смотрели из-под нависших бровей насквозь. Суровый был человек, обеспечивший себя на черный день. Попыхивая трубкой, Утяков несколько раз прошел под носом Корлякова, а потом по привычке вдруг остановился и заговорил:

— А я вот никого не боюсь... слышал?.. Мне он тоже откажет, а я и в ус не дую. Так и скажи: болеп Утяков. Ишь, налетел, и давай зорить людей... Все воры, а того не знает, что и сам будет тоже воровать. Молод еще, на рыле молоко не обсохло...

— Это вы правильно, Спиридон Митрич,— вторил Корляков каким-то расслабленным голосом.— Мы с вами по тридцать лет вытянули — и вдруг здорово живешь, пожалуйста на свежий воздух... Очкин-то чем лучше нас?

— Дурак ты, Корляков, вот что! А впрочем, хочешь рюмку водки?..

— Ах, Спиридон Митрич... то есть так вы правильно сказали!..

— А ты скажи идолу-то: Утяков болен... Утяков не будет кланяться.

III

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главное водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни.

— Зачем у вас голуби на фабрике? — спросил Шулятников дозорных, расхаживая по корпусам.

— А так, сами привадились, вашкобродие,— докладывали подневольные люди, вытягиваясь, как лягавые на стойке.— Прилетит и живет... Известно, божья птица.

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и придираться начал к каждому шагу, и очень уж ругаться лют. Так и поровит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы, не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой — везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машиниста, два дозорных, лошади, голуби и т. д. Прежде деньги выдавали выписками, через две недели, а теперь стали выдавать помесячно, как жалованье служащим. Но со всем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину. Таким образом, количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Горному уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же требовать от заводоуправления?

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам. Шулятников предложил угле-

поставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим. Для него было решительно безразлично, кто являлся действующим лицом: голуби, беззаконно обитавшие под крышей фабрики, или целая деревня углежогов. Прежде всего принцип, идея, а остальное вздор. Нужно привить чувство законности, с одной стороны, а с другой — сделать из людей живые машины — и только. Что за глупости, в самом деле, когда потерявшие место служащие клянчили и плакались, а рабочие отказывались от своего дела,— это какой-то романтизм. Когда Шулятникова выводили из себя пристававшие к нему просители, он отвечал одно и то же всем:

— Поймите одно: я продал себя заводовладельцам и прежде всего должен соблюдать их интересы... Вы хотите, чтобы я поступил против совести!

Нужно сказать, что Шулятников, несмотря на свою выдержку, все-таки иногда чувствовал себя как-то не по себе, особенно на фабрике. Контора смирилась и уничтожилась. Думать здесь о каком-нибудь сопротивлении было бы смешно. Каждый дрожал за свою шкуру. Но другое дело фабрика. Переходя из корпуса в корпус, Шулятников встречал целый ряд недовольных лиц, и на него смотрели такие озлобленные глаза; иногда вдогонку слышались весьма тяжелые словечки или глухой ропот. Но Шулятников делал вид, что ничего не замечает, и проходил сквозь строй недовольных лиц со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Что делать, рабочие слишком распущены и не могут понять своих прямых обязанностей. Нужно выждать время, пока все упорядочится. А все-таки, когда вечером Шулятников оставался один в своем кабинете, у него делалось тяжело на душе. Там, за толстыми стенами господского дома, как вода, поднималось глухое массовое недовольство. Именно скверно было то, что здесь нельзя было даже указать на известную единицу, а недовольны были все. Приходилось бороться почти со стихийной силой.

В один из таких скверных вечеров новый швейцар, заменивший Корлякова, доложил, что пришел Утяков, бывший управитель.

— Этого зачем принесло? — вслух подумал Шулятников, предчувствуя какую-нибудь неприятную сцену.— Впрочем, зови...

Утякову было отказано, как и другим служащим, без суда и следствия — это предоставлялось новому управляющему

особой статьей в его контракте с наследниками. Отправляясь на Урал, Шулятников решил вперед, что все мелкое и крупное заводское начальство — вор на воре, а рабочие — лентяи и мерзавцы, поэтому необходимо было формально обеспечить себя для радикальной реформы дела. Относительно мелких служащих Шулятников не беспокоился, но другое дело Утяков, прослуживший управителем тридцать лет. Понятно некоторое волнение, с которым хозяин ожидал своего гостя. Он даже встал с кресла, когда в дверях показалась седая голова выгнанного управителя.

— Утяков, бывший управитель...

— Чем могу служить вам, милостивый государь?..

Оба стояли на ногах, и оба старались не смотреть друг на друга. Зеленый абажур лампы давал мало света, и Утяков не узнал комнаты, в которой столько лет делал свои доклады и сообщения управляющим разных формаций: никакой обстановки, а одни бумаги да книги. Обведя всю комнату глазами и широко вздохнув, Утяков подошел к самому столу и заговорил:

— Вы не подумайте, Кирила Григорьич, что я пришел к вам проситься опять на службу или жаловаться... Силой милому не быть. Потом..: я не задержу вас,— прибавил он, поймав нетерпеливый жест хозяина.

— Не угодно ли вам садиться,— сухо пригласил Шулятников, продолжая стоять у стола в министерской позе.

— Я не задержу, нет, не задержу,— бормотал Утяков, грузно опускаясь на стул и еще раз оглядывая комнату.— Я ведь родился и вырос здесь, Кирила Григорьич, и прошел службу с конторского писца... Все вижу насквозь, что, например, вам даже и непонятно. Все-таки вы новый человек.

— Если вы пришли читать мне наставления, то это совершенно напрасный труд...

— Ах, не то... совсем не то... Благодарить пришел вас, Кирила Григорьич:.. да. Не утерпел... Извините старика.

Такой переход был настолько неожидан, что Шулятников даже отступил от стола и только развел руками. Он даже посмотрел на гостя такими глазами, какими смотрят на рехнувшегося человека. А Утяков сидел и улыбался.

— Извините, я, может быть, не понял...— забормотал теперь Шулятников, еще раз оглядывая гостя с ног до головы.

— Нет, так-с... именно благодарить пришел,— с удовольствием повторил Утяков свое странное признание.— Что вы

мне отказали от службы — это особая статья... Что же, будет, послужил. А знаете, трудно отставать от дела... Один свисток всю душу выворотит, а тут сиди да поглядывай. Привычка-с... С малых лет каждый день на фабрике. А все-таки сижу я в своем домишке, гляжу на фабрику и радуюсь... На настоящую вы точку стали, Кирила Григорьич. Мало ли до вас было главных управляющих, а не могли проникнуть настоящей сути... да-с. А вы сразу. Так и следует.

Старик даже вскочил со своего места, протянул вперед сжатый кулак и повторил несколько раз:

— Вот так-с следует, Кирила Григорьич... Это уж верно. На паровых машинах недалеко уедешь да на разных усовершенствованиях: за границей свое, у нас свое... Одобряю, Кирила Григорьич!

— Да вы садитесь и потолкуемте,— приглашал Шулятников, все еще не решаясь поддаться на льстивые слова прожженного заводского дипломата.— Мне очень приятно, что нашелся хотя один человек, который меня понимает.

— Прежде-то Максунские заводы как красовались,— продолжал Утяков, покачивая головой.— Конечно, это еще до освобождения было... Как год, так и миллион дивиденда. Всем на удивление, можно сказать, дело делали, а как народ распустили — и пошло все скрипеть, как немазаное колесо. Все видишь, все понимаешь, и ничего поделать было нельзя... Рабочие набаловались — вот главная причина. Прежде-то в три часа поденщина начиналась, и всякая работа на урок. Не выработал урока — ну, его сейчас в машинную да горячих. Управляющие были все свои и шутить не любили: всю шкуру спустят. Был один управляющий, Потап Меркулыч, так у того даже особое кладбище было для скоропостижно умерших... Нельзя, заводское дело трудное. Все в струнку хо́дили. А как начали заводить новые порядки — все и пошло через пень колоду. На моих глазах все было, Кирила Григорьич, и, может, слезами плачешь другой раз, а сила не берет. Управляющие сами послабляли народу. Думают: воля — так ничего не поделаешь. А по-моему, это одно пустое и даже очень глупое слово... Конечно, нельзя плетями наказывать рабочего или там насмерть его забивать, а зато он теперь весь в руках у вас. Только характер надо выдержать... Чуть что — сейчас его на холодок, пусть проветрится да пощелкает зубами с семьей-то. Прежде заводчик семью корми, а нынче сам промышляй... Земли у рабочих нет — ну, куда они денутся? По новым-то порядкам лучше старого пойдет, ежели у человека, например, характер и подтянуть...

Хе-хе!.. Ей-богу, сижу я в своем домишке и радуюсь, Кирила Григорьич. В самую вы точку попали...

Старый крепостник с наслаждением потер свои красные руки. В нем сказывался тот фанатик заводского дела, каких создавал только один крепостной режим. Новые порядки, заведенные Шулятниковым, пришлись ему как раз по душе, хотя старик и не мог понять, что новый управляющий совсем чужой человек для заводов и что он выводит свою линию из других побуждений. Это были два мира, столкнувшиеся только на прижимке рабочих.

Тронутый признаниями старого заводского служаки, Шулятников начал развивать перед ним свою систему. Беседа продолжалась за полночь. Утяков слушал целую лекцию о ввозных пошлинах, о заработной плате на заграничных заводах, о новых порядках, какие должны быть введены, и в такт качал головой: «Именно так, Кирила Григорьич. Совершенно верно-с». Только одного он никак не мог понять, именно, что заводам выгодно работать только вполовину, сбивая заработную плату и выжидая цены на свой товар.

— А куда же рабочие денутся? — удивлялся старик, ожидая от Кирилы Григорьича какой-нибудь новой замысловатой штучки.

— А это уж их дело, Спиридон Дмитриевич... Заводы не богадельня, а я продал себя заводовладельцам. Знаете русскую поговорку: нанялся — продался.

— Так-с, так-с... Я-то уж стар стал, другого и не пойму, так вы уж не взыщите.

IV

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору,— так по крайней мере думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих набраны были новые, вместо Утякова явился какой-то горный инженер; жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного минимума, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспомоществования.

— Я должен идти в данном случае против собственной

совести,— уверял Шулятников заезжавших к нему гостей: — в душе я сочувствую и школьному делу, и больницам, и разумной благотворительности. Но я не вправе распоряжаться чужими средствами в ущерб моим доверителям... Принцип в каждом деле прежде всего.

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили дерзостей. Это было уже слишком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели.

— Мы и до министра дойдем!..— кричали самые смелые.

В видах предосторожности Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большею частью неожиданно.

— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирила Григорьич,— уговаривал его Утяков.— Только бы завести их, подлецов, в оглобли.

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.

— Конечно, дроворубов везде можно найти,— соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика.— Погодите, упыхаются...

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь

работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было бы с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.

— Ничего, привыкнут... Сами укротят себя,— нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела.— Конечно, вам-то тяжело достается, Кирила Григорьич, да что поделаешь...

— Ах, терплю, все терплю...— жаловался Шулятников, устало закрывая глаза.— Дорого бы я дал, чтобы развязаться с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу... Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрич!

— Совершенно святой... А вы не сомневайтесь: укротятся. Только вовремя надо и повода отпустить... Тоже живые люди.

— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался великолепный вид на горную панораму, уходившую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розоватой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался — ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца гото-

вились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы — можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.

Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и выглядел сумасшедшим.

— Что такое случилось? — удивился Шулятников,— Пожар?

— Нет...

— Плотину прорвало?

— Нет...

По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный. «Этим дуракам только позволь...» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.

— Уезжают, Кирила Григорьич,— шептал старик, забегая вперед.

— Да кто уезжает?..

— Ах, боже мой... Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась... Да вот сами увидите.

— Что-нибудь вы путаете...— пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность.— Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение...

— Нет, вы только посмотрите, Кирила Григорьич.

Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом, телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.

— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков.— Переселение народов...

Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:

— Обратите внимание на третий воз...

— Батюшки, да ведь это Корляков?! — изумился Утя-

ков.— Стоит на коленях... снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы... Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.

— Ага!.. Что же, скатертью дорога.

С улицы доносился глухой гул шагов, причитанье баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.

— Кирила Григорьич...

— Ах, будет вам... Что еще?..

— Да ведь это же невозможно, Кирила Григорьич... Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели всё бросили: и дома и всякое обзаведепие. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли...

— Не могу, Спиридон Дмитрич... А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.

— Таких рабочих, как наши максунские,— нет, уж извините, Кирила Григорьич. Умный вы человек и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит... Все равно, что кровь отворить.

— Пустяки... Вы знаете мой принцип: сказал — и свято.

Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трын-трава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ... Надо же войти и в их положение, вот этих самых рабочих.

— Кирила Григорьич, опомнитесь...— умолял старик.— Ведь этак-то, пожалуй, будет похуже крепостного времени... Надо и о душе подумать, Кирила Григорьич. Тоже совесть есть в каждом человеке...

— Оставьте меня, пожалуйста, с вашими советами,— строго заметил Шулятников и повернулся уходить.— Я лучше один останусь на фабрике... да.

— А, так вы вот как... Эх, Кирила Григорьич, Кирила Григорьич...

Старик вдруг засмеялся, круто повернулся и без шапки как был, пошел домой.

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли куда глаза глядят. А Шулятпиков продолжал выдерживать свой принцип...

ВЕРТЕЛ

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купающихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской Ухова.

— Плут он, Алексей Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле.— Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит, и едой

морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша,— вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?.. Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет. И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него,— вот и конец делу. Будет,— одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию.— Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками»...

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч.— В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это

значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчащими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ,— именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель.— Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин,— отвечал за всех Ермилыч.— Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько,— наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина: — на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги, вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш,—

ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна.— Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да...— говорил сам Ухов.— Ужо новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедом своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился!.. Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поесть щей

с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженых свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!..— думал он вслух.— И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну, и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольской экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет,— настойчиво повторяла дама.— Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту,— объ-

яснял Алексей Иваныч.— Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается,— объяснил Ермилыч: — и белый хлеб, который изволите кушать, па черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше,— объяснял он,— а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит,— его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно, как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука, действительно, любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего опа такая светлая?

— А от рук,— объяснял Прошка.

— Дай-ка, я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчопок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама.— Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую,— я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри!

И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку.— Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч.— Круглый сирота,— ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково,— уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов.— Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь,— как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать.

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком,— просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаю-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего,— с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка,— пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч.— Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит,— соображал Спирька.— А Алексей Иваныч охулки на руку не положил: рублчиков на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч.— У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «вéртел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо,— ну и вышел: вéртел. Не вертéл, мама, а вéртел.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка. Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой,— раздумывал Прошка за

работой,— тогда я отколочу Алексей Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему,— умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек,— и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

— Убегу! — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил.— Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу.

Прошка думал целые дни,— вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина,— пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы,— они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут уж воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую,— и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень,— зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего,— ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему,— значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой,— наказывал он Прошке еще с вечера.— Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди,— из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, вéртел! — приглашал он Прошку.— Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну, показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький. Настоящий цыпленок.

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренно торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверное, хочешь есть? — проговорила она наконец.— Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом, и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю,— по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя.— Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками,— настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. Но я уж не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами. Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя. Пока

он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя,— говорила она сыну: — этот мальчик уж с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Иванычем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец, Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи,— ее звали Анной Ивановной,— ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спорил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем и т. д.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый и всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски, потом он точно не умел улыбаться. В тощей

фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно,— ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков своей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть вёртелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна.— Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если бы ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед Рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает? Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна.

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше...— упрямо отвечал Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч.— Вот ему и не хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие, и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирают таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе

с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно придавленный своею болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.

С. Каронин
(Н. Е. Петропавловский)

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Неприкосновенным он считал себя только дома и разве отчасти в кузнице; во всяком другом месте он чувствовал себя нехорошо, ибо был уязвим.

В самой середине деревни, в том месте, где берег реки образует мыс, стояла изба, низ которой подался налево, а верх — направо; единственные два окна ее мрачно и неприветливо глядели на улицу, потому что вместо стекол в них была вставлена требушина. К избе примыкали сени, из глубины которых виднелось голубое небо, а напротив сеней стоял сарай, соломенная крыша которого исчезала ежегодно в желудке домашних животных; дальше же виднелся задний двор, нижним концом опускающийся в воду. Все эти строения Егор Панкратов называл «домом», и именно здесь он ничего не боялся.

Кузница же играла в его соображениях некоторую роль только потому, что она была недалеко от дома и составляла его часть; она находилась на другом берегу реки, возле моста. Это была нора, вырытая в земле, с узким отверстием вместо двери, с кучей земли, вместо крыши, и с колесом, вместо трубы. Колесо было воткнуто в крышу недаром: без него никто из путешественников не мог бы открыть присутствие Егора Панкратова, потому что из подземелья не слышно было ни шипения, свойственного прорванным мехам, ни стука молотка, ни человеческого голоса. Егор Панкратов не любил вообще говорить, а в кузнице он хранил всегда глубокое молчание.

Даже когда он не работал,— а работы в кузнице у него немного,— он предпочитал молчать. Если же его кто-нибудь окликал с моста, он высовывал из отверстия голову и недовольным тоном спрашивал: «Чево надо?» Затем снова скрывался, подавая тем знак, что в дальнейшие переговоры он вступать не намерен.

Так он обращался со всеми, кто приходил к нему с просьбой, без различия лиц и состояний. В отсутствии работы он всегда выходил из подземелья, садился около речки на песке, снимал с себя рубаху и бил блох. Он вообще не смущался ни перед кем. По мосту проходили пешие, проезжали конные, иногда господа, но Егор Панкратов не прерывал своего занятия. Внезапно услышав свое имя, он поднимался, последний раз вытряхал рубаху и только после этого предлагал обычный свой вопрос: «Чево надо?»

Невозмутимый и молчаливый, Егор Панкратов приучил к той же краткости и всех приходящих к нему: «В починку, Егор!» — говорил приходящий, кладя подле него вещи. «Ладно»,— отвечал Егор Панкратов. «Две гривны будет?» — «Ничего».— «Чтобы к пятнице готово было».— «Ладно!» Приходящий позевывал и уходил.

Егор Панкратов вел замкнутую жизнь, находясь попеременно то в кузнице, то дома, среди своего семейства, и, казалось, глядел на окружающее с полною безучастностью. О нем парашкинцы составили такое понятие: «мужик стоющий», «мужик кремень», человек, который не позволит положить ему ноги в рот, а временами бывает лют... Наружность Егора Панкратова только подкрепляла подобные мнения. По-видимому, для него ничего не стоило в гневе схватить человека и размозжить его так же, как расплющивал он кусок железа. Егор Панкратов, конечно, ничего подобного не делал, но все думали, что временами он способен быть лютым. Видя же, что он никогда ни о чем не просил, никому никогда не покорялся и ни перед кем не стучал зубами от страха, все считали себя вправе заключить, что Егор Панкратов шутить шутки не любит, а держится правила: «отваливай в сторону»...

В виду таких свидетельских показаний можно, пожалуй, согласиться с общераспространенным мнением, тем более, что сам Егор Панкратов ни одним словом не опровергал его. Вероятно, оно даже выгодно было ему, и он, надо думать, посмеивался себе под нос, смотря на людей, считавших его неприступным; он только этого и желал. Малей-

шее движение его большой головы говорило: «это до меня некасающе».

Друзей у него было немного, и он редко с кем сходился близко. Единственное исключение составлял Илья Малый. Это был его друг-приятель, но и с ним Егор Панкратов вел краткие разговоры.

Илья Малый, небольшого роста, плешивый и с слезящимися глазами мужичок, иногда порывался «точить лясы», но невозмутимое, угрюмое молчание Егора Панкратова обладало способностью парализовать самый неугомонный язык. В конце концов, в разговоре с Егором Панкратовым Илья Малый примирялся с необходимостью держать язык на привязи и редко нарушал обычное безмолвие.

Чаще всего они встречались в кузнице. Там Илья Малый садился около двери и битый час наблюдал за работой Егора Панкратова. Когда же бездействие ему надоедало, он вынимал из кармана кисет с табаком, набивал трубку и закуривал. Это было косвенное приглашение Егору Панкратову — бросить работу и присесть к другу-приятелю. Егор Панкратов так и делал — садился на корточки супротив Ильи Малого, набивал его табаком свою трубку и также закуривал. За этим следовало обыкновенно продолжительное молчание, во время которого друзья-приятели сосредоточенно пыхтели в глаза друг другу вонючею махоркой. Но обыкновенно, после продолжительного безмолвного сидения, Илья Малый терял терпение и спрашивал:

— Табачок — ничего?

— Ничего,— всегда отвечал Егор Панкратов.

Трубки выкуривались; Егор Панкратов вставал и принимался за свою работу, а Илья Малый, помолчав еще некоторое время, говорил:

— Одначе пора иттить. Просим прощения! — и уходил, по-видимому, вполне довольный проведенным временем, в особенности если Егор Панкратов отвечал ему на дорогу:

— Заходи-ка ни то.

На другой раз повторялось буквально то же самое. Друзья-приятели и о хозяйственных своих нуждах говорили больше знаками, нежели словами. Тем не менее они никогда не надоедали друг другу, и дружба их оставалась неизменною, вопреки несходству характеров: они, видимо, находили взаимное удовольствие от своей дружбы. Не будучи противоположностями, взаимно исключающими друг друга, они и не походили друг на друга.

Илья Малый был простодушен; Егор Панкратов сосредоточен. Илья Малый молчал только тогда, когда говорить было нечего; Егор Панкратов говорил только в тех случаях, когда молчать не было никакой возможности. Один готов был всю душу вывалить наружу, другой многое скрывал в себе. Один постоянно отчаивался, другой показывал вид, что ему ничего. Первый в самых обыкновенных обстоятельствах запутывался и терялся, второй невозмутимо выносил невзгоды. Первый способен был поверить во всякие химеры, второй держался более положительного. Илья Малый ничего не знал из того, что дальше носа; Егор Панкратов также почти ничего не знал, но старался во все вникать и доходить до всего своим умом. Илья Малый жил так, как придется и как ему дозволят; Егор Панкратов старался жить по правилам, не дожидаясь позволения. Один жил и не думал, другой думал и этим пока жил. Илья Малый всего страшился, постоянно ожидал, что вот-вот на его голову бухнет случай и прихлопнет его, и потому никогда вперед не заглядывал; Егор Панкратов не очень верил случаям и был расчетлив; первый жил минутой, как фаталист, второй — будущим, как философ. Илья Малый перед начальством робко моргал глазами, готовый по первому знаку повалиться в ноги и просить о помиловании; Егор Панкратов, при подобных же обстоятельствах, глядел в сторону и чесался. Илья Малый, будучи лет на десять старше своего друга-приятеля, все еще оставался в крепостной скорлупе, но Егор Панкратов был уже в некоторой степени человек новый, несколько вылупившийся из скорлупы старого времени... Одним словом, разница между ними была заметна.

Но это несходство не мешало им быть закадычными друзьями. Илья Малый питал безмолвное удивление к Егору Панкратову, а Егор Панкратов чувствовал большую жалость к Илье Малому, и это обстоятельство было, по-видимому, одной из причин их обоюдного удовольствия от сообщества. Илья Малый становился спокойным, когда сидел возле Егора Панкратова, а Егор Панкратов делался мягче, когда глядел на Илью Малого. Их сообщество открыло свои действия с того дня, в который Егор Панкратов случайно оттягал в пользу Ильи Малого корову, назначенную к продаже. Илья Малый никогда не воображал, чтобы человек был способен на такой отчаянный поступок; сам он считал себя беспомощным в таком деле, думая, что при таких обстоятельствах первое дело — молчать. А Егор Панкратов доказал ему противное.

Егор Панкратов случайно шел мимо двора Ильи Малого в то время, когда оттуда выводили корову; увидав жену Ильи Малого, которая неистово ругалась и плакала, и самого Илью Малого, который стоял растерянно на крыльце и что-то шептал про себя, Егор Панкратов подошел к корове, отодвинул от нее старосту и прогнал животное на задний двор. Все это он сделал молча и не торопясь, с обычною своею флегмой, а потом сел на крыльце возле Ильи Малого и попросил у него табачку. Кисет Илья Малый вынул, но сказать что-нибудь обо всем им виденном не мог, лишившись употребления языка. Точно так же и староста в первые минуты не в состоянии был понять, что случилось; он на время оцепенел на месте и онемел, молча поводя блуждающими взорами от Ильи Малого к Егору Панкратову.

— Это ты что же делаешь, Егор? — спросил, наконец, он прерывающимся голосом.

— Корову прогнал,— кратко отвечал Егор Панкратов.

— Рази это по закону?

— В законе, братец ты мой, про корову, чай, нигде не сказано. Так-то.

Староста решительно недоумевал, что ему делать — вынуть ли из-за пазухи бляху и принять внушительный вид или начать усовещевать. Он не сделал ни того, ни другого, а только хлопнул себя по бедрам руками, по своей привычке, и куда-то побежал рысцой, сказав мимоходом: «Ну, дела!»

Ни для Егора Панкратова, ни для Ильи Малого этот случай не прошел бы даром. Егор Панкратов, правда, заявил после, что корова его, якобы купил он ее, но все же их обоих вздули бы. Не случилось этого только потому, что Илья Малый перевернулся, уплатил денег, сколько следует, и все было предано забвению. Парашкинский староста не любил вообще историй с коровами; мученик своей должности, он, в данном случае, тем более не желал связываться с «энтим дьяволом», как он называл Егора Панкратова, что побаивался его.

С этих пор Илья Малый питал безмолвное удивление к своему другу-приятелю. Он стал его во многом слушаться, сделался менее болтлив и не так ерзал на месте, когда говорил с Егором Панкратовым. Вообще, в жизни Егора Панкратова он заметил некоторое отступление от старых обычаев и робко приглядывался к нему, в особенности к его бесстрашию и невозмутимости. А потом он уже пытался под-

ражать ему, но в действительности выходило, что он только передразнивал его.

Такое представление Ильи Малого о своем друге-приятеле отчасти соглашалось с действительными привычками Егора Панкратова. Поведение Егора Панкратова имело в себе нечто новое, удивительное для Ильи Малого, и это новое заключалось главным образом в том, что он ничего не боялся, когда находился дома; тут он ни перед кем не смущался и никому не кланялся. Илья Малый, например, перед всяким заезжим барином трусил, видя в нем или злонамеренного исследователя его души, или просто шатающегося барина, для которого закон не писан и который безнаказанно может причинить ему, Илье Малому, существенный вред.

А Егор Панкратов не боялся этого. Когда какой-нибудь проезжий барин обращался к нему с просьбой починить испортившийся в дороге экипаж, Егор Панкратов не юлил перед ним, не устремлялся по первому его требованию, а двигался с такою же безучастностью, как и всегда. Просовывая голову из своей норы, он равнодушно спрашивал: «Чево надо?» — и скрывался. Барин должен был идти к нему в нору и там рассказать свое дорожное несчастье. Егор Панкратов выслушивал и назначал цену, делая это раз навсегда, неумолимо и без дальнейших разговоров. Барин, конечно, старался внушить ему всю несообразность назначенной им «сумасшедшей цены», но Егор Панкратов не внимал, упрямо отмалчиваясь.

Напрасно барин ругался, Егор Панкратов не любил браниться; он только изредка загибал такое словечко, которым, как перец, обжигал неотвязчивого человека, заставляя его мгновенно умолкать. Напрасно барин принимал внушительный вид и бросал на упрямца молниеносные взгляды. Егор Панкратов оставался глух, нем и слеп; он привык со всеми обращаться одинаково: был ли перед ним господин с блестящими глазами или нищий с сумой на боку. Напрасно также барин предлагал «на водку» или «на чаек», — этого Егор Панкратов терпеть не мог. Он всегда предпочитал «сумасшедшую цену».

Было одно происшествие — нельзя этого скрыть, — которое подвергло неустрашимость Егора Панкратова большому сомнению и которое он сам не мог вспомнить впоследствии без негодования. Это было в Сысойске на базаре. Егор Панкратов ездил туда затем, чтобы продать хлеб или несколько фунтов гвоздей. Не доверяя своего товара лавочникам, он выбирал место на базаре и сам продавал, сидя

на своей телеге. Он равнодушно посматривал по сторонам и ничего не боялся. Раз выбранное место он никому не уступал, с ругавшимися ругался кратко, пьяных отталкивал, а если городовой приказывал ему переменить место или просто сдвинуться, он ослушивался, упрямо стоя на своем месте. Вообще строптивость свою он и здесь не ограничивал.

Но однажды возле него вышла драка пьяных. Пьяных забрали в участок, а Егора Панкратова пригласили туда в качестве свидетеля. Вот когда он «спужался»! Вследствие ли наследственной привычки страшиться даже имени начальства или по неспособности сообразить все обстоятельства дела сразу, но только он не выдержал. Недолго думая, он с необычайною быстротой запряг лошадь, свалил за бесценок какому-то лавочнику свои гвозди и утек из города, вполне убежденный, что спасается от каких-то неведомых ужасов.

Это происшедствие было, однако, исключение. Дома с ним ничего подобного не бывало. Дома он строго наблюдал за своею неприкосновенностью. С упрямством, свойственным ему, он говорил своему приятелю Илье Малому: «Теперь, братец ты мой, закон. Так-то». И думалось ему, что нынче жизнь идет «по правилу». Как ни мал Егор Панкратов, но все же и для него правила написаны,— следовательно, если бог не выдаст, то никакая свинья не решится съесть его. Он говорил: «Нынче, братец ты мой, вот так-то... Только самому не следует плошать, а то ничего».

Егор Панкратов неуклонно держался правила — никогда и никому не подавать повода трогать его. Все повинности он отправлял исправно, подати платил в срок и с презрением глядел на гольтепу, которая доводит себя до самозабвения. Порка для него казалась даже странной; он говорил: «Чай, я не дите малое!»

Тронули его только раз в жизни, но, собственно, он был тут ни при чем; он только подчинялся издавна установившемуся обычаю. Когда умер отец, накопивший перед отходом в вечность недоимки, а Егор Панкратов сделался хозяином дома, то был, разумеется, выпорот. Очевидно, это неумолимая неизбежность; это — очищение розгами, которое должен принять всякий парашкинец, если желает в наступающей жизни быть чистым от долгов и недоимок.

С Егором Панкратовым это и было только раз. Вследствие этого он стал самоуверен. Сравнивая давно минувшее с настоящим, он все более и более укреплялся в своей

строптивости. О давно минувшем он знал только из рассказов Ильи Малого и дедушки Тита. Илья Малый был суеверен; для него в жизни не было закона, а только случай. Он видал виды и потому во все верил и всего ожидал, даже невероятного, бесчеловечного. Илья Малый и о настоящем говорил в таком же тоне; иногда перед Егором Панкратовым он боязливо сознавался, что боится того-то и того-то. «Ври больше!» — недовольным тоном перерывал Егор Панкратов.

Болтливость Ильи Малого находила себе пищу только в рассказах о прошлом, и Егор Панкратов с удовольствием слушал эти рассказы. Егору Панкратову приятно было сознавать, что это время прошло и никогда не возвратится. Ужасы в прошлом, рассказываемые Ильей Малым, он охотно признавал, но в настоящем отвергал. Егор Панкратов любил свое время. Этим он постоянно досаждал дедушке Титу. «Оттого-то у тебя и сыплется песок»,— говорил он дедушке, когда тот принимался расхваливать свое время. Тит хотя и рассказывал много ужасов из своего времени, но все же любил свое прошлое, с негодованием отплевывался от всего проходящего перед его потухающими глазами. Часто Егор Панкратов своими насмешками выводил его из терпения, и он с негодованием говорил ему:

— Ну, уж погоди, Егорка! Узнаешь ты Кузькину мать!

— Ладно,— отвечал Егор Панкратов.

— Не ровен час... как случай... все под богом! — вставлял свое замечание Илья Малый, стараясь помирить ссорившихся. Егор Панкратов, однако, не покидал своего презрения к давно минувшему. Его большая, упрямая голова не хотела отказаться от превратной мысли, что тогда «жили без правилов, а нынче — закон, так-то».

«Правилов» тогда, конечно, не было, но было зато определенное «положение», заменяющее собою всякие правила. Егор Панкратов не смел бы питать в себе в то время желания,— никакого права на это не было; теперь он получил право иметь желания, но они были неосуществимы. У него не было бы тогда потребностей, кроме одной — удовлетворить снедающий голод; ныне у него родилось множество новых потребностей, но все они неудовлетворимы. Тогда он должен был жить по указу, теперь — по воле судьбы; указ заменился случаем, смотрение в оба по правилу уступило место смотрению в оба без всяких правил.

Егор Панкратов не думал об этом. Можно сказать, что неприкосновенность свою наблюдал он столько же по убе-

ждению, внушенному ему новым временем, сколько и по врожденной строптивости.

Помимо желания быть неприкосновенным у себя дома, он еще держался правила быть, по возможности, дальше от деревенского и другого начальства. Начиная с десятского, он со всеми был крут, если кто-нибудь из этих всех посягал на его личность. Он ни во что не вмешивался, знал только свое хозяйство и не желал, чтобы и его трогали.

Десятским у парашкинцев был дурак Васька, бессменно служивший в этой должности уже несколько лет. Сначала парашкинцы исполняли должность десятского по очереди, иногда же нанимали особого человека на целый год, но все это дорого стоило. Тогда им пришла счастливая мысль воспользоваться Васькой. Васька до этого времени ходил колесом по улицам и бегал с ребятишками, несмотря на то, что был уже большой малый, лет двадцати; пользы от него не было никакой, даром только хлеб ел. Но когда его обули, одели на мирской счет и сделали десятским, он преобразился и сделался полезнейшим членом общества. Дурак он был, конечно, безответный, но это-то и хорошо, пусть уж лучше дурак принимает гнев и оплеухи, нежели человек умный. Рассуждение парашкинцев относительно этой выборной должности не лишено было разумности.

Васька сам возрос в своем мнении, когда неожиданно сделался десятским. Он гордился собой и строго выполнял наложенные на него обязанности. В день, например, схода или по приезде начальства он важно обходил улицу, барабанил палкой по окнам и приказывал домохозяевам выходить на сход.

Исключение Васька делал только для одного человека — Егора Панкратова. С ним Васька совершенно переменял обращение, делаясь мгновенно прежним дураком. Он почему-то боялся кузнеца, никогда не барабанил в его окно, а приглашал его издали, становясь сажени на три от избы.

— На сход, дяденька,— говорил он.

— Знаю,— отвечал Егор Панкратов.

— Сей минут...

— Говорят тебе, знаю, дурацкая башка! Чего еще пристаешь?

И Васька уходил.

Точно так же Егор Панкратов поступал и со старостой, бегавшим в горячие дни с растерявшимся лицом и весь покрытый пóтом. Иногда Егор Панкратов опаздывал со взно-

сом податей на день или на два, тогда староста приходил к нему и смиренно напоминал ему об этом.

— Уж ты сделай милость, Егор, внеси.

— Знаю! — круто прерывал его Егор Панкратов.

— Строжайше наказал...

— Незачем и язык чесать, сам знаю!

— Да ты что рыкаешь зверем-то, а? Гляди, брат! — возмущался староста, стараясь разгневаться, но его посоловевшие от усталости глаза и потное лицо отказывались принять грозный вид. Он уходил.

От прочего начальства, более высшего, он «хоронился»; ведь он и желал быть в безопасности только дома! В тех же случаях, когда ему волей-неволей приходилось сталкиваться с «высшим начальством», он хоронил свои сокровенные мысли и чувства, молчал. Так как слова и поступки его могли бы раскрыть его строптивость, то молчание приносило ему существенную пользу: он оставался нетронутым, потому что трогать его было не за что.

Такой способ действий и проистекающие из него следствия еще более утвердили Егора Панкратова в мысли, что теперь только самому не следует распускать нюни — и никаких случаев не произойдет с ним. Теперь время «правилов». Однако по временам в его душу закрадывалась темная мысль... Ну, а что, если на него налетит случай? Что делать в том разе, когда его захватит нужда, за ней придет кабала, за кабалой порка? Тут большая голова его оказывалась несостоятельной. Он мог упрямо думать, что этого «в жисть с ним не произойдет, лопни его утроба!» — и все-таки видеть в будущем возможность нужды, кабалы и порки. Что же тогда делать?

У Егора Панкратова были средства избавиться от вечного рабства, но все они носили на себе чисто отрицательный характер, притом же были старые-престарые; он получил их с молоком матери от пращуров своих. Терпение до изнеможения и бегство с отчаяния — вот и все его средства избавиться от нужды, кабалы и пр. Об этом Егор Панкратов смутно и сам догадывался и знал, что с вышеупомянутыми средствами вести борьбу с нуждой невозможно. Отсюда — тот страх, который по временам смущал его очень сильно.

Одна эта боязнь произвела в нем переворот. Противно своим наклонностям, он сделался прижимист и на каждом шагу скряжничал. За каждый грош он готов был вынести невероятные труды, лишь бы добыть его, и урезывал по-

требности своего семейства до последней крайности, лишь бы сохранить его. Если он покупал какую-нибудь вещь, то торговался по целому дню; если продавал, то старался заломить «сумасшедшую цену». А с господами и совсем не церемонился, назначая за свои поделки неслыханные цены.

— Да ты с ума сошел? — спрашивали его в таком случае.

— В уме, в своем, братец ты мой, уме, так-то! — возражал Егор Панкратов.

Несомненно, что если бы как-нибудь невзначай судьба послала ему крупную сумму, он сделал бы сундук, лег бы на него и стал бы охранять, подвергая семейство и себя всем возможным лишениям. Таково было настроение его в это время,— до того сильна у него была боязнь попасть в кабалу и подвергнуться периодическим «секуциям». Ввиду подобной участи, Егор Панкратов все свои умственные и физические силы употребил исключительно на то, чтобы остаться свободным, даже под условием нести нищенскую нужду. Забудься он на мгновение — и пропал!

О своей боязни за себя Егор Панкратов никому не говорил; никто еще не слышал от него жалоб на бедность и ни перед кем он не хныкал. Напротив, перед всеми он выглядел мужественно, даже когда у него на сердце кошки скребли. Только раз проговорился пред Ильей Малым, да и то Илья Малый ничего не понял, получив вдобавок незаслуженное оскорбление.

Однажды сидели друзья-приятели возле избы Егора Панкратова, на завалинке, и, по обыкновению, мирно молчали, покуривая трубочки. Были уже сумерки летнего вечера; на горизонте загоралась заря, тень дневная улеглась, и в воздухе стояла невозмутимая тишина. Все способствовало молчанию, и друзья-приятели разошлись бы мирно, как и всегда, если бы Илья Малый не вздумал рассказывать о старинных временах! Хотя Илья Малый и путался в своих словах, но долго не прерывал себя. Не прерывал его и Егор Панкратов. Он молчал. Только когда Илья Малый кончил свои рассказы и прибавил, что теперь «ничего, жить можно», Егор Панкратов шевельнулся на своем месте.

— Не очень можно...— выговорил он с трудом.

— По моему, можно.

— Не очень!

— Почему? По какой причине? — недоверчиво спросил Илья Малый, и, устремив слезящиеся глазки на Егора Панкратова, стал терпеливо ждать ответа.

Егор Панкратов говорил всегда кратко, постоянно пояс-

няя свою мысль разными неожиданными знаками, назначение которых не всегда понимал и Илья Малый. На этот раз Егор Панкратов только ткнул в бок Илью Малого и спросил:

— Это что?

— Стало быть, бок,— растерянно отвечал Илья Малый.

— Бок, верно; скажешь — тело... Ну, а душа?

Предложив этот вопрос, Егор Панкратов пристально вглядывался в темноту.

— Что ж душа? — спросил Илья Малый, ничего не понимая и быстро моргая глазами.

— Вот тут, братец мой, и загвоздка.

Егор Панкратов умолк. Притих и Илья Малый на время.

— Что-то я не понимаю тебя, Егор,— начал Илья Малый.

— Душа, братец мой, вольна нынче, а тело — нет, так-то! — объяснил Егор Панкратов.

Больше он ничего не прибавил. Он опять устремил глаза в темноту и умолк. Но от этого Илье Малому не сделалось легче; он завозился на завалинке и делал усилия понять... Безмолвное удивление, питаемое им к Егору Панкратову, возросло еще более теперь, когда он увидел, что вот Егор Панкратов говорит, а он, Илья Малый, ничего не понимает... Илье Малому также следовало бы замолчать, но он не унялся.

— Стало быть, душа вольна,— ну, так... Ну, а держать у себя на уме... или там говорить, о чем вздумаешь... можешь? — спросил он боязливо.

Егор Панкратов помедлил, подумал и твердо проговорил:

— Могу.

Илья Малый, по обыкновению, удивился, главным образом, самоуверенности Егора Панкратова.

— И чтобы, значит, тебя никто не тронул... чтобы все ты жил в законе, по правилу... можешь? — робко спросил Илья Малый.

Егор Панкратов долго молчал, но все-таки, наконец, выговорил, хоть на этот раз не твердо:

— Что ж, можно...

— Ну, а, например, жить по-своему, как душе желательно... или уйти на новые места и все такое прочее... можешь? — неотвязно допрашивал Илья Малый.

Егор Панкратов молчал. Но вдруг озлился и решительно сказал:

— Дурак!

Тем и кончился разговор.

Илья Малый был оскорблен. Он еще некоторое время повозился на завалинке и встал.

— Пора иттить... Что уж тут! — сказал он глубоко обиженным тоном.

— Погоди, куда бежишь? Сиди! — возразил Егор Панкратов, уже раскаявшийся в душе, что так огорчил своего друга-приятеля.

Егор Панкратов дошел до своей мысли «своим умом», тягостно, ценой всей жизни. В его голове царил такой хаос, что он с трудом мог разобраться в нем, чтобы выделить свою мысль из кучи других, по воле гулявших представлений. В этом хаосе была всякая чертовщина и всевозможные странности, между ними, например, и то, что душа — пар. Легко поэтому понять, что он только в редких случаях решался обнаружить свои соображения насчет тела и души, да и то по большей части запутывался в словах и умолкал.

Однако в приведенном разговоре Панкратов озлился не столько на то, что был поставлен в тупик, сколько на непонятливость Ильи Малого.

Этот случай разногласия или прямо ссоры друзей-приятелей был единственный; вообще же они мирно уживались, исполняя множество хозяйственных дел «сопча». В сущности, они ничего не предпринимали порознь. Егор Панкратов только кузницей распоряжался один, без вмешательства Ильи Малого, во всех же других хозяйственных делах они помогали друг другу.

У Ильи Малого была всегда одна лошадь; Егор Панкратов имел полторы: лошадь и годовалого жеребенка. Они складывались и обрабатывали землю на двух с половиной лошадях, что несомненно было для обоих выгодно.

Разумеется, их совместное хозяйство не было союзом двух равносильных людей. Егор Панкратов играл первостепенную роль, а Илья Малый принужден был подчиняться его упрямству. Но подчинение Ильи Малого Егору Панкратову было добровольное, к тому же Илья Малый считал себя по многим вопросам слабым и малопонимающим. Вследствие этого безмолвное удивление, питаемое им к Егору Панкратову, никогда не подвергалось риску, и он никогда не пытался стряхнуть с себя иго, наложенное на его язык Егором Панкратовым. Илья Малый не роптал ни на какое действие или слово Егора Панкратова.

Они были неразлучны и на сходах, где Илья Малый всегда брал сторону Егора Панкратова. Последний нередко

производил на сходах ожесточение, ни с кем ни соглашаясь. Он обыкновенно и там молчал, но иногда, уже после постановки сходом какого-нибудь решения, вдруг возьмет, да и скажет: «а я не желаю». Илья Малый в этих случаях становился на сторону Егора Панкратова и не прежде отказывался от его мнения, как когда возмущенный сход, во всем составе, обрушивался на упрямого кузнеца.

Илья Малый подчинялся Егору Панкратову тем охотнее, что последний избавлял его от многих несчастий в сношениях с Епифаном Ивановым и Петром Петровичем Абдуловым. Раньше, действуя один, Илья Малый был вечно в накладе от мошенничеств кабатчика и легкомыслия барина. Уходя от Епифана Иванова, Илья Малый всегда шел понуря голову и целую неделю не поднимал ее.

Не легче ему было и тогда, когда его выгонял барин. Барин почти измотал его несвоевременной уплатой заработанных денег или мелочною придиркой при найме. А Епифан Иванов чуть было не закабалил его; Илья Малый начал уже считать себя перед ним кругом виноватым,— скверный признак, сознавая который Илья Малый только вздыхал. После же того, как Петр Петрович и Епифан Иванов устроили стачку, он счел себя окончательно погибшим. В это-то время Егор Панкратов, для обоюдной выгоды, предложил ему работать «сопча».

Вместе они стали снимать в «ренду» землю у Петра Петровича, вместе работали у него и Епифана Иванова и вместе же ходили носить уплату «ренды» или получать деньги за работу. При этом действующим лицом всегда был Егор Панкратов, а Илья Малый являлся только в качестве молчаливого свидетеля.

У барина в прихожей Егор Панкратов всегда становился впереди, а Илья Малый сзади его. Точно так же и говорил Егор Панкратов один, а Илья Малый лишь изредка смягчал строптивые слова Егора Панкратова.

— Что скажете хорошего? — спрашивал Петр Петрович, выходя в прихожую к Егору Панкратову, стоявшему впереди, и к Илье Малому, прятавшемуся позади.

Егор Панкратов, подумав немного, начинал без предисловия:

— За косьбу три рубля с полтиной, за жнитво четыре шесть гривен и еще за пахоту шесть рублей, а всего-навсего, стало быть, четырнадцать рублев с гривенником и еще мне три гривны за скобы, только и всего.

— Нашли время когда прийти! После рассчитаю! — го-

ворил барин, отчасти удивленный краткостью Егора Панкратова.

— Никак нет, этого нельзя, ваша милость.

— Да как же я рассчитаю вас, когда не знаю, правду ты говоришь или врешь? — начинал уже сердиться барин.

— Ну, только и нам, ваша милость, не ближний свет таскаться к вам, так-то! — упрямо настаивал Егор Панкратов.

— Да чего же вам надо? Сейчас вас рассчитать? — кричал уже Петр Петрович.

— Н-да, сейчас, в книжку гляньте.

— Некогда мне, приходите через неделю... Ну, ступайте!

— Как же это можно? Через неделю! Поколь же нам таскаться? — угрюмо спрашивал Егор Панкратов, знавший, что неделя Петра Петровича равняется месяцу.

Обыкновенно тут вмешивался Илья Малый, ежеминутно ожидавший, что их прогонит барин. Он уже давно беспокойно возился за спиной Егора Панкратова и делал ему невидимые знаки умолкнуть.

Но знаки не достигали цели; тогда Илья Малый несколько выступал вперед и нерешительно пытался что-нибудь сказать.

— Мы, ваша милость, ничего... и через недельку,— запинаясь, говорил он. Но Егор Панкратов в эту минуту обыкновенно оборачивался и кричал: «Молчи... дай ты мне сказать!»

— Нет, уж вы, ваша милость, увольте нас. Тоже и нам недосуг, так-то! — снова начинал Егор Панкратов, повертываясь в сторону барина.

Эти бурные беседы оканчивались различно: или барин выдавал заработок, или приказывал вытурить наглых мужиков. В первом случае Егор Панкратов и Илья Малый немедленно выходили, садились на лужок перед окнами Петра Петровича и тут же делили с таким трудом добытые деньги. Во втором случае Илья Малый стремительно исчезал куда-то, а Егор Панкратов садился у парадной двери и говорил, что он останется тут на год, если ему не отдадут заработка, умрет тут. По большей части Петр Петрович уступал, приказывал ввести в прихожую Егора Панкратова и выдавал ему должную сумму.

Егор Панкратов отправлялся тогда в дом Ильи Малого, у которого душа ушла в пятки, и производил дележ, никогда не укоряя последнего в бегстве.

В решительные минуты Илья Малый постоянно изменял

Егору Панкратову. Он подчинялся ему без возражения, но не мог преодолеть своего страха перед барином, перед Епифаном Ивановым и перед другими лицами, власть имеющими. В стычке с барином, когда от него требовалась смелая демонстрация, рассчитывать на которую Егор Панкратов имел право, он всегда обращался в постыдное бегство.

Впрочем, даже и подчинение Ильи Малого Егору Панкратову прекратилось. Этому помогло одно происшествие, в котором замешался Егор Панкратов и которое совершенно расстроило не только хозяйство его, но и весь его нравственный склад.

Как-то в одно время Петр Петрович Абдулов с особенным легкомыслием обращался с рабочими, работавшими у него лето. Он водил их за нос, не отдавал заработанных денег или отдавал по частям, или просто забывал имя рабочего, наотрез отказываясь от уплаты. Многих парашкинцев он закабалил, совместно с Епифаном Ивановым; давая им задатки под работу, он делал из них, что хотел, но это входило в его новую систему. А тут и системы не было — он просто небрежно относился ко всему... Небрежность его, смешанная с желанием во что бы то ни стало успокоиться от летних тревог, задела за живое и Егора Панкратова с его другом-приятелем. Петр Петрович, правда, не забыл их, но зато водил без толку за нос.

Как назло, события так совпали, что ни та, ни другая сторона не могла миролюбиво покончить. С одной стороны, у Петра Петровича к этому времени собрались гости: несколько соседних помещиков, становой и Епифан Иванов, и Петру Петровичу некогда было возиться с мужиками; с другой стороны, Егору Панкратову и Илье Малому грозили за промедление уплаты податей «описанием». Одна сторона одурела от пятидневного пьянства до потери сознания текущих дел; другая же ожесточилась от перспективы «описания». Петру Петровичу было не до расчетов с мужиками — у него трещала голова,— а Егору Панкратову до зарезу нужны были деньги, иначе — описание.

Егор Панкратов и Илья Малый уже несколько недель ходили к барину и все были выпроваживаемы без ничего. Егор Панкратов на этот раз не упрямился; он видел, что люди веселятся; «ну, и пущай их»,— говорил он. Но, наконец, в последний день ему стало невтерпеж; он почувствовал зуд во всем теле от предполагаемых розог и взбесился.

Никогда он еще не находился в такой крайности. Предчувствие о ней давно уже тяготело над ним, но смутно;

он не очень беспокоился. А теперь эта крайность встала перед глазами. Мысль же о порке приводила его в необузданное состояние, и понятно, что он выглядел очень мрачно, когда предстал перед барином.

— Да что же это такое? — сказал он с волнением, стоя в прихожей перед барином, также взбесившимся.

По обыкновению, Егор Панкратов был впереди, а Илья Малый прятался за ним.

— Сколько раз вас гоняли и говорили вам, что некогда? — бешено говорил Петр Петрович, чувствуя, что голова его сейчас треснет.

— Нам, ваша милость, дожидать нельзя — описание! Мы за своим пришли... кровным!..— отвечал с возраставшим волнением Егор Панкратов.

— Ступайте прочь! Душу готовы вынуть за трешницу!

— Нам, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вам, убирайтесь! Рыться я стану в книгах! — кричал совсем вышедший из себя Петр Петрович.

А Егор Панкратов стоял перед ним, бледный, и мрачно глядел в землю.

— Эх, ваша милость!.. Стыдно обижать вам в этом разе! — сказал он.

— Да ты уйдешь? Эй, Яков! Гони! — шумел барин.

Егору Панкратову надо было бы уйти, а он все стоял в прихожей.

На шум вышли почти все гости, соседние помещики, Епифан Иванов и становой. Последний, узнав, в чем дело, приказал Егору Панкратову удалиться. Но Егор Панкратов не удалился: он с отчаянием глядел то на того, то на другого гостя и сказал упавшим голосом:

— Ты, ваше благородие, не путайся в это место.

Присутствовавшие онемели от этой дерзости.

Пьяные глаза одних гостей спрашивали:

— Каков?

А более трезвые глаза других отвечали:

— Ужасно!

Егор Панкратов надел шапку и вышел. Он был один; Илья Малый давно уже улепетывал в деревню, стуча зубами. Егор Панкратов пошел вслед за ним. Он вдруг как-то упал духом. Денег он мог занять только у Епифана Иванова, а Епифан Иванов затянет петлю и закабалит... А если не занять — описание или порка. Прежние предчувствия не обманули Егора Панкратова; на него налетел подлый случай, и у него нет сил увернуться от него.

Этим дело не кончилось. Выступил старшина Сазон Акимыч. Сазону Акимычу приказано было наказать бунтующих розгами, и Сазон Акимыч изъявил свое согласие, только не согласился с характером наказания.

— Что ж,— говорил он,— розгами можно попугать; розгами каждочасно можно. А только в этом случае, я положил бы, в темную посадить, на хлеб, на воду. Егорка — мужик бедовый, взбалмошный мужик,— ну его к ляду!

Таким образом, решено было посадить Егора Панкратова в темную. Исполнение решения поручено было старосте, который хотя и обомлел, но приказ выполнил. Он взял с собой несколько понятых, Ваську-дурака и двинулся к избе Егора Панкратова, наперед ожидая от него всего худого.

Войдя к Егору Панкратову, он сперва наговорил множество разного вздора, какой попал ему в рот в эту минуту, боясь, что Егор Панкратов взбеленится, и только после этого, вытирая пот с лица, объявил последнему, что его приказано посадить в «карцер», на хлеб, на воду.

— Сделай милость, Панкратыч, пойдем... уж ты не тово... покорись! — говорил староста.

— Ну, ладно...— отвечал Егор Панкратов растерянно, с убитым видом. Он надел кафтан и пошел к волости, во главе толпы, состоявшей из старосты, понятых, дурака Васьки и примкнувших по дороге ребятишек.

Егор Панкратов шел медленно, смотря в землю, и ничего не говорил; только, когда очутился возле «карцера», представлявшего собою дощатый чулан без окна, он сказал мрачно:

— Тут, что ли?

— Тут, Панкратыч,— отвечал староста и еще раз просил Егора Панкратова извинить его, старосту, потому что «причины его в этом грехе нету». Даже затворив дверь, он еще раз «умолительно просил сидеть смирно».

Стояла глубокая осень. На улице была грязь; дул холодный ветер, с воем проникавший в щели чулана и обдававший морозом Егора Панкратова. Но Егор Панкратов ничего не чувствовал. Он сел в угол на пол, скорчился и опустил голову на колени.

А сырой ветер все посвистывал в щели и леденил его тело. Если бы кто мог заглянуть в это время в душу Егора Панкратова, то он, может быть, открыл бы, что и там все обледенело; вымерла единственная надежда, составлявшая красоту его жизни.

Егор Панкратов просидел в темной двое суток и во все

это время не проронил ни одного слова, а Илье Малому мрачно велел уходить, когда тот пришел к нему и предложил краюшку хлеба и косушку водки.

Илья Малый, с краюшкой хлеба и косушкой водки, почти не отлучался с крылечка волостного правления и все ждал, что Егор Панкратов одумается и поест, но так и не дождался. Тогда он отнес краюшку хлеба и косушку водки на дом к Егору Панкратову, в надежде, что последний, придя домой, поест и выпьет, но и этого не дождался. Когда Егор Панкратов вышел из темной и пришел в свою избу, Илья Малый немедленно предложил ему поесть. Но Егор Панкратов не взглянул даже и на семейство свое; он влез на полати, прилег там и попросил холодного кваску...

С ним началась горячка.

Вместе с Ильей Малым в избу пришли староста и Васька, и все они выразили полное сочувствие свое Егору Панкратову; Егор Панкратов на все отвечал молчанием. А когда с ним начался бред, они все вышли один за одним, удивляясь, чем Егор Панкратов так огорчен был.

Он пролежал в постели два месяца.

Никто не узнал Егора Панкратова, когда он в первый раз вышел из избы. Он совершенно переменился.

Прохворал он почти всю зиму; покопошится на дворе, поработает и опять сляжет. Илья Малый старался во всем ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже расстроено, да и сам он был не тот.

Несчастие Егора заключалось в том, что он жил в то время, когда не было ничего определенного ни в области мужицких отношений, ни в круге тех отношений, которые влияли на него извне. Его отец был крепостной человек, жизнь которого была проста, как жизнь вьючного животного, и определенна, как действие машины, и который не имел права мечтать; сын Егора устроит свои отношения человечнее и определеннее, но сам Егор жил в атмосфере загадок и «загвоздок». Кругом же его в деревне был хаос; ничего прочного не виделось ему; старое, по-видимому, рушилось, но новое еще не было создано. В нем таилась частичка искры божией о воле, но так темно, что в практическом смысле была бесполезна для него, ибо не могла освещать его путь, да и занимала ничтожнейшее место в нем, а прочее все существо его было переполнено смутными ожиданиями чего-то худого и безнадежного. Опоры для каких бы то ни было человеческих надежд деревня не представляет, где вся жизнь есть страх, беззаконие, «загвоздка». Егор сидел

между двумя временами, из которых прошлое показывало ему цепи, а будущее — черную дыру; а в настоящем, когда он вздумал вообразить себя вольным, постоянно проходят перед его глазами явления, убивающие самые низменные мечты и желания, подтачивающие всякую энергию. Переходное поколение, к которому Егор Панкратов принадлежал,— самое несчастное, потому что оно не живет, а мается и существует не для самого себя, а для других поколений; оно служит материалом для будущего, но на него, прежде всего, падает месть уходящего прошлого.

Однажды, в начале весны, он вышел на завалинку погреться на солнышке, и все, кто проходил мимо него, не узнавали в нем Егора Панкратова. Бледное лицо, тусклые глаза, вялые движения и странная, больная улыбка — вот чем стал Егор Панкратов. К нему подсел Илья Малый и, рассказав свои планы на наступающее лето, неосторожно коснулся происшествия, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда он огорчился из-за пустяков. Егор Панкратов сконфузился и долго не отвечал, улыбаясь некстати... Потом сознался, что его тогда «нечистый попутал». Он стыдился за все свое прошлое.

Таким Егор Панкратов остался навсегда. Он сделался ко всему равнодушным. Ему было, по-видимому, все равно, как ни жить, и если он жил, то потому, что другие живут; например, Илья Малый.

Действительно, Илья Малый ни на каплю не переменился. Плешивый, с слезящимися глазами, безжизненный, он тем не менее упорно жил. Были случаи, до того неожиданные и оглушительные, что по всем видимостям Илья Малый должен был бы помереть; ему иногда самому казалось, что вот в таком-то случае он непременно исчезнет, пропадет, а глядь — он жив! Невозможно его истребить быстро.

Этой-то живучести Егор Панкратов и стал подражать, удивляясь Илье Малому.

Разумеется, Егор Панкратов и Илья Малый остались по-прежнему друзьями-приятелями; они «сопча́» работали, «сопча́» терпели невзгоды; их и секли за один раз.

Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой — десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.

Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку — турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой — отец-старик помер; сынишка был по четвертому году — тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на Линии, и

в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит — начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.

— Ты Иванов? — говорит.

— Так точно, ваше благородие, я самый и есть.

— Ты как сюда попал?

Рассказал ему Семен: так, мол, и так.

— Куда ж теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как так, дурак, не можешь знать?

— Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.

Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:

— Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?

— Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.

— Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится; уж попрошу за тебя начальника дистанции.

— Много благодарен, ваше благородие,— ответил Семен.

Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.

Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ — гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.

Дело было летом; работа нетяжелая, снегу отгребать не

надо, да и поезда на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже скучать.

Прошло времени месяца два: стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посредине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.

— Доброго,— говорит,— здоровья, сосед.

Сосед поглядел на него сбоку.

— Здравствуй,— говорит.

Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.

— Что это,— говорит,— у тебя, молодица, муж неразговорчивый?

Помолчала баба, потом говорит:

— Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое... Иди себе с богом.

Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.

— Немало,— говорит,— я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть. Так-то, братец Василий Степаныч.

А Василий Степаныч трубку об рельс выколотил, встал и говорит:

— Не талан-судьба наш с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.

— Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.

— К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари

жесточе. Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.

Задумался Семен.

— Не знаю,— говорит,— брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от бога положение.

— А коли так,— говорит Василий,— так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.

Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.

— Сосед,— кричит,— за что же ругаешься?

Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:

— Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.

Однако не поссорились они; встретились опять и попрежнему разговаривать стали, и все о том же.

— Э, брат, кабы не люди... не сидели бы мы с тобою в будках этих,— говорит Василий.

— Что ж, в будке... ничего, жить можно.

— Жить можно, жить можно... Эх, ты! Много жил — мало нажил, много смотрел — мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?

— Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.

— А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые... Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго; уйду куда глаза глядят.

— Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница...

— Землицы! Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал. «Это,— говорит,— что такое? Почему без доношения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось... «Три рубля штрафу!..»

Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо:

— Немного еще, зашиб бы я его до смерти.

— Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.

— Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожа! Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!

И точно пожаловался.

Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочку подсыпать. Соседка сторожиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семен целую неделю; все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семеновой будке; подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось.

— Ты давно здесь? — спрашивает начальник.

— Со второго мая, ваше благородие.

— Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто?

Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:

— Василий Спиридов.

— Спиридов, Спиридов... А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании?

— Он самый и есть-с.

— Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридова. Трогай.

Налегли рабочие на рукояти; пошла дрезина в ход.

Смотрит Семен на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».

Часа через два пошел он в обход. Видит, из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто белое что виднеется. Стал Семен присматриваться — Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.

— Сосед, куда собрался? — кричит Семен.

Подошел Василий совсем близко: лица на нем нету, белый как мел, глаза дикие; говорить начал — голос обрывается.

— В город,— говорит,— в Москву... в правление.

— В правление... Вот что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василий Степаныч, забудь...

— Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так. Учить их надо, кровопийцев...

Взял его за руку Семен:

— Оставь, Степаныч, верно тебе говорю: лучше не сделаешь.

— Чего там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.

— Да ты скажи, с чего все пошло-то?

— Да с чего... Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; все как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. «Тут,— говорит,— правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать! Тут,— говорит,— тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне... Терпенье наше проклятое! Тут бы его надо... а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел.

— Как же будка-то?

— Жена осталась. Не прозевает; да ну их совсем и с дорогой ихней!

Встал Василий, собрался.

— Прощай, Иваныч. Не знаю, найду ли управу себе.

— Неужто пешком пойдешь?

— На станции на товарный попрошусь; завтра в Москве буду.

Простились соседи; ушел Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась сов-

сем, поджидаючи мужа. На третий день проехала ревизия: паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку: лицо от слез пухлое, глаза красные.

— Вернулся муж? — спрашивает.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.

Научился Семен когда-то, еще мальчишкой, из тальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки, где надо, высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял: давали ему там за штуку по две копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел, палок себе нарезать. Дошел до конца своего участка — на этом месте путь круто поворачивал, — спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, как птицы чиликают да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще, скоро полотно; и чудится ему, что-то еще слышно: будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было. «Что бы это значило?» — думает. Выходит он на опушку — перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит па корточках, что-то делает; стал подыматься Семен потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит — и человек поднялся, в руках у него лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах; крикнуть хочет — не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны пасыпи кубарем катится.

— Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.

Не обернулся Василий, в лес ушел.

Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выронил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бе-

жать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит — вот-вот упадет. Выбежал из лесу — до будки сто сажен, не больше, осталось, слышит — на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собою Семен: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!.. Нет, до будки добежать и назад вовремя вернуться не поспеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился, господи, благослови!

Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя, брызнула кровь, полила горячей струей; помочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженях не остановить тяжелого поезда!

А кровь все льет и льет; прижимает рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове, в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума; одна мысль в голове: «Не устою, упаду, уроню флаг; пройдет поезд через меня... помоги, господи, пошли смену...»

И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.

Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти; другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.

Обвел Василий всех глазами, опустил голову.

— Вяжите меня,— говорит,— я рельс отворотил.

8 Заказ 1277

Раннее весеннее утро — прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами.

Резко нарушая прелесть этого степного утра, гудит на Гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадою, точно жалуясь и сердясь. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой, неожиданной силой.

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со своими черными заботами и торчащей над ними безобразной вышкой напоминает о человеке и человеческом труде. Длинные красные закопченные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного, грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, улыбающегося утра.

Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего каменного угля. Совершенно черные, пропитанные углем, не мытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые разиновые калоши и просто босые ноги — все это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе. В воздухе так и висит изысканно-безобразная бесцельная ругань вперемежку с хриплым смехом и удушливым, судорожным, запойным кашлем.

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, над которой прибита белая дощечка с надписью: «Ламповая». Ламповая битком набита рабочими. Десять человек, сидя за длинным столом, беспрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в предохранительные проволочные футляры. Когда лампочки совсем готовы, ламповщик вдевает в ушки, соединяющие верх футляра с дном, кусочек свинца и расплющивает его одним нажимом массивных щипцов. Таким образом достигается то, что шахтер до самого выхода обратно из-под земли никак не может открыть лампочки, а если даже случайно и разобьется стекло, то проволочная сетка делает огонь совершенно безопасным. Эти предосторожности необходимы, потому что в глубине каменноугольных шахт скопляется особый горючий газ, который от огня мгновенно взрывается; бывали случаи, что от неосторожного обращения с огнем на шахтах погибали сотни человек.

Получив лампочку, шахтер проходит в другую комнату, где старший табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несет ли он с собою папирос, спичек или огнива.

Убедившись, что запрещенных вещей нет, или просто не найдя их, табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: «Проходи».

Тогда через следующую дверь шахтер выходит на широкую, длинную крытую галерею, расположенную над «главным стволом».

В галерее идет кипучая суета смены. В квадратном отверстии, ведущем в глубь шахты, ходят на цепи, перекинутой высоко над крышей через блок, две железных платформы. В то время когда одна из них подымается,— другая опускается на сотню сажен. Платформа точно чудом выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что вырванным из недр земли углем. В один миг рабочие стаскивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом влекут на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми. В машинное отделение дается условный знак электрическим звонком, платформа содрогается и внезапно с страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. Проходит минута, другая, в продолжение которых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и лязганья бегущей цепи, и другая платформа — но уже не с углем, а битком набитая мокрыми, черными и дрожащими от холода людьми — вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И эта смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища, Васька Кирпатый[1], стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька — двенадцатилетний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и со смешно вздернутым носом. Он тоже сейчас спустится в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их.

Васька всего полгода как пришел из далекой деревни. Безобразный разгул и разнузданность шахтерской жизни еще не коснулись его чистой души. Он не курит, не пьет и не сквернословит, как его однолетки — рабочие, которые все поголовно напиваются по воскресеньям до бесчувствия, играют на деньги в карты и не выпускают папиросы изо рта. Кроме «Кирпатого», у него есть еще кличка «Мамкин», данная ему за то, что, поступая на службу, на вопрос штейгера: «Ты, поросенок, чей будешь?» — он наивно ответил:

---

[1] Курносый. *(Примеч. автора.)*

«А мамкин!» — что вызвало взрыв громового хохота и бешеный поток восхищенной ругани всей смены.

Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность шахтерского дела подавляют его бедный впечатлениями ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в этом мире — бесспорно машинист.

Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке, с сигарой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и насупленный. Ваське он отлично виден сквозь стеклянную перегородку, отделяющую машинную часть. Что это за человек? Да полно, и человек ли он еще? Вот он, не сходя с места и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и вмиг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз платформа, затряслось все деревянное строение шахты. Удивительно!.. А он сидит себе как ни в чем не бывало и покуривает. Потом он надавил еще какую-то шишечку, потянул за какую-то стальную палку, и в секунду все остановилось, присмирело, затихло... «Может быть, он слово такое знает?» — не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой загадочный и притом облеченный необыкновенной властью человек — старший штейгер Павел Никифорович. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных фонарей. По его приказаниям ведутся новые галереи и делаются забои.

Павел Никифорович очень красив, но неразговорчив и мрачен, как будто общение с подземными силами наложило на него особую загадочную печать. Его физическая сила стала легендой среди шахтеров, и даже такие «фартовые» хлопцы, как Бухало и Ванька Грек, дающие тон буйному направлению умов, отзываются о старшем штейгере с оттенком почтения.

Но неизмеримо выше Павла Никифоровича и машиниста стоит во мнении Васьки директор шахты — француз Карл Францевич. У Васьки даже нет сравнений, которыми он мог бы определить размеры могущества этого сверхчеловека. Он может сделать все, решительно все на свете, что ему только ни захочется. От мановения его руки, от одного его взгляда зависит жизнь и смерть всех этих табельщиков, десятников,

шахтеров, нагрузчиков и подвозчиков, которые тысячами кормятся около завода. Всюду, где только показывается его высокая прямая фигура и бледное лицо с черными блестящими усами, тотчас же чувствуется общее напряжение и растерянность. Когда он говорит с человеком, то смотрит ему прямо в глаза своими холодными большими глазами, но смотрит так, как будто разглядывает сквозь этого человека что-то такое, видимое ему одному. Раньше Васька не мог себе представить, что существуют на свете люди, подобные Карлу Францевичу. Он даже и пахнет как-то особенно, какими-то удивительными сладкими цветами. Этот запах Васька уловил однажды, когда директор прошел мимо него в двух шагах, конечно даже не заметив крошечного мальчугана, который стоял без шапки, с раскрытым ртом, провожая испуганными глазами проносящееся земное божество.

— Эй ты, Кирпатый, полезай, что ли! — услышал Васька над своим ухом грубый оклик.

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, при которой он состоял подручным. Собственно, ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме; с ними же постоянно работал в шахте и при них же нес в свободное время многочисленные домашние обязанности, в круг которых входило главным образом беганье в ближайший кабак «Свидание друзей» за водкой и огурцами. Дядя Хрящ принадлежал к числу старых шахтеров, измотавшихся и обезличившихся на долгой непосильной работе. У него не было разницы между добрым и злым делом, между буйной выходкой и трусливым прятаньем за чужую спину. Он рабски шел за большинством, бессознательно прислушивался к сильным и давил слабого, и в шахтерской среде он не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни уважением, ни влиянием. Ванька Грек, наоборот, до известной степени руководил общественным мнением и сильными страстями всей казармы, где самыми вескими аргументами служили занозистое слово и крепкий кулак, в особенности если он был вооружен тяжелым и острым кайлом[1].

В этом мире бурных, пылких, отчаянных натур каждое взаимное столкновение принимало преувеличенно острый характер. Казарма напоминала собой огромную клетку, бит-

[1] Кайло (хайло) — инструмент для выбивания угля из породы. *(Примеч. автора.)*

ком набитую хищным зверьем, где растеряться, оказать минутную нерешительность — равнялось погибели. Обыкновенный деловой разговор, товарищеская шутка переходили в страшный взрыв ненависти. Только что мирно беседовавшие люди бешено вскакивали с места, лица бледнели, руки судорожно стискивали рукоятку ножа или молота, из дрожащих опененных губ вылетали вместе с брызгами слюны ужасные ругательства... В первые дни своей шахтерской жизни, присутствуя при таких сценах, Васька весь обомлевал от испуга, чувствуя, как у него холодеет в груди и как его руки становятся слабыми и влажными.

Если в такой зверской среде Ванька Грек пользовался некоторым сравнительным уважением, то это до известной степени говорит об его нравственных качествах. Он был в состоянии работать по целым неделям, не отрываясь от дела, с каким-то озлобленным упорством, для того чтобы спустить в одну ночь все заработанные этим нечеловеческим трудом деньги. Трезвый, он был несообщителен и молчалив, а будучи пьяным, нанимал музыканта, вел его в трактир и заставлял играть, а сам сидел против него, пил водку стаканами и плакал. Потом неожиданно вскакивал с перекосившимся лицом и налитыми кровью глазами и начинал «разносить». Что или кого разносить — ему было все равно: просила исхода порабощенная долгим трудом натура... Начинались безобразные, кровавые драки во всех концах завода и продолжались до тех пор, пока мертвый сон не валил с ног этого необузданного человека.

Но — как это ни странно — Ванька Грек оказывал Кирпатому нечто похожее на заботу или, вернее, внимание. Конечно, это внимание выражалось в суровой и грубой форме и сопровождалось скверными словами, без которых не обходится шахтер даже в самые лучшие свои минуты, однако, несомненно, это внимание существовало. Так, например, Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах, ногами к печке, несмотря на протест дяди Хряща, которому это место раньше принадлежало. В другой раз, когда загулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник, Грек отстоял Васькины интересы. «Оставь мальчишку»,— спокойно сказал он, слегка приподымаясь на нарах. И эти слова были сопровождены таким красноречивым взглядом, что шахтер разразился потоком отборной ругани, но тем не менее отошел в сторону.

На платформу вместе с Васькой взошло еще пять человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал

во всем теле необычайную легкость, точно у него за спиною выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в руках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неровных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот странный физический обман всегда испытывается непривычными людьми в то время, когда платформа достигает середины ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокружение.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшиеся к главному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избегнуть этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах, с капюшонами на головах, вкатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ кинул кому-то из них: «Здорово, Тереха»,— но тот не удостоил его ответом, и партия разбрелась в разные стороны.

Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал, как им овладевает какая-то молчаливая, гнетущая тоска. Эти длинные черные галереи казались ему бесконечными. Изредка мелькал где-то далеко жалкой бледно-красной точечкой огонек лампы, и пропадал внезапно, и опять показывался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенами слышалось журчанье бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты.

Васька шел следом за дядей Хрящом и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью бревенчатые стены галереи тусклые желтые пятна, в которых причудливо метались взад-вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка, три уродливые неясные тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки.

Вот здесь засыпало обвалом четырех человек. Трех из них нашли мертвыми, а труп четвертого так и не отыскался; говорят, что его дух ходит иногда по галерее № 5 и жалобно плачет... Там в третьем году один шахтер размозжил кайлом голову своему товарищу, который отказал ему в глотке водки, пронесенной под землю контрабандным путем. Рассказывали также об одном старом рабочем, который много

лет тому назад заблудился в галереях, знакомых ему как свои пять пальцев. Его нашли только через три дня, обессилевшим от голода и сошедшим с ума. Говорили, что «кто-то» водил его по шахте. Этот «кто-то» — страшный, безыменный и безличный, как и породивший его подземный мрак,— несомненно существует в глубине шахт, но о нем никогда не станет говорить ни один настоящий шахтер — ни в трезвом, ни в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за своей партией, думает о «нем», он чувствует на своем теле чье-то тихое холодное дыханье, кидающее его в дрожь.

— Ну что, Ванька, хорошо погулял? — искательно спросил дядя Хрящ, оборачиваясь на ходу в сторону Грека.

Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь зубы. Накануне он целых пять дней не приходил на работу, угарно и безобразно пропивая свое двухмесячное жалованье. За все это время он почти совсем не спал, и теперь его нервы были возбуждены до крайней степени.

— Н-да, братец мой, хорошо, нечего сказать,— не унимался дядя Хрящ.— Как это ты десятника-то облаял? Очень прекрасно...

— Не зуди,— коротко отрезал Грек.

— Чего зудить, я не зужу,— отозвался дядя Хрящ, которому всего обиднее было то обстоятельство, что ему не удалось принять участие во вчерашнем разгуле.— А только, братец ты мой, тебе теперь конторы не миновать. Позовут тебя, друга милого, к расчету. Уж это как пить дать...

— Отстань!

— Чего там отстань. Это, голубчик, не то что в трактире бильярды выворачивать. Сергей Трифоныч так и сказал: пускай, говорит, он теперь у меня хорошенько попросится. Пускай...

— Замолчи, собака! — вдруг резко обернулся к старику Грек, и его глаза злобно сверкнули в темноте галереи.

— Мне что ж! Я ничего, я молчу,— замялся дядя Хрящ.

До места работы было почти полторы версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленчатыми галерейками. Кое-где нужно было нагибаться, чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырее и удушливее.

Наконец они дошли до своей лавы.

В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя; приходилось отбивать уголь, лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча

разделись, оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом. Грек чувствовал себя совсем нехорошо. Три бессонные ночи и продолжительное отравление скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как будто ее набили каменным углем. Однако Грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он кайло в хрупкий, звенящий уголь. Временами он как будто бы забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, в голове однообразно, до тошноты надоедливо звучали мотивы вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно передвигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек только на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галереях. Когда он возвращался во второй раз порожняком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща:

— Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.

Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал Грека за холодную, трепещущую руку и приговаривал просительным голосом:

— Да, Ванька... да перестань же... ну, будет же, будет...

Это был страшный приступ падучей. Неведомая ужасная сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобразных, судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затылком о землю, то тяжело падал вниз телом, корчился, касаясь коленами подбородка, и вытягивался, как палка, дрожа каждым мускулом.

— Ах, господи, вот история,— бормотал испуганно дядя Хрящ.— Ванька, да перестань же... послушай... Ах ты боже мой, как это его вдруг?.. Постой-ка, Кирпатый,— вдруг спохватился он,— ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми.

— Дяденька, а как же я-то? — жалобно протянул Васька.

— Ну, поговори у меня еще! Сказано — сиди, и дело с концом,— грозно прикрикнул дядя Хрящ.

Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее в рукава, побежал из галереи.

Васька остался один с бьющимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вытянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. «Господи, да уж не помер ли?» — подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий холод наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно.

— Дяденька Грек, а дяденька Грек,— прошептал Васька.

Грек не отзывался.

— Дяденька, вставайте. Позвольте, я вас поведу до больницы. Дяденька!..

Где-то в ближней галерее послышались торопливые шаги. «Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается»,— подумал с облегчением Васька.

Однако это был не дядя Хрящ.

Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой.

— Кто здесь есть? Живо выходи наверх! — крикнул он взволнованно и повелительно.

— Дяденька,— бросился к нему Васька,— дяденька, здесь с Греком что-то такое случилось!.. Лежит и не говорит ничего.

Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу Грека Но от него только пахнуло острой струей винного перегара

— Эк его угораздило,— махнул головой шахтер.— Эй, Ванька Грек, вставай! — крикнул он, раскачивая руку больного.— Вставай, что ли, говорят тебе. В третьем номере обвал случился. Слышишь, Ванька!..

Грек промычал что-то непонятное, но не открыл глаз.

— Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожжаться! — нетерпеливо воскликнул шахтер.— Буди его, малец. Да поскорее только. Не ровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как крысы...

Голова исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли и его частые шаги.

Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головою миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть — и не сможешь раскрыть рта... Захочешь пошевельнуться — руки и ноги придавлены землей... И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть...

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи.

— Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же! — кричит он, напрягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами — и с правой и с левой стороны — звуки тяжелых, беспорядочно спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего Грека и самому бежать очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теребить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону, поднятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки замечает угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы.

В галереях пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтобы удержать равновесие. Его худые детские руки вытянулись и обомлели, в груди не хватает воздуха, в висках стучат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-

быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

«Нет, не могу!»

Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев.

Слава богу, последний поворот! Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих подъемную машину.

Люди толпятся на платформе.

Скорей, скорей!

Еще одно последнее, отчаянное усилие...

Что же такое, господи! Платформа подымается... вот она исчезла совсем.

«Подождите! Остановитесь!»

Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом...

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то овчинном зипуне, окруженный толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно:

— Oh, mon brave garçon? О, ти храбрый мальшик!

Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.

Две главы из неоконченной повести

I

Два мальчика

Завод работал. Приближался полдень жаркого весеннего дня, и площадь перед заводом притихла. Лачуги, где жили семьи рабочих, глядели на площадку подслеповатыми маленькими окнами. Движения не было. Казалось, заводская слободка томится в ожидании обеденного свистка...

Начальник завода Доримедонт, или, как его звали рабочие, Дормидон Иваныч Вахрушин вышел из своего просторного и светлого, но довольно скромного дома и направился через площадь к заводу. Каждый день в это самое время выходил он из дому и проходил через площадь обычной неторопливой походкой, глядя на молчаливую, хорошо знакомую слободку несколько заплывшими добродушными глазами. Это был мужчина немолодой, довольно тучный, с красным лицом, еще более красным носом и большими опущенными вниз усами. Одет он был в старую полушинель с потускневшими медными пуговицами, а на голове у него, несмотря на жару, была надета косматая баранья папаха.

Пройдя менее четверти пути, Дормидон Иваныч остановился, прикрыл глаза ладонью от солнца и присмотрелся к фигуре, бежавшей по боковой дорожке наперерез.

— Поп бежит, — констатировал он, и легкая улыбка шевельнула его усы. За попом, слегка упираясь, бежал какой-то мальчишка, которого он тянул за руку, и другой, бежавший в нескольких шагах сзади.

— Здравствуйте, батюшка, куда так торопитесь? — произнес Дормидонт Иваныч, подойдя к тому месту, где дорожка пересекалась.

— К вам, Доримедонт Иванович,— к вашей милости прибегаю...— ответил запыхавшийся священник.— Не угодно ли будет?..— И он протянул начальнику завода табакерку.— Отроков вот хочу на завод определить...

— А чьи они? — спросил начальник, взяв из табакерки священника порядочную понюшку. Он старательно закладывал табак, закрыв одну ноздрю и прижмурив один глаз. Священник, рядом с которым стояли два маленьких оборванца, только что собрался ответить, как вдруг Дормидон поднял голову, сделал ужасную гримасу и громогласно чихнул.

— Здорово чхнул...— простодушно заметил один из оборвышей, ширококостный загорелый мальчишка с черными, несколько дикими глазами.

— Что сказал? — спросил начальник завода, склоняя ухо, чтобы лучше слышать, и уставившись на мальчишку добродушными заслезившимися глазами. При этом большой пунцово-красный нос, еще разгоревшийся от только что принятого заряда, привлек на себя наивную наблюдательность маленького дикаря.

— Нос у тебя... ну и красный же!..— сказал он и покачал головой.

— Ах, ты шельмец,— заворчал начальник брюзгливым голосом.— Тебе, негодяю, какое дело... А! Скажите, пожалуйста!

И он протянул было руку, чтобы схватить мальчишку за вихор. Но юркий дикарь ловко увернулся.

— Сиротки-с,— вздохнул священник, отвечая на первый вопрос начальника и стараясь замять неловкую выходку мальчишки.

— Нет, вы посмотрите-ка... Нос ему не понравился,— извольте видеть!..— жаловался Дормидон, обиженно глядя искоса на мальчика, который стоял в трех шагах. Маленький дикарь понял, что старик с красным носом осердился, и потому он держался настороже, видимо готовясь в случае крайности к побегу.

— Простите несмысленого...— кротко заметил священник.— Сиротки оба, некому было научить...— И он опять протянул начальнику табакерку.

— Откуда? — спросил Дормидон, смягчаясь.

— Моего приходу. Один из Палихи, вот этот (и он ука-

зал на черного дикаря). Мать недавно умерла, а отец, может, слыхали,— духовного звания человек, расстрига, где-то по свету шатается. Неведомо, жив ли или принял уже безвестную кончину. А другой,— священник наклонился и добавил шепотом:— происхождения, можно сказать, благородного.

При этих словах отец Иоан тряхнул свою широкую рясу, точно желая из нее вытряхнуть жука или таракана. Действительно, сзади, стараясь укрыться в складках, прильнул к священнику худой белокурый мальчишка. Два больших глаза, испуганных, точно у пойманного голубя, уставились на Дормидона, и мальчик опять потянулся к священнику грязными худыми ручонками.

— Вот оно что...— кивнул Дормидон головой.— Как же это... а?.. случилось-то?..

Священник опять наклонился к уху начальника.

— Была тут, знаете, духовного звания вдовица... в бедственной своей жизни совратилась с пути... Вероятно, изволили знать господина Пандектова, инженера...

— Знал... От него, подлеца, можно ожидать.

Священник вздохнул и слегка возвел глаза к небу.

— В Петербурге теперь, говорят... наслаждается жизнию, а несчастная сия, приняв многое бесчестие и тяжко искупив свой грех, недавно скончалась. Так вот я к вашей милости прибегаю с заступничеством. Примите сирых на ваш завод...

Дормидон опять принял понюшку, прочихался, на этот раз без всяких замечаний со стороны дерзкого Сеньки, и затем кликнул проходившего мимо чернорабочего:

— Эй ты, как тебя...

Рабочий подошел и, неповоротливо сняв фуражку, ответил:

— Аксёном звали.

— Куда идешь, Аксён?

— Да вот, Дормидон Иваныч, от монтера теперича...

— Ну ладно, от монтера после сходишь. А пока веди вот этих двух к шорнику. Слышишь? Скажи: начальник прислал. Пусть пока в сторожевской живут. Кормить их там... понимаешь?..

— Понимаем...— кивнул рабочий головой.— Ну ступай, пострелята, вперед!

Священник перекрестил мальчишек уже вдогонку и пошел по улице рядом с Дормидоном, довольный, что удалось исполнить доброе дело. Судьбу двух сироток он считал устро

енной. Неуверенным шагом двое мальчишек, приближавшихся теперь к черным воротам завода, вступали на определенную жизненную дорогу.

Из большой трубы, торчавшей над заводскими постройками, валил дым; глухой смешанный гул несся из темных заводских зданий. Гул этот, по мере того как мальчишки подходили к заводу, усиливался и будто надвигался на них. Белокурый Ванька, быть может, от благородных родителей унаследовал более тонкую организацию и чуткое воображение; его лицо все более омрачалось и становилось грустнее. В угрюмом ворчании завода ему слышался скрежет и сдержанное злобное ожидание... Темная полоса дыма лениво и с какой-то безнадежной медленностью развертывалась траурной полосой высоко в синем небе; теперь она клубилась над его головой, скрывая солнце, и ее мрачная тень отражалась на детском лице. Голубые глаза наполнялись слезами, зрачки расширялись, и выражение беззащитности и покорного страха застывало в тонких чертах.

Когда дети прошли по коридору входной будки и ступили во двор, их поразило внезапно наступившее молчание. Стук грохот и металлический скрежет завода вдруг прекратились, точно по волшебству, и только черный дым по-прежнему застилал солнце.

— Пошел, пошел, чего боишься,— подтолкнул рабочий остановившегося в испуге мальчишку.— Слышь, братец! — окликнул он пробегавшего мимо другого рабочего.— Где шорник?

— У главного приводу,— сказал тот, пробегая мимо.— Вишь, она стала.

Они направились через двор к темневшей внизу двери.

— Тебя как кличут, слышь?

Ванька почувствовал, что его дергают за рукав. Это невольный товарищ его бедствий, храбрый Сенька, нашел в себе достаточно развязности, чтобы вступить в разговор. Ванька посмотрел на него мутным взглядом и ничего не ответил; но этот немой взгляд, эти искаженные черты были, по-видимому, очень красноречивы; казалось, они объяснили менее чуткому Сеньке их общее положение. Он взглянул на сдержанно молчавшее темное здание, на черную пелену дыма, которая все так же медленно клубилась в вышине, и вдруг остановился. Его черные глазенки забегали по сторонам, вся юркая фигура как-то сократилась, точно у зверька, готовящегося скользнуть в какую-нибудь нору. Провожатый

вовремя заметил эти приготовления и поспешил разрушить их посредством легкого подзатыльника.

— Пошел, пошел вперед... Ишь озирается, волчонок...

Сенька рванулся было вперед, но вдруг повис на воздухе, прихваченный за шиворот крепкой рукой. Ванька смотрел на эту сцену с выражением горестного изумления.

Через несколько секунд Сенька, барахтавшийся ногами, очутился внутри здания, у входа в кочегарную.

Провожатый поставил его на пол, выждал, пока Ванька покорно последовал за ними, и уселся на пороге.

— Шорни-ик!..— окрикнул он, вынимая кисет с табаком.

— Здесь,— глухо произнес будто из-под земли невидимый голос.

— Мальчишек я к тебе привел от начальника.

— Погоди.

— Да один, слышь, стрекануть норовит...

— Посторожи. Сейчас я...

Ванька прижался к стене; его строптивый товарищ, видя выход загороженным, сердито насупился и как-то искоса, боком подошел к тому же месту.

— Гляди-кось... внизу-то, внизу-то...— сказал он через несколько секунд, опять дергая Ваньку за рукав. Но Ванька и без этого приглашения не мог оторвать глаз от зрелища, зиявшего в трех шагах под их ногами.

Несколько каменных ступенек обрывались в темноте громадного подполья. В глубине этой ямы красноватый свет ходил неопределенным отблеском во мраке, на фоне которого сверкали два громадные огненно-красные глаза; из-за раскаленных докрасна печных заслонок слышалось сердитое ворчание и треск пламени.

Что-то лязгнуло в глубине ямы, одна заслонка быстро распахнулась, пламя пыхнуло из нее, и на светлом фоне появился черный силуэт человека. Сунув длинную кочергу в огонь, он быстро и с ожесточением стал шевелить спекшуюся груду угля. С бешеным треском поднялась туча искр, и человек потонул на мгновение в ослепительном блеске.

— И-и, страсти какие...— произнес Сенька.— Как это он... Батюшки!

Заслонка хлопнула, один огненный глаз закрылся, но тотчас же открылся другой, и опять туча искр и окалины взвилась кругом темной фигуры.

— Ты думаешь — кто это? — спросил неугомонный Сенька, толкая товарища локтем. Тот молчал.

— Не знаешь?.. А я знаю, потому это кочегар Микита. Брови у его вовсе сгорели; я вчера видел.

Ванька повел на товарища своим испуганным взглядом. Впрочем, эти обыденные подробности насчет кочегаровых бровей, по-видимому, производили на него успокоительное действие.

— А ты небось думал — черт это. А? Думал?

— Думал,— жалобно повторил Ванька.

— Го-то-о-о-во!..— вдруг точно из земли глухо выкрикнул чей-то голос. «То-о-о-во! во-о-о!..» — повторило будто удалявшееся эхо. Где-то вдали зашипело что-то протяжно и с усилием, потом дрогнул удар, другой, третий. Казалось, под зданием ворочалось что-то тяжелое... Кто-то старался сдвинуть с места громадную телегу.

— Берегись, зй! Пострелята!.. Отойди от колеса, от колеса-то отойди!..— крикнул доставивший мальчишек рабочий. Легкая струя воздуха пахнула на них и полилась струей ветра. Мальчики отскочили к противоположной стене.

У того места, где они раньше стояли, началось движение. Прижавшийся к стене громадный маховик, наполовину спрятанный в отверстие пола, дрогнул, качнулся, и мальчишкам показалось, что колесо гигантской телеги набегает на них. Ветер ударил сильнее, колесо заворчало, громадная спица выглянула из-под пола, скользя на сером фоне стены. Она лениво поднялась, стала вертикально, склонилась и торопливо нырнула в подполье, увлекая за собой другую; через минуту колесо, ворча, шипя и слегка колеблясь, скользило по круговой линии, тяжело вздрагивая на ходу, а спицы взлетали и падали одна за другой, без остановки и перерыва.

Телега была в полном ходу. Внизу, под полом, за стенами, и над головами мальчишек покатился немолчный грохот. В смежной длинной мастерской, на которую до этой минуты мальчишки не обращали внимания, какой-то хаос из валов, поршней, колес, ремней, станков и людей теперь пришел в движение, присоединяясь к общему гулу. Железо завизжало металлическим скрежетом, шестерни дребезжали, точно пересыпаемые камни, приводные ремни сухо трещали и шипели, рассекая в бесконечном движении воздух...

У Ваньки кружилась голова. Его глаза поворачивались инстинктивно, следя за быстро мелькавшими спицами; в лице застыло выражение бессмысленного страдания, глаза потускнели, веки отяжелели. Гигантская телега набежала на него,

и он слышал со всех сторон над собой, вокруг, даже внутри замиравшего сердца ее неумолкающий грохот.

Он уже не отдавал себе ясного отчета в том, что происходило, и нисколько не удивился, когда из-под пола, у самого центра колеса, в том месте, где свистели и мелькали чугунные спицы, появились очертания человеческой фигуры. Ему казалось, что спицы проходят через эту фигуру насквозь, не задевая ее и не принося ей вреда, но это его не поражало. Фигура налегла па руки, человек поднялся и вспрыгнул на пол.

— А который тут бегун у тебя? — обратился он к сидевшему у порога рабочему.

— Эво! — мотнул тот головой, отряхая в кисете крошки табаку.

Рука так внезапно появившегося человека вдруг прихватила Сеньку за вихор.

Пораженный в первую минуту удивлением, Сенька только двигал покорно головой вслед за рукой шорника. Однако вскоре он потерял терпение и испустил, без всяких предварительных приготовлений, такой громкий и отчаянно резкий вопль, что из соседней мастерской стали выбегать рабочие и даже безбровый и весь опаленный кочегар сверкнул из ямы своими белыми зубами. Шорник выпустил волосы Сеньки.

— Ишь чертенок... Как его, братцы, прорвало,— сказал он не без удивления.

— Ловок орать! — прибавил чернорабочий, закуривая цигарку.

Действительно, во время своей недолгой, но уже исполненной самых горестных приключений жизни, Сенька успел выработать особую интонацию крика, которая, как он убедился многократным опытом, озадачивала и ошеломляла всякого настолько, что наказующая рука инстинктивно разжималась

Это было своего рода орудие в житейской борьбе, и Сенька владел этим орудием в совершенстве.

Барышня

С тех пор как Ваньке крикнули в первый раз «берегись!» и он отскочил от колеса, с тех пор как грохот завода в первый раз охватил его со всех сторон и покатился над его головой ощущение страха и какой-то «жуткости» уже не

прекращалось. Гигантская телега все катилась, ворочая тяжелыми колесами, громыхая и угрожая со всех сторон.

— Берегись! — кричали Ваньке в мастерских, где ремни грозили захватить его своим вращением,— берегись, берегись, берегись!..— Тачки с железом мчались мимо, катились стопудовые валы, громадные цилиндры, препровождаемые в сборную, перекатывались сердитым и гулким громом.— Берегись!

Яркая жгучая окалина сыпалась из-под молотов в кузнице, в кричной на железных шестах носили раскаленные докрасна «крицы», переливавшиеся пламенем и трещавшие, будто от ярости, от страшного жара. Из-под прокатных валов тянулась горячая сталь, и всюду Ваньке кричали «берегись!», и всюду он чувствовал себя на дюйм от опасности и гибели; в лучшем случае ему приходилось жмуриться от предостерегающих подзатыльников.

Даже ночью, в сторожевской, он всхлипывал по временам и нервно вздрагивал, а чуть брезжило утро, резкий свисток опять кричал ему «берегись!», и мальчик быстро вскакивал на ноги, предупреждая неласковое прикосновение суровой руки шорника.

Оба мальчика поступили к шорнику в науку. Наука была нехитрая: нужно было заготовлять тонкие ремешки и сшивать ременные полосы. Каждые полчаса откуда-нибудь кричали: «Шорни-и-к!» — и старик кидался по лестнице вниз, чтобы связать разорванный привод. В свободные промежутки он чинил старые сапоги, бродни и бабьи «чирки», что давало ему сторонние доходы. Этой премудрости он начал обучать и своих новых учеников.

Впрочем, у мальчишек, кроме шорника, было немало непосредственного начальства: в сущности, весь завод заявлял на них права, и, как шорник ни ворчал и ни ругался, все же их то и дело посылали в разные концы завода с самыми разнообразными поручениями.

Сенька быстрее ориентировался в суетливой обстановке. Он сначала присмотрелся к наиболее опасным местам, изучил характер машин, запомнил, где выдвигаются поршни, где можно получить удар какого-нибудь рычага, каких-нибудь железных пальцев, шнырял незаметно и быстро под руками особенно сердитых рабочих. В несколько недель он усвоил уж и общий ход всего грохочущего и вечно подвижного чудовища-завода и сделал попытку приладиться к нему с наибольшим удобством.

В большой комнате, где работал шорник, в углу лежали

кучи железной ломи и всякого мусора. У окна, освещавшего эту комнату, шорник приладил свою пазатейливую мастерскую. Дальняя половина тонула в вечном сумраке, падавшем от потемневших и закоптелых стен. Когда дверь была заперта, в комнате становилось сравнительно тихо. Гул и грохот завода скрадывали сумрачные стены, и только окна вздрагивали по временам и жалобно звенели от тяжелых ударов парового молота.

Однажды, когда шорник вышел, Сенька проскользнул за мусорную кучу и прилег там в уютном углу. Заслышав шаги по лестнице, мальчишка тотчас же выскочил оттуда, но угол ему поправился. Он натаскал туда сена и устроил гнездо.

Понемногу он стал смелее, и, когда шорник возвращался на место, он продолжал лежать еще некоторое время. Затем, тихо прокравшись к двери, вбегал в комнату, будто возвращался откуда-нибудь с «посылки». Ванька только дивился смелости своего друга.

Однажды шорника позвали к главному приводу. Он собрал целую вязанку тонких ремешков, взял пож, широкую полосу ремня и удалился. Сенька тотчас же юркнул в гнездо.

— Ванько, а Вань!..— окликнул он, выглядывая оттуда, как заяц из своей ямки.— Подь сюда, а-ты!.. Право.

Ванька испуганно оглянулся. Предложение было заманчиво и страшно. По случаю большого заказа завод работал усиленно, и на мальчишках это обстоятельство отражалось тем, что их глаза подвелись синими кругами и потускли, ноги ныли от постоянной беготни, а подзатыльники сыпались на них еще чаще.

Ванька робко подошел к мусорной куче. Сенька лежал там будто на перине. Его совсем не было видно, места было более чем достаточно на обоих. Ванька поддался соблазну. Через несколько минут в ушах Ваньки грохот завода стал будто стихать, стушевываться и наконец совсем смолк, только ноющее чувство страха и грозящей беды не перестало носиться над головой уснувшего ребенка.

Характер у шорника был суровый. Сидя в своей мрачной комнате. на «седухе», он не знал никогда «спокою», ежеминутно ожидая призыва к приводам. Такая собачья должность, естественно, располагала к некоторой ожесточенности нрава, и потому шорник вечно ворчал что-то про себя, ругая и людей, и завод, и ремни, и даже скотину, из которой ремни были приготовлены.

Этой же строгостью были отмечены и отношения шорника к ученикам. Он понимал, что мальчишки отданы ему в «науку», и имел довольно высокое представление о своем долге по отношению к ним, но осуществлял этот долг посвоему: задавал ворча работу, ворчанием же выражал свое удовольствие, если работа исполнялась хорошо,— неудовольствие же и наставление преподавал в форме трепки и подзатыльников.

Вернувшись от главного привода, он заворчал, что мальчишек опять услали. «Не собаки тоже... и опять же надо к делу обучать, а заместо того — все на побегушках. Сказать Дормидону... ей-богу, баловство!» Он сердито поправил ногой «седуху», сердито приладил широкую полосу ремня и ожесточенно воткнул в нее трехгранное шило. Вдруг его серое лицо вытянулось, брови приподнялись от удивления. Из угла послышался долгий вздох сладкого сна.

Прислушавшись еще, шорник подошел к мусорной куче, взглянул за нее и остановился, пораженный изумлением: мальчики спали обнявшись. Ванька свернулся при этом калачиком и спрятал голову на груди Сеньки. Последний одной рукой обхватил приятеля, другую широко откинул и весь развалился. Эта возмутительная поза, казалось, была рассчитана нарочно, чтобы возбудить в шорнике сильнейшее негодование, так эта мирная беспечность противоречила сердитой озабоченности гремящего и пыхтящего завода.

Завод имел свои неписаные, но непреложные законы. Как за свистком следовало начало работ, с такой же неизменностью за проступком мальчишек должна была последовать трепка. Данный проступок выходил из ряду; он поразил шорника своей неожиданностью и громадностью вины. Вечно шумящий завод не знал, пожалуй, ничего, что больше нарушало бы его уставы, чем этот мирный сон в тихом углу двух забывшихся мальчишек. Если бы они сами не спали в эту минуту, они бы слышали укоризненный рев старого завода, призывающий на них примерную кару.

Шорник был человек систематический. Очнувшись от удивления, он приотворил дверь и, перегнувшись через перила лестницы, поманил к себе рабочего из кочегарной. Тот вошел в комнату, взглянул по молчаливому указанию шорника на мальчишек и осклабился с довольным видом. Среди надоевших будней ему предстояло некоторое развлечение. То, в чем суровый шорник видел свой долг, для рабочего являлось своего рода удовольствием.

Шорник выбрал средней длины круглый ремень, про-

тянул его в руке и взмахнул в воздухе. Ремень оказался подходящим — размашистым и хлестким. Рабочий, сверкая белыми зубами, подошел к мирно спавшим мальчишкам. План шорника состоял в том, чтобы поднять обоих за уши, а затем поочередно наказать ремнем, для чего и нужен был помощник.

Первая часть плана была исполнена с успехом. Оба преступника в одно мгновение почувствовали странное ощущение и наполовину повисли в воздухе. Шорник поднял их за уши в известной симметрии, повернул к себе и взглянул в лица мальчишек своим суровым бесстрастным взглядом. На детских лицах виднелось недоумелое выражение испуга и боли. Несколько раз хлопнув сонными глазами, они, казалось, стали приходить к пониманию действительности. Завод ревел и бесновался, шорник глядел неумолимым судьей, белые зубы кочегара сверкали равнодушным весельем.

— Дяинька, дяинька-а-а...— пискнул Ванька, тяжело повиснувший в левой руке шорника, между тем как Сенька барахтался с молчаливым ожесточением. Он не просил пощады. Он знал характер старого завода, знал, что спать не полагается, знал, что вечно чинить ремни и бегать по приводам невесело,— и сумма этих знаний сложилась в представление о неизбежности жестокой трепки. И только его шустрое тельце инстинктивно барахталось, протестуя против неестественного и неудобного положения.

Шорник развел головы мальчишек и стукнул их одну об другую раз, другой... Каждый раз мальчишки щурились, и потом на их лицах появлялось выражение надежды, что это последний удар. Радостное значение этой надежды умалялось, впрочем, видом упругого ремня, который болтался под мышкой у шорника. В третий раз мальчишки закрыли глаза в ожидании удара, и сердчишки их замерли. Но удар не последовал.

В комнате произошло что-то странное. Несколько секунд тревожного ожидания, заминка, какие-то голоса. Мальчишки открыли глаза и сначала не могли понять, что перед ними происходит. Какая-то незнакомая барышня стояла рядом с шорником, трясла его за плечо и что-то говорила быстро, взволнованно, прерывающимся и захлебывающимся голосом. Шорник оглядывался на нее с недоумением и даже испугом. Кочегар отошел к стенке с виноватым и сконфуженным видом, как будто стыдясь за свою темную и задымленную особу, а в дверях, раскрывая свою неизмен-

ную табакерку, стоял Дормидон, искоса поглядывающий на всю сцену.

Шорник отпустил уши мальчишек, но тотчас же, все оглядываясь на незнакомую барышню, прихватил их за шиворот. Сенька быстрым взглядом окинул всю обстановку и сразу сообразил некоторую выгодность нового положения. Ему бросилась также в глаза необычайная наружность барышни: ее волосы были острижены и вились кудрями, как у мальчишки. Глаза горели, лицо было искажено женским гневом, который вот-вот разразится слезами.

— Отпусти, отпусти совсем! — вскрикивала она, злобно тормоша шорника за плечо.— Слышишь, отпусти...

Шорник отвел плечо и поглядел на Дормидона, как бы спрашивая у него, что ему делать. Дормидон малодушно опустил глаза в табакерку. По-видимому, он сам не сообразил еще, как быть в этих обстоятельствах. Он взял дочь, приехавшую из Петербурга, по ее настоянию на завод, не предвидя последствий, и теперь предоставлял шорника его собственной находчивости.

— Нельзя мне, барышня, чтобы отпустить... Потому я их учу,— сказал шорник вразумительно.

— Учит, он учит! — с негодованием воскликнула барышня, в свою очередь поворачиваясь к отцу.

Дормидон еще пристальнее уставился в табакерку.

— Так точно,— отвечал шорник,— потому они сиротки.

— Что он говорит, что он говорит, этот ужасный человек? — спрашивала барышня, странно мигая широко раскрытыми глазами. Видимо, она не могла понять причинную связь между сиротством и трепкой.

— Сиротки-с,— наставительно пояснил барышне шорник,— то есть без отца-матери, вот что...

— Он с ума сошел! Папа, папка, да что ж это ты? Да как же ты допускаешь сумасшедшего тиранить ребят?

— Кажись, в своем разуме еще...— ответил шорник тоном угрюмой обиды.

— Как же ты не понимаешь, что сирот надо жалеть.

— То-то жалеть, и я говорю. Кто ж их теперича без отца-матери выучит? Вы, барышня, вот что: вы не мешайте.

— Папа! Да что он говорит? Господи! Какой невозможный человек!

Губы у барышни дрогнули; она взглянула на отца, и по лицу ее протянулась складка, как у ребенка, готового заплакать. Шорник, в свою очередь, был глубоко уязвлен названи-

ем «певозможного человека»,— названием, значение которого он не мог понять и потому считал его особенпо обидным. Он тоже взглянул на Дормидона и выпустил мальчишек, как бы умывая руки.

Барышня тотчас же закрыла мальчишек собою и нервным голосом опять накинулась на шорника:

— За уши... подымать... Ты не знаешь: ведь у них могли разойтись позвонки... шейный нерв... мгновенная смерть.. Понимаешь ты?.. Ведь это убийство...

Шорник понял из этой речи только то, что теперь его обвиняют в уголовщине.

— Слава те, господи! Никогда душегубом не бывал, а теперь вот на старости лет в убивцы пожалован. Славно! Да вы знаете ли, барышня, что они, паскудники, сделали?

— Что, ну, что, говори: что они сделали такое?

— Спали они, вот что!

Барышня всплеснула руками.

— Спали! Бедные дети! И в этом вся их вина! В детском возрасте это естественно!.. Они устали. Смотрите, какие у них глаза. Папа, да что же это у тебя делается? Ты добрый, добрый, я знаю... Пойми же: все это надо изменить, все до основанья...

— Успокойся, Миля! — сказал Дормидон.

Теперь он закрыл уж свою табакерку и смотрел на дочь и на шорника каким-то особенным, вдумчивым и умным, взглядом.

— Шорни-и-ик! — раздался вдруг снизу призывный окрик. Шорник угрюмо потупился, как человек, претерпевший напрасную обиду, и, собрав свои ремни, двинулся к дверям.

— Пойдем, Миля! — позвал Дормидон.

— Не смей бить их, не смей, не смей!..— крикнула барышня вдогонку шорнику и затем погладила головы ребят.— Не бойтесь, детки. Он не будет. Хорошо, хорошо, иду... А все же этого не должно быть. Я придумаю.

Мальчики остались одни. Последним вышел, отделившись от стены, кочегар. Уходя, он на секунду остановился, посмотрел на мальчишек и покачал головой. «И что только теперь с вами будет, я уж и не знаю»,— казалось, хотел он сказать.

— А что, слышь...— заговорил первый Сенька.

— Чего? — откликнулся Ванька механически.

— Как же теперича! Будет нас шорник драть ай уж нет?

— Не знаю...— произнес Ванька задумчиво.— Какая она!..— добавил он, помолчав.

— Ты про барышню-то? Дочка она Дормидону приходится... Я чай, не станет драть-то. Потому барышня не велела...

И Сенька просиял. Однако тотчас же оба мальчика притихли: по лестнице опять тяжело подымался шорник.

— Слышь, пострелята! — заговорил он обыкновенным, несколько суровым голосом, но без сердца.— Ступай на господский двор, барышня требует... Ну, чего смотрите,— продолжал он, усаживаясь на свою «седуху».— Не бойтесь, чай не съедят там... Вишь, и учить не дает... Ступай, ребята, ступай!.. Может, еще через это свое счастье получите.

И затем шорник стал протыкать ремень шилом и вдевать прошву. Мальчишки замялись и смотрели на шорника с чувством, близким к угрызению совести. Он не только не намерен было доканчивать экзекуцию, но сам принялся за ту работу, которую они не докончили.

Было что-то жалко-угрюмое в этой серой фигуре. Шорник знал, что уж ему-то, шорнику, неоткуда ждать себе счастья, что на него вечно, до конца жизни, все так же будут глядеть эти мрачные стены, эти тусклые окна. Поэтому, передав мальчишкам приказ, он перестал обращать на них внимание, относясь к их дальнейшей судьбе с задумчивым и угрюмым равнодушием.

— Видишь вот... Больно горяча...— ворчал он сквозь зубы, в которых держал конец ремня.— А мне все одно мальчишки нужны. Других взять — только и всего. Скажу вот Дормидону, потому без мальчишек мне невозможно. Учить уж не смей... Нас небось не учили?.. Ну-с...

Он качал головой и улыбался, причем его жидкие усы шевелились, а губы как-то странно искривлялись. И долго в темной комнате слышалось одинокое ворчание серого, угрюмого шорника.

I

Мы вошли в большое кирпичное здание, напоминающее собой казармы, фабрику или завод. Узкие почерневшие окна почти не пропускали света. Было грязно, скользко, сыро, и по каменному из плитняка полу хлюпала вода. В полумраке, уходя вверх, тянулись, встречаясь друг с другом, какие-то трубы, канаты, балки, производя впечатление сосредоточенной скрытой силы. Я все боялся провалиться в шахту, которая представлялась мне почему-то просто дырой в полу, и с напряжением и с усилием пробирался в полутемноте, потому что со свету почти ничего не мог разобрать.

Возле ходили какие-то люди, черные, насквозь пропитанные углем, свободно и легко ориентируясь, как давно освоившиеся с обстановкой и месторасположением.

— Эй, да где же старший рабочий? — крикнул наш провожатый.

Что-то огромное и громоздкое, с гулом и железным грохотом, заглушая голос нашего проводника, тяжко ударилось обо что-то металлическое, и все кругом дрогнуло и зазвенело. Это было где-то совсем близко, но я не мог рассмотреть, что зто было. Мне в первый момент показалось, что зто лопнул у какой-то гигантской машины рабочий вал, коромысло или еще какая-нибудь важная часть.

Рабочий возле меня, такой же черный, как и остальные, которого я заметил только в этот момент, схватился за выходивший откуда-то металлический стержень и, быстро наклонившись, качнул его два раза И это движение среди

чуждой обстановки показалось мне полным значения и особенного смысла. Раздался резкий со звоном удар — как будто о медную доску. И опять то, что за минуту оглушило меня, с таким же треском и гулом пошло куда-то вглубь, издавая характерный звук бежавших по валу цепей.

— Где это мы? — крикнул я, стараясь покрыть гул работавшей машины.

— Шахта.

Я осторожно пододвинулся. Огромный мощный сруб подымался из глубины вплоть до крыши. В нем ходила на цепях клетка. Четырехугольное темное отверстие, как могила, мрачно и угрожающе чернело из-под него. Мне показалось, что оттуда тянуло холодом и сыростью. Я отодвинулся, невольно испытывая ту необъятную силу, которая тянет в бездну.

— Пожалуйте в контору,— проговорил наш вожатый.

Он провел нас в большую грязную комнату, занятую столами, с разбросанными по ним планами, чертежами, картами, образцами угля в кусках с металлическим изломом. Посредине возвышалась обтертая и вылощенная руками конторка и на ней огромная книга с замусоленными, завернутыми краями.

«Расчетная книга рабочих рудника такого-то общества». Я перелистал несколько страниц. Двенадцать, пятнадцать, восемнадцать рублей в месяц была обычная средняя плата, двадцать пять — максимальная. Страницы пестрели многочисленными штрафами и вычетами, понижавшими иной раз получку на целую семью до десяти рублей.

К нам подошел молодой человек в форме горняка.

— Студент горного института N.

Мы познакомились. Он вежливо и предупредительно переложил книгу на другой стол.

— Ну что же, господа, есть у вас во что одеться? Ведь так нельзя спускаться в рудник.

Я захватил с собой подходящий костюм и длинные охотничьи сапоги, но мой приятель красовался в чесучовом пиджаке, крахмальной сорочке и штиблетах.

— Этак нельзя. Придется вам дать рабочий костюм.

Принесли неимовернейшей грязи куртку, шаровары и колоссальные сапоги, должно быть из мамонтовой кожи: они не сгибались в ступне.

Мы переоделись. Нам подали по стеариновой свечке. Это напомнило, что больше мы не увидим дневного света, и легкая не то тревога, не то ожидание чего-то шевельнулось в душе.

К нам подошел старший рабочий, гигант с добродушно-угрюмыми чертами серого, точно чугунного лица, на котором, резко выделяясь, ворочались белки глаз. Он был черен, как эфиоп, пронизанный угольной пылью.

— Пожалуйте,— проговорил он, обнажая как кипень белые зубы, которые так же резко — и даже неприятно-резко — выделялись на его иссера-черном лице.

Мы опять прошли к шахте. Клетка с треском и визгом только что подошла снизу. Из нее вышли двое рабочих и быстро и ловко выкатили из верхнего отделения вагончик, доверху нагруженный углем.

— Ну, садитесь.

Мы секунду помялись, уступая друг другу дорогу. Не то что ощущение страха, а какое-то тайное стремление не отдаваться первому неизвестной, посторонней и неверной силе беспокойно шевельнулось в душе.

«Каждый день тысячи народу спускаются»,— мелькнуло у меня, и я влез в клетку, сел на корточки, согнулся и съежился весь в комок,— так она была мала и узка, напоминая собою те клетки, в которых на ярмарках развозят зверей содержатели кочующих зверинцев. Ноги разъезжались в скользкой черной грязи. Ощущение не то холода, не то сырости охватило все тело. Ко мне влез мой товарищ, а остальные разместились в верхнем отделении. Зажгли свечи. Откуда-то сверху на шею капала холодная вода, неприятно пробираясь за воротник, и попадала в пламя свечи, которая от этого шипела и трещала.

Возле толпились рабочие и служащие.

— Господа, держитесь дальше от стенок,— крикнул кто-то, наклоняясь к нам.— Клетка с боков не забрана, вплотную идет по срубу: захватит руку — вырвет; прислонитесь спиной — из спины клок вынесет.

Перспектива была не из приятных, и я и мой приятель изо всех сил стали подбирать руки, ноги и спину, стараясь все это поместить посредине, подальше от проклятых стенок.

— Наверху скобки есть, за них держитесь.

Мы пошарили и уцепились за скобки.

— Ну, готово!

Я видел, как рабочий, быстро наклонившись, опять два раза качнул длинный стержень. Снова где-то со звоном ударило в медную доску — машинист в другом отделении пустил машину. Нас встряхнуло и, против всякого ожидания, стало подымать вверх. Но клетка сейчас же остано-

вилась, на секунду повисла, вызывая тягостное сознание уходившей под нами темной глубины, и вдруг ринулась вниз без толчков и сотрясений; люди, балки, окна, трубы, длинный стержень, красный отблеск отсвечивающих на мокром полу лампочек — все мгновенно, точно подхваченное страшною силой, понеслось вверх и моментально скрылось в густо наступившей темноте.

В ушах появилось странное ощущение, точно воздух изнутри с силой распирал барабанные перепонки. Мне чудилось, что я оглох, но я отчетливо различал все звуки. Первое время я чувствовал по легким толчкам и по тому, как из-под ног словно уходили доски, что мы быстро двигаемся вниз, но вдруг ощущение движения пропало, и в следующее мгновение мне уже почудилось, что мы несемся вверх.

— Что это?

— Это так кажется.

Но ощущение движения вверх все продолжалось. Я осторожно повернулся и поглядел на стены сруба,— они со страшной быстротой бежали вверх, сливаясь желтою полосой и сверкая на пламени свечи тонкими ручейками бежавшей по ним воды, и истинное впечатление движения сейчас же вернулось. Я все с напряжением старался удержать свои руки, ноги и спину, чтоб они не притронулись как-нибудь к этим грозно убегавшим стенкам. Мой товарищ, вероятно, испытывал то же, и мы жались друг к другу.

Вдруг нас толкнуло, наша клетка ударилась обо что-то и остановилась. Красноватые дымные огни среди густой тьмы мрачно горели, точно факелы в глухую полночь. Темные силуэты людей вырисовывались смутно и неопределенно. Клетка опустилась вглубь на шестьдесят саженей.

II

Мы торопливо вышли, с облегчением ощущая под ногами твердую почву. Тяжелый мрак висел кругом. Нельзя было рассмотреть окружающей обстановки: все предметы тонули в непроницаемой мгле. Сводов рудника не было видно. Красные огни ламп, дымя и колеблясь, с трудом боролись с густым мраком, не будучи в состоянии отодвинуть его и лишь освещая небольшой кружок. Люди сразу вырастали из темноты и так же сразу пропадали, лишь только делали несколько шагов в сторону.

Издали послышался характерный гул бежавшего по рельсам вагончика. Он все приближался. Стали слышны мерные удары копыт трусившей рысцой лошади, но в кромешной тьме никого не было видно. И только когда по звуку казалось, что вагончик накатывается совсем уже на нас, перед самым лицом выставилась лошадиная морда, потом спина, круп и бежавший за ней железный ящик на колесах. С него соскочил рабочий и стал торопливо в темноте отстегивать постромки. Стоявшие возле несколько человек подхватили вагончик и дружно вкатили в клетку.

То там, то здесь стали обозначаться в темноте красноватые точки. Они понемногу увеличивались, разрастаясь вблизи в неровное, колебавшееся пламя лампочек, от которого черным клубом бежал удушливый дым. Это рабочие шли к подъему.

Рабочий наскоро составлял поезд из пустых вагончиков, который должен был пойти за углем. Люди торопливо устанавливали по рельсам вагончики, представлявшие собой длинные железные ящики на колесах, и впрягали лошадь.

Я подошел к стенам и, подняв высоко свечу, стал их рассматривать. Они были черные, и вода сочилась из них, как из губки. Я дотронулся рукой — на пальцах остался черный след сажи. Мне вообразилось, что это и есть каменный уголь.

— Это каменный уголь? — обратился я к провожатому.

— Нет, это пустая порода, обыкновенный камень. Здесь на несколько верст кругом нет угля, выработан. А это сажа оттого, что лампочки коптят, так копоть и садится. До выработки версты три будет с лишним. Да вот садитесь, сейчас и тронемся.

Мы с приятелем забрались в один из вагончиков. В нем было, как и везде кругом, сыро, грязно, скользко. Липкая черная грязь покрывала дно и стенки, липла к одежде и едко проникала кожу рук и лица. Вдоль всего поезда поверх вагончиков лежала цепь, которой они скреплялись. Мой товарищ было взгромоздился на нее — не хотелось сидеть в грязи и в воде.

— Нет, вы слезьте оттуда,— проговорил, подходя, рабочий,— и пригибаться надо, а то есть места, где свод к самому вагончику спущается, так ушибить может, а то вовсе голову на сторону сшибет.

Приятель торопливо слез и уселся на дно.

— Трога-ай!

Слышно было, как застучала по мокрому камню, скользя и упираясь, лошадь. Цепь натянулась, с визгом пошла поверх вагона сначала в одну сторону и больно ударила меня в бок, потом в другую — и угостила товарища; мы ухватились за нее руками; при всем напряжении не было сил удержать ее, и при каждом повороте она, скользя и повизгивая, угощала по очереди то одного, то другого,— мой приятель кряхтел и ворочался, приспособляясь к положению, а я напрягался, чтобы смягчить удар. Вагончики, торопливо покачиваясь и толкаясь, послушно и гулко бежали друг за другом.

Поезд состоял всего из трех вагончиков, но нам не было видно впереди ни лошади, ни других вагонов, ни рабочего,— непроницаемый мрак тесно обступал со всех сторон и, казалось, бежал вместе с нами.

Это было странное путешествие. Мы сидели с товарищем вдвоем, совершенно отделенные от остальных мраком, точно в отдельном купе. Ни стен, ни свода не было видно. Слышался только однообразный гул колес, мерный стук копыт, да цепь на поворотах любезно давала о себе знать. Приготовляясь опуститься в шахту, я рисовал себе что-то необычайное, фантастическое, поражающее, но, собственно, до сих пор ничто не произвело такого впечатления. Грязь, сырость, вода, рельсы, железные ящики на колесах, лошади, лампы, рабочие — все это пока было обыкновенно и просто.

Что действительно клало свой особенный отпечаток здесь на все, резко отличало окружающую обстановку от той, что была на поверхности, это — тяжелый, непроницаемый мрак; он неотступно теснил со всех сторон, давил своею неподвижностью, таинственным и как будто угрожающим безмолвием, постоянно заставляя ожидать, что вот немного дальше, за этим выступом, за этим поворотом, как только осветит поярче лампа, и откроется что-то особенное,— и тогда-то увидишь то фантастическое, поражающее и даже ужасное, что смутно ждалось там, наверху. Но вагончики, все так же спеша и покачиваясь, и набегая друг на друга, монотонно катились, и все так же неловко было сидеть, и впереди мерно отдавались глухие удары лошадиных копыт, и все так же все впечатления окружающего слагались в одно ощущение сырости, грязи и темноты.

Сколько времени мы ехали и какое расстояние проехали — нельзя было сказать. Ощущение времени, пространства и направления пропало. Казалось, мы с гулом, шумом, треском толклись в этом неподвижном мраке на одном месте.

9 Заказ 1277

У меня совершенно отнялась способность ориентироваться.

Порою только, когда из темноты выставлялся конец лопнувшей балки или рассеянное тягой пламя лампочки вспыхивало ярче и тяжелые массивные своды показывались над самой головою, медленно отходя назад,— становилось очевидным, что мы едем вперед.

— Поостерегитесь! — послышался впереди голос, глухой, сдавленный этими нависшими громадами.

Мы съежились. Пламя у меня вытянулось, на секунду раздвинув озаренный кружок, и мы увидели мелькавшие над нашими головами ребра и выступы спустившегося к самым вагончикам свода. Подними голову только на полдюйма — и черепа как не бывало. Мы это ежесекундно помнили и старались сколько возможно глубже сесть в вагончик и напряженно подгибали голову.

С нашим поездом стало делаться что-то особенное. Нас страшно качало, бросало в стороны; вагончики, гремя железом, сталкивались, цепь сразу ослабевала, и они почти останавливались, потом мгновенно натягивалась, и вагоны летели друг за другом сломя голову. При всем напряжении я ничего не мог разобрать в темноте и только после узнал, что в этом узком и длинном проходе дорога пошла под большим уклоном, да и путь был здесь дурно и неправильно уложен.

Особенно страшно было на поворотах. Среди гула и грома вдруг выступает из темноты изрытая, неровная темная масса, слабо играя влагой на колеблющемся отблеске почти потухающей свечи. Впереди по звуку слышно, как вагончики бросились куда-то влево, а наш, звеня ослабленною цепью, несется прямо на неподвижную, тяжко придавленную сводом громаду. Еще мгновение... но тут цепь натягивается, как струна, с визгом и скрежетом срывает нас в сторону, на другой путь, вагончик боком чертит о камни, и мы ныряем в какую-то темную сырую дыру. Лопни цепь или сойди вагон с рельсов — мы бы разбились вдребезги. Я одной рукой держался за край стенки, но после первого же такого казуса отнял руку: может раздробить кисть.

Впереди все время слышны мерные удары копыт,— лошадь бежит небольшой рысцой, но от толчков, стука, железного грохота и раскачиваний нам теперь кажется, что мы несемся в этой кромешной темноте со скоростью курьерского поезда.

— Ехать ничего себе,— говорит мой товарищ,— только скоро ли мы доедем?

— Должно быть... ах, черт...

Говорить опасно, того и гляди на толчке откусишь язык.

От напряжений и усилий обороняться от проклятой цепи начинает сказываться утомление. Да и внимание постоянно раздваивается: караулишь цепь, которая упрямо ходит по всему вагону, а с другой стороны, постоянно помнишь, что чуть подимешь голову, ее моментально размозжит о выступы свода,— и это утомляет.

Я давно уже чувствовал неприятное, зудящее ощущение в правой ноге, на которой сидел, точно за кожу насыпали горячего песку,— отсидел ногу. Но привстать и размяться не было никакой возможности.

III

Я уже приготовился долго сидеть в таком положении, как наши вагончики, громыхая железом и наталкиваясь один на другой, остановились.

Впереди замелькал красноватый огонь лампочки.

— Что такое?

Хотя мы и были уверены в безопасности, но некоторая напряженность и ожидание случайности постоянно таились в глубине души,— вдруг обвал или вода прорвется или свод осядет.

— Разъезд,— спокойно говорит рабочий, приближаясь своей огромной фигурой и держа на длинной проволоке лампочку, которая дымит над самою землей,— поезд с углем пойдет навстречу.

Мы выходим, с наслаждением расправляя окоченелые члены.

— Далеко он еще?

— Не слыхать.

— А ехать нам много?

— Да полпути сделали. Теперича немного проедем, а там пешком по диагональному ходу придется идти.

Стали дожидаться. Кругом все та же сумрачная, молчаливая мгла. Возле, слабо выделяясь из темноты, неподвижно стоит лошадь, понуро опустив голову и не шевеля ни одним мускулом.

Керосин в лампочке, раздуваемый тягой, сильно горит; красное пламя с легким гудением тянется с фитиля длинными языками, и, свиваясь черным клубом, проворно бежит густой дым, сейчас же расплываясь в окружающей темноте. Неровный отблеск дрожит и колеблется небольшим круж-

ком. Он то ослабевает, то судорожным усилием отодвигает на секунду мрак, и тогда так же сурово-загадочно выступает темный влажный свод, и вместе грозно выступает неодолимая, замыкающая нас мертвая сила, а в следующее мгновение кругом опять безраздельно царит мрак, тая неизвестность, и тщетно бьется, трепетно вздрагивая, красноватый неверный отсвет.

Необычайная обстановка, постоянно удручающее сознание нависших над головою масс, отрезанность от остального мира, утомление и неясное ожидание чего-то — угнетающе действует на сознание, и в голову ничего не идет, и не находишь и не знаешь, о чем говорить.

Мы стоим около вагончиков в молчаливом ожидании. Я невольно прислушиваюсь, пристально глядя в темноту. Могильная, зловещая тишина поражает ухо. И эта неподвижная тишина и мрак вместе с печальным силуэтом поникшей головою лошади сливаются в одно тяжелое, щемящее впечатление чего-то безотрадного, мертвого, как будто близкого к отчаянию. Время тянется уныло-медленно, не знаешь, проходят ли минуты или часы.

Я чувствую, как сырость проникает до костей. Отсыревшая фланель моей блузы тяжелеет и виснет по телу. Атмосфера совершенно насыщена паром, да и немудрено: вода сочится со стен, со свода, капает и бежит тонкими ручейками, как из рассохшейся бочки, и ее день и ночь откачивают. Влажность так велика, что пот не испаряется, и оттого так тяжело работать и дышать.

Я теперь только замечаю, что мрак при огне не кажется совершенно черным, а отливает сизо-синеватым оттенком. Это дым. Он висит во всех проходах тяжелою, едкою, удушливою пеленой, лезет в нос, рот, дыхательное горло, садится на слизистые оболочки, проникает в легкие. Когда, уже поднявшись наверх, я стал откашливаться, на полу обозначилась черными пятнами насквозь пропитанная гарью мокрота, как это иногда бывает, когда сильно коптит лампа в запертой комнате и долго сидишь в такой атмосфере. И это несмотря на то, что в шахте поставлены очень сильные вентиляторы; их тяга постоянно чувствуется в воздухе, особенно в узких проходах. Надо заметить, что шахта, в которую мы спускаемся, одна из самых благоустроенных. Тяжело дышать и работать в таком воздухе.

— Что-то не слыхать,— говорит рабочий.

Мне не видно выражения его лица, но мне кажется, что он хочет сказать, что что-то неладно, а его слова при-

обретают вдруг тревожное значение. «Может быть, несчастье... обвал, человек убит и теперь лежит там».

Густая тьма все так же напряженно-молчаливо стоит вокруг, таинственно скрывая все, что совершается впереди. Ожидание становится томительным. Я делаю несколько шагов. Рельсы слабо посвечивают под ногами. Мысль, что нас засыплет или прорвется вода, становится все более и более вероятной.

— А что, тут с рабочими часто несчастия случаются?

— Да, почитай, недели не пройдет, кого-нибудь либо придавит, либо убьет, али водой захлестнет.

— Как давно последнее было?

— Да не дюже давно. С недели полторы либо две, чтоб не соврать, одному череп расшибло.

— Как же это?

— Да вагончики гнал груженые. Известно, человек истомился, все одно, все одно и то же, кругом темь, лошадь впереди трюх-трюх, ехать долго, лежит он на пузе на углю, цепь это под ним, тоже беспокоит, и все надо помнить, голову как ни мога больше нагинать,— ну, не постерегся, тьма, не видать, и вдарился на всем ходу, свалился с вагончика, а другой углом ему в голову — череп и разбился. Лошадь ушла, а он лежит. Как раз идут рабочие, смотрят — человек будто маячит, подходят,— а это он. Взяли, отнесли к шахте, в клетку и наверх.

— Что же, умер?

— Как же, голова рассеклась, мозги вытекли.

Рабочий крючком, который висит у него на поясе, начинает вытаскивать фитиль в своей лампе и расковыривает его. Пламя трещит и разгорается сильнее. На землю падает керосин огненными горящими струйками.

Я хожу возле вагончиков. Человек с разбитым черепом мерещится в темноте.

— Может быть, мы напрасно и дожидаемся?

— Никак идет,— говорит рабочий в ту минуту, когда я уже меньше всего ожидаю, подымаясь и вырастая своею мощною фигурой.

У меня точно камень сваливается. Я напряженно вслушиваюсь — ни один звук не нарушает могильной тишины, но теперь эта неподвижность уже не пугает: я знаю — впереди живое существо.

Только немного погодя из мрака доходят слабые звуки бегущих вагончиков. Ближе и ближе. Наша лошадь настораживает уши. Я отхожу к сторонке. Вместе с чувством

облегчения кругом становится как бы просторнее и виднее. То, что давило за минуту угрозой и таинственностью невидимой силы, куда-то отступает. Вагончики, погромыхивая, бегут уже совсем близко, и из-за их монотонного гула явственно слышатся мерные удары подков, но никого не видно.

Я подымаю свечу. Из темноты, совсем возле, показывается лошадь. Меня обдает теплотой живого тела. Лошадь трусит неуклюже и тяжело, мерно и в такт ударам копыт потряхивая головой и шеей.

«Мне все равно... даже и в этом непроглядном мраке надо без устали работать»,— как будто говорят ее печальные, давно не видавшие дневного света глаза, заложенное назад ухо и вся кроткая, безответная фигура лошади гнедой масти.

Следом один за другим выкатываются из темноты вагончики и сейчас же вслед за лошадью опять погружаются во мрак. На одном из них, доверху наполненном углем, на животе лежит рабочий. Он черен и с любопытством поводит на нас белками, по-видимому, бесконечно далекий от волновавших меня опасений. В последний момент я видел только, как он, лежа на животе, пристально провожал нас глазами, и над вагончиками виднелась его приподнятая голова, а в следующее мгновение все потонуло в черной мгле.

Мы остаемся опять одни.

Рабочий возится у лошади. Гул уходящих вагончиков слабеет все больше и больше. Замирают последние звуки. Мрак угрюмо и враждебно опять надвигается со всех сторон, и в сердце проникает прежнее ощущение холода, одиночества, отрезанности и постоянно давящей неотвратимой мертвой силы. Узкий колеблющийся кружок красноватого света вокруг нас, вздрагивая, с усилием борется против надвигающейся синеватой мглы.

Мы садимся, проезжаем саженей сорок-пятьдесят и опять выходим. Тут ход упирается в стену, и дорога разветвляется направо и налево.

IV

Наш поезд с одним из рабочих, погромыхивая и постепенно замолкая во мраке, уходит направо. Я приготовляюсь идти по левому проходу.

— Нет, нам не туда,— говорит старший рабочий, делает несколько шагов в сторону и, приподняв, посвечивает своею лампочкой.

В стене обнаруживается неподвижно черная, узкая, в полчеловеческого роста дыра. Тяжелая синяя мгла, увлекаемая тягой, медленно стекает в нее, и дымное пламя лампочки, послушно изогнувшись, торопливо бежит туда густыми, черными клубами дыма.

— Вы нагинайтесь, пожалуйста, нагинайтесь, как ни моги больше нагинайтесь,— говорит рабочий, стараясь придать возможно больше убедительности голосу,— это теперича по диагональному ходу нам идти, а там и работы скоро.

И, согнувшись почти вдвое всею своею громадною фигурою, он шагнул в эту мрачную дыру и быстро пошел, слабо посвечивая из-за себя лампочкой.

Я тоже согнулся и последовал за ним, низко опустив свечу. Внизу блеснула вода. Ноги с усилием и судорожным напряжением ступали по изрытому, неровному дну, ежесекундно обрываясь и скользя по острым кампям и ребрам выбитой каменной породы и с шумом разбрызгивая холодную воду, которая неприятно обдавала все лицо. Колени мои приходились почти в уровень подбородка, и я шел, наклонившись вперед всем телом, спотыкаясь и поминутно теряя равновесие, и тяжело дышал от напряженных усилий не убиться и непривычного согнутого положения. Ноги принимали до того неестественное положение, что ступни совершенно выворачивались и я шел не на подошве, а на боку сапога и каждую минуту ждал, что выверну себе сочленение или растяну связки.

Все опасности, обвалы, наводнения, впечатления пройденного пути и ожидания чего-то нового — все было вытеснено из сознания мучительным физическим напряжением.

Я совершенно позабыл о своем товарище, который шел позади и, вероятно, точно так же бился в этой проклятой дыре и едва поспевал за рабочим, который проворно уходил все дальше и дальше.

Наше путешествие в вагончике с цепью казалось теперь верхом комфорта.

«Боже мой, видно, отсюда уж и не выбраться!» — с отчаянием мелькало у меня, и я продолжал механически переставлять ноги, скользя и поминутно хватаясь за влажные, скользкие стены, от которых пробегали по всему телу холод и судорожная дрожь.

Низко опущенная голова все больше тяжелела, наливаясь кровью, и поясницу невыносимо ломило.

Неодолимое желание хоть на секунду разогнуться, расправить смятые, сдавленные легкие неотступно преследова-

ло, но не хотелось просить остановиться, и я напрягал все силы, чтобы не отстать от рабочего, который, как ни в чем не бывало, торопливо шел, и его огромная спина проходила под самым сводом, а из-за темной фигуры слабо отсвечивал отблеск лампочки.

— А-а!.. Черт!..

Я присел. Кто-то с силой чем-то тупым и тяжелым ударил меня по голове. От неожиданности я судорожно закрыл глаза, и миллионы синих искр посыпались в темноте, моментально потухая. В то же мгновение заныла невыносимая, сверлящая боль, выжимая слезы, точно у меня ворочались в мозгу. Шапка вдруг сделалась тесной и стала неловко сидеть на голове.

— Ах ты господи, нагинаться надо! — участливо и с беспокойством проговорил рабочий, присаживаясь возле на корточки.— Больно зашиблись?

— Что, больно? — осторожно подходя и низко сгибая спину, спросил приятель.

Мне было и смешно, и совестно, и бессильная злоба душила — так бы и избил кого-нибудь, но виноватого не было.

— Длинный этот проход? — спросил я, желая переменить разговор и чувствуя, как все больше вздувается шишка.

— Триста саженей. Теперь скоро.

— Ну, пойдемте,— проговорил я так, как будто они были виноваты.

Мы опять согнулись и пошли гуськом. Сильная боль заглушила на время острое ощущение усталости, и я продолжал с равнодушием отчаяния болтаться в воде, спотыкаясь и рискуя ежеминутно убиться, ударившись о выступ стены.

Где мы были, много ли осталось, сколько прошли, какие повороты делали, был ли теперь день или ночь,— я ничего не знал. Все те же каменные мертвые громады, совсем нависшие и узко сдвинувшиеся,— до того узко, что все время я бился коленями с той и другой стороны. Ничто не менялось вокруг, и даже мрак, казалось, с трудом пробирался за нами, потому что слабый мерцающий огонь свечи справа и слева у самого лица освещал влажный нависший камень.

Как ни уверен я был, что вероятность быть здесь задавленным, убитым или залитым водой слишком ничтожна, все же в глубине души, как натянутая струна, независимо от воли, постоянно таилось ощущение какой-то напряженности, которая постоянно заставляла меня смотреть за рабочим. Случись с ним что-нибудь, потухни лампа, уйди он от нас

случайно в какой-нибудь проход,— и отчаяние сразу охватило бы нас.

Но он так же спокойно и быстро пробирался своею огромной тушей между надвинувшихся каменных пластов. Камень уступал дорогу человеку, и я с уверенностью и надеждой гладел на его широкую согнутую спину.

Мой товарищ тоже несколько раз охал, приседал и начинал ругаться; я спрашивал, больно ли он ушибся, и чувствовал некоторое удовлетворение за ноющую тупую боль в голове, и потом, изукрашенные шишками, мы опять шли дальше. Наученный горьким опытом, я пригибался даже больше, чем следовало: колени то и дело стукались о подбородок.

Сколько времени мы шли, я не знаю. Боль в пояснице, напряжение, усталость — достигли того предела, когда становится уже все равно и думаешь: «Ну, еще, еще — ну, пусть так, пусть еще...»

Однако всему бывает конец. Шедший впереди рабочий внезапно исчез во мраке. Я испугался и, напрягая последние силы, торопливо выбрался из прохода.

За поворотом блеснула лампочка рабочего. Он стоял во весь рост и дожидался нас. Я выпрямился и всею грудью вдохнул кислый, пропитанный гарью воздух.

Подошел и товарищ. Мы постояли с минуту. Мрак опять надвинулся со всех сторон, свода не было видно. Под ногами ощущались рельсы. Я стал различать тупые далекие удары, глухо и подавленно доносившиеся откуда-то из глубины этого мрака, и представление чего-то особенного и важного невольно приурочивалось к тому месту, откуда они выходили.

— Посторонитесь, пожалуйста,— проговорил рабочий, поднимая лампу.

Мы прижались к мокрой, скользкой, холодной стене; мимо, на минуту освещенный лампочкой, прокатился вагончик, доверху нагруженный углем. Рабочий, скользя и упираясь ногами и хрипло дыша, с низко опущенной головой катил его, толкая сзади. Это вручную перевозили уголь до того пункта, откуда он уже шел лошадиною тягой.

Мы пошли дальше. Удары во что-то вязкое, странный глухой шорох и смутный шум доносились во мраке все явственнее. Наш провожатый торопился, как будто чувствуя вину за то, что мы так долго и неудобно шли. Мы торопливо спотыкались за ним, лишь стараясь не отстать и испытывая напряженное и несколько даже тревожное ожидание.

Галерея опять дошла до глухой стены, и влево снова открылся узкий и низкий ход. Рабочий, согнувшись и низко опустив лампу, пролез туда. Мы последовали за ним.

V

Сквозь густую мглу впереди в десятке саженей мелькнули красноватые огни ламп. Удары и характерный осыпающийся шорох теперь явственно неслись оттуда.

Свод понижался все больше и больше; рабочий опустился, наконец, на колени и пополз на четвереньках; мы сделали то же и через минуту очутились среди странной, не виданной дотоле обстановки. Узкий проход раздался, уходя в обе стороны в темноту, а сверху на расстоянии всего трех четвертей аршина ровно и гладко тянулась пустая порода. Короткие стойки, плотно упираясь рядами в нижний и верхний пласты, странно белели древесиной среди этой непривычной обстановки, поддерживая огромную давившую их тяжесть в миллионы пудов. Здесь даже согнувшись нельзя было ходить и только можно было передвигаться ползком. Это было место выработки угля. Со всех сторон, дымя среди тяжелой, густой мглы, слабо и с усилием горели лампы, и сквозь дым там и сям смутно виднелись скорчившиеся фигуры молча работавших или пробиравшихся на четвереньках между стойками рабочих. Воздух, пропитанный гарью, дымом и испарениями человеческих тел, был сладковато-приторен и сильно нагрет. Шум врубавшихся топоров, сыпающийся шорох угля, учащенное, прерывистое дыхание работающих людей наполняли это глухое подземелье.

Я прополз дальше между стоящими по пути подпорками. Металлический излом антрацита при слабом, меркнущем пламени ламп бросался в глаза. Мощный пласт его, в полтора аршина толщины, залегал здесь, зажатый сверху и снизу между каменными породами, и его оттуда надо было добывать. И я невольно с каким-то смешанным чувством удивления и почти страха глядел на эту поблескивавшую на лампах мертвую поверхность уплотненной массы, требовавшей от людей таких усилий, напряжения и риска. Ощущение висевшей над головой тяжести давило. Достаточно было малейшего сдвига почвы, сотрясения, просачивания воды или встречи мягкого грунта, чтобы вся эта страшная масса, раздробив в щепы подпорки, опустилась до самого пола.

Вязкий, глухой удар раздался возле меня, и в то же мгновение черная туча осколков угля обдала мне лицо, боль-

но просекая кожу. Я отшатнулся в сторону. Шагах в трех от меня рабочий врубался в каменноугольную массу, отделяя ее от пола. Он лежал на левом боку и частью на спине и, держась обеими руками за длинную рукоять особенно удлиненного топора, с усилием взмахивал им над самым полом, болезненно содрогаясь всем телом от крайне неловкого положения и усилий попадать в одно и то же место; голова тянулась за ударами, и ноги судорожно подергивались, шурша по мокрому полу мелким углем. И каждый раз, как кайло глубоко и с силой врубалось снизу в узкую расщелину, отделяя угольный пласт от каменного пола, брызги осколков с шумом вырывались оттуда, с ног до головы обдавая забойщика. И он в такт каждому взмаху напряженно и торопливо отворачивал голову, крепко зажмуривая глаза.

Я слышал его подавленное дыхание и тоже зажмуривал глаза и прятал лицо за столбик каждый раз, как топор с размаху уходил совсем с рукоятью в расщелину.

А кругом неслись такие же глухие удары кайл, смутно копошились неясные фигуры рабочих, с усилием горели лампы, и, покрывая все это, так же неподвижно-безжизненно стояла сладковатая, густо синевшая мгла. Мне становилось трудно дышать. В висках стучало, перед глазами все слегка шло кругом, а во рту усиливалось приторное, вызывающее тошноту ощущение. Теперь уже хотелось выбраться отсюда поскорее, но ни сопровождавшего рабочего, ни приятеля не было,— они проползли куда-то дальше. Мне не видно было концов этого подземелья,— оно тянулось в обе стороны саженей на тридцать. То место, где я мог пробираться только на четвереньках, когда-то было заполнено углем, рабочие его выбрали и поставили коротенькие столбики, поддерживавшие верхний пласт пустой породы, оставшийся на весу.

Рабочий, врубавшийся возле меня, вывел снизу длинную щель. Он сел, подогнув голову, и отер грязною рукою пот. Я не мог разглядеть выражения его лица, но мне видно было, как облипала его тело насквозь смоченная потом и сочившеюся по полу водой рубаха. Он пододвинул к себе лежавшие возле кучкой коротко нарезанные столбики и, вырубив по углублению в угольном пласте и в полу, стал косо устанавливать подпорки, чтобы подрубленная снизу стенка угольного пласта не вывалилась до времени и не раздавила его. Через минуту он опять уже лежал на боку и, дрыгая ногами и корчась, стал зарубать щель дальше.

На другом конце рабочие на четвереньках таскали что-то

к выходу, но сквозь синевшую мглу я не мог разглядеть как следует, что именно они делали. С места же не хотелось сдвинуться: мгла, сырость, грязь, пробиравшаяся на платье холодная вода и эта густая нагретая атмосфера, от которой стучало в висках и затруднялось дыхание, нагоняли странное оцепенение и апатичное ожидание, когда я, наконец, отсюда выберусь.

— Митька! — послышалось возле меня, и звук человеческого голоса сейчас же глухо замер.— Иди, што ль!

— Сейчас! — донеслось без отклика из густой мглы.

Зарубщик забрал оставшиеся жердочки и кайло, отполз от пласта и сел возле меня, согнувшись всем своим длинным туловищем. Он был худ, с узкою запавшею грудью и испитым лицом. Слой угольной грязи придавал его чертам неподвижность, и только глаза блестели лихорадочно и возбужденно. Мокрая, черная от угля рубаха и порты облипали его, еще более выказывая худобу тела.

— Трудно же у вас тут работать,— проговорил я, желая вызвать его на разговор.

Он ничего не отвечал и сидел, сумрачно глядя перед собой.

— Митька! — позвал он опять, не обращая на меня никакого внимания.— Что ж, не починаешь? — и вдруг прибавил раздраженно и злобно скверное ругательство.

Из мглы, цепляясь спиной за нависший потолок, приполз в такой же черной и мокрой рубахе парень, сел возле, скрючившись, и стал, ухая, вгонять тяжелым молотом железные клинья между нависнувшим сверху потолком и пластом угля, чтоб отделить последний от породы.

— Да так, господин, работа наша...— проговорил вдруг рабочий, обернувшись и глядя на меня с раздражением,— кабы ежели шахтеры не ругались нехорошим словом, так святыми бы все поделались, вот как иные прочие схимники спасаются, молят бога. Вот наша какая работа...

В его словах слышалось раздражение, точно я был в чем-то виноват.

— Да вот поглядите, вот он теперича гонит клинья, вот не рассчитает, рухнет пласт, от него лишь мокро останется, да и нас с вами не помилует.

Забойщик продолжал бить молотом. Глухо, точно предвещая недоброе, отдавались удары, и толстые концы клиньев, уходя вглубь, становились с нашей стороны все короче, образуя сверху все более и более заметную расщелину. Томительное ожидание овладело мной. Я никак не мог осво-

бодиться от гнетущего впечатления, которое производила эта расходившаяся вверху темная щель.

Парень перестал бить, принял одну подпорку, другую... Что-то тяжело рухнуло.

— А что, бывают...

Я не успел договорить: страшный треск и грохот потряс подземелье. Что-то тяжело и неуклюже перевернулось. Все лампы разом дрогнули, на секунду ярко вытянув пламя. Все заколебалось и, казалось, каждое мгновение готово было рухнуть среди мглы. Я судорожно попятился к проходу, поскользнулся и упал. Мимо с шумом пролетели, переворачиваясь в воздухе, две выбитые страшною силой подпорки. Что-то еще раз ухнуло, каменный пол под ногами дрогнул, и все успокоилось. Только на том месте, где перед этим возился рабочий, зияла темная, уходившая вглубь пустота, и перед ней неподвижною грудой лежал вывалившийся пласт угля в несколько сот пудов весу.

Отбойщик, изгибаясь и неловко махая под низким потолком, раскалывал его на меньшие куски.

— Иной раз так-то вываливают пласт,— проговорил, выправляя фитиль в своей лампе, все время спокойно остававшийся на месте зарубщик,— верхний пласт лопнет, осядет, подпорки в щепки, лавку-то всю со всем народом и накроет. А испужались, барин? — добавил он уже добродушно и улыбнулся.

И странно было видеть улыбку на этом суровом и неподвижном от грязи лице.

— Мы народ привычный, а то иной раз жуть берет.

Он забрал подставки, кайло и лампу, прополз дальше, лег на бок и опять, болезненно корчась, стал зарубать щель.

А кругом было все то же: доносившиеся отовсюду глухие удары, смутно копошившиеся фигуры, густая сладковатая атмосфера и синевшая повсюду мгла. Все работали, храня угрюмое молчание,— ни песен, ни говора. Эта мрачная вечная ночь вытравила у людей веселость, оживление, шутку, смех, песни. Каждый, напрягаясь, рубит, раскалывает, загоняет клинья и таскает куски угля, подавляя в себе отвращение к мертвому труду, тоску и удручающую апатию, навеваемую окружающей обстановкой. Одно только постоянное желание, не заглушаемое даже многолетнею привычкой, таится в душе, сжимая сердце вечно сосущей тоской: доделать работу и выбраться наверх. Впрочем, и выбравшись наверх, рабочий не видит дневного света: спускаются в шахту до рассвета, а выходят, когда на земле уже ночь.

VI

К отбойщику подполз, таща за собой салазки, новый рабочий, и они вместе молча стали нагружать огромные куски разбитого пласта.

Тягальщик, надев лямку, поправил ее на груди, потом стал на четвереньки и, подогнув голову, изо всех сил натянул веревку. Но трудно было сдвинуть придавленные тяжелой грудой салазки. Руки и ноги скользили по мокрому полу. Он цеплялся за все неровности, пробуя ногой и ища точки опоры, дергая то в ту, то в другую сторону, как лошадь, которая не может взять сразу нагруженный воз.

Раза два я видел, как разъехались у него ноги в полужидкой грязи, сочившейся на полу, и он ударился грудью о плитняк.

На него тяжело было смотреть,— это была агония труда. Он бился, скользил и падал, как привязанный на цепи, и пядь за пядью брал расстояние, и мертвая груда угля понемногу и незаметно приближалась к выходу, где были проложены рельсы и уголь перегружали в вагончики.

Он добрался до подпорок возле меня и, опрокинувшись на бок, стал в них упираться руками и ногами, точно с отчаянием отбивался от кого-то, и я слышал его порывистое, шумное дыхание и то особенное болезненное кряхтение, похожее на стон, которое вырывают из груди чрезмерные физические усилия. Ременная лямка, прижимая взмокшую рубаху, обозначалась по телу узким и длинным рубцом.

При неверном колеблющемся свете лампы меня поразило выражение или, лучше, отсутствие всякого человеческого выражения на его лице. Что-то звериное, животное сквозило в этих искаженных чертах, по которым ходила судорога нечеловеческого напряжения.

И я не в состоянии был оторваться от него и, стиснув зубы, следил за его движениями.

Он добрался до меня, ослабил лямку и сел, отирая пот, который, смешиваясь с грязью, катился по лицу.

— Самое чижелое до столбов выволочить; главное — взяться не за что, аж ноги посрываешь,— проговорил он, заметив, вероятно, на себе мой пристальный взгляд.— Дозвольте папиросочку.

Я торопливо достал и подал ему. Он взял и, наклонившись к лампе, стал закуривать, причем вспыхнувшая папироса осветила уже обыкновенное человеческое лицо.

— С перепою оно, действительно, трудно, даже вполне довольно утомительно, потому как вчера воскресенье было и праздник.

— Давно вы тут работаете?

— Да вот уж другой год маюсь, жисти своей тут решаюсь. На лето, конечно, уходим.

— И нынешнее лето уйдете?

— А то как же? Да, ведь это, милый человек, как иные прочие господа летом на теплые воды али в заграницу ездят, так наш брат на работы. Как вылезешь это отсюда, о господи! — кругом весна, солнышко-то, матушка, так и греет, так печет, аж глазам больно. Станешь на косовицу али хлеб подойдет, в артели пойдешь косить, работа веселая, взопреешь — речушка али ставок, выкупаешься, тут тебе прохлада, тут тебе благодать, и... и боже мой! ляжешь это на спину,— он немного откинулся спиной на нагруженные углем салазки,— и глядишь в небо, и все глядишь в небо,— и он слегка приподнял голову и поглядел в черный потолок,— аж тебя слезой прошибет, а то иной раз так и заснешь, и тверезый даже, не то чтобы выпимши. Главное — свету божьего не видать тут.

— Зато отсюда заработок домой приносите.

— Нет, барин хороший, никто ничего отсюда никогда не приносит.

— Как же, разве тут плохо платят?

— Нет, даже очень хорошо платят супротив другой работы, особливо когда рабочие уходить станут, только всё тут оставляем, всё до последней нитки: как пришел голый, так и уходишь голый. На заработки-то пойдешь на Кубань али к Кавказу, уж плохой да плохой год, а глядишь, полусотку али всю сотню принесешь домой, а тут, може, и больше заработаешь, а ничего не приносишь, всё тут оставляем. Это, господин хороший, сказка есть. Стоят два столба, и сказано на этих столбах: ежели направо — волк тебя съест, ежели налево — зверь задавит, вот и выбирай, и все одно не минуешь: либо волк съест, либо зверь задавит, так и здесь, как пришел в портках, так и уйдешь в одних портках, как ты тут ни вертись. Уж как раз попался сюда — шабаш, аминь человеку!

— Так зачем же пить?

— Эх, господин хороший, непривычны вы — ну, конечно, вам это в диковинку. Вот вы спрашиваете, зачем пить, а вы спросите, зачем бога-господа забыли, об душе своей не думаем? Вот нас тут в руднике тыщи две работает, спроси-

те, который из нас у обедни был али говел? Церкви божии на што стоят? Кабаки-то мы знаем, на што. Как вылезешь, так прямо, сколько силы в ногах, в кабак, хучь праздник, хучь тебе светло христово воскресенье, харю не омоешь, натрескаешься и в грязь. А почему? Може, и самому зазорно, може, и об душе хочешь вспомнить, в церковь сходил бы, помирать все будем.— Он помолчал и понизил голос: — Только нам, барин, заклятие положено.

— Как заклятие? От кого?

— От бога, известно от кого.

— За что же проклятие?

— Вот вы ученый человек, а спрашиваете.— Он опять помолчал и потом проговорил с расстановкой: — За то, что бога обворовываем.

Я пристально посмотрел ему в лицо.

— Бога обворовываем, говорю. Бог что сказал? Плодитесь и размножайтесь,— вот вам, говорит, всякие злаки и произрастания, а чего не нужно, в землю схоронил, и схоронил не то что на, пришел да взял, а схоронил, почитай, сажен на сто, а мы вот влезли да вытаскиваем. Ну, конечно, господь осерчал,— да это хоть кому доведись,— сделал положение: как спустится человек — шабаш, не уйтить ему, тут и сгинет. Гляди, иной рваться будет, за сколько сот верст на работы уходит, сколько времени пройдет, об нем ни слуху ни духу, смотришь — ан уж он опять тут, и все с себя до нитки пропьет и станет заливать глотку, прямо сказать, душу продает. Мы ведь света божьего не видим: тут темь, вылезешь, напьешься, отуманеешь и уж ничего не видишь и не помнишь, покеда опять не спустишься. Так и проводим свою жизнь. Чисто зверьми поделались. Господь и смерть свою у нас отымает: год, два пройдет, а там, глядишь, либо голову раздробило, либо водой залило, али засыпет, а то и целый выйдет коли, так ноги, руки сведет. Иной и десять и двадцать лет проработает, и кубыть ничего, ан глядишь — в руки, в ноги вступит, его и свернуло, и кормят его из черепушки, сам и ложки держать не может. От божьего гнева не уйтить. Так-то-ся. Я вам, барин, расскажу, случай какой вышел. Надысь как-то трое пошли в галерею, идут, один потушил лампу...

— Ефимка, какого же ты дьявола там разговоры разговариваешь? Дело из-за тебя стоит! — И град самых отборных ругательств посыпался на него.

— Что же я — собака, что ли, что и отдохнуть нельзя? — огрызнулся Ефим.

Он торопливо докурил папиросу, надел лямку, стал на четвереньки и, упираясь руками и ногами, потащил дальше,— и опять с его лица сбежало человеческое выражение, и осталось лицо животного, изуродованное судорогами физических усилий.

VII

Я огляделся кругом: штейгера с товарищем не было видно: они, вероятно, были в дальнем конце забоя. Рабочие, зарубавшие пласт, разбиравшие уголь и вытаскивавшие его к выходу, красные дымные огни ламп среди сизого тумана и эта гладкая, мертвая поверхность над головой — все это приобрело какое-то особенное значение, роковое и неизбежное. Страх смутный и неопределенный и ожидание несчастья совершенно помимо воли охватывали душу. Я полез отыскивать своих. Неодолимое желание выбраться, уйти отсюда неотступно овладело мною.

Сидя на корточках, штейгер объяснял приятелю подробности работ, а тот слушал с растерянным и разочарованным видом: вместо ожидаемого мрачного величия все было просто и ужасно. Я окликнул их, и мы один за другим поползли к выходу.

Рабочие в угрюмом молчании продолжали свое дело, то там, то сям ползком показываясь из синевшей мглы и не обращая на нас никакого внимания — каждому было самому до себя.

Через несколько минут мы снова очутились в пустынной галерее и, согнувшись, пошли пешком. Свеча у меня потухла, и мне не хотелось делать усилие зажигать ее, и я следил за светлым кружком лампы штейгера, скользя и спотыкаясь по мокрому плитняку. Доносившиеся глухие удары и шорох осыпающегося угля давно смолкли позади нас, и мы шли среди могильной тишины, унося в сознании впечатление оставленных позади людей, угрюмое молчание и выражение тоски и напряжения на лицах.

Мы следовали за штейгером из одной галереи в другую и, вероятно, прошли около версты.

При дрогнувшем свете лампы впереди смутно обрисовалось во мраке что-то странное и неопределенное, оставшееся без движения. Был ли это выступ пласта или человек — нельзя было разглядеть.

По мере того как светлый кружок лампы штейгера под-

вигался вперед, в темноте выделялись сколоченные перекладинами полусгнившие доски, загораживая проход. Что-то живое и миниатюрное зашевелилось там. Это оказался мальчик лет десяти. Он побежал к загораживавшим проход воротам и торопливо отворил их. Ветер, со свистом и колебля пламя, вырвался с той стороны, охватил нас холодом и сыростью и понесся по галерее.

— Иваська, это ты?

Мы остановились. Он стоял перед нами, глядя на нас своими наивными детскими глазками. По этому проходу редко гоняли вагоны, и наше появление было для него целым событием. Он был приставлен отворять и затворять ворота, регулировавшие ток воздуха. Ему не давали ламп, чтобы не тратить даром керосина, и он по целым часам сидел возле ворот среди молчания и мрака и прислушивался к шороху и падению капель, невидимо пробиравшихся в темноте по стенам и монотонно и однообразно падавших со свода, наводя уныние и тоску. Детская голова, руки и ноги просили работы, движения, и он мял крошки угля и отковыривал кусочки отгнившей доски.

— Скучно тебе одному?

— Нет, оно не скучно, а только чижало на сердце.

Он перевел на нас свои детские глаза и тоскливо улыбнулся.

Мы постояли с минуту, как будто нам еще нужно было сказать что-то и не находили что, а потом пошли дальше. Слышно было, как затворялись сзади ворота, и вокруг снова водворилась мертвая тишина, и непроницаемый мрак неотступно следовал сзади, с боков, спереди. Мы шли теперь к выходу, и мне хотелось скорее воротиться туда, наверх, к себе, к своим занятиям, своей обстановке, к своим близким.

Мне странно было, что я выберусь, наконец, из этого мрака, из этой обстановки, как будто я несколько дней ехал на перекладных среди грязи, слякоти, непогоды, не отдыхая, не раздеваясь, и свыкся со всеми неудобствами дороги.

Мы сворачивали куда-то вправо, потом влево, потом вышли в какой-то широкий проход, где рельсы были проложены в два пути, по диагональному ходу, тесному и низкому, стукаясь головами, спотыкаясь, и болтались в воде, и я не знал, откуда и куда мы идем и в какой стороне оставленные нами работы, и машинально тащился за согнутою широкой фигурой молча пробиравшегося впереди штейгера.

Мы не попали на поезд, и нам теперь все время нужно было идти пешком.

«Нет, не скучно, а только чижало на сердце»,— все звучало среди темноты, и я старался не думать об этом и отогнать выражение тоски и печали детских глаз и представлял себе, как я заберусь в клетку и она быстро пойдет мимо влажных стенок сруба.

Долго, очень долго мы шли таким образом; вероятно, сделали несколько верст. Я не знал, возвращались ли мы прежнею дорогой или штейгер вел теперь нас иными галереями.

— А не желаете ли вы взглянуть на помещение для рабочих лошадей рудника? — проговорил он, приостанавливаясь и посвечивая перед собой лампой.

Первое, что я почувствовал, это — радостное облегчение, так как знал, что конюшни были недалеко от выхода. Мы остановились. Единственное наше желание было — возможно скорее выбраться отсюда, но мы почему-то проговорили:

— Ну что ж, пойдемте.

Штейгер подошел и отворил в стене небольшую дверь. Горячая атмосфера распаренного навоза и многих десятков лошадиных тел пахнула в лицо. Мы вошли.

Около семидесяти лошадей стояло по станкам, слабо выделяясь крупами в полутьме. Они были сыты, с лоснящеюся шерстью. Их здесь отлично кормят и не переутомляют работой, но многие слепы. Лошади очень быстро теряют зрение в темноте. Я прислушался: они мерно и звучно жевали сено, и мне припомнилось поле, потухающая заря, распряженный воз при дороге и этот спокойный и мерный звук пережевывания, который всегда вызывает особенное состояние спокойствия и отдыха. Бедные животные. Они уже никогда не увидят солнца, зелени, степного приволья и сложат свои кости в этих мрачных галереях... Мы вышли и прошли на площадку к подъему. Подошла клетка. Все уселись. Откинулась железная скоба, и дно шахты с людьми и со всем, что там было, мгновенно пропало внизу, а мы минуты две неслись среди мрака наверх. С гулом и железным грохотом клетка ударилась о перекладины, и я выпрыгнул на пол.

В окнах виднелся слабый свет угасающего дня, а вместе с ним надежда и призрак возможного где-то счастья и радости проникли в душу. Никогда дневной свет не производил такого радостного впечатления, как теперь.

Мы вышли. В воздухе стояла вечерняя тишина. Слабая полоса зари догорала на далеких небесах. Замерли звезды. Этот тихий вечер, деревья, заборы, плетни, окна, вечерняя даль, затянутая легкою дымкой,— все это поразило меня особенною новизной, чем-то таким, чего я до сегодняшнего дня как будто не замечал.

Мрачное, угрюмое здание осталось позади, и почерневшая дымовая труба сумрачно высилась над ним, одиноко выделяясь на вечернем небе.

НИКИТА

I

К концу зимы в избе у Никиты оставались одни только ребятишки,— ни платья, ни хлеба, ни соломы, ни хозяйственных орудий, ни скотины,— все было продано и проедено. Заработать негде,— кругом такие же голодные, измученные люди. Голодная смерть глядела в изнуренные лица семьи.

— Надо идти на заработки,— говорил Никита, сутулый и осунувшийся, глядя в окно на потухающую далекую зарю.

— Куда пойдешь?.. Куда пойдешь?.. Некуда идти,— безнадежно проговорила хозяйка, суя ребенку соску, в которой была одна вода.

Ребенок уже не мог громко плакать и тихо, жалобно стонал. Ребятишки постарше лежали на лавке под кучей тряпья.

— Пойду... пойду на Кавказ, али на завод поступлю. А то, сказывают, под землей уголь ломают, тоже заработать можно.

Помолчали. Заря почти потухла, только на краю кроваво тлела узенькая полоска. В избе неподвижно стояли тени, черные и мрачные.

— Страшно... страшно оставаться... помрем мы тут без тебя,— заплакала хозяйка.

II

Второй день идет Никита.

Днем сильно тает, бегут, играя на солнце, шумные ручьи, дороги почернели, и нога глубоко уходит в талый снег. К вечеру подмораживает, смолкает журчание затянутой тонким ледком воды, и на небе высыпают веселые звезды. Попрыгивает Никита, похлопывает накрест руками,— в худой зипунишко пробирается и покусывает мороз.

«Помрем мы тут без тебя...» — колом стоит в голове, и он морщит лоб и туже подтягивает кушаком пустое, голодное брюхо.

«Заработаю — пришлю»,— думает он и поторапливается скорей добраться до ночлега, обсушиться, обогреться, переобуть лапти и выпросить христа-ради хотя черствую корку хлеба.

На третий день Никита добрался до железной дороги.

Тут было много рабочего люда из голодающих губерний; они тоже тянулись на юг в надежде заработать и прислать семьям. Оборванные, исхудалые, расположились они возле станции целым табором, ожидая отправки. Ими нибивали целые поезда и в товарных вагонах увозили на юг.

Чтобы скоротать время, Никита пошел потолкаться в народе.

Торговки раскинули лотки и разложили печеный хлеб, «гусак» и всякую снедь. Покупателей мало, но народ толпится. По целым часам стояли и смотрели на хлеб. Никита тоже подошел и остановился. Вид настоящего печеного хлеба приковывал его. Возле приходили, уходили, а он все стоял и блестящими глазами следил, как торговка брала просто и даже небрежно хлеб, как будто самую обыкновенную вещь, перекладывала с одного места на другое, отрезывала куски, накрывала грязной дерюгой.

Уже высоко поднялось солнце... От долгого стояния заболели ноги. Подошел Никита к лотку вплоть, взял длинный черный и тяжелый кусок, попробовал на руке и потянул в себя носом «хлебный дух».

— Почем за фунт, тетка?

— Четыре копейки.

Никита еще повертел хлеб в руках, потом положил назад и отошел. У него было только десять копеек на всю дорогу.

Он пошел было в третий класс, да вспомнил, что и там

буфет и на стойках лежит хлеб, колбаса, и пошел по полотну.

Тут маневрировали паровозы; подавали вагоны, сцепщики составляли поезда. Рельсы, разбегавшиеся у платформы на много путей, за станцией сходились в одну пару и уходили, блистая на солнце, до самого горизонта без изгиба, как по нитке.

Никита смотрел на пути, на шпалы, на балласт, на суетливо возившихся, работавших сцепщиков, смазчиков, путевых сторожей, машинистов, и ему странно было, что им никакого дела нет до того, что там у бабы на лотке лежит настоящий ржаной хлеб. Поднес руки к носу: они все еще пахли хлебом. Он пошел опять бродить между народом и снова незаметно для себя очутился возле лотка. Тут попрежнему стояла толпа, глазевшая на хлеб. Торговка, не обращая ни на кого внимания, равнодушно сидела на табурете.

Никита подошел к лотку и опять подержал хлеб в руке.

— Почем, говоришь, фунт-то?

— Четыре копейки,— не обращая на него внимания и глядя в сторону, проговорила торговка.

— А две нельзя?

Торговка молчала:

— Слышь, три копейки?

Торговка молча взяла у него хлеб, положила на лоток и отвернулась. Никита, заискивающе глядя на стоящих возле него, засмеялся:

— Ишь, не хочет.

Потом вдруг решительно завернул полу:

— Ну, давай, что ли.

Торговка невозмутимо оставалась все в той же позе.

— Деньги сначала давай.

— А то не дам, что ли? Не без денег берем-от. На вот, давай сдачи,— и кинул на лоток пятак.

Торговка, не спеша, лениво отрезала хлеб, свесила, порылась в кармане и отдала копейку. У Никиты слегка дрожали руки. Взял хлеб и тут же стал есть. Тогда внимательные глаза всех стоявших обратились на него и так же пристально, не отрываясь, стали глядеть, как он жевал.

Никита почувствовал неловкость, торопливо вышел из толпы, выбрал укромное местечко, поминутно посматривая на кусок, в котором оставались следы от зубов, съел, тщательно подбирая крохи.

Скучно тянулась остальная часть дня. Свистки паровозов,

унылые звуки рожков на стрелках, лязг буферов, вагоны, насыпь, рельсы, столбы и толпы крестьян, голодных, оборванных, лежавших, ходивших, стоявших вокруг станции.

Никита стал скучать по дому, по своей деревне, по ребятишкам, по всему укладу прежней своей жизни.

«Куда он идет? зачем? где это те места, где есть работа, где платят хорошо? заработает ли он что-нибудь? а если до этого времени дома у него перемрут все с голоду?» И от этих мыслей еще скучнее стало Никите. Подсел было Никита к кучке мужиков, тихо о чем-то говоривших, прислушался, но и тут каждый рассказывал про свое горе, нужду, голод.

Пришла ночь. Спустился туман. Стало сыро и холодно.

Никита улегся с такими же, как он, на сырой земле, под дощатым навесом, отведенным для рабочих. Прижались друг к другу и покрылись рваными зипунами. Ночь тянулась нескончаемо долго.

И не может Никита никак заснуть: холодно и на сердце тоска. Станет забываться, и представляется ему, будто лето и жара, а он будто в колодец попал, по самые плечи сидит в холодной ключевой воде, зуб на зуб не попадает. А там наверху жарко, солнышко, и торговка с хлебом сидит. И будто он никак не вылезет, отощал, и стенки у колодца — холодные и скользкие. Начинает карабкаться и вот уже совсем вылезает, да вдруг свистнет паровоз, очнется Никита, оглянется,— кругом все то же: станционные здания, смутно в сумраке проступают красные фонари на стрелках, а вокруг на голой, сырой земле вповалку лежат неподвижные фигуры — много их... и опять забывается, и опять лезет иэ холодного колодца.

Туман подобрался, вызвездило. И опять думает Никита о доме, о семье, о том, зачем он пошел и что из этого выйдет. Измаялся.

Под утро, когда побледнели звезды и Медведица совсем опустила книзу хвост, заснул. И так крепко заснул, что утром стали будить товарищи, насилу добудились.

— Вставай, сказывают, нам поезд готовят.

III

Поезд стоял огромный. Все суетились, бегали, спешили забраться в вагоны. Никита тоже было полез.

— А билет есть? — строго спросил кондуктор.

— Билет?... Нетути. Я из голодающей губернии.

— Так что же что из голодающей. Голодающим только скидка делается па билете, а даром не возят. Поди возьми билет.

— Да у меня всего только пятак меди и есть.

— Ну, я чем же виноват? — и отвернулся.

Поезд ушел. На платформе осталась толпа таких же несчастливцев, как и Никита. Понемногу все разбрелись, кто пошел назад в деревню, кто в город искать работы, на которую не было надежды, и просить милостыню.

Никита стоял в великом затруднении. Ворочаться назад — значит, идти на голодную смерть. Идти в город — значит, за нищенство попасть в тюрьму. Постоял Никита, постоял, потом решился, подтянул кушак и пошел по полотну на юг.

Сверкал веселый солнечный день. Полотно, очищенное от снега, желтея песком, прямое, как стрела, убегало, пропадая на краю тонкой чертой. По сторонам ослепительно сверкал рыхлый осевший снег. Глубоко сквозили перелески, и по голым деревьям прыгали галки и шныряли, без умолку щебеча, пичуги. Почки надулись. Кое-где чернели обнажившиеся поля. Земля дымилась. Высоко тянули с юга журавли, дикие гуси.

Никита неустанно шагал, нагнув голову и глядя, как пядь за пядью уходит назад полотно. А впереди еще тысячи верст.

И опять Никита не может оторваться от деревни, от семьи, от хозяйства,— все стоит перед глазами. Вот и соху надо бы налаживать, скоро под яровое пахать. И Никита вздыхает и, глядя под ноги, все идет, идет, идет.

Его обгоняли и катились навстречу поезда. Тогда он останавливался и глядел, как, сердито работая поршнями, с грохотом, от которого дрожала земля, пробегал локомотив, а за ним мелькали вагоны, и в вагонах окна, и в окнах лица людей. Потом последний вагон, краснея флагом, быстро уменьшался, рельсы переставали вздрагивать, шум замирал, таял дым, и опять тишина, опять сквозят перелески, и земля дымится весенним паром.

По пути Никита заходил в деревни, останавливался у окна первой избы, снимал шапку, кланялся и долго стоял. Иногда ему подавали кусок хлеба, а чаще махали рукой и приговаривали: «Не прогневайся». Тогда он шел к другому окну, и так через всю деревню.

IV

Две недели шел Никита. Лапти изорвались, ноги опухли, и он их обертывал и подвязывал тряпками. Всего разломило, и в голове стоял звон, и он еле тащил ноги.

«Эх, не дойду... помру под откосом, как пес»,— с отчаянием думал он и шел, шел, шел.

По мере того как он подвигался на юг, весна все больше вступала в свои права. Снег пропал, напоенная влагой земля черпела, на полях бархатно зеленели озимые.

Как-то под вечер в изнеможении опустился Никита на землю и прислонился к телеграфному столбу. Столб гудел заунывно и жалобно. На проволоке, чернея, сидели рядком ласточки. Показался поезд. Никита закрыл глаза. От усталости и голода ни о чем не хотелось думать. Шум поезда приближался и вдруг покрылся страшным грохотом и треском.

Никита вскочил. Там, где был поезд, высилась огромная гора вагонов. Груженный хлебом товарный поезд разбился. Никита бросился бежать туда. Возле суетились успевшие соскочить кондуктора и машинист.

Дали знать на станцию. Приехало железнодорожное начальство, рабочие стали разбирать обломки, ссыпать хлеб. Наняли и Никиту, страшно ослабевший от истощения, рвался из последних сил, охваченный надеждой заработать на дорогу.

Через три дня его довезли до ближайшей станции: он получил за работу деньги.

Это была большая узловая станция, и на ней толкалось много рабочего люда, ехавшего на заработки. Никита пошел брать билет. Оказалось, денег у него все-таки не хватило до места назначения.

«Ну, ничего,— думал Никита,— там уже недалеко, доберусь как-нибудь».

V

Подали поезд. Вагоны товарные, только скамейки были поставлены внутри, чтоб посидеть.

Полез народ в вагоны, и столько набилось, что и повернуться нельзя, один на одном сидят. Никиту прижали к скамейке, сидят у него и на коленях, навалились на плечи, и дышать трудно стало. Не вытерпел Никита, стал выдираться:

— Что же это, братцы, нас сюда пихают силком... ведь друг на дружке сидим, дух-то чижолый стал, не продыхнешь... не пропадать же нам.

Услыхали другие, все разом загалдели:

— Вестимо, пропадать тут. Вылезай, братцы, пусть еще вагонов цепляют.

И полезли из вагонов.

Прибежали кондуктора, кричат, ругаются.

— Да вы, сиволапые идолы, куда претесь? Лезь назад.

— Куда же назад, некуда нам, один на одном сидим.

— Да вам чего надо, в первый класс, что ли, захотели?

— В первый не в первый, а только тоже ведь люди мы. Не даром везете, денежки тоже берете чистоганом.

— Тоже и деньги. Какие деньги, такое и помещение дают. Лезьте, говорят вам, назад.

Но народ разошелся, стали шуметь, высыпали все на платформу, стали наступать на кондукторов. Кондуктора струсили, отошли к сторонке, стали о чем-то советоваться. Потом выходит обер-кондуктор и говорит:

— Да вы чего расшумелись? Есть среди вас грамотные?

Все попримолкли, стали оглядываться — все были неграмотные.

— Выходи, которые грамотные.

— В нашей деревне и за деньги грамотного не найдешь.

— Да зачем те грамотеи?

— А уж тут тогда увидишь, зачем. Выходи, грамотные.

Из толпы протолкался молодой парень.

— Грамотный?

— Грамотный.

— Ну, иди сюда.

Подошел обер-кондуктор к ближайшему вагону, подошел парень. Народ кругом надвинулся, стеснился, друг на друга нажимают, ждут, что-то будет.

Показал обер на стенку вагона и говорит:

— Ну, читай.

Стал читать:

— Сорок человек. Восемь лошадей.

— Ну, то-то и есть. Видите теперь сами, что в каждый вагон полагается сорок человек посадить да восемь лошадей поставить. А мы вам еще снисхождение сделали: лошадей не ставили, оставили для другого поезда. А ежели вы бунтуете, так сейчас отсчитаем на вагон по сорок человек да по восемь лошадей поставим.

— Да это что же такое?.. Как же это возможно?.. Один на одном сидим да еще лошадей нам поставят.

— Да ведь вы слышали, что ваш же парень читал... Не я же это придумал. Ежели так написано, так тут ничего не поделаешь. Написано пером, не вырубишь и топором.

— Что же, ребята, уж лучше потеснимся, чем как ежели нам коней поставят. Тесно, до смерти убить могут,— говорил струсивший Никита.

— Да пакостить начнут.

— Знамо, лучше потеснимся, ежели как написано, гляди, на кажном вагоне... Никуда не денешься...

И мужички полезли назад в вагоны и набились, как сельди в бочке.

Кондуктора забрались к себе в отделение, ухватились за животы и катались, как сумасшедшие. Когда все втиснулись в вагоны, двери задвинули, в вагонах наступила кромешная темнота, и воздух сделался таким спертым, что люди начали задыхаться. Стали бить в двери и стенки вагонов. Кондуктора принуждены были снова отодвинуть двери и положить лишь поперек дверей перекладины, чтобы люди не вываливались во время хода.

Наконец тронулись, под вагонами побежала насыпь, и стали мелькать мимо телеграфные столбы, деревья, пашни, колокольни дальних церквей. Никита с облегчением вздохнул.

В вагоне было душно и жарко. Все, кто мог, сели в дверях на пол и спустили ноги наружу. Крестьяне, работавшие в поле, с удивлением глядели, как по рельсам катился тяжелый поезд, как товаром, нагруженный людьми.

Скучно было сидеть в душном, грязном вагоне. Нельзя прилечь, повернуться. Вагоны трясло, и несся такой грохот, что нужно было кричать, чтобы слышать друг друга.

На станциях стояли необыкновенно долго. Проходит час, два, три, а поезд все стоит. Поставят его где-нибудь на запасном пути далеко от станции и ждут неведомо чего. Приходят и уходят пассажирские поезда, а они все стоят. Наконец серые пассажиры начинают выходить из терпения.

— Что же это! Докудова же мы стоять тут будем?

Кондуктора огрызаются:

— Как платите, так и везут. Благодарите, что четвертый класс завели, а то бы путешествовали по полотну.

В пути развлекались, как умели. Появились замусоленные карты: играли на коленях друг у друга. Кое у кого из молодежи оказались гармоники. Иной раз запевали песни.

Никита не принимал участия. Он угрюмо сидел в дверях вагона, спустив наружу ноги, и глядел, как под ними мелькал щебень балласта, которым усыпано полотно. Уложенные по краям камешки нескончаемо бежали назад полоской.

Никиту сосала тоска и томил голод. Особенно скверно было ночью. От духоты, грохота, тряски, тесноты и безделья охватывало неодолимое желание спать, а лечь не было никакой возможности. Наваливались друг на друга и на минуту забывались тяжелой дремотой.

Никита тоже дремал. Из вагона несло духотой и теплом, а висевшие снаружи в рваных пестрядинных портках ноги зябли от ночной сырости и холода. Ночь стояла темная. Не было видно ни полотна, ни телеграфных столбов. Ничто не мелькало. Казалось, вагон недвижно грохотал в подземелье, темном и сыром.

Этот грохот обессиливал Никиту. Веки смежались. И тогда его мысли и представления действительности начинали бороться с сновидениями. Знает он, что сидит на краю вагона, спустив ноги, и что можно тут свалиться, надо проснуться и не спать, и начинает ему казаться, что едет он на телеге, мешки везет на мельницу, дорога скверная, трясет.

Вдруг кто-то крикнул и толкнул его: «Эй, куль упал, упал...» Шатнулся Никита, чуть не свалился. Забилось сердце. Сам не знает, чего так испугался. Чует — с правой стороны свободно стало, как будто никого нет, а то все парень наваливался на него. Никита торопливо пошарил и холодный пот выступил: возле было пусто.

— Стой!.. стой!!. человека нету!.. стой! Ребята, кричи, чтоб стали — должно, свалился...

Никита кричал во весь голос, но грохот поезда сурово покрывал его. Огарок свечи потух, в вагоне стояла кромешная тьма.

— Кондуктор!.. Эй!.. Что же это такое?! Человек сейчас упал...

Около Никиты зашевелились. Послышались кричавшие голоса.

— Что такое?

— Сказывают, в поезде неладно.

— Кто говорит?

— Бытто труба самая главная в машине лопнула.

— Колесо из-под вагона вырвало, сам сейчас видал.

— То-то он и трясет, аж душу вышибает.

Насилу Никита растолковал, в чем дело. Все всполошились.

— Беспременно надо остановить поезд. Шуми, ребята!

Стали кричать и взывать к кондукторам, машинисту,— все напрасно. По-прежнему в ночной мгле стоял железный грохот, на стыках стучали колеса, и вагоны тряслись всем корпусом, точно ехали по мостовой. Делать нечего, пришлось дожидаться станции.

На станции была получена депеша, что на пятьсот девяносто четвертой версте найдено изуродованное колесами тело. Тогда прицепили лишний вагон, и стало просторнее.

На третий день Никиту высадили,— билет был только до этой станции. Никита тоскливо слонялся по станции в ожидании случайного заработка, который дал бы возможность доехать.

— Ты чего, земляк?

Оборванный субъект с обрюзглой от водки физиономией стоял перед Никитой.

— Да вот на завод еду... денег не хватает...

— А много у тебя?

— Семьдесят пять копеек.

— Стой, у меня тоже...

Он достал горсть медяков и подсчитал.

— Девяносто копеек. Вот чего, дядя: купим один билет и поедем двое.

— Как так?

— А так: один на крыше, а другой в вагоне. Как три станции проедем, так и сменяться будем. Доедем, разлюли малина. Давай деньги.

— Не дам.

— Чудак. Не веришь, что ль? На мои. Ступай, купи билет.

Никита пошел и купил билет.

— Ну, давай. Сначала ты полезай на крышу. Три станции проедем, я тебя сменю, а потом через три ты опять приходи.

И он посадил обрадованного Никиту на крышу вагона.

Ночь. Накрапывал дождик. Сквозь сырую мглу тускло светили огни. Мокрая платформа блестела под фонарями проходивших кондукторов. Никита лежал на крыше вагона, не шевелясь.

Поезд тронулся. Ушла назад станция с огнями. Пропали позади и разбросанные огни стрелок. Поезд прибавлял ходу. Густой мрак, сырой и холодный, бежал рядом, окутывая со всех сторон. Чаще и чаще постукивало на стыках. Стало качать вагон, и Никита с ужасом почувствовал, что понемно-

гу съезжает на край по выпуклой скользкой от дождя крыше. Тогда он лег животом книзу, растопырил руки и ноги, делая усилия, чтобы удержаться посредине. Стал дрожать от холода.

«Кабы теперича полушубок»,— думал Никита, лежа на животе и поминутно касаясь от тряски лицом мокрой холодной крыши.

«Чудно! домашность, ребятенки, хозяйка, а я на пузе лежу и не знаю: той ли доеду, той ли нет».

И все в той же позе, все так же чувствуя у своего лица холодную мокрую крышу, продолжал думать о доме, хозяйстве, семье. И опять чем-то странным, необъяснимым, какой-то роковой ошибкой казалось его путешествие. Чем это кончится, когда и где?

А поезд все так же мчался среди ночи, так же качало вагоны. Через долгие промежутки во мгле показывались огни станций. Поезд замедлял ход; слышались звонки; некоторое время стояли, потом опять отправлялись дальше.

Никита дрожал; клонило ко сну. Спутник его не появлялся, а сам он боялся спуститься на ходу.

Стало светать. Дождь перестал. Сырой туман подбирался с земли. Теперь отчетливо было видно полотно, рельсы, мокрые телеграфные столбы. Когда подошли к станции, совсем рассвело, Никиту увидели и стащили с крыши вагона. Разыскал своего спутника, но тот заявил, что видит его в первый раз.

Никита был в отчаянии, ходил за кондукторами, за начальниками, кланялся и со слезами просил разрешить доехать, оставалось всего две станции. Над ним сжалились и посадили.

Часа через два задымились громадные трубы завода, а справа открылся водный простор.

Все глядели в окна.

— Братцы, гляди, никак это вода!

— Больше нашего озера.

— Как ножичком по краям обрезано.

— Гляди, ребята, лодка загорелась... Дым-то, дым-то черный повалил... страсти господни!..

— Дурак! «Лодка»... Па-ро-ход это, паром ход дает, стало быть! Загорелось: эх, неотесанность!.. Дым это из котла в трубу, потому там уголь жгут.

— Диковинное дело: сколько дыму, а ничего себе — плывет, да и все.

Подошли к станции. Все высыпали из вагонов. Волны

глухо и тяжко вкатывались, шипя, на песчаный берег. Вдали лесом мачт виднелся порт, в синеве белели косым парусом рыбацкие лодки, а у горизонта чуть приметно дымил уходивший пароход.

VI

Громадные заводские ворота были заперты. Возле стоял сторож, равнодушно оглядывая огромную толпу исхудалых, с измученными лицами, оборванных людей. Ходили, сидели, лежали на земле. Солнце подымалось и начинало припекать.

Никита с пяти часов был тут и, сидя в тени забора, терпеливо ковырял землю. Спокойное, тихое ожидание овладело им. Добрался до места, сегодня наймется, через неделю пошлет домой денег. Представление радости на лицах семьи, когда получат, наполняло его таким блаженством, что он забыл все испытания.

Время шло. Несколько человек ходило в контору. Там велели ждать, скоро приедет директор.

— Ну, что же, подождем,— говорил Никита, ковыряя землю.

Тени становились короче, и из-за забора уже горячо доставало его солнце.

Наконец беззвучно на резинах подкатила карета. Минут через десять из конторы вышел маленький человечек в очках и тоненьким голоском прокричал:

— Можете идти, ребята, по домам. Директор велел сказать, на заводе — полный комплект, и рабочих пока не нужно. Можете расходиться.

Все поплыло перед глазами Никиты: стены, дома, улицы, тротуары, прохожие. Он не верил себе, не верил своим ушам, и с усилием, качаясь па ослабевших ногах, протеснился через толпу к маленькому человечку и с перекошенным лицом, заикаясь, пробормотал:

— Господин, дозвольте... оно, конешно, касаемо... ну только ребятишки... хоша бы какой работишки, касаемо... потому, сами знаете, ребятенки-то, ребятенки, стало, теперь перемрут...

Тот мельком вскинул очками и сделал неопределенный жест:

— Идите, идите себе домой. Вот нужны будут рабочие, тогда приходите... Расходитесь, а то все равно полиция придет,— и он повернулся и ушел в контору.

Явилась полиция и велела всем расходиться.

— Ребятенки, ребятенки-то, выходит... теперя перемрут, стало...

Кто-то взял его за плечо:

— Что стал? Ступай в свое место... В холодную захотел?

Никита пошел вниз, туда, где за городом шумело море, а в море вливалась мутная река. На сыром болотистом берегу целым табором расположились переселенцы и всякий голодный, неприкрытый люд, бившийся тут в поисках работы.

Везде валялись тряпки, объедки, кости. Женщины кормили грудных детей, кое-кто из мужчин, сидя на корточках, в чем мать родила, и взмахивая иглой, сосредоточенно чинили принадлежности костюма. Иные неподвижно лежали на спине, глядя в высокое синее небо.

Пришла ночь. Красновато колеблясь, дымились костры из щепок, тряпок и сухой травы. Люди жались к ним, странно, фантастически выступая красными лицами и в красном тряпье... и тени шевелились и трепетали по земле.

С реки, с соседних болот, зловеще белея среди ночи, подымался туман и полз, и стлался низом, предательски заволакивая молочной пеленой. Не стало видно людей, костров, лишь слабо мерцали сквозь мглу звезды. Воцарилось мертвое безмолвие, нарушаемое доносившимися с железной дороги свистками паровозов, да с моря отзывались грубые голоса пароходных гудков.

VII

Полтора месяца слонялся Никита в поисках работы. Постоянная борьба с голодом и привязавшейся лихорадкой не давала думать ни о чем, кроме завтрашнего дня. Он забыл деревню, хозяйство, семью. Наконец желанные двери растворились, и Никита вошел в святилище завода.

Лязг, грохот, гул и звон, железный скрежет, свистки всюду бегавших маленьких локомотивов охватили его. Тонкая, едкая пыль садится на стены, землю, крыши, на платье и лица, носится в воздухе, давая небу коричневый оттенок, отравляет и жжет легкие. Все черно, грязно, задымлено.

Никиту поставили сгребать какую-то сероватую землю, вроде глины, сыпавшуюся из вагонов, которые то и дело подходили по полотну.

Гигантские домны подымались к самому небу, верхушки их курились, как жерла вулканов, а от боков струился

раскаленный воздух. Люди, лошади, вагоны, насыпь — все было ничтожно и крошечно у подножия этих великанов, день и ночь плавивших в раскаленной утробе своей руду, и огненными струями вытекал, светясь, чугун.

Вокруг кипела непрерывная, неустанная работа. Мужики, нещадно дергая заморенных лошадей, торопливо возили руду, кокс, плавень, вывозили землю, подвозили кирпич. Визжали резавшие железо пилы, оглушительно били молоты, а на верхушках домен среди пылающего жара обугленные, почернелые рабочие день и ночь сыпали в ненасытную пасть кокс, плавень, руду.

Никиту захватило, как зубьями огромного мелькающего маховика. Изнемогая, задыхаясь, в жару, в угаре, в угольной пыли, он все кидал и кидал лопатой руду в подъемную машину, и пот, стекая, разрисовывал по его лицу причудливые узоры. Вечером, усталый, разбитый, с головокружением от постоянного дыма, едва похлебав каши, валился на солому и засыпал тяжелым, мутным сном, а на следующий день подымался, и опять начиналось то же.

Так потянулась эта лихорадочная жизнь в кипучей работе, без перерыва, без отдыха, без праздников, которая вытравляла мысли, воспоминания, заботу о семье. Завод шел день и ночь и не позволял ни на минуту приостановиться, отстать, оглянуться.

Только месяца через четыре, когда солнце не так стало жечь, когда степь, бурая, давно сожженная, пустынно тянулась от моря, он собрался послать в деревню несколько рублей.

В трактире ему писали бесчисленные поклоны, а он, размякший от водки, крутил растрепанной головой и ронял пьяные слезы:

— Миллаи ммои, ллупоглазенькие... и-и кабы теперича да около скотинки ходил бы, соху-матушку выправил бы, да цепом погулял бы по хлебушку... головушка ты моя бедная, незадачливая!..

Картины далекой родной жизни вспыхнули в отуманенной голове. Овин, поле, березняк, лес, синевший на горизонте, тихая деревенская улица, куры, свиньи и гуси. И, положив голову на стол, он безутешно причитал бабьим голоском, как по покойнику, пока его не вытолкали.

Но заводская жизнь не давала размякнуть, не давала жить прошлым, далеким. Сложная, бешено крутящаяся и страшная своей беспощадной неумолимостью, она гнала его день и ночь, как впряженную лошадь, не давая ни отды-

ха, ни срока. Он не смел приостановиться, задуматься, взвесить и оценить положение.

На его глазах пополам пережгло рабочего сорвавшимся с цепи раскаленным куском стали. На его глазах гнали с завода целыми толпами и штрафовали за малейшую ошибку, за малейшую провинность, а за воротами другие толпы день и ночь стояли в ожидании опроставшегося места. И под этой постоянной, ни на минуту не ослабляющейся угрозой неповоротливый, неуклюжий Никита становился проворнее, ловчее, торопливее.

С ввалившейся грудью, испитым черным лицом и лихорадочно и возбужденно блестевшими из-под сумрачных бровей глазами он был неузнаваем.

VIII

Месяцы летели за месяцами. Как-то ему подали повестку на денежный пакет. Он отправился на почту и с изумлением получил посланные им в деревню деньги с отметкой: «посылается обратно за неотысканием адресата».

Никита ясно не понимал, что, собственно, это значит, и все собирался опять послать.

Скоро дело разъяснилось. На завод попал односельчанин Никиты. Он рассказал, что в деревне с голоду ходила какая-то болезнь, от которой мерли и дети и взрослые. Жена Никиты умерла. Умерло двое детей, остальные разбрелись неизвестно куда.

Дни и ночи Никита ходил, работал, как ошалелый. Мучительно захотелось все это бросить и бежать туда, в родную деревню, к родным полям, родным могилам. Но гудок властно подымал его каждое утро, раскаленные домны пожирали, сколько бы ни кидал он руды, и за воротами стояла толпа голодных, холодных, оборванных, жадно дожидаясь опроставшегося места.

А звук пил, звон и гул молотов, нестерпимое шипение, лязг стальных листов и скрежет железа о железо, среди дыма, пламени, среди снующих паровозов и черных, лихорадочно работающих людей, неустанно и торопливо повторял ему: «Ты-наш... ты-наш... ты-наш...»

Каждый день тянулся мучительно медленно и долго, но, когда оглядывался, позади лежали уже годы. Деревня где-то далеко потонула, изредка тревожа больным воспоминанием и смутной надеждой, что он вернется.

И надежда эта сбылась на восьмом году.

Он сидел в вагоне, покачиваясь и задремывая. Степь убегала назад, и уже стали попадаться рощицы и перелески средней полосы. В голове у него стоял звон и гул заводской, а когда останавливался поезд, его поражало тихое безмолвие полей.

Неделю тому назад Никиту позвали в контору. Он стоял у дверей и мял шапку.

— Никита Тригулев?

— Так точно...

— Ну, вот что...— конторщик запнулся на минуту,— получай-ка расчет.

Никита стоял, как остолбенелый.

— За что? — спросил он упавшим голосом.

— Нет, ничего,— добродушно проговорил конторщик,— видишь ты, другим за две недели даем только, а тебе трехмесячное жалованье велено выдать в награду за старание, да директор от себя десять целковых.

— За что же?

И пепельная бледность проступила на его черных щеках.

— Видишь, ослаб ты... не можешь, как прежде, как свежие, которые с воли. Ты три тачки, а молодой в это время пять привезет, видишь ты... Заводу-то и расчет взять свежего...

Никита и сам видел, что сила у него не та. Завод вынул из него все, что мог, и теперь, ненужного, отправлял туда, откуда он бежал восемь лет назад...

И, покачиваясь, Никита думает о деревне, о работе, от которой отвык и на которую уже сил нет, о детях, о которых он не знает, где они, о заколоченной избе, об одиночестве, которое его угрюмо ждет.

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала. Полдень.

На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза, в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: в масленках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, род утиральника — тоже в сале, и вытиранье рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу,— виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я студент-практикант.

Первый день моей практики. Только что кончили маневры, и полчаса, час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «Ну, что же теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар.

Но, собственно, это «я — кочегар» один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накопляющуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце.

Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак.

Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям потолще, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется, вот-вот хорошо — и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев:

— Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя — все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает и работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новые наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы, он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто же работать будет?

И как раз в это время где-то там сзади: бух-тах-тарарах, с какой-то всеразрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, штайер, кричит дико: «Тормоз!» Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону — я растормаживаю, вместо того чтобы тормозить.

— А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схва-

тившихся за голову,— все бессилие, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего, никуда не годного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это, наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Тошно. Провалиться. Убежать сейчас и не возвращаться. Да, вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я все так же тру руки паклей. Лучше бы уже ругался.

— Нагортайте угля.

И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв чего от меня хотят, говорю смиренно:

— Позвольте мне.

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата. Какое презрение ко мне. Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

— Ну... Ступайте обедать.

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске. Да не сидите там три часа.

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в ней дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу.— Григорьев не побил?

— Только что не побил,— отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот,— говорит мой товарищ,— ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого, только он да мой своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, с умными, твердыми голубыми глазами.

Там, дальше, группа уже поевших. В центре — большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками веселый немец, что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены — все врет, но так, что животики надорвешь,— говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел, и чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидели теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничегонеяденья всегда говорила:

— Твой желудок — дамочка, и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.

Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить,— ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет,— он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Ну так худо ли было б!

Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.

— Ну уж валяйте ему и пива — пусть старичина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ,— мы к вам с поклоном и повинной.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал все принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой большой рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее,— он тыкал на борщ, жаркое.— Ну, вот это,— он указал на водку,— пожалуй, что и полезное — когда за двух приходится работать,— где же силы взять,— она вот и помогает...

И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым донышком рюмку.

— Вот это,— он показал на пиво,— тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже,— соглашался мой товарищ.

— Ну так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев уже бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно!

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса.

Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернув его, достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее уже оставалось немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь.

После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза — отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и па ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим настроением.

День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный, шум.

Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там где-то далеко зеленовато-бирюзовое нежное небо, несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз и тот проникся настроением, стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было на нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханию паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок.

А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов сорок — пятьдесят! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что казалось, что он унесет туда, вверх, и нас и наш паровоз Д-34.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, манит пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек!

Я подхожу.

— Вы что ж, из ло́киев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более ни менее как студент института инженеров путей сообщения.

Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Григорьев — машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший, и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент — все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в четыре-пять месяцев научитесь? Если вы хотите научиться, вам надо идти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком — тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного кочегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж?! Ну, дадут вам паровоз,— сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель, Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собой, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики.

Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. По-прежнему, как ни брошу в топку,— все могила, то есть бугор посередине, но, когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего — пойдет дело!

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я — приятель, и мы трясем руки друг другу так,

что надо еще удивляться, как еще не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин,— говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя,— видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд!

Чтоб поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хотя тридцать футов пара, надо начать растапливать паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия и, следовательно, прямой убыток и Григорьеву и мне.

Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах — род кирпичей,— пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает нью-кестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати наконец въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам к двум все кончается. Надо еще обмыться, и мы идем в ванную, моемся, чистимся и, все-таки черные и грязные, идем обедать.

Часа в три я попадаю на квартиру: напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из сорока восьми — двенадцать часов отдыха. По шести часов в сутки. Все остальное время в работе, и в какой работе!

— Тормоз! Тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец, и другим на весу пробиваю шлак там, в слившейся под одно с колосниками огненной массе.

Жар, пепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну что ж вы там, уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад,— кричит Григорьев.

Вылетает сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновение, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но этого все-таки достаточно, чтобы я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это я уже проделываю с искусством обезьяны.

Я сказал: Григорьев не увидит.

Но он всегда и все видит.

Раз еще вначале как-то я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтобы удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня.

Так бы и случилось, потому что я в конце концов упал прямо под колеса... остановившегося вдруг поезда. То Григорьев остановил.

По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью,— от Григорьева я так и не добился,— но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контрпар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек,— я не слыхал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно

двигаться в известном пределе как паровозу, так и тендеру.

Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и тендер не смогли бы проходить.

Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.

Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если бы Григорьев повернулся, чтобы сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, не закрывая регулятора, дал контрпар.

Сила для этого нужна неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил, или изувечил бы, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же направлении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед.

Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное, испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить? — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед,— только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы и с вашей ногой.

И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточен-

по снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:

— Лупится, проклятая, хоть ты что...

III

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом, и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтобы он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну что носом тычете: все равно никакой пользы нет от вас — ступайте спать.

Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь в мягкий нью-кестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом, на самых мягких сомье[1], я уже не спал так сладко, так крепко.

IV

— Сегодня мое рожденье,— сказал как-то в июне Григорьев, когда наступила обеденная пора,— в харчевню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что.

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судком худенькая, лет пятнадцати девочка.

Она была в светлом платочке, отчего маленькое загорелое лицо ее казалось еще темнее, рельефнее выделялись только ее большие горящие как уголь глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, востгруха, а оробела здесь.— И, усмехнувшись, добавил: — Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их...

Он повернулся к дочери и крикнул:

[1] Волосяной тюфяк *(фр.)*.

— Вот если бы дома Маруся да такая тихоня — ох, хорошо бы было!..

Маруся уже подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все, и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь каким кобельком,— усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще «Марья Григорьевна», да еще «вы»,— вбиваете ей в голову, и так огонь девка, сладу нет.— «Маруська», «ты», да за вихры, чтоб понимала...

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий веселый взгляд.

Впечатление чего-то еще находящегося в работе, и закончены пока только эти чудные, живые, все говорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти. Мы уехали на пристань делать там маневры. Перед нами было море, выпуклое, полное напряжения, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси.

Ночь пришла, шум моря волновал, и опять глаза Маруси, овладевшие вдруг моей душой.

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению, на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните?

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы...» Декламировал он так быстро, так незвучно, что, если не знать, что именно он говорит,— понять ничего нельзя было бы.

Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки, и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рождения был очень удобный случай.

После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо,— ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепишу.

— Списывать не надо, вот прочтите, чья это книжка.

Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери — кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били, и как били... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло вроде замирения у меня,— женился я... Был уже кочегаром... Вот так же все не дома да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого, и дверь не заперта,— иди, кто хочешь, бери, что хочешь... И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитя-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться... Что мне врать? Была бы воля — лег бы за нее в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.

V

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался, Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал!

Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушки, что ли! — крикнул Григорьев, как давно не кричал.— Знаете сами, что нет песку. Сейчас съедем назад и перебьем весь поезд — ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня — а все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.

Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.

И в одно мгновение все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу,— впечатление, точно поплыли вдруг мы, с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если бы и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега, да регулятор успел открыть... А вот если бы шпалы лежали на пути — тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда, что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский.

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колес паровоза.

— Вот так крещенье,— повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется,— все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это.

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство. То есть время отдыха стоять под парами, всегда готовые делать маневры.

Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой — двенадцать часов отдыху — и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.

Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...

Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.

Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела,— я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели,— что-то их выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уже не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я, стоя, заснули.

Так в сонном виде мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали.

На третьей станции наконец смельчак составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.

Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтобы проехать две станции, надо было и воду качать, и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.

Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня — на десять

VI

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?

Пятнадцать лет такой работы — и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стоянья и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.

И, завидуя, вспоминает такой выброшенный товарищ: убитых, изувеченных, с отрезанными руками, ногами. Их семьям или им самим после торга и всяких угроз дают тысячу-другую. Вспоминает и горько плачется на свою бесталанную долю.

Может быть, когда-нибудь терпеливый статистик подсчитает, какой процент убитых и раненых па железных дорогах приходится на всех этих машинистов, кочегаров, составителей, сцепщиков, кондукторов.

О, наверно, ни одна война не даст такого процента!

Сколько при мне во время летней практики было этих случаев. Составителя, который вскочил к нам тогда на полном ходу, впоследствии перерезало паровозом. При сцепке вагонов он упал между рельсами, а состав шел задним ходом. Пока катились вагоны с высокими осями, он свободно мог лежать, но, когда надвинулся паровоз, с своей низко сидящей топкой, когда выяснилась ему перспектива быть раздавленным поддувалом, он сделал отчаянное усилие проскочить между последними перед топкой двумя колесами. Его разрезало пополам, и я видел этот труп с застывшими от ужаса глазами.

Другому составителю, когда он проскакивал между буферами, захватило голову. Выскочив и кружась, он несколько раз быстро проговорил:

— Ничего, ничего, ничего...

И упал мертвый.

Кочегар как-то упал, и ему отрезало голову.

Машинист и кочегар погибли, налетев на разобранный мост. Кочегара убило на месте, а машинисту, тому, что так весело врал в харчевне, обварило паром лицо и руки.

Когда он слезал с паровоза, держась за стойку, кожа с руки, как перчатка, осталась на стойке.

Пока везли его в больницу, пока помощь подали... После трех дней сплошного мученья он умер, оставив большую семью.

Другой машинист... Но что перечислять? Чуть не каждый день читаем мы об этом в газетах.

Наше прощанье с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей.

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумеваю-

щими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которых где угодно, но не на глазах чистой публики?

VII

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте,— раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.

Спокойным, слегка пренебрежительным голосом он спросил:

— Не узнали?

Узнал, конечно, Григорьев.

Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров,— больше не надо,— ученые пошли...

— Найдем работу.

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке. Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселилась его дочь, красавица Маруся, с черными, как бриллианты, глазами. Ее муж поселился, молодой красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.

А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу.

VIII

Григорьев вот какую услугу оказал мне.

В один прекрасный день все кочегары и машинисты не вышли па работу, заявив, что против всех закопов их заставляют работать вдвое.

Я телеграфировал своему начальству и получил распоряжение немедленно рассчитать всех.

Не берусь судить, чем бы это кончилось, если б не Григорьев.

Во главе всех Григорьев говорил мпе:

— Мы не спорить пришли с вами, и нового вам говорить нам нечего: помните тогда на паровозе, когда спали мы оба? И здесь люди до одурения дошли,— лошадь и та отдыхает. Вам говорить мне не надо: мы ведь люди, и вы знаете это.

И Маруся стояла тут же с другими, с ребенком на руках; ее глаза смотрели в мои — спокойные, полные доверия, полные сознания своей правоты, не допускающие и мысли, чтобы не сознавал этого и я.

А вызванные войска уже шли, и кто знает? Может быть, завтра...

— Господа, я не хозяин, что я могу сделать?

И опять говорит Григорьев:

— А вы поезжайте к своему начальству и расскажите им все, что вы знаете.

— Хорошо, я поеду.

И обращаясь к толпе, Григорьев заговорил:

— Ну, я же говорил вам. Дело теперь в шляпе... Человек на своей шкуре испытал. А покамест ездит, станем на работу и будем ждать его приезда.

На том и порешили, и я уехал.

Я мало надеялся на успех, и большого труда стоило снять вопрос с почвы потачки на почву денежной выгоды: от переутомления происходит столько несчастий, столько материальных потерь, что выгоднее, увеличив штат, уменьшить работу дня.

Мне помог начальник тракции, подтвердив цифрами мою мысль.

И убедили начальство.

— Но как там в Петербурге, в Управлении, на это посмотрят?

Начальник тракции угрюмо заметил:

— И там люди, и их же карманы оберегаем.

— Ну, что будет.

Я дал телеграмму своему помощнику и, счастливый, возвратился назад. О, какая толпа меня встретила! Какую речь сказали!

И мы жали руки друг другу, так жали, как со времени моего отъезда тогда с практики ни разу мне не жали.

А довольный Григорьев твердил, обращаясь то к тому, то к другому в толпе:

— Ну, так как же? Я ведь говорил! Ведь это не то что... В два слова дело понять может: не большая мудрость...

Зима подходила к концу. На одном из участков новостроящейся дороги шли деятельные приготовления к предстоящему весной открытию работ. Начальник участка Кольцов уже после окончательных изысканий, закончившихся предыдущим летом, затеял изменить направление линии. Это изменение обещало серьезные сбережения, и Кольцов с двумя молодыми инженерами, проработав всю зиму в поле, напрягал все усилия закончить все работы к предстоящей через две недели сдаче подрядов. Торопиться нужно было для того, чтобы успеть провести и утвердить вариант до торгов и этим впоследствии избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, что они понесли убытки вследствие уменьшения работ, и результатом таких претензий была бы неизбежная приплата подрядчикам казны двадцать процентов сбереженной против подрядов суммы.

Дни в усиленной полевой работе, вечера за вычерчиванием планов и профилей, короткий отдых,— в последнее время три-четыре часа в сутки,— изнурили и утомили Кольцова и двух его товарищей. Особенно подался Стражинский. Он так похудел, что жена Кольцова говорила, что у

Стражинского остались одни глаза. Стражинский за зиму нажил себе страшный ревматизм; в последнее время еще простудился, кашлял и производил крайне ненадежное впечатление. Несмотря на двадцать семь лет, волоса его заметно стали седеть. Его изящная, стройная фигура сгорбилась, красивое лицо осунулось, и только большие выразительные глаза выиграли,— они то зажигались лихорадочным, раздраженным огнем, то грустно-безнадежно смотрели на окружающих. Спокойный, воспитанный, он теперь едва сдерживал свое беспричинное раздражение.

— Вася, не мучь ты Стражинского,— говорила Кольцову, в редкие минуты отдыха, его жена,— право, по временам плакать хочется, глядя на него.

— Ну, что же делать,— отвечал Кольцов.— Мне назначено девять человек, из них прислали только двух, а остальных оставили пока при управлении. Вот скоро кончим, тогда дам ему хоть на месяц отдых. Ведь и я и Татищев так же работаем.

— Ты и Татищев здоровые, а он совсем не вашего поля ягода.

— А я тут при чем,— возражал Кольцов.— Не вводить же казну в миллионные убытки оттого, что Стражинский не на своем месте. Вот скоро кончим, тогда...

И Кольцов опять убегал в контору. Там в сырой, осенью только отделанной комнате, служившей прежде кладовой, занимались Стражинский, Татищев и Кольцов.

В сыром накуренном воздухе было угарно и тяжело. Стражинский работал молча, напряженно, не отрываясь. Только нервное подергиванье лица выдавало его раздражение.

Татищев работал свободно, без напряжения.

— Экое отвратительное помещение,— ворчал Татищев, водя рейсфедером по бумаге и беспрестанно отбрасывая шнурок пенсне.

— Да, гадость,— согласился Кольцов.

— Гораздо лучше было нанять дом Мурзина,— ворчал опять Татищев.

Немного погодя Татищев опять заговорил:

— Невозможный рейсфедер, линейки порядочной нет. Вот этим рейсфедером я уже второй миллион экономии дочерчиваю. Хоть бы рейсфедер новый.

— Невозможные инструменты! — вставил Стражинский.

— Хоть бы в пикет сыграть,— продолжал Татищев, помолчав.

— Некогда, некогда,— отвечал Кольцов.— Кончим вариант, тогда и будем играть, сколько хотите.

— Никогда мы его не кончим,— отвечал Татищев и вдруг весело, по-детски расхохотался.

— Вы чего? — поднял голову Кольцов.

Татищев продолжал хохотать.

— Мне смешно...

И Татищев опять залился веселым, добродушным смехом.

Кольцов, привыкший к его беспричинному смеху, только рукой махнул, проговорив:

— Ну, завел!

— ...что мы никогда не кончим,— докончил Татищев свою фразу и залился новым припадком смеха.

Кольцов и Стражинский не выдержали и тоже рассмеялись.

Татищев кончил наконец смеяться и снова принялся за рейсфедер.

Наступило молчание. Все погрузились в работу.

— А вы помните, Василий Яковлевич, ваше обещание? — начал опять Татищев.

— Какое? — спросил, не отрываясь, Кольцов.

— В отпуск меня пустить.

— Да, пущу,— отвечал Кольцов.

— Как в прошлом году?

— Ведь вы же знаете, что в прошлом году помешал вариант.

— То-то помешал,— самодовольно ответил Татищев.— А как вы еще какой-нибудь вариант выдумаете.

— Нет, уж это последний.

Татищев лукаво посмотрел на Стражинского.

— Да больше времени нет, да и работы скоро начнутся.

Татищев недоверчиво молчал. Стражинский опустил голову на руку и бесцельно уставился в стенку. Изможденное лицо его выражало страдание.

— Что, голова болит? — спросил Кольцов.

— Немножко,— ответил нехотя Стражинский.

— Вам, Станислав Антонович, необходим отпуск,— проговорил Кольцов.

— Ну, уж извините,— загорячился Татищев.— Я больше Станислава Антоновича просидел в этой трущобе.

— Да вы посмотрите на себя и Станислава Антоновича,— отвечал Кольцов.— Вы кровь с молоком, а он совсем высох.

— Я тоже болен,— отвечал Татищев,— у меня горловая чахотка начинается.

Кольцов и Стражинский улыбнулись.

— Смейтесь,— обидчиво отвечал Татищев.— Вы слышите, как я охрип.

— Ну полно, Павел Михайлович,— махнул рукой Кольцов.

— Вот и полно!

— Я не поеду в отпуск,— сказал Стражинский.— Мои финансы в таком беспорядке, что мне и думать нечего.

Стражинский жил на жалованье сто двадцать пять рублей в месяц и своих средств не имел. При безалаберной кочевой жизни, при неуменье обращаться с деньгами ему не хватало, и он был весь в долгу. Окончательно его запутал Татищев, богатый человек, любивший хорошо поесть. Он умудрялся тратить на кухне до двухсот рублей в месяц.

— Я решил, знаете, Павел Михайлович,— продолжал Стражинский,— уехать от вас, а то с вами кончу тем, что все у меня продадут за долги.

— Я вовсе не много трачу,— обиделся Татищев,— вот поживите сами и узнаете.

— Ну, господа, пойдем спать,— сказал Кольцов, вставая.— Два часа.

Кольцов ушел наверх. Татищев скоро собрал инструменты и торопил Стражинского.

Стражинский медленно отрывался от работы.

— Скорее,— торопил Татищев.— Оставьте так, кто тут возьмет. Есть хочется, спать хочется. Ну и жизнь!

Стражинский раздраженно молчал, продолжая собирать вещи.

Татищев, одетый в шубу, уселся на табуретку и следил глазами за Стражинским.

— Измучит нас Кольцов,— начал он, помолчав.— Я понимаю, поработать и отдохнуть, но этакая каторга изо дня в день, и из-за чего, спрашивается? Я второй год с ним. На двух линиях наделал вариантов, измучил себя, других, натратил своих уйму денег и в конце концов, кроме неприятностей, до сих пор ничего не получил. Обещал выхлопотать награды.

— Э,— досадливо проговорил Стражинский.— Какая тут награда! Кто ему ее разрешит? Экономия! Кому нужна эта экономия? Для казны экономия, c'est bien original![1]

---

[1] это весьма оригинально *(фр.)*.

Стражинский воспитывался за границей и любил французский язык.

— Ну, положим, это наша обязанность,— отвечал Татищев.— Но ведь всему должна быть мера, а ведь мы живем так, как будто через год нам ничего не надо будет. Истратить все силы в два-три года, а там что ж? Истаскаешься, куда ты тогда денешься?

— И все это за такое жалованье, на которое прожить нельзя,— ответил Стражинский, укладывая последний циркуль.

Он запер коробку, положил ее в стол, постоял несколько секунд, тупо глядя перед собой, потом досадливо махнул рукой и начал одеваться.

— Это жизнь! — продолжал он себе под нос.— Мечтает о премиях, себя и других морочит. Э! Все равно. Идем.

— Вот он говорит, на концессионных постройках премии давали, ну, там и можно было работать,— продолжал Татищев, идя с Стражинским по сонным улицам завода, где они жили,— но из-за чего здесь надрываться? Я не понимаю.

Стражинский молчал.

— Васька, скорей ужинать! — кричал Татищев, входя в квартиру.

Сонный Васька побежал на кухню, принес на блюде аппетитный кусок жареной телятины.

— Опять подливки мало,— заметил Татищев, подходя к опрятно накрытому столу.— А закуску почему не поставил? Тебе сколько раз я говорил, чтобы ставил по два стакана к прибору. И белого вина нет. Перчатки не надел. Я тебе сколько раз говорил, что я терпеть не могу, чтобы ты голыми руками подавал. Трогаешь ими бог знает какую гадость, а потом хлеб ими же подаешь.

Когда все было приведено в порядок, Татищев удовлетворенно сел за стол, аккуратно завязал себя салфеткой, снял пенсне и обратился к Стражинскому:

— Станислав Антонович, пожалуйста.

Сонный Васька стоял поодаль с вытянутыми руками в нитяных белых перчатках.

— Платок носовой,— приказал Татищев.

Васька бросился в другую комнату.

— Да ты что кидаешься как сумасшедший,— остановил его Павел Михайлович.— Потише не умеешь? Разве ты не понимаешь, что это неприлично.

Через минуту Васька беззвучно подал Татищеву несколько платков.

Татищев взял платок, посмотрел его номер (все его платки были занумерованы), посмотрел номер следующего платка, оставил себе первый по порядку, остальные отдал Ваське, сказав:

— Положи аккуратно на место.

Татищев уже совсем было приготовился к еде, но, взглянув на руки, проговорил:

— Нет, не могу,— потребовал умываться.

Стражинский, раздраженно наблюдавший Татищева, потеряв терпение, сказал:

— О, mon Dieu[1],— лег на кровать и закрыл глаза.

С четверть часа фыркал Татищев в соседней комнате. Слышались его возгласы:

— Лей сюда, ниже, ниже... Экий ты, Васька, бестолковый.

Наконец, умывшись, с расчесанной бородой, в чистой ночной рубахе и туфлях Татищев окончательно уселся за стол. Он опять завязал салфетку, опять пригласил Стражинского и приступил к нарезыванию телятины. Это было целое священнодействие. Телятина тонкими ломтиками, пластинка за пластинкой, ложились одна на другую. Широкая белая рука Павла Михайловича красиво водила большой нож, другая держала громадную вилку, воткнутую в телятину. Вся его сосредоточенная фигура говорила:

«Да, вот подите-ка, нарежьте так аккуратно. Это вовсе не так просто, как кажется. Тут все нужно рассчитать, чтобы вышла такая ровная пластинка. И нож надо именно вот так держать, и вилку на известном расстоянии. Вот теперь надо вынуть ее — поставить дальше». И Татищев, вынув вилку, воткнул ее в другом месте.

И опять все его лицо говорило:

«Именно вот в этом месте. Теперь опять пойдут правильные ломтики».

И ломтики действительно пошли один правильнее другого.

— Ну, довольно,— досадливо проговорил Стражинский, раздраженно наблюдая Татищева.

— Теперь, пожалуй, и довольно,— согласился Татищев, когда половина блюда покрылась изрезанными ломтиками.

— Кто это съест? — заметил Стражинский.

— Не беспокойтесь, съем,— обидчиво заметил Павел Михайлович.

[1] О боже мой *(фр.)*.

Ужин начинался. Стражинский ел без всякого аппетита. Съев ломтик телятины, он потребовал себе стакан молока.

Павел Михайлович только головой соболезнующе покачал, аппетитно уплетая кусок за куском.

— Извините,— проговорил Стражинский, кончив свой стакан молока,— я встану, я так устал.

— А чайку? — встрепенулся Павел Михайлович.— Неужели не выпьете стаканчика горячего в кровати? Покамест вы будете раздеваться, чай будет готов. Васька, живо чаю!

Добродушное настроение Татищева подействовало наконец и на Стражинского.

Он с наслаждением вытягивался в кровати, говоря:

— Ох, как я устал! Мне каждый раз кажется, как я ложусь, что я уж не в силах буду никогда встать.

— Да, это безобразие,— согласился Павел Михайлович, оканчивая свой ужин и запивая стаканом вина.

Татищев, окончив ужин, быстро разделся и бросился в кровать. Через пять минут легкий посвист известил Стражинского, что Татищев благополучно прибыл в царство Морфея.

Стражинский долго еще ворочался на постели. Он с завистью и раздражением прислушивался к свисту Татищева. Несколько раз он то тушил, то зажигал свечку, отыскивая кусавших его клопов. Его ноги ныли от ревматизма, он то вытягивал их, то подбирал под себя, напрасно отыскивая положение, при котором боль не была бы так чувствительна. Тяжелые мысли бродили в его голове. Полученное письмо из дому вызвало целый ряд неприятных воспоминаний. Дела по имению у матери, некогда очень богатой, были в страшном расстройстве; второй брат, гимназист шестого класса, заболел скоротечной чахоткой, младший, двенадцатилетний мальчик, и в этом году не попал в гимназию. «Ты одна моя радость и надежда»,— заканчивала его мать свое письмо. Стражинский горько усмехнулся при мысли, если бы увидела она, что осталось от этой «радости».

Наконец и над ним сжалился сон, хотя не крепкий, тревожный, заставлявший его постоянно вздрагивать и просыпаться.

На другой день, около восьми часов, когда уже порядочно рассвело, Кольцов с Татищевым и Стражинским взбирались по крутому откосу реки в том месте, где накануне остановилась их работа.

Кольцов первый взошел наверх и, в ожидании товарищей, осматривал местность. В этом месте река делала

такой острый заворот, что приходилось пересекать ее на протяжении пятидесяти сажен два раза, вследствие чего получалось два громадных моста.

Вдруг у Кольцова мелькнула мысль, от которой ему сделалось и холодно и жарко.

«Что, если обойтись без мостов и речку отвести тоннелью под этой горой?— Мурашки пробежали у него по спине.— Что это, не схожу ли я с ума? Здравая или сумасшедшая эта мысль? — Кольцов снял шапку и провел рукой по горячему лбу.— Надо спокойно обдумать»,— решил он и стал шагами мерить длину горы. Длина тоннели получалась около 30 сажен; считая по 2 тысячи погонная сажень, выходило всего 60 тысяч, тогда как 10 сажен высоты моста стоили до 250 тысяч рублей. Кольцов радостно обернулся к товарищам.

— Господа! — крикнул он им возбужденным голосом.

— Новый вариант,— с отчаянием проговорил Стражинский Татищеву.

Оба уже давно подозрительно наблюдали взволнованные движения Кольцова.

— Знаете,— кричал им навстречу Кольцов,— мы без мостов здесь пройдем.

— Jl finira par devenir fou[1],— сказал себе под нос Стражинский.

Сообщение Кольцова было выслушано недоверчиво, но когда он подтвердил его, Стражинский и Татищев не нашли возражений.

— Только когда же мы все это сделаем? — спросил Татищев.

— Я сам это сделаю. Вы пробивайте намеченную по плану линию, а я сейчас назначу магистраль и разобью профили. Булавин,— обратился он к десятнику,— ты будешь их ватерпасить, и если завтра к вечеру кончишь, десять рублей награды.

— Будет готово,— отвечал весело Булавин.

Работа была тяжелая. В глубоком снегу вязли ноги. К обеду Кольцов кончил свою работу и нагнал товарищей.

— Не пора ли закусить? — спросил он Татищева.

— Давно пора,— ответил Павел Михайлович.

Под деревом был разведен костер, для которого рабочие

---

[1] Он кончит тем, что сойдет с ума *(фр.)*.

натаскали сухого хвороста; установили два камня — род очага, поставили на них чайник и стали разворачивать провизию. Хлеб замерз, говядина, пирожки тоже, пришлось все, кроме водки, отогревать. Всем этим заведовал аккуратно и не спеша Татищев.

Зная, что нарушение установленной дисциплины испортит расположение духа Татищева, Кольцов и Стражинский терпеливо ждали конца. Когда наконец все было установлено на чистой скатерти, Татищев любезно пригласил Кольцова и Стражинского завтракать.

— К вечеру кончите обход Герасимова утеса? — спросил Кольцов.

— Я думаю,— отвечал Стражинский.— Только выемка немножко будет больше, чем получилась по горизонталям. Шельма Лука наврал, верно, в профилях.

— Какая досада, что нельзя завернуться радиусом в сто пятьдесят сажен вместо двухсот; вся бы почти выемка исчезла,— заметил Кольцов.

— Да, тогда почти вся исчезла бы,— согласился Стражинский.

— Ведь это двенадцать тысяч кубов скалы по одиннадцати рублей — сто тридцать две тысячи рублей. Какая это рутина — радиус! При соответственном уклоне ведь не прибавляется сопротивления от более крутого радиуса.

— За границей на главных путях давно введен радиус даже в сто сажен, только там вагоны на тележках,— вставил Стражинский.

— А что мешает у нас их устраивать?— ответил Кольцов.— Ведь вы понимаете, какую экономию дал бы такой радиус в нашей горной местности?

— Громадную.

— На всю линию несколько миллионов,— ответил Кольцов.

Наступило молчание.

— Черт возьми,— заговорил Кольцов,— давайте, знаете, сделаем обход Герасимова на радиус двести и сто пятьдесят,— чем черт не шутит, может быть, и разрешат? А?

Татищев и Стражинский успели уже переглянуться, и последний тихо пробурчал:

— Поехал.

— Никогда не кончим,— проговорил Татищев, заливаясь смехом и опрокидываясь на снег.

Кольцов сконфузился и покраснел.

— Странный вы человек, Павел Михайлович, ведь

интересно же сделать так дело, чтобы не стыдно было на него посмотреть. Ведь обидно же даром бросать сотни тысяч. Вы представьте себе, куда мы с вами денемся, когда дорога будет выстроена, и кому-нибудь из комиссии придет мысль в голову об радиусе сто пятьдесят? Ведь тогда это будет как на ладони.

— Да я ничего не возражаю против этого,— отвечал Павел Михайлович,— я вполне всему сочувствую, но где же время, ведь вы хотите поспеть к торгам?

— И поспею,— ответил Кольцов.— Тут ведь на день всего работы.

— Здесь на день, там на день, где ж этих дней набрать? — раздраженно ответил Татищев.

— Ну я сам это сделаю,— огорченно сказал Кольцов.

— Да я не к тому,— начал было Татищев, но Стражинский перебил его:

— Положим, мы как-нибудь успеем. Но только, по правде сказать, мало веры, чтоб из всего этого вышел толк. Ведь это значит переменить технические условия, когда они утверждены начальником работ Временного управления, министром. Пропасть работы всем, начиная от нас.

— Но ведь это все пустяки, тут о сотнях тысяч идет речь.

— Ну да, но когда их никто признавать не хочет.

— Но они существуют. Что нам за дело до других, лишь бы мы исполняли то, что должны.

— Ну да, конечно,— согласился Стражинский.— Я только хочу сказать, что можно какое хотите пари держать, что радиус сто пятьдесят не пройдет.

— Надежд, конечно, мало,— согласился Кольцов.

— Вот если б это было возле станции, где поневоле скорость должна быть меньшая.

— А ведь это идея; почему бы нам не расположить станцию вон в той луке? — Кольцов схватил профиль и стал внимательно ее рассматривать.— Станция поместится,— проговорил он.— Поздравляю вас, мсье, ваша идея блестящая.

Стражинский покраснел от удовольствия.

— Но ведь тогда расстояние между станциями не выйдет, близко слишком будет.

— А мы одну уничтожим — еще экономия,— быстро ответил Кольцов.— Нет, положительно сегодня, господа, у вас гениальные мысли.

У Татищева остановилось в горле замечание, что это опять новая работа.

— А обратили вы внимание, Василий Яковлевич,— заговорил Стражинский,— что при радиусе сто пятьдесят линия залезет в реку,— что скажет на это завод?

— Какое мне дело до завода?

— Как какое дело? Они по этой реке спускают баржи, они говорят уже теперь о том, что камни, которые будут падать в воду из выемок, должны быть вынуты, а если вся линия пойдет по реке, я не знаю, что они скажут.

— Ничего они не посмеют сказать,— больше в утешение себе сказал Кольцов и задумался.

— Ох, уж этот мне завод. Наделает он нам беды. Все, кроме воздуха, им принадлежит. Несчастный человек будет подрядчик!

— Они его разорят,— сказал Стражинский.

— А знаете, что мне пришло в голову?— сказал Татищев.— Что, если их самих затянуть в подряд?— И Татищев лукаво-добродушно подмигнул.

Кольцов широко раскрыл глаза.

— Павел Михайлович, голубчик, да вы гениальный человек!— закричал он.— Ведь эта идея такая же блестящая, как и со станцией?!

Татищев добродушно-весело смеялся.

— Ах, черт побери,— заволновался Кольцов.— В воскресенье же иду к управляющему уговаривать.

— Не согласится,— сказал Стражинский.

— Отчего не согласится?— возразил Татищев.

Кольцов по свойству своей натуры весь отдался новой идее затянуть завод в подряд. Вопрос действительно был серьезный, на десятки и сотни верст во все стороны от линии тянулась земля крупного заводчика. Земля, вода, лес, камень, песок — все было монополией владельца. Уже при постройке временной больницы Кольцов видел, как разыгрывается аппетит завода. За лес была назначена цена дороже городской. Только случаем Кольцову удалось дешево отделаться,— он купил готовый дом, а для пристроек запасся за дешевую цену несколькими срубами у местных крестьян. Заводское управление на такой прием Кольцова ответило приказом к местному населению, по которому жителям строго-настрого воспрещалось продавать лес агентам железной дороги под страхом навсегда лишиться права приобретать его по уменьшенным ценам из заводских дач.

Предстоящие работы и в других отношениях ставили строителей в зависимость от заводов. С утверждением нового варианта Кольцова, когда приходилось бы работать в воде,

завод, по желанию, мог бы нанести неисчислимые убытки одним тем, что не вовремя стал бы выпускать излишнюю воду из своих прудов. Претензии на захват реки тоже могли легко повлиять на неутверждение нового варианта. Казна ничего так не боится, как возможности дать повод вчинать иски, зная по горькому опыту, чем они кончаются. Наконец, еще одно обстоятельство побуждало Кольцова горячо желать участия заводов в подряде. Администрация заводов состояла по преимуществу из горных инженеров. Все они в большинстве были поляки по происхождению, но, если можно так выразиться, примиренные, не чуждались общения с русскими, отличались гостеприимством и радушием, но по свойству всех людей имели склонность заниматься чужими делами. Кольцова осаждали вопросами о направлении линии, почему так, почему не здесь, почему такая цена, а не такая. Как это всегда бывает, они не так искали положительной стороны дела, как отрицательной. Объяснения Кольцова их мало удовлетворяли, они смотрели на него как на человека, заинтересованного умышленно утаивать истину, и старались сами найти ответ на неясные для них вопросы. Почва, таким образом, была из таких, на которой легче всего вырастают всякие нелепые и несправедливые слухи. Кольцов чувствовал, что, перервись он пополам, ему не поверят и всё объяснят по-своему. Единственная возможность заставить их правильно посмотреть на дело заключалась, таким образом, только в том, чтоб их самих втянуть в это дело, поставить их в такое положение, чтоб у них волей-неволей раскрылись глаза на истину.

«Ах, если бы мне удалось этих вольных критиков запрячь, заставить их на своей спине убедиться в том, что все гадости, в которых они считают нас, инженеров, повинными, сидят только в их воображении»,— думал Кольцов, вылезая из саней перед домом главного управляющего заводами (сам владелец в заводе не жил и никогда в жизни в нем не был), горного инженера Пшемыслава Фаддеевича Бжезовского.

Бжезовский пользовался большим уважением в горном мире,— он организовал рельсовое производство, прекрасно его поставил, пользовался репутацией даровитого и способного инженера, слыл за прекрасного человека, его дом отличался гостеприимством и радушием. Громадный двухэтажный дом, занимаемый Бжезовским, был настоящий дворец. Прекрасная мебель, масса картин, электрическое освещение, громадные комнаты напоминали собою давно-давно забытую роскошь времен крепостных. Несколько прекрасных охот-

ничьих собак приветствовали громким лаем появление Кольцова в обширной передней.

Несмотря на не сошедший еще снег и холод, отовсюду несся нежный запах свежих цветов. Точно какой-то волшебной силой из царства тьмы и неуютной зимы Кольцов был вдруг перенесен в волшебное царство весны.

На него, жителя юга, пахнуло чем-то далеким и милым. Он с наслаждением вдыхал в себя этот аромат весны, пока лакей снимал с него валенки, доху и сибирскую с ушами шапку.

Не успел он оправиться, как в дверях показались Бжезовский и его жена. Бжезовский, высокий пожилой господин с окладистой бородой, худощавый, с безукоризненными манерами, приветливо, но с чувством собственного достоинства поздоровался с Кольцовым, проговорив радушно:

— Добро пожаловать.

Жена Бжезовского, маленькая полная женщина лет сорока, с добрыми чистыми глазами, как у ребенка, ласково поздоровалась с Кольцовым и сейчас же засыпала его вопросами, не смерз ли он, не устал, не желает ли умыться, не хочет ли есть, чаю, и когда Кольцов сказал, что чаю хочет, она весело ударила в ладоши и сказала, что они как раз пьют чай.

В большой столовой, за чайным столом, Ольга Андреевна (она была урожденная русская), пока наливала чай, несколько раз еще переспросила, не хочет ли Кольцов есть. Кольцов уверил наконец ее, что сыт. Тогда она перешла к подробным расспросам о жене и детях Кольцова.

— Какой вы недобрый, зачем же Анну Валериевну с собой не привезли?

Кольцов извинился, сказав, что приехал по делу.

— Ого, по делу! — рассмеялся Бжезовский.

В это время вошел плотный высокий господин, помощник Бжезовского, горный инженер Малинский.

— Василий Яковлевич к нам по делу,— обратился к нему Бжезовский.

— О!— произнес Малинский и сел возле налитого для него стакана.

Кольцов начал издалека. Он изложил в коротких словах предстоящую картину постройки, наплыв рабочих, возвышение цен на рабочие руки, на перевозочные средства, указал на затруднения, какие испытывает завод от этого, коснулся неизбежных столкновений с подрядчиками и рядчиками.

— Ну, с этими-то господами нам не трудно будет спра-

виться,— уверенно перебил его Малинский.— Один хороший паводок сразу приведет их в христианскую веру.

— Вещь обоюдоострая,— ответил сдержанно Кольцов.— Людей, имеющих в своем распоряжении несколько тысяч человек, не так легко запугать. Один неосторожно разведенный костер в ваших сосновых лесах наделает вам больше убытков, чем все ваши паводки. Этого, конечно, не будет, как и с вашей стороны не будет умышленного нарушения интересов подрядчиков.

— Конечно,— поспешил согласиться Бжезовский, видимо недовольный, что его пылкий помощник выболтал видимо обсуждавшиеся уже между ними соображения будущих отношений.

— Опасная сторона здесь та, что подрядчики станут пользоваться вашим населением для своих работ.

— Пусть пользуются,— ответил Малинский,— а мы им откажем в земле, лесе, дровах,— у них ничего ведь нет, они всё получают от нас при условии работать на заводе, а не хотят — мы им ничего не дадим.

— По-моему, этим вы их не испугаете,— ответил Кольцов.— Они отлично знают, что ваши заводы без них ничего не стоят и что вам ничего не останется делать, как вновь их принять, когда они явятся к вам.

Бжезовский все время молча слушал Кольцова. Малинский открыл было рот, но Кольцов перебил его:

— При таких условиях единственная возможность не отрывать местное население от заводских работ заключается в том, чтобы сам завод взял на себя подряд. Тогда заводу стоит только не принимать местный элемент на железнодорожную работу, и дело в шляпе.

Глаза Бжезовского сверкнули, но опять приняли спокойное, бесстрастное выражение. Он продолжал молчать, как бы приглашая Кольцова говорить дальше.

— В денежном отношении,— продолжал, помолчав, Кольцов,— дело это тоже представляется крайне выгодным. Если подрядчик пришлый зарабатывает на таком деле крупные барыши, то местный контрагент, имеющий весь даровой материал, заработает, конечно, несравненно больше.

— Положим, этот материал мы можем выгодно продать пришлому контрагенту,— первый раз возразил Бжезовский.

— Не всегда,— ответил Кольцов.— В случае слишком дорогих цен дорога ограничится крайне необходимым, а остальное привезет по временному пути из мест более дешевых.

Бжезовского неприятно передернуло, но это было очень

быстрое движение, и он молча поспешил кивнуть головой в знак согласия.

— Размеры подряда,— продолжал Кольцов,— настолько велики, что они стоят того, чтобы таким делом заняться. Ваш годовой оборот, если не ошибаюсь, достигает миллиона, двухлетний подряд даст оборот до двух с половиной миллионов. Барыш от него будет крупным подспорьем для завода, дав ему возможность не только легко перенести кризис, но и заработать на нем. Ввиду того, что дорога только раз строится, казалось бы, не следовало упускать такого удобного случая,— закончил Кольцов свою речь.

Наступило молчание.

Ольга Андреевна, Малинский и Кольцов смотрели на Бжезовского. Последний не торопился с ответом.

После долгой паузы он наконец спросил:

— А как велик может быть барыш?

— Как повести дело. Принимая во внимание ваши условия, я думаю — не менее двадцати пяти процентов со всей суммы.

— Какой оборотный капитал для этого нужен?

— Десять процентов от всего, то есть двести пятьдесят тысяч рублей,— отвечал Кольцов.

— Беда в том, что с этим делом мы мало знакомы,— заметил Бжезовский.

— Это я имел в виду. Вам необходимо пригласить в руководители опытное в этом деле лицо. Я могу указать вам на такого. Это Яков Петрович Нельтон. Он тоже собирается принять участие в подрядах, но сам имеет слишком мало денег и ищет компаньонов. Он, между прочим, был представителем компании строителей на пятом участке смежной с вами дороги, которая только что закончилась, и дал своим компаньонам до семидесяти процентов на затраченный капитал. Точные сведения вы получите как от его компаньонов, так и от начальника работ.

— Надо подумать,— задумчиво проговорил Бжезовский.

Разговор перешел на текущую жизнь.

Кольцов рассказал о новых своих вариантах, о радиусе сто пятьдесят, о замене мостов тоннелем. Малинский пришел в ужас, что цена погонной сажени тоннели обойдется две тысячи рублей.

— Помилуйте, вся цена такой тоннели шестьсот рублей погонная сажень.

— А вот берите подряд,— улыбнулся Кольцов,— и гребите деньги.

— Но что же вы так дорого цените в тоннели?

— Я вам укажу только на тот факт, что дешевле двух тысяч рублей ни одна тоннель в мире не выстроена,— ответил Кольцов.

— Значит, дело неправильно поставлено,— ответил Малинский.

— Ну вот вам и случай поставить его правильно.

— Как вы работаете тоннель?

— Есть несколько способов, но все они сводятся к тому, что пробивается сперва небольшое отверстие, которое называется направляющей штольней, а затем разрабатывается все отверстие.

— А почему сразу не разрабатывается все отверстие?

— Невыгодно, как работа в цельной среде. Чем меньше направляющая штольня, тем это выгоднее.

— Конечно, так трудно возражать, но я познакомлюсь с вопросом и через месяц буду с вами спорить. Какое лучшее сочинение по тоннелям?

Кольцов не мог ответить.

— По-русски почти ничего нет, а за границей, наверно, есть.

— Я знаю сочинение Ржиха, но вышло, кажется в Англии, недавно новое сочинение.

— Вы видали Ржиха?— спросил Малинский.

— Не видал,— ответил Кольцов.

— Если хотите, я вам покажу.

И Малинский повел Кольцова в свою комнату.

Малинский был очень начитанный человек. Он обладал способностью применять начитанное к делу. В требнике завода и постановке рельсового дела он ввел массу нововведений,— между прочим, бессемеровский способ литья стали прямо из чугуна, но было и несколько промахов, неизбежных ни в каком деле.

Масса книг и журналов лежала на нескольких столах в комнате Малинского. Были тут и немецкие, и французские, и английские, и американские, меньше всех было русских.

Он снял с этажерки две громадные книги и тяжело бросил их на стол.

— Неужели это все об одних тоннелях?— спросил Кольцов.— У нас и в институте о тоннелях читалось ровно две страницы. Только немец может столько написать,— говорил Кольцов, перелистывая книгу.

Малинского неприятно покоробили слова Кольцова.

— Обстоятельно,— нехотя ответил он.

— К сожалению, я не понимаю по-немецки,— сказал Кольцов, закрывая книгу,— а то бы попросил у вас почитать.

— Вы какие журналы выписываете по вашей специальности?

Кольцов покраснел.

— Кроме журнала нашего министерства,— никаких.

Наступило неловкое молчание.

— Наше дело так налажено,— заметил Кольцов,— что вряд ли что-нибудь новое узнаешь, да притом я только французским с грехом пополам владею.

Наступило неловкое молчание.

— Может быть, пойдем в столовую? — спросил Малинский.

— Знаете, что мне улыбается в вашем подряде, Василий Яковлевич? — встретила Кольцова Ольга Андреевна.— Я давно на лето мечтаю выстроить себе маленький домик, в котором бы я могла чувствовать, что и я существую; а то в этих громадных комнатах я чувствую себя такой маленькой. Если б муж взял подряд, ему пришлось бы выстроить себе какое-нибудь пристанище, вот и я бы к нему пристала бы.

И она, склонив голову на плечо, своими детскими ласковыми глазами посматривала на мужа.

Бжезовский ласково рассмеялся.

— Ну, уж если она охотится, то вы можете считать, что половину дела сделали,— обратился он к Кольцову.

— Эта сторона меня страшно радует,— и все лицо Бжезовской показывало искреннюю радость.— Если бы вы знали, как я хочу этой тихой простой жизни в маленьких уютных комнатках! — И опять ее чистые глаза заискрились весельем ребенка.

Несмотря на видимый успех, расположение духа Кольцова было испорчено. Разговор с Малинским, необходимость, вынудившая его признаться в незнакомстве с теоретической стороной своего дела, неприятно мучила его. Он поспешил попрощаться с Бжезовским и, условившись свидеться с ним на днях у себя, уехал домой. Всю дорогу он не мог отделаться от тяжелого чувства. Он не мог не признать, что Малинский ловко попал в его слабое место. Кольцов никогда не любил теорию и, будучи еще студентом, принадлежал к партии так называемых «облыжных» студентов, то есть таких, для которых вся наука сводилась к экзаменам. Выдержал экзамен, и долой весь лишний хлам из головы. Первые годы практической деятельности отсутствие правильной

теоретической подготовки мало чувствовалось,— во-первых, изучение практической стороны дела требовало немало времени, во-вторых, и роль была все больше исполнительная. Теперь, через двенадцать лет, Кольцову приходилось выступать уже в такой роли, где требовалось много инициативы, путь открывался для широкого творчества, и на каждом шагу он чувствовал все больше и больше свое слабое место — недостаточную теоретическую подготовку. Та масса новых, оригинальных идей, которые сидели в его голове и которые задачей своей жизни он поставил пропагандировать в жизнь, требовали для надлежащей авторитетности того, чтобы облечь их в научную форму. Кольцов чувствовал, что без этого он никого не убедит, что все отнесутся к его идеям с обидным недоверием.

Он считал, что сегодняшний его разговор с Малинским подрывает его авторитет как человека науки не только в глазах самого Малинского, но и всего кружка горных инженеров, между которыми Малинский признавался авторитетом.

Унылым и подавленным приехал он домой.

— Неудача? — встревоженно встретила его жена.

— Нет, кажется, полная удача,— ответил Кольцов, входя в свой скромный кабинет и опускаясь в кресло.

Жена села возле него и пытливо заглядывала ему в глаза. Кольцов старался избегнуть встречи с ее глазами.

— Воздух спертый,— проговорил Кольцов.

— Квартира сырая, комнаты маленькие. Сегодня у Коки за кроватью на стене я нашла гриб. Меня так беспокоит, как бы эта сырость не отразилась на здоровье детей. Они так побледнели за зиму.

— Надо почаще вентилировать,— заметил Кольцов.

— Каждый день вентилируем,— ответила жена.— Когда б уж скорее весна начиналась, начну их по целым дням на воздухе держать.

Кольцов облокотился и задумался.

— Ты не в духе? — помолчав, спросила его жена.

— Так, немножно неприятно,— нехотя отвечал Кольцов, решив ничего не говорить жене.

Через полчаса, однако, он уже все ей рассказал.

— Что ж тут такого, что могло тебя так огорчить? — успокаивала его жена.— Во-первых, большая разница между ним и тобой: он ведет оседлую жизнь, дела у него сравнительно с тобой почти нет, он, наконец, любит теорию, ты любишь практику. Профессор, может быть, из тебя не вый-

дет, но ведь и не желаешь им быть. Ваш же министр и вовсе не инженер, а министр про то.

— Ну, это, положим, не довод. Я не знаю, что нашего министра вывело в люди, но знаю, что чем дальше, тем больше будут искать во мне таких причин, которые дали бы возможность моим противникам свести меня на нет, и моя слабая теоретическая подготовка будет мне в жизни громадной помехой.

— Но если и так, что тебе мешает пополнить пробел — тебе тридцать пять лет — твое время не ушло.

— Вот именно я думал, что, когда начнется постройка, время будет посвободнее. Я повторю всю теорию и займусь литературой. Ведь не то чтоб я ее забыл, а так, забросил. Пристань ко мне с ножом к горлу, я и теперь сумею рассчитать любой мост.

— Милёнький мой, я ни капли в этом не сомневаюсь,— ответила его жена, обнимая и целуя его.

Кольцов повеселел, начал рассказывать жене, как хорошо у Бжезовских, как у них пахнет весной, как ему вспоминался юг.

Анна Валериевна — сама южанка — понимала мужа, жалела, что не поехала с ним к Бжезовским.

— Ах, Вася, Вася, чего бы я не дала, чтоб жить нам на юге,— страстно проговорила она.— Как бы расцвели там Дюся и Кока.

— Что делать! — вздохнул Кольцов. Он встал.

— Неужели заниматься?— спросила испуганно жена.

— Нужно бы, очень нужно, но устал, и мысли в разброде. Пойду только отдам распоряжение на завтра. Не знаешь, Татищев и Стражинский...

— Целый день занимались,— перебила его жена,— и теперь, кажется, в конторе. Отпусти ты их или приходи с ними чай пить. Я буду вас ждать.

— Хорошо,— ответил Кольцов, уходя в контору.

Татищев и Стражинский приготовили Кольцову сюрприз. Он застал их усердно работавшими.

— Господа, вы меня стыдите,— проговорил Кольцов, весело с ними здороваясь.— Бросьте работу, ведь не каторжные же мы в самом деле.

— Скоро конец,— весело проговорил Татищев.— Ну, вот, смотрите, кончили мы то место, где вы хотите тоннель делать вместо мостов.

— Уж вычертили?— удивился и обрадовался Кольцов.

— Да надо же когда-нибудь кончать?— рассмеялся Татищев.

Кольцов растрогался и горячо пожимал руки Татищева и Стражинского. Он не утерпел, чтобы не прикинуть, как ляжет тоннель. Мало-помалу все трое так увлеклись, что и не заметили, как пробило два часа.

Анна Валериевна напрасно несколько раз звала их пить чай.

Горничная каждый раз приносила все тот же стереотипный ответ: «Сейчас». И Анна Валериевна снова посылала разогревать самовар, снова заваривала свежий чай, так как Кольцов не любил перестоявшийся. Горячие ватрушки давно уже простыли, поданный в пятый раз самовар опять стал совершенно холодным, Анна Валериевна с книгой в руках так и заснула на диване в ожидании, когда наконец Кольцов вошел в столовую. Он тихо подошел к жене и поцеловал ее.

— Миленький мой, как ты опоздал,— сказала она, просыпаясь.— А где же Стражинский и Татищев?

— Спать пошли — два часа.

— Два часа?— переспросила Анна Валериевна и замолчала.

Ей стало досадно, что и этот вечер ушел от нее.

— Вы мне ни одного вечера не подарили с тех пор, как я здесь,— тихо проговорила она, и слезы обиды закапали из ее глаз.

Кольцов горячо обнял ее и начал утешать.

— Скоро, скоро уж конец. Тогда опять все твои вечера.

Он рассказал ей, какой сюрприз ему устроили его товарищи, как незаметно они увлеклись проектировкой и как опомнились, когда уже было два часа.

Бжезовский приехал к Кольцову в назначенное время и изъявил свое согласие на участие в подряде. Нужно было торопиться ехать на торги. Кольцов давал ему всякие инструкции.

— Если бы даже мой вариант и не поспел к торгам, будет строиться все ж таки он, а не прежний, поэтому не спешите набирать большую администрацию, так как теперешняя линия на сорок процентов дешевле прежней.

Бжезовский уехал. Окончил и Кольцов свои варианты.

— Что бы вы сказали, Павел Михайлович, если бы я вас командировал с проектами?— спросил Татищева как-то Кольцов.

Татищев покраснел от удовольствия.

— Я с удовольствием,— ответил он.

— Стражинский наотрез отказался ехать в отпуск, а вы проситесь.

— Я с удовольствием,— повторил Татищев.

— А сумеете вы защитить нашу красавицу — новую линию?

— Она не нуждается в защите,— с несвойственной ему горячностью и уверенностью ответил Татищев.

— Очень рад,— ответил Кольцов.— Ваш ответ показывает убежденность, а когда человек убежден, он все сделает.

Татищев приехал в город за два дня до торгов.

Первым делом он явился к начальнику работ.

Его потребовали не в очередь.

В небольшом, скромно меблированном кабинете из угла в угол ходил лет пятидесяти главный инженер Елецкий, среднего роста, хорошо сложенный, с сохранившимися красивыми чертами лица.

Татищев вошел и поклонился.

— Здравствуйте,— медленно проговорил Елецкий, протягивая руку Татищеву.— Что скажете хорошенького?

— Вариант привез,— весело-почтительно ответил Татищев.

Легкая улыбка сбежала с лица Елецкого. На лбу появились складки, и он раздраженным голосом переспросил:

— Вариант? Опять вариант? Да так же нельзя, господа!

Татищев потупился и не нашелся ничего ответить.

Елецкий несколько секунд постоял, сердито махнул рукой и заходил по комнате.

Несколько минут тянулось тяжелое для Татищева молчание. Елецкий забыл о Татищеве и весь погрузился в свои мысли. Татищев слегка кашлянул.

— Извините, пожалуйста,— спохватился Елецкий.— Присядьте.

И он опять зашагал по комнате.

— Все эти варианты — прекрасная вещь, но всё в свое время,— заговорил Елецкий успокоенным голосом.— Вы, господа, совершенно забыли о постройке, а мы два года уже делаем изыскания. Мне проходу нет в Петербурге, когда я наконец начну постройку, а я в ответ то и дело вожу все новые и новые варианты. «Последний?» — спрашивают. «Последний»,— и через три месяца опять совершенно новая линия. Ведь наконец кончится тем, что нас всех прогонят, — остановился он перед Татищевым.

Татищев смущенно ерзал на стуле.

— Когда же конец будет?— наступал на него между тем Елецкий.— Через три месяца вы мне опять привезете новый вариант; когда только что приехал оттуда, дав чуть ли не честное слово, что изыскания окончены. Два года идут изыскания, а линии нет,— помолчав, продолжал Елецкий.— Варианты, варианты, без конца варианты.

— Живое дело,— робко заметил Татищев,— одно хорошо, другое лучше.

— Но ведь так же без конца может продолжаться,— вспыхнул Елецкий.— Где же конец? Наши изыскания сумасшедших денег стоят.

— Но каждый лишний рубль, истраченный на изыскания, даст тысячные сбережения в деле,— заметил Татищев.

— Так ведь это мы с вами знаем, а подите вы расскажите это в Петербурге, что вам ответят? Ответят, что дороже наших изысканий еще не было.

— Но экономия...— начал было Татищев.

— Да что вы все о своей экономии. Не говорите о вещах, о которых понятия не имеете. Я тридцать лет строю и знаю эту экономию на изысканиях. Дешево, хорошо, когда не начали строить, а чуть началось — и пошла потеха,— там неожиданно оказалась скала вместо глины, там плывун, там приходится вместо простого котлована кессон опускать, смотришь — вместо экономии перерасход. Знаю я эту экономию.

Елецкий зашагал опять по комнате.

— Теперь вы мне за два дня до торгов привозите новый вариант. Мы вот уже месяц сломя голову подготовляем данные, и что ж — теперь опять все сначала? Торги откладывать? Да попробуй я дать об этом телеграмму в Петербург — завтра же меня не будет и никого из вас.

Опять наступило молчание.

— Во всяком случае и думать нечего рассматривать новый вариант до торгов,— закончил Елецкий, останавливаясь перед Татищевым.

Последний поднялся и начал откланиваться.

— До свидания. После торгов я дам знать.

У Татищева вертелось в голове сказать Елецкому, с какой целью Кольцов торопился поспеть до торгов с своим вариантом, но он подумал, что это бесполезно и только вызовет новую бурю.

Татищев вышел в приемную с чувством школьника, хотя и получившего незаслуженную головомойку, но утешенного

тем, что пострадал не за себя, а за Кольцова. Мысль, что на три дня он совершенно свободен, привела его в веселое настроение.

Он через ряд комнат направился в техническое отделение проведать товарищей.

В чертежной он столкнулся с начальником технического отделения, пожилым уже инженером, с Иваном Осиповичем Залеским.

Залеский слыл за тонкого дипломата, но в сущности был добрый человек. Девиз его по службе был: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

— Павел Михайлович,—радушно поздоровался Залеский с Татищевым.— Сколько лет, сколько зим... Что Кольцов?

— Ничего, вариант прислал, кланяется.

— Опять? — спросил Залеский и весело рассмеялся.

— Николай Павлович недоволен.

— А, вы уж виделись с ним?.. Недоволен?— встревоженно спросил Залеский и, не дожидаясь, сказал: — Да, знаете, у него много неприятностей по поводу изысканий. Дорого стоят.

— Но что же делать? — на этот раз смело спросил Татищев,— ведь это гроши по сравнению с той пользой, какую они приносят.

— Конечно,— согласился Залеский.— Ну что, надолго к нам?

— В отпуск хочу.

— Может, жениться?

— Куда тут жениться,— махнул рукой Татищев и рассмеялся.

Залеский тоже рассмеялся и пошел в свой кабинет. А Татищев поворотил направо, прошел коридор и очутился в большой комнате.

Там сидело за отдельным столом три инженера.

— Павел Михайлович! — раздались приветствия на разные голоса.

Татищев поспешно здоровался, его широкое лицо сияло добродушием и весельем. Окончив, он сел на табурет и, ни к кому особенно не обращаясь, начал:

— Ну и вздули меня. «Опять вариант! — говорил он, представляя Елецкого,— вы что же, хотите, чтоб нас совсем вон прогнали?» — и Татищев покатился со смеху. Припадок смеха, по обыкновению, продолжался у Татищева довольно долго. Он умолкал, потом опять начинал.

Бельский, Дубровин и Денисов сначала с недоумением

смотрели на него, но кончили тем, что и сами начали смеяться.

— Да будет,— остановился наконец Бельский.— Говорите толком, в чем дело?

— Да вариант привез,— едва мог проговорить Татищев и залился новым смехом.

На этот раз дружный хохот четырех здоровых молодых голосов слился чуть ли не в рев.

Татищев кое-как наконец рассказал про вариант и про прием Елецкого.

— Большой вариант? — спросил Бельский.

— Тысяч шестьсот сбережения.

Бельский только свистнул.

— Молодец Кольцов,— горячо сказал Дубровин.

— Молодчина! — подтвердил Денисов.

Бельский, нервный и раздражительный, занимавший должность старшего инженера в техническом отделении, разразился ругательствами:

— А, скоты! Вариант в шестьсот тысяч, и чуть не с площадной бранью встречают. Подлая казенщина!

— Это, батюшка, еще цветочки,— сказал Дубровин.— Попомните меня, что кончат тем, что выгонят Кольцова.

— Ну, положим, не посмеют,— задорно ответил Бельский.

— Именно, что не посмеют,— расхохотался Дубровин.

— Понятно, не посмеют,— рассердился Бельский.— Общественное мнение не позволит.

— Ну, еще что?— насмешливо спросил Дубровин.

— Случись что-нибудь подобное, и никто из порядочных не захочет оставаться у них. Вы останетесь?

— Это другой вопрос, батюшка,— не в нас с вами сила. Мы уйдем, другие явятся.

— Не явятся, не то время.

— Да, испугаете вы их,— ответил Дубровин.

Денисов молча слушал и, когда спор кончился, спокойно проговорил:

— Конечно, уйдем, если б прогнали Кольцова, только этого не будет. Елька посердится и примет вариант.

— А я убежден, что не примет,— возразил Дубровин.

— Не примет,— согласился Татищев.

— Примет,— сказал Бельский,— Кольцов настоит. Вариант с вами?

Татищев принес вариант.

Компания начала внимательно его рассматривать. Каж-

дый делал свои замечания, поднялся спор, который чуть было не кончился ссорой между Дубровиным и Бельским.

Помирил их Денисов, выругав обоих.

— Вы, господа, право, как мальчишки, привязываетесь к каждому слову друг к другу. В сущности, спор у вас из-за выеденного яйца и общего с вариантом ничего не имеет. Перед вами вариант Кольцова: одобряете его или нет?

— Конечно, одобряем,— ответил Бельский.

— И я одобряю,— с важной физиономией сказал Денисов,— а потому предлагаю послать Кольцову приветственную телеграмму. Согласны?

— Молодец, Васька,— весело сказал Бельский и взъерошил волосы Денисову.

— Без нахальства,— тем же тоном продолжал Денисов.— Я составлю телеграмму. Я беру карандаш, я беру бумагу. Дальше...

Началось совещание. Окончательная телеграмма получилась такого содержания:

«Поздравляем прекрасным вариантом. Да здравствуют даровитые честные инженеры. Желаем успеха и дальнейшего саморазвития».

На последнем слове настоял Дубровин.

— Он поймет,— говорил он,— на что ему намеки.

Кольцов очень обрадовался телеграмме и несколько раз перечитывал ее.

— Это насчет моей теории они, мошенники, намекают,— добродушно объяснял он своей жене.— Ну, зима пройдет, займусь и теорией.

Теперь Кольцов все вечера проводил дома. Жена его повеселела и оживилась.

Кольцов, охладевший было за время работ к детям, теперь опять привязался к ним и по целым часам рассказывал своему трехлетнему сыну все ту же сказку.

Любимым его занятием было отыскивать сходство между собой и сыном. Эти исследования приводили Кольцова не к одним и тем же выводам. Сегодня Кока как две капли воды походил на отца, завтра только нос лопаточкой был в него, а остальное чужое.

— Ну, глаза еще твои,— обращался он к жене,— а остальное чужое.

— На кого ты похож? — спрашивала мать сына.

— На папу,— отвечал мальчик.

— Слышите, неблагодарный. Ваш сын знает больше вас.

— Отличное доказательство. Кока, кто умнее, папа или ты?

— Я.
— Кто умнее, папа или аргамак?
— Аргамак.
— Кого ты больше любишь, папу или аргамака?
— Арг...
— Кока,— перебивала его мать,— кого ты больше любишь, аргамака или папу?
— Папу.

У мальчика была страсть к лошадям. Лошадь была для него недосягаемым идеалом, к которому он всеми силами стремился. Бежать, как лошадь, есть, как лошадь. Если он упадет, то стоило ему сказать, что он упал, как лошадь, и несмотря на боль, а вскочит и весело побежит объявлять всем, что он упал, как лошадь.

— Папа, я упал, как лошадь! — кричит он еще из другой комнаты, усердно работая своими маленькими ножками.— Вот так! — и для примера еще раз падает на пол.

— Глупенький ты мой мальчик,— подхватывал его с полу Кольцов и высоко подымал вверх.

— Я не плакал,— лепетал между тем Кока.— Я мужчина.

Кольцов приходил в восторг и начинал теребить сына.

— Папа,— снисходительно говорил мальчик, стараясь вырваться из рук отца.

— Ну, говори про козла.

Мальчик принимал сосредоточенное выражение лица и начинал медленно, наставительным тоном декламировать.

— Смотрит козел в воду и говорит: «Какой я козельчик, какая у меня борода и престрашные рога. Если волк придет, я его убью». А волк слушает и говорит: «Что ты, Васька, говоришь?» А Васька говорит: «И-и, я ничего, ваше благородие».

Последнее время постоянный кашель изнурил и раздражил ребенка. Забегается ли слишком, начинается тяжелый приступ кашля. Мальчик кашляет, кашляет и вдруг тихо и горько заплачет. Столько бессильного страданья, столько горя слышалось в этом маленьком плаче, что жена Кольцова сама начинала плакать, а Кольцов готов был все на свете отдать, чтобы только облегчить его страдания.

— Уход плохой,— приставал Кольцов к своей жене.— Я не знаю, чего нельзя на свете сделать, если захочешь. Растирай его, парным молоком пой, давай малинку, пригласи еще из города доктора,— вот что надо делать, а не плакать.

Кольцов горячился, приставал к няньке и, по своему обыкновению, чем больше горячился, тем больше был неправ.

Делалось все, что можно было делать, но средства были бессильны. Доктор, впрочем, успокаивал и говорил, что с весной все пройдет. Понятно, с каким нетерпением ожидалась весна в доме Кольцова.

Прошла неделя со дня получения телеграммы Бельского и товарищей. Кольцов поехал на линию проверить разбивки. Уже совсем стемнело, когда, уложив инструменты, он поехал домой. Дорога шла по реке. Зима подходила к концу, но лед был еще крепкий. Всплыла луна и мало-помалу залила своим волшебным светом округу. Силузты оборванных скал сплошной стеной тянулись по обеим сторонам реки. Прежняя линия вследствие обманчивого света луны казалась где-то в недосягаемой высоте; новая, пользуясь естественными уступами, шла невдалеке саней. Кольцов с гордостью любовался делом своих рук.

«Та, прежняя,— думал он,— как старая ведьма, скачет там где-то в небе с утеса на утес. Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу».

И фантазия перенесла Кольцова в далекое прошлое.

«Сюда приходили,— думал он,— наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки, только здесь могла проявиться та дикая, непреклонная воля, какою одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода Ш, здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы зти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края. И как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтоб уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы, как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог. Общество право в своем раздражении на нас, инженеров. Оно не выяснило себе еще причины, ищет ее там, где ее нет, но история выяснит, именно причина в нашем неумение дешево строить. Мы как заимствовали тридцать лет тому назад способ постройки у наших дорогих соседей, так при нем и остались. Разве наша бедная русская жизнь может сравниться с богатым Западом? Если бы русский изобрел железные дороги, а не Стефенсон, разве дошли бы мы до той роскоши, какая царит на наших дорогах?

И что бы его могло вдохновить на бархат, зеркала, дворцы-будки, дворцы-вокзалы?— Наши перекладные? Наши бывшие почтовые станции? Наши нищие деревни? Наши грязные города с их гостиницами-клоповниками? Именно здесь, когда мы приступаем к этому великому пути, когда все окружающее здесь, вся история должны напомнить нам, что мы, русские, мы, инженеры, обязаны поставить на совершенно новую почву постройку дороги. Мы должны показать Западу, что мы, русские инженеры, способны не только воспринимать его великие идеи, но и культивировать их в условиях русской жизни. А это, в свою очередь, покажет на достаточную подготовку к самостоятельному творчеству. И, как некогда Ермак искупил свою и товарищей своих вину, так и мы, инженеры, дешевой постройкой должны искупить нашу невольную вину перед родиной».

Кольцову стало жарко. Он снял шапку и провел рукой по лбу. Его глаза горели и усиленно смотрели вдаль. Он точно видел себя лицом к лицу со всеми обитателями своей необъятной родины.

«Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это — напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви, что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь».

Мысль, что заслуг инженера путей сообщения в обществе не признают, неприятным диссонансом пронеслась в его голове. Но по свойству своей оптимистической натуры Кольцов подавил в себе неприятное чувство, рассуждая, что заслуга останется заслугой, а как непризнанная она имеет двойную цену.

Да, если бы удалось провести в жизнь все задуманное. Но как провести? Где найти то ухо, которое захотело бы услышать истину. Одни погрязли в рутине, другие преследуют корыстные цели, третьи устарели, четвертые просто ничего не понимают. Что толку, что Бельский, Дубровин, Денисов — сторонники взглядов Кольцова,— не в них пока сила. Как обратить внимание тех, от которых зависит решение вопроса?

«Время не ушло еще,— думал дальше Кольцов.— Я один ничего не сделаю. Вот разве в компании с Бельским, Дубровиным, Денисовым составить докладную записку на имя начальника работ о возможных сокращениях расходов при

постройке нашей линии. Если эта записка опоздает для нашего участка, то время не ушло для других. Экая досада, что раньше не пришло в голову. Что делать? Лучше поздно, чем никогда. Надо будет разбить эти вопросы по главной расценочной ведомости. Я предложу каждому из них взять по две главы и разработать все и с практической и с теоретической стороны, а сам займусь составлением общей записки. Не примут — мы будем спокойны, что свое дело сделали, а если примут...»

И горячая фантазия Кольцова унесла его в такую заоблачную даль, что нам с вами, читатель, следовать за ним не стоит.

Дома Кольцова ожидал весьма неприятный сюрприз, который сразу спустил его на землю.

— Миленький мой,— встретила его жена.— Придется вам ваши мечты о славе на время отложить,— она точно подслушала Кольцова,— вот телеграмма Татищева. Вариант не принят.

Телеграмма была следующего содержания:

«Вариант окончательно забракован. О радиусе 150 и тоннели слышать даже не хотят».

Для Кольцова это было полным сюрпризом.

— А черт с ними,— проговорил он упавшим голосом.

Он сел в кресло и уныло замолчал.

— И Татищев тоже хорош. Телеграфирует, точно его зарезали. Пойдут теперь сплетни по заводу.

— Что ж делать? — утешала его жена.— Ты, что мог, сделал, там уж не твое...

— А черт с ними,— еще раз апатично проговорил Кольцов.

Он встал, несколько раз прошелся и, скороговоркой проговорив: «Я спать пойду»,— ушел в спальню.

На вопрос жены:

— А обедать?

Он, уходя, ответил нехотя:

— Нет.

Жена Кольцова знала натуру своего мужа. Всякое серьезное огорчение вызывало в нем полный упадок сил и потребность продолжительного сна.

Не знавший усталости Кольцов, раздеваясь, почувствовал себя таким усталым, таким разбитым, что едва мог стащить свои тяжелые сапоги. Он почти мгновенно заснул и едва слышал, как его жена, наклонившись над ним, поцеловала его, прошептав:

— Не огорчайся, мое счастье, все, бог даст, будет хорошо.

«Хорошо,— машинально пронеслось в его голове.— Действительно хорошо»,— промелькнуло в последний раз в его засыпающем мозгу, и чувство сладкого успокоения разлилось по его членам. В то же мгновение крепкий, здоровый сон без сновидений сковал Кольцова. Он проснулся только на другой день, проспав четырнадцать часов.

Мысль о варианте только в первый момент неприятно кольнула его.

«Надо самому ехать»,— думал он, поспешно одеваясь.

Жена, услышав шум в спальне, вбежала с телеграммой в руках.

— От Елецкого,— проговорила она, целуя мужа.

Кольцов жадно схватил телеграмму:

«Из ваших вариантов останавливаюсь на линии прошлого лета. О радиусе и тоннели при теперешних условиях не может быть и речи».

Вежливый тон телеграммы успокоил Кольцова.

— Ну, вот это ответ. По крайней мере никакой пищи нет досужим сплетникам. Ясно, что в одном и том же месте двух линий сразу нельзя выбрать, а так как обе мои, то ничего и обидного нет. За эту деликатность я ужасно люблю Елецкого,— говорил Кольцов повеселевшим тоном. Жена Кольцова тоже просияла, увидев, какое действие произвела телеграмма на мужа.

За чаем Кольцов сказал ей, что решил сам ехать.

— Без разрешения? — спросила, испугавшись, жена.

Кольцов не ответил, так как и сам не знал, как быть. С одной стороны, нужно было торопиться, а разрешение затягивало отъезд, да и сомнительна была возможность его получения в данный момент, с другой — ехать без разрешения было невежливо и, пожалуй, рискованно.

— Могу испортить все дело. Он сам такой деликатный и терпеть не может неделикатности в других.

Решено было так. Кольцов телеграфировал Бельскому, чтобы тот действовал в смысле вызова его, Кольцова, для личных объяснений. Елецкому Кольцов послал телеграмму в двести пятьдесят слов. Тон телеграммы мало было бы назвать горячим. Страстные доводы Кольцов закончил следующими словами: «Прошу извинить за настойчивость, необходимость варианта настолько очевидна, что не может пройти незамеченной. Во избежание справедливых нареканий в будущем вынужден беспокоить вас просьбой разрешить лично приехать».

К вечеру Кольцов получил следующий ответ:

«Ваша телеграмма не переменила моего решения. Если считаете необходимым, приезжайте».

Кольцов выехал в ночь.

Оставлял он семью с тяжелым чувством. Кашель у Коки становился все сильнее. В самый момент выезда сильный припадок так ослабил мальчика, что он весь посинел и впал в легкий обморок. Такого припадка еще не было.

Тяжелое предчувствие недоброго конца этой болезни первый раз закралось в душу Кольцова. Всем существом рвануло его к сыну, он забыл все на свете, схватил его на руки, прильнул к его исхудалому личику, и горькие слезы полились из глаз. Прощанье было подавляющее и тяжелое. Никогда еще Кольцов не оставлял свою семью с угнетенным чувством тоски и сознания своего бессилия что-нибудь изменить из предназначенного судьбой. Первый раз после долгих лет рука его поднялась, чтобы осенить своего маленького сына крестом.

— Да хранит тебя господь! — с глубоким чувством проговорил он.

Кольцов остановился в квартире Бельского, Дубровина и Денисова.

Компания рассказала ему, что «Елька» страшно взбешен и против варианта. На торгах линия осталась за Бжезовским, и распорядителем работ был приглашен Делори. Делори тоже высказался против варианта, указывая на слабую его сторону — захват реки, и немало содействовал тому, что вариант Кольцова был забракован.

— Послушайте, Кольцов,— говорил ему Бельский на другой день, идя с ним в управление,— главное, не горячитесь. Помните, что с Елькой можно работать, он человек честный и действует по убеждению. Доказать ему всегда можно, но это надо сделать спокойно, рассудительно и толково. И вы это можете, если захотите. Смешно же, в самом деле, всю жизнь изображать из себя лошадь, которой чуть попадет вожжа под хвост — и пошла потеха. Вспомните только, что, двенадцать лет работая, вы еще ни одного дела не довели путно до конца. Начнете блистательно, потом по поводу выеденного яйца появляется на сцену вопрос о доверии, и — Кольцов за бортом. И кончается тем, что все сыграется в руку прохвостам. У вас дело правое и стойте за него до смерти,— пусть вас по суду гонят, если хотят, но с ка-

кой же благодати губить дело из-за личного самолюбия?

— Правда есть в ваших словах,— отвечал Кольцов.— Личного болезненного самолюбия у меня больше, чем надо, но я вам скажу одно. Четыре раза уже я бросал дело и уходил со скандалом. Временно мне были заперты все двери в нашем министерстве, но никогда я не жалел, что поступал так. При тех условиях не было другого выхода. Теперь иное дело. Во всяком случае я не буду горячиться, спасибо вам.

— Вас уже прозвали трубадуром, но если вы из теперешнего положения дела опять сделаете министерский вопрос, я буду называть вас бестолковым трубадуром.

— Не сделаю,— отвечал Кольцов.

В передней правления они расстались. Бельский прошел в техническое отделение налево, Кольцов — в кабинет начальника работ направо.

В ожидании приезда начальника работ Кольцов заглядывал во все комнаты правления, отыскивая знакомых. Все здоровались с ним радушно, но как-то обидно-снисходительно. Все знали про его неудачный вариант, и общее мнение было, что Кольцов, что называется, зарапортовался.

Выразителем общего мнения был Щеглов, правитель канцелярии.

— Что, батюшка, сорвалось? — встретил он Кольцова.— Ну, что ж делать? Не всякое лыко в строку. Надо вас и осадить немножко, а то этак вы через год и до министра доберетесь.

— Руки коротки для осадки,— строптиво возразил Кольцов.

— Будто коротки? — спросил Щеглов, добродушно подмигивая своему помощнику. И ласково прибавил: — Ну, ну, ладно, бог с вами. Где вы сегодня вечером?

Пришел швейцар и доложил, что начальник работ приехал и просит Кольцова.

Кольцов вскочил, застегнул пуговицу и, не прощаясь, быстро пошел за швейцаром.

— Будет баталия,— сказал Щеглов, закуривая папироску.— Надо послушать.

И он, собрав для подписи нужные бумаги, неспешной походкой направился к Елецкому.

Когда он вошел в рабочую комнату начальника работ, из кабинета донесся до Щеглова взбешенный, громкий голос Елецкого:

— Да что же это, наконец, такое? Слова нельзя сказать, как он свою отставку сует.

На этот возглас не замедлил взволнованный ответ Кольцова:

— Вариант необходим. Вопрос в том, что я, может быть, не сумел доказать вам его необходимость, вот почему я должен буду оставить свое место, чтобы уступить его более способному доказать это.

Щеглов постоял несколько мгновений нерешительно, махнул рукой и возвратился в свой кабинет.

Кольцов продолжал:

— Николай Павлович, поверьте мне, что я прекрасно знаю все те неприятности, которые вы испытываете, но чем же виновато дело, что во главе его стоят люди, не понимающие его? И, наконец, то, что сегодня не ясно, будет как на ладони, когда дорога выстроится. Огорчения теперешние будут пустяком по сравнению с теми, которые мы с вами испытаем тогда. Вы говорите, что нас выгонят. Для вас уступка невежеству непринятием моего варианта, может быть, имеет полный смысл,— вы этим спасаете все дело, но где же утешение для меня? Все мое дело заключается в этом варианте, мое неумение провести его в жизнь — уже тяжелое сознание своего бессилия, и неужели же мне, сверх этого, в течение двух лет постройки еще мучиться изо дня в день при мысли, что я строю не то, что должно, и что строится это только благодаря моей неспособности доказать, что белое — белое, а черное — черное? Вот что побуждает меня заявить о своей отставке. Это не взбалмошное чувство оскорбленного самолюбия. Я отлично знаю, что я теряю, оставляя службу,— лучше поставленного дела я не видал еще, да и вряд ли где-нибудь найду.

Кольцов замолчал.

Елецкий мрачно ходил по комнате. Молчание длилось несколько минут.

— Кончится тем, что мне самому придется уйти,— проговорил Елецкий, махнув раздраженно рукой. И обратившись к Кольцову, сердито спросил: — Где вариант?

Кольцов быстро развернул чертежи и взволнованно начал излагать идею нового варианта.

Через четыре часа Кольцов вышел из кабинета начальника работ, и по его счастливому лицу не трудно было угадать, в чем дело.

Елецкий вышел немного спустя, и прошел в кабинет своего помощника.

Инженер Стороженко, около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, с гладко выбритым лицом, густыми усами,

большими выразительными глазами, производил при первом взгляде впечатление человека слегка грубоватого, но добродушного и прямого. Но тем не менее это был дипломат в своем роде, как вообще все хохлы. Будучи безукоризненно честным, он строго держался правила: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Личную инициативу он проявлял только в том направлении, о котором знал, что оно будет одобрено. В вопросах сомнительных он хотя и выражался решительно, но так, что из его слов ничего нельзя было вывести.

Елецкий вошел и сел на диван.

— Что за молодец Кольцов! Трое-четверо таких инженеров — и можно хоть всю Сибирскую дорогу взяться строить.

— Он приехал?

— Только что от меня.— Елецкий помолчал.— Прекрасный вариант,— сказал он.— Только время упущено. Теперь в Петербурге опять пойдут разговоры.

Наступило молчание.

— Да,— неопределенно проговорил Стороженко.

— Семьсот тысяч экономии. Татищев напутал, совсем не так доложил, молодой. Возьму Кольцова с собой — пусть сам сделает доклад. Я там сам не был, ехать некогда, а на заседании могут подняться такие вопросы, на которые может ответить только работавший на месте.

— Конечно.

— Всю зиму работал в поле, Стражинского чуть не в чахотку вогнал.

Стороженко кивнул головой. В переводе это означало: «Так и запишем».

— Через неделю надо ехать,— сказал Елецкий, подымаясь.

После ухода Елецкого вошел Залеский.

— Ну что вариант Кольцова?

— Принят,— ответил Стороженко.

— Принят? — переспросил выжидательно Залеский.

— Семьсот тысяч сбережения. Прекрасный вариант Татищев напутал: молодой.— И, помолчав, прибавил: — Дельный работник Кольцов.

— Ах, какая энергия,— подхватил Залеский.

— Стражинского, кажется, в чахотку вогнал.

— Огонь,— весело рассмеялся Залеский.

В такой редакции и по городу пошла новая волна. Блестящий вариант, неутомимый Кольцов, Татищев напутал, Стражинский в последнем градусе чахотки.

Инженер Косяковский в обществе дам доступным языком излагал положение дел:

— Кольцов сам дельный человек. Сделал действительно прекрасный вариант, но выказал полное неумение выбирать подходящих людей. Татищеву поручил делать доклад. Я понимаю — поручить ему организацию пикника.

— Кольцов — это прелесть,— сказала Мария Павловна Звиницкая.— Я в прошлом году ехала с ним в поезде, и, право, если бы еще несколько часов наша поездка продлилась, я за себя не поручилась бы.

Звиницкая покраснела при всеобщем смехе. Вечером Мария Павловна так резюмировала матери содержание разговора:

— Кольцов прекрасный работник в сфере, какую может обхватить один человек, но, как распорядитель большого дела, никуда не годится, так как не имеет никаких способностей выбирать людей.

А Кушелев, отец Марии Павловны, управляющий соседней дорогой, на другой день добродушно говорил Елецкому:

— Придется, Николай Павлович, вам самому подобрать помощника Кольцову, а то он окружит себя такими, как Татищев.

— Да, непременно,— убежденно отвечал Елецкий.

— Павла Николаевича надо к нему. Это человек, который сумеет позаботиться об остальном, когда Кольцов, по свойству своей натуры, чем-нибудь увлечется.

Павел Николаевич Звиницкий, муж Марьи Павловны, тоже инженер, был одним из кандидатов на должность начальника дистанции на предстоящую постройку.

Елецкий промолчал на слова Кушелева.

Выбор инженеров de jure[1] зависел от Временного управления, de facto[2] — от начальника работ. По традиции начальнику участка предоставлялось право выбора между имеющимися инженерами.

Павел Николаевич на другой день после описанного разговора был у Кольцова и выразил желание быть у него начальником дистанции. Кольцов обещал, так как свободные места у него были. Штат Кольцова состоял из четырех начальников дистанций, одного помощника и одного техника. На роль помощника он имел в виду Татищева, на роль техни-

[1] юридически *(лат.)*.
[2] фактически *(лат.)*.

ка — Стражинского, на остальные места еще никого не имел в виду.

— Что, если я буду проситься к вам? — спросил его Бельский.

Кольцов с удивлением посмотрел.

— Неужели пойдете? — радостно спросил он.

— К вам пойду.

— Серьезно говорите?

— Конечно, серьезно.

— Я буду счастлив.

— А меня возьмете?— спросил Дубровин.

— И вы? С наслаждением. А вы? — обратился он к Денисову.

— Нет, я больной человек, на линию нельзя мне.

Стали строить планы близкого будущего. Выходило очень хорошо.

— Только Елька не пустит,— сказал вдруг Бельский упавшим голосом.

— Почему не пустит? — спросил Кольцов.

— Не пустит, — ответил Бельский.— Соединить нас втроем — что же это выйдет? Все вверх ногами поставим — и его не пустим на участок.

— Да как он может не пустить,— возражал Кольцов.— Это мое право выбирать начальников дистанций.

Бельский в тот же день закинул удочку и рассказал свой план Залескому.

При докладе Залеский, между прочим, сказал Елецкому:

— Бельский и Дубровин хотят проситься к Кольцову.

— Дудки,— ответил добродушно Елецкий.— К этакому кипятку, как Кольцов, прибавить двух таких головорезов — они всю линию разнесут. Кольцову не пару подбавлять, а тормоза нужны.— И, помолчав, Елецкий прибавил:— Надо с этим кончить. Сегодня вечером приходите, составим списки на участки, и ночью надо их отпечатать. С конченым делом и разговоров не будет, а сегодня мне придется уж дома заниматься, чтобы избавиться от этих просьб. Скажите, что я заболел.

Кольцову так и не удалось в тот день поговорить с Елецким о своем штате, а на другой день в управлении уже был отпечатан приказ начальника работ о назначениях.

Переговоры Кольцова с Елецким на эту тему оборвались на первой фразе Елецкого:

— Я завален просьбами о назначениях. Начальники

участков почти все одних и тех же приглашают, остальных никто не желает. Начальники дистанций почти все к одному просятся, к остальным не желают. Чтобы избавиться от этих бесконечных просьб, я решил изменить на этот раз способ назначения и сам всех назначил. Так как ваш участок самый трудный, то вам и назначены лучшие силы: Звиницкий, Штомор, Мартино, Касович и ваши прежние Татищев и Стражинский.

— Я хотел было просить о Бельском и Дубровине.

— С кем же я останусь? — вспыхнул Елецкий.

Через неделю Елецкий и Кольцов выехали в Петербург.

Доклад сошел благополучно и, сверх ожидания, был встречен очень милостиво. Радиус сто пятьдесят, излюбленное детище Кольцова, пришелся как нельзя кстати.

В Петербурге в высших служебных сферах уже был возбужден вопрос об уменьшении радиуса.

На замечание председателя Временного управления, что жаль, что не употреблен при изысканиях радиус сто пятьдесят, Елецкий с достоинством ответил:

— Я привез вариант с радиусом сто пятьдесят.

Передавая Кольцову об этом, Елецкий сказал:

— Вот и толкуйте с ними. В прошлом году на заседании мое предложение насчет радиуса было единогласно отвергнуто, а в этом году они готовы меня же упрекнуть, зачем не ввел его.

И, помолчав, Елецкий пренебрежительно бросил:

— Флюгера!

Во Временном управлении Кольцов узнал, что необходимость радиуса сто пятьдесят настолько сознана, что Временным управлением уже началась перепроектировка существующей профили. Это дело было в заведовании товарища Кольцова — Никольского.

— Мы и до вас добрались, — сказал Никольский, разворачивая план прежде представленного Кольцовым варианта линии.— Объясните, пожалуйста, как нам быть. Возьмешь вашу профиль, начнешь откладывать на план — в воду залезешь. Начнешь по горизонталям откладывать, расстояния и углы не выходят.

— Ну? — спросил Кольцов.

— В чем тут дело? — не без ехидства переспросил Никольский.

— Очевидно, что в плане ошибка,— ответил Кольцов.

— Да, тогда, конечно, понятно,— колко согласился Никольский.

— Еще мы заметили,— начал Никольский, но замолчал и начал рыться в бумагах.

— Что еще? — переспросил Кольцов, волнуясь и чувствуя себя неловко.

Никольский достал профиль и проговорил:

— Вот. Тангенс 37.75, другой — 40.52, вставка 30 — сумма 78.97, а по пикетам длина линии 75.97.

— Опять ошибка,— покраснел Кольцов.

Никольский насмешливо улыбнулся и стал собирать бумаги. Несколько инженеров собралось и с любопытством смотрели на Кольцова.

— А еще в моем варианте вы ничего не заметили?

— Больше, кажется, ничего,— ответил Никольский тоном, говорившим, что и этого довольно.

— А экономии этого варианта против прежней линии на миллион сто тысяч рублей не заметили? — желчно спросил Кольцов.

Никольский удивленно посмотрел на Кольцова, но, встретив его налившиеся кровью глаза, быстро отвел свои и быстро стал собирать бумаги.

— И вам не совестно? — наступал на него Кольцов.— Этот план, эта профиль — это мое вам донесение, что сделано миллионное сбережение. Это донесение полководца, что выиграно блестящее сражение, а вы, совет десяти в Венеции, ищете грамматические ошибки в рапорте и, опуская содержание, готовы начать обвинение за грамматические ошибки. Стыдно. Если вы грамотные, то по профилям можете убедиться, что места, где сделан вариант, сплошь состоят из разорванных скал, где немыслим математически точный промер: скалы, где два человека у меня вдребезги разбились, где каждое проложение цепи связано буквально с опасностью жизни. Вы ищете точности в три сажени на двадцативерстном расстоянии, когда от отсыревшей линейки и сухого помещения всегда может получиться такая ошибка.

— Это не наше дело.

— Не ваше. А какое же ваше дело? Игнорировать, сводить на нет, садить в чернильницу?

— Да что вы с цепи сорвались? — окрысился Никольский.— Если вы будете так говорить, я должен буду прекратить наш разговор. Никто вас ни в чем не упрекает, показал вам ошибки, которым вы сами только и придаете значение. Всякий понимает, что требовать математической точности

нельзя, но стремиться к ней необходимо. О чем же говорить? А все эти миллионы здесь ни при чем. Сберегли их, и слава вам, мне от этого ни тепло, ни холодно — мое дело просмотреть вашу профиль и сверить ее с планом. Сверил, нашел ошибку и докладываю вам как товарищу, показал и в благодарность получил ругань.

— Да я вовсе вас и не хотел трогать,— отвечал сконфуженно Кольцов.— Я только хотел указать на ту китайскую стену, где недосягаемо ютится вся мерзость казенного дела,— нанести удар может всякий, кто пожелает, а защититься от таких ударов никакими миллионными сбережениями нельзя.

— Ох, бедненький, беззащитный,— сказал Никольский.— Обидели,— обидишь вас, сам всякого обидит.

Окружающие инженеры рассмеялись. Кольцов тоже добродушно смеялся.

— Вы зачем в Петербург приехали? — спросил его Никольский.— Для того только, чтобы нам заявить, что вы миллион сократили?

— Для этого и, кстати, чтоб сказать вам, что и другой миллион еще привез.

— Вариант?

— Вариант.

— Черт знает что — как блины печет он эти варианты. Да вы что сразу не сделаете как следует?

— Опять булавка. Опять полное незнакомство с тем, о чем говорите,— шутливо отвечал Кольцов.— Сразу, господин, ничего не делается. И прыщ сначала почешется, а потом уже выскочит.

— Какой он недотрога стал,— заметил Никольский.

— Недотрога,— вспыхнул Кольцов.— Пятнадцать лет тому назад за все свои варианты я получил бы тысяч триста премии да поклон в ножки от хозяина-концессионера, который на всех перекрестках будет расхваливать меня, а теперь я чуть не Христа ради выпрашиваю как милостыню принять мои варианты и должен считать для себя как милость высокоснисходительные замечания вроде ваших: почему сразу не сделали. Да, черт меня побери, сколько надо было поломать голову, чтоб выдумать такое положение дел, чтобы всякий участник в деле не только не был бы заинтересован в успехе, но, наоборот, всю помощь свою невольно направлял к тому, чтобы с такой стороны осветить вопрос, чтоб сразу все дело свелось на нет.

— Эк его распирает, подумаешь, что он не с полюса,

а с экватора приехал. Из мухи, батюшка, слона делаете — на все в увеличительное стекло смотрите. А вы смотрите проще — люди как люди. Что вы мне — брат, сват, чтобы я за вас радовался и на стену лез. Ну сделали и сделали, долг свой исполнили, чего вам еще? А где наврали, так и наврали. Что ж нам прикажете делать, для чего ж мы, по-вашему, здесь?

— Да, по-моему, вы совершенно бесполезный народ, если только для того и сидите, чтобы наши ошибки искать, так как таких инженеров из такого же теста, как вы, уже сидит сто человек.

— И все ж таки ошибки не досмотрели.

— А что толку, что вы досмотрели. И ошибка-то только вашим существованием вызвана. Для вас специально и тратим время на разрисовку этих картинок.

— Армия никогда не признает штаба, а без штаба все ж таки армия сброд баранов,— отвечал Никольский.— В данном случае вы, может быть, и правы, но есть миллион случаев, о которых, очевидно, вы не имеете и представления. Не было бы вашего Временного управления, например, с властью, большею, чем у министра, все вопросы должны были бы проходить через Государственный совет, а для живого дела, вы понимаете, что значит? Идет у вас дело хорошо — мы молчим, а вдруг злоупотребление и нужно его прекратить в двадцать четыре секунды — вот мы тут как тут. Сдаются подряды, а цена сумасшедшая — готово veto[1]. Понимаете, господин?

— Если бы в России строилась целая сеть дорог, тогда я еще понял бы, но когда строится в год одна дорожка, то содержание штата, стоящего до миллиона, ложащегося бременем на одну дорогу, я не понимаю. За одним человеком уследить и так можно, а не хватает власти, то ввиду того, что это уже означает факт,— в чем же дело? Усильте министра и консула. А при таком положении, когда вас двести на одного, за неимением настоящего дела вы будете выдумывать себе его — это и дорого и ведет к деморализации. Нужно девать куда-нибудь избыток сил — нельзя направить на дело, на безделье можно. Результат — сплетни, интриги, сажание в чернильницу и прочие атрибуты людей, не занятых настоящим делом. Вдобавок так вы все здесь поставлены, что вы ничем не заинтересованы в успехе дела, а, напротив, ваша заслуга найти пятно. И по службе выслужился, да и конку-

[1] запрет *(лат.)*.

рента лишнего устранил. Пожалуйста, не возражайте, факт налицо: из всех ваших начальников работ кто ушел не с замаранным хвостом. А ведь были люди, заслуживающие высокого уважения, что ж вы с ними сделали,— одного прогнали, другого довели до самоубийства, третий с ума сошел. Что вы с Елецким, наконец, делаете? — Ведь недели не проходит, чтобы вы ему какой-нибудь каверзы не придумали. Ну вот хоть сейчас. Десять человек занимаются под начальством Дубинина перепроектировкой профиля на радиус сто пятьдесят. Все это потихоньку, чтобы сюрпризом послать ему: вот, дескать, тебе,— за три тысячи верст сидим от линии, а лучше тебя видим, что нужно делать. А в прошлом году сами же отказали в этом Елецкому. Ведь гадость же. Ну вызвали бы его, предложили бы, а то тайком. Хорошо, что Елецкий маху не дал и на этот раз сам привез вам радиус сто пятьдесят, и, кстати, этим же показал, что такую работу необходимо делать на месте, а не в кабинете. Я смотрел эту перепроектировку, стыдно просто, поняли бы хоть одно, что раз новый радиус разрешен, то для него и новые места нужно выбрать, а они себе по тем же местам валяют. Сто тысяч, говорят, экономии, когда я с одного своего участка привез семьсот. В том-то и ваше горе, что вы или забыли живое дело, или не знаете. Иначе бы таких глупостей не делали. Вместо того чтоб обставлять все дело так, что благодаря только чуду могут получаться сокращения,— поставьте дело рационально.

— А как же его, по-вашему, надо поставить?

— А вот как. Если я вам выложу на стол миллион и подарю с тем, чтобы из него вы мне отдали пятьдесят тысяч, то вы согласитесь на это, конечно. Концессионер-хозяин понимал эту логику, и самой выгодной статьей были у него изыскания. Для этого достаточно сравнить в прежних постройках предварительные и окончательные изыскания — разница в миллионах. Возьмите правительственные постройки — разница между предварительными и окончательными почти никакой. Кому надо заботиться об сбережениях, тратить силы, здоровье, деньги, наконец, так как два рубля пятьдесят копеек суточных кому же хватит на жизнь в Петербурге? А у кого денег нет лишних? А у кого охоты нет переносить одни обиды,— так на долю изыскателей только это и выпадает? Ведь это нарочно надо придумать такие не обеспечивающие дело условия. Жаль пяти процентов и не жаль девяноста.

— Казна в данном случае смотрит так: премия — демора-

лизация. Ты гражданин, ты обязан исполнять свой долг, и надо полагать, что и без премий ты сделаешь все, что можешь.

— Это довод или мошенника, или дурака. И вот почему. Оттого, что казна смотрит на человека, как на идеальное существо, человек не переменится и останется тем же, чем был,— пострадает одна казна. Что это за утешение, что он должен? Но он не делает. Можете вы его проверить? Нет, конечно. Вот вам факт налицо. Уже четвертый мой вариант вы мне утверждаете. Уже два с половиной миллиона вы бы заплатили, а может быть, и теперь вы в других местах платите. Вы ведь этого не знаете, для того, чтобы это знать, нужно горизонталями снять всю страну, работа, стоящая дороже самой линии? Где у вас гарантия, что человек приложил все свои силы и сидит действительно достойный, а не бабушкин внучек? Ваша гарантия в том, что вы наполовину уменьшили содержание, уничтожили премии, игнорируете, на нет сводите заслуги и при всем том остаетесь в сладком убеждении, что всякий должен исполнять свой долг. И это в коммерческом деле, когда рядом тысячи коммерческих дел, где людей считают за людей и умеют ценить их. В результате все опытное, все знающее, все способное ушло. Осталась посредственность, подлая посредственность, которой каждое напоминание об ее ограниченности колет и режет глаза. Выиграла ли от этого казна? Один убыток как в нравственном, так в материальном отношении. В нравственном понятно, а в материальном еще понятнее: наши изыскания ведутся уже два с половиной года и стоят дороже любых концессионных,— то, что опытный сделал бы сразу, неопытный сделает в несколько раз, я не беру во внимание ленивых, неспособных. Количество начальников тоже несравненно больше. Все это еще яснее в постройке. В концессионном способе была одна администрация и затем система мелких рядчиков. У нас контроль, вы, мы, линейные инженеры в количестве большем против концессии и, наконец, участковые подрядчики с администрацией, не уступающей нашей. Смело можно сказать, что на одного прежнего приходится теперь трое служащих, из которых подрядчик продолжает преисправно в большем против прежнего количестве получать содержание и премии. Несостоятельность казны очевидна: очутившись благодаря бумажным сбережениям со штатом, не годным для работы, она вынуждена взять подрядчика и за пятнадцать процентов бумажной экономии отдать сто процентов подрядчику. Это факт. Пос-

мотрите любую смету подрядчика: на администрацию, ее премии, проценты на капитал и заработок себе он кладет тридцать пять процентов от всей суммы. Сумма прежних премий (пять процентов) составляет пятнадцать процентов от этой суммы. Кто может так действовать? Или человек, не знающий того дела, за которое берется, или дурак, который не умеет доказать государству, в чем истина, и этим позволяющий грабить это государство, или подлец, умышленно заинтересованный в таком положении дел. А с виду выходит очень хорошо: никому не обидно из чиновников — всем жалованья убавили — не те-де времена. Общество успокоено, что период хищений кончен. Вам угодно родине служить, полезным быть отечеству — вот вам грош, а вы хотите казну грабить — вот вам миллион. Умненько придумано.

12 Заказ 1277

I

На одной окраине Москвы, близ Сокольников, есть Гуменная улица. Улица эта глухая, малонаселенная, с кое-какими деревянными домиками, набитыми разным сбродом. Изо всех построек улицы выделялась небольшая красильная фабрика, приютившаяся на конце улицы. Постройки ее состояли из двух двухэтажных корпусов, одного каменного, другого деревянного. Оба корпуса выходили на улицу только боком и тянулись параллельно внутрь двора, образуя между собою довольно порядочное пустое пространство. В каменном корпусе окна были широкие, как у казарм, и закоптелые, у деревянного же — обыкновенные, украшенные белыми кисейными гардинами.

По улице между корпусами тянулся деревянный забор с воротами посредине. На столбах ворот красовались два полинявших железных листа, на которых тусклыми буквами обозначалось, что дом принадлежит московскому купцу Е. Ф. Жарову и что он «свободен от постоя».

Лучше жаровской постройки был только дом напротив. Он принадлежал, как значилось на доске, И. Х. Тейхер и напоминал своим фасадом особняк: он немного вдался внутрь двора, перед окнами его каждую весну разбивался цветник, а на фронтоне красовались настоящие часы. Но этот дом тоже не был барским домом: изнутри его двора поднималась огромная светло-коричневая железная труба, коптившая небо каждый день, и из ворот его во время обеда и по вечерам выходили люди; старый, седой сторож в белом фартуке

заставлял распахивать полы одежды выходивших мужчин или женщин и проводил руками по бедрам. Из жаровской фабрики люди выходили только под праздники или в праздники. Тут людей жило не так много, и они по закону могли помещаться там, где работали.

Работали и помещались жаровские рабочие в одном каменном корпусе. Весь верх одной половины корпуса был занят кладовой и спальней красильщиков, внизу же была красильня. В красильне всегда кипели котлы, стоял удушливый запах растворенной кислоты, употреблявшейся при отбелке товара, клубился густыми облаками пар, сквозь который трудно было что-нибудь разглядеть с непривычки. В тумане мелькали люди, слышался говор, крик.

В другой части этого корпуса, в той, которая выходила на улицу, внизу помещалась клеильня и лежали камни для курченья окрашенного товара — гаруса и бумаги, а вверху — сушильня и спальня клеильщиков.

Спальня клеильщиков считалась более аристократическим местом, чем помещение красильщиков, так как мастерство клеильщика было высшего разряда. Они получали больше жалованья, и им, как и красильному мастеру, ездоку и дворнику, полагался два раза в день хозяйский чай, а по праздникам по пшеничному пирогу, тогда как остальные рабочие не видали чаю всю неделю и пили его только в праздничные дни в трактирах. Сюда чаще, чем в красильню, заходил позубоскалить хозяйский брат, ведущий весь надзор за фабрикой, Иван Федорович, красивый русак лет пятидесяти, с длинной, серебристой бородой, прямыми чертами лица и твердым взглядом больших голубых глаз. Он ходил в высоких опойковых сапогах, в белой с крапинками рубашке, глухой жилетке, в люстриновых шароварах и при часах.

Его старший брат, хозяин этой фабрики, разнился с Иваном Федоровичем и фигурой, и чертами лица. Они у него были не так правильны: лоб низкий, нос луковицей, и в выражении лица и глаз не было той прямоты и твердости, как у Ивана Федоровича,— в них всегда скользила лукавая усмешка. Эта усмешка не сходила с его лица ни в разговорах с семейными, с давальцами, ни когда он делал какое-нибудь распоряжение насчет работы; только когда он сердился, усмешечка пропадала, и то ненадолго: стоило ему вылить свой гнев,— и лицо его принимало опять обычное выражение, говорившее, что обладатель его никогда не испытывал больших забот и невзгод и никогда в нем не возникало мучительных, неразрешимых вопросов.

II

Братья Жаровы были природные мужики. Они выросли и женились в деревне, где-то в Дмитровском уезде. Жены их до сих пор повязывали головы платком. Жена старшего, толстая бездетная Соломонида Яковлевна, надевала в торжественных случаях зеленое шелковое платье с массой оборок и рюшек, сшитое лет двадцать назад; но сморкалась всегда в руку, причем руку вытирала об изнанку платья, поднимая для этого подол. Жена Ивана Федоровича иногда ходила с непокрытой головой и умела шить на машине. У нее была дочь Капа; ее уж Дарья Ивановна одевала, как барышню, и посылала учиться в начальное училище.

В Москве Жаровы поселились лет двадцать пять назад. До этого они жили в Москве набегом, поступая то на одну, то на другую фабрику. В одно время они поступили ручными ткачами к фабриканту Курчавому. Курчавый был фанатичный старообрядец, не любивший немецкого платья, табаку и всех «щепотников», никонианцев. К рабочим церковным он питал враждебные чувства и давал им основы похуже, к своим же единоверцам чувствовал неограниченную слабость. Жаровы были церковные, но трезвые, грамотные и оба жадные до работы. Один раз Егор Федорович пришел к хозяину в контору по делу. Хозяин был занят разговором с каким-то неизвестным на фабрике господином. Он укорял его за то, что от него пахнет табаком. Гость с улыбочкой защищался.

— Ну для чего ты сосешь это дьявольское семя? Для чего, скажи? — горячо приставал к неизвестному Курчавый.

— Я курю табак, а не дьявольское семя,— мягко говорил гость.— У нас ничего нет от дьявола, а все от бога. Что растет, то богом создано; дьявол же не создает, а разрушает.

— А на что же он растет?

— Видимо, «на потребу» людям.

— Какая же это потреба — сатане уподобиться: изо рта дым изрыгать? Это мерзкий грех, а не потреба...

Жаров решился вмешаться в разговор и заметил:

— Вы говорите, что табак богом сотворен, а почему же на табачный цвет пчела не садится? На всякий цвет садится, а на табак нет!

— Да, вот скажи-ка!— поддержал ткача и хозяин.

— Должно, ей взять там нечего,— очень просто,— сказал гость и засмеялся.

— Нет, тут совсем другое дело...— молвил, качнув головой, Жаров и многозначительно поглядел на гостя.

Курчавому понравилось такое вмешательство ткача, и, когда гость ушел из конторы, он спросил Жарова:

— Ты что же, парень, стало быть, нашего согласия?

— Нет, я церковный, только в куреве не вижу никакого толку и думаю, что оно грех.

— Знамо, грех... А ты грамоту-то знаешь?

— Малость маракую.

— Може, и писание читал?

— Приходилось. В деревне у меня книжки есть, а тут вот некогда, да и книг с собой не захватил.

Курчавый немного подумал, потом проговорил:

— Приходи ко мне когда; у меня книги хорошие, старинные,— почитаешь побольше, узнаешь, в чем грех-то.

Жаров взял у хозяина книгу, почитал, и, когда возвращал ее, хозяин опять затеял с ним разговор. После этого разговора Курчавый иногда сам стал завертывать к его стану, обходя фабрику, а через несколько времени перевел его в контору, дал какое-то пустяшное дело, назначил хорошее жалованье и стал уговаривать:

— А ты бы, Егорушка, бросил своих никонианцев да перешел к нам. Парень ты мозголовый, а молишься щепотью и молитву не по правилу говоришь. Зачем ты называешь богородицу «благодатная Мария», когда ее следует величать «обрадованная Мария»?

— Мы, Николай Григорьевич, народ темный; чему нас, значит, учили, к тому мы и притвержены.

— И учили вас дураки, и живете вы дураками; а ты послушай-ка тех, кто с умом; може, складнее дело-то выйдет.

Жаров не устоял и «перековырнулся». Хозяин приблизил его еще более. Через год он умер и завещал наследникам выдать Жарову тысячу рублей. Наследники выдали ему тысячу рублей, но нашли его службу в конторе ненужной и хотели перевести его опять за стан. Егору Федоровичу это не понравилось. Он взял расчет, снял в Черкизове квартиру, переманил с фабрики брата и одного земляка, знавшего красильное дело, и открыл свою фабричку. На помощь братья выписали жен. Через год фабричка имела столько давальцев, что они одни еле успевали справиться с работой. Для дела оказалось неудобным и место и помещение, и через несколько времени на фабричке случился пожар. Красильня сгорела. Жаров получил страховку и нанял более подходящее помещение; обставил его, как следует, застраховал в двух обществах, и через три года и это помещение сгорело. На этот раз страховки Жарову вышло более десяти тысяч.

Жаров перебрался на Гуменную улицу, купил этот дом и повел дело еще успешнее. А так как дело было очень простое,— при помощи Ивана Федоровича ему не нужно было ни конторы, ни администрации, а потребности у них были очень скромные,— то Егору Федоровичу оставались такие барыши, какие редко кто получал от фабричного предприятия в таком размере.

Старообрядчества Егор Федорович не кидал. Иван Федорович пробовал говорить ему,— зачем он держится такой веры; но Егор Федорович возражал ему тем, что по переходе в эту веру его бог удачей взыскал,— значит, эта вера богу приятней. И он, как и его бывший хозяин, стал пренебрегать «щепотниками», никонианцами, и отдавал предпочтение старообрядцам.

III

В клеильне работало трое. Клеильный мастер, дядя Алексей, старый артиллерийский солдат, высокий, светлобородый, немного кривоногий, трезвый, семейный. Он хотя имел в спальне уголок, но ночевать ходил на вольную квартиру, где у него жила жена. Он был богомольный, каждый праздник ходил к обедне, покупал копеечные листки и читал их. Он и другим советовал читать их, но его как-то мало слушали.

Другой клеильщик был Федор Рябой, действительно рябой, высокий, с бельмом на правом глазу. У него тоже была жена, но работала на другой фабрике. Иногда она приходила к нему, а то он отправлялся к ней.

Третий был Гаврила, живший в Москве одиноко. Жена и дети находились в деревне. Он был маленький, худощавый, но жилистый, с редкой белокурой бородой, всегда в синей заскорузлой рубахе и рядновом фартуке. Кроме клеильщиков, тут помещались курчаки. Курчаки обязаны были выкрашенную и заклеенную бумагу курчить, то есть бить ее о камень до тех пор, пока она не сделается курчавою, как мелко завитые волосы. Потом бумагу вешали в сушилку, там она просыхала, и ее опять запаковывали в пачки.

Курчаков у Жарова было пятеро. Двое были совсем незаметные, но трое несколько выделялись из них. Один был Сысоев, тоже бывший солдат, коренастый, одутловатый, с бритым лицом и густыми черными усами. Он прежде жил в пожарных, в маленькой типографии вертельщиком, в трактире кубовщиком, но пропивался, и его отовсюду прогоняли. К Жарову он поступил года два тому назад, прижился и

чувствовал себя пока хорошо. У него были в деревне братья, но он от них отбился, как пришел со службы. Они не удерживали и его жену; жена пошла в Москву, связалась здесь с одним приказчиком и уехала в Одессу. Сысоев горько жаловался на братьев и все грозился, что он пойдет к ним и потребует свою часть, особенно когда бывал пьяным. Но он уже несколько лет не был дома; завел себе приятельницу, какую-то Бурлиху, женщину без определенных занятий, и, получивши жалованье, ходил к ней, кутил с нею весь праздник, прокучивал все и опять работал до следующей получки.

Другой курчак был Абрам. Этот и родился в Москве, и брал паспорт в мещанской управе. Он был очень вялый, после работы всегда охал и держался за те места рук, которые выше локтей, жалуясь, что они у него болят. И по лицу было заметно, что он не совсем здоров. Оно было бескровное, глаза воспаленные, черная всклокоченная борода торчала как-то беспомощно. Он знал грамоту, любил божественное и имел семью. Его жена и маленькая дочка ютились где-то на Немецкой улице и занимались нищенством. Жена, маленькая, юркая, оборванная бабенка с необыкновенно красными пятнами на щеках, часто приходила к Абраму, приносила ему ситного, черствых пирогов, которые ей подавали в купеческих домах, и все соблазняла его бросить фабрику, идти жить с ней и заниматься ее ремеслом, которое было легко и прибыльно. Но Абрам не соглашался.

— Вот в монастырь я бы пошел,— говорил он иногда,— только жена связывает.

— Чем она связывает? Иди,— она без тебя проживет,— говорили ему товарищи.

— Где ж проживет! Соскучится.

— Соскучится — другого найдет,— велика штука!

— Другой не то: она меня любит,— с уверенностью говорил Абрам и мечтательно задумывался.

— Любит, как собака палку,— смеялись над ним.

Абрам с негодованием оглядывал своих товарищей и начинал горячиться.

— Нет, не так,— она меня вот как любит!.. Вы бы поглядели, как она меня жалеет!..

— Есть кого жалеть! Она лицемерит! Тебя жалеет, а сейчас, поди, с кем-нибудь за сороковкой сидит.

— Ну уж нет! Она — честная баба: с кем-нибудь не пойдет! она не Бурлиха...

— Что ты Бурлиху задеваешь?— вскидывался на Абрама

Сысоев.— Что она тебе — таковская далась? Ты смотри, брат, не очень...

Затевался спор, в котором Абрама доводили до белого каления, и все над ним смеялись...

Третий курчак был Ефим. Он отличался от всех необщительностью, сосредоточенностью и трудолюбием. Работал он усердно и всегда молчал, ни над кем не смеялся, ни с кем не ссорился. Он был сектант, но какой секты — никто не знал. Из себя он был коренастый, среднего роста, с большой бородой, строгим, бледным лицом. Он ни с кем не дружил, и его как-то мало любили.

Спали клеильщики и курчаки прямо на полу, расстелив ряднины, и на день сваливали все свои постели в кучу в углу, так как в помещении приходилось паковать бумагу, и постели могли помешать. Только над лестницей в уголке были устроены небольшие нары. Это место принадлежало ездоку Егору.

Егор был тульский, жил у Жарова много лет и никогда не ездил в деревню; только один раз к нему приезжала жена, маленькая, худая, сморщенная бабенка, в поневе и лаптях. Егор, крепкий, мускулистый, с бородой лопатой, в кумачной рубашке, в жилетке и при часах, все время пилил ее и говорил: «Ну, зачем ты приехала? Ну, зачем? Ведь я деньги вам шлю,— чего же тебе еще надо?..» Жена прогостила у него три дня, и он опять проводил ее домой. После этого вот уже лет пять прошло, как она у него не бывала...

В будни все были заняты работой. Ночью спали. Так шли дни за днями. Перед праздником будничное однообразие несколько нарушалось. Все мылись в красильне, заменявшей им баню, надевали чистое белье и шли мирно о чем-нибудь беседовать или слушали чтение. Читал больше Абрам. Он или открывал «Жития», или брал у Ивана Федоровича получаемые им «Полицейские ведомости». «Жития» все слушали благоговейно, без замечаний, без рассуждений. «Полицейские ведомости», наоборот, вызывали массу толков. До войны любимым местом газеты был отдел о городских происшествиях, о кражах, убийствах и самоубийствах. Потом читался отдел объявлений: «Продается дом», «Пропала собака», «Нужна прислуга»... Когда же открылась война, читались телеграммы, велись обсуждения военных действий; причем дядя Алексей и Сысоев, как бывшие солдаты, говорили всегда авторитетно и внушительно. Но кончилась война, прошли дни свободы, и снова все вошло в прежнюю колею.

Каждый день в спальню заходил дворник Михайла. Он

был белобрысый, рябоватый, большой зубоскал и щеголь,- всегда в чищеных сапогах, в пиджаке и белом фартуке. Он пользовался большою любовью у женского пола. С ним любилась одна моталка с Тейхеровской фабрики, зубоскалила прислуга из соседних домов, была любезна хозяйская кухарка, молодая солдатка Авдотья, и артельная стряпуха Марфа, мужественная вдова лет сорока. Он всегда откровенно говорил о своих похождениях или рассказывал сказки. На сказки он был большой мастер и знал их многое множество. Он был всегда весел, шутлив, и при виде его многим самим както становилось веселей. Его на фабрике почти все любили.

IV

Наступал весенний вечер.

На соседнем дворе был сад. Он только что распускался и благоухал. По заборам из земли пробивалась молодая зеленая травка. По улицам дребезжали легковые извозчики и гулко стучали ломовые, перевозившие москвичей на дачу. В красильне сегодняшняя партия была окончена, и красильщики высыпали на двор в одних опорках, в фартуках, кто с синими, кто с красными руками, которые не отмывались никогда, и если кому хотелось видеть их белыми, нужно было вытравлять их кислотой. Кто сидел на ступеньках лестницы, ведущей наверх; некоторые бродили по двору; двое боролись между собою. Все наслаждались чистым воздухом и давно небывалой теплотой. Ожидали партию на завтра, которую должен был привезти ездок и которую нужно было разобрать и заложить в котлы для варки. По времени ездоку уж нужно было вернуться. Иван Федорович несколько раз выходил за ворота и глядел, не едет ли он; но его все не было.

Вдруг часов в семь приехал из города Егор Федорович. Он приехал на извозчике, тогда как в другое время всегда ездил на конке. Лицо его было встревожено. Иван Федорович вышел к нему навстречу и с удивлением взглянул на него.

— Иван!— торопливо проговорил Егор Федорович, доставая из кошелька деньги извозчику,— пошли скорее когонибудь из ребят в Красное село за лошадью,— она там на дворе у трактира стоит,— Егор себе ногу сломал.

— Как так?— испуганно спросил Иван Федорович.

— На полке ехал, повстречался с каким-то извозчиком,

зацепился, хотел его кнутом стегнуть, а сам не удержался и полетел с воза, попал под заднее колесо,— всю мослыжку раздробило.

— Где же он теперь?

— В больницу повезли.

Иван Федорович стоял бледный и с минуту не знал, ни что говорить, ни что делать. Наконец он повернулся, пошел во двор и проговорил:

— Эка оказия! И случится ж, прости господи!

Сейчас же был отправлен человек за лошадью. На фабрике этот случай произвел сильное впечатление.

На другой день ехать в город было некому.

Иван Федорович вошел в красильню и долго глядел то на одного, то на другого из красильщиков, думая, не подойдет ли кто в ездоки; но в ездоки нужен был человек смышленый, и из красильщиков никто для этого не подходил. Из клеильни же нельзя было взять: все были там на месте и все необходимы для дела. Приходилось нанимать на стороне.

Егор Федорович, по обыкновению, отправился в этот день в город, и после обеда в ворота жаровского дома вошел молодой, рослый парень в пиджаке, с загорелым лицом, с умным и осмысленным взглядом, с белой котомкой за плечами. Иван Федорович, увидев его, тотчас же сошел с крыльца и окликнул парня:

— Тебе кого?

— Меня Егор Федорович прислал,— приподнимая картуз, ответил парень,— я в ездоки нанялся.

Иван Федорович окинул парня пытливым взглядом. Очевидно, он ему показался подходящим, так как глаза его сверкнули довольством, и он веселым голосом проговорил:

— В ездоки? Ну, и славно: ездок нам нужен. Пойдем-ка, я тебе покажу, где сумку-то положить.

И он повел его в клеильню. В клеильне шла самая горячая работа, и, когда они поднимались по лестнице, никто на них не обратил внимания. Спальня была пуста. Иван Федорович подвел парня к постели Егора и сказал:

— Вот тебе и место, отдельное ото всех; тут ты и спать будешь. Эту-то постель убери под нары, а я тебе свежую тару дам. У нас, брат, никто, кроме ездока, таким раздольем не пользуется. Тебя как звать-то?

— Захаром,— сказал парень, снял с плеч сумку и положил ее на нары.

— Ты жил раньше-то где?

— В Москве — нет еще.
— А в деревне-то хозяйствовал?
— Как же...
— Значит, с лошадьми умеешь обходиться?
— Умею.
— Ну, пойдем, я тебе укажу, где у нас лошади...

Они пошли опять по лестнице, прошли через двор и скрылись в конюшне, стоявшей в заду двора между корпусами. Минут через пять они вышли из конюшни и остановились под навесом, где стояли полки. Потом они прошли в каретный сарай, где была спрятана сбруя и стоял ларь с овсом. Иван Федорович растолковывал Захару его обязанности, а тот слушал.

— А воду поить лошадей в красильне бери,— там колодцы есть... А бодейка-то — видал, где висит? Возьми-ка ее да попой лошадей,— сейчас время уж.

Захар пошел поить лошадей, а Иван Федорович прошел к себе в дом...

V

Напоивши лошадей, Захар прошел опять в спальню, устроил еебе постель и начал разбирать котомку. В котомке было несколько пар белья, хорошие сапоги, брюки, несколько фартуков и связка книжек. Сапоги и брюки он повесил на колышек над постелью, белье спрятал в уголок рядом с подушкой, а книжки пока остались на окне, приходившемся как раз около нар. Потом он сел на нары и стал переобуваться.

По лестнице раздались чавкающие шаги. Захар повернул туда голову и увидел, что наверх шел дядя Алексей, шмыгая опорками по железным ступеням. Он только что кончил клеить и вымыл руки. Войдя в спальню, он взглянул на Захара и проговорил:

— Здорово, милая душа! К нам жить пришел?
— Да, в ездоки нанялся,— проговорил Захар.
— Хорошее дело,— промолвил дядя Алексей и, близко подойдя к парню, опустился на один из стоявших у стены сундуков...— А раньше-то где жил?
— В деревне.
— А чей ты сам-то будешь?
— Ржевский.
— Что ж, тебе в деревне-то жить надоело?
— Захотелось Москву поглядеть...

— А у тебя в Москве родные-то есть?

— Тетка у Гаврилы Петровича, вот у давальца здешнего, в няньках живет.

— Гаврила Петрович тебе рекомендовал?

— Да.

В спальню поднялись Федор Рябой и курчаки. Они с любопытством глядели на нового ездока; кто здоровался с ним, кто так располагался на окнах и сундуках. Дядя Алексей потянулся за лежавшими на окне книжками и стал разглядывать их. К нему подошел Абрам и, опускаясь с ним рядом, проговорил:

— Что это, никак, книжки?

— Нет, пироги!— проговорил дядя Алексей и, прочитав заглавие одной, стал разбирать другую. Переглядев книжки, он спросил:

— Где же это ты таких набрал?

— Тут купил.

— Знать, охоч читать,— спросил Абрам,— коли первонаперво книжек купил?

— Да, люблю,— проговорил Захар.

— Где же ты учился-то?

— У нас училище там есть.

— Сколько же ты годов учился?

— Три года.

— А свидетельство получил?

— И свидетельство, и похвальный лист.

— Молодец!

— У нас один такой даже в учителя вышел,— промолвил вошедший перед тем в спальню Гаврила.— Кончил одну училищу, его в другую да в семинар. Пробыл он там сколько-то, а теперь двадцать пять целковых в месяц получает и лето ничего не делает.

— Ах, братец мой, мало ли какие головы бывают!— вымолвил дядя Алексей.— У нас в батарее фирверкин был, так он тебя по чему хошь, бывало, загоняет. Бывало, офицер не всякий сговорить с ним мог. Кончил службу, его на вторительную оставляли, только он сам не захотел. В Питер, говорят, уехал да там в околоточные и поступил.

— А у нас дьячковский сын в становые вышел,— сказал Гаврила.— Отец-то, старичок, в покос сам сено убирает, а он на паре с кучером; картуз с кокардой. И жалованье, говорят, хорошее, и доход большой.

— А все-таки он не то, что наш хозяин,— проговорил Федор Рябой,— и из простого звания, и нигде не учился, а вон

какие капиталы нажил. Намедни дворник говорил, потребовали его в участок. Приходит, а пристав-то ему руку подает да стул подставляет. А ведь мужик!..

— Про нашего-то хозяина что и говорить!— сказал Гаврила.— Таких и в Москве-то, чай, не много.

— И не мало,— опять промолвил Федор.— Их сколько из мужиков-то: Курчавые из мужиков, Носатый — дедушка лапотником был, Конашины тоже, Чиеляковы тоже, и Морозов, сам старик-то, ткачом, говорят, был.

— Ври!— строго промолвил дядя Алексей и покосился на Федора.— Морозов-старик пастухом был.

— А как же он капиталы нажил?

— А так, его, видно, бог счастьем захотел взыскать. Пас он раз скотину и заснул в поле. И видит он во сне, что на берегу ихней реки в песке лодка с золотом зарыта. Проснулся он и взмолился: «Господи, открой мне, где эта лодка!» Ему во сне и явилось опять: «Откроется тебе лодка, только ты счастья и здоровья не увидишь вовек». Он опять говорит: «Я не увижу, дети мои увидят». Тогда ему лодка и открылась. Забрал он все золото и возвел дело, а сам, говорят, после этого тридцать лет чах: жить не жил и умирать не умирал.

— Сам помучился, зато детей сделал счастливыми,— сказал Гаврила.

— Да еще как счастливыми-то!— промолвил дядя Алексей.

— Ну, вот,— опять проговорил Федор,— выходит, какой кому талан. Не родись пригожим, а родись счастливым, а наука тут ни при чем. Коли тебе не дано, то будь у тебя хоть вот какая голова, а все ничего не выйдет.

— У Коняшиных, вон, как были живы старики-то,— молвил Гаврила,— и неученые дела вели, а как подросли сынки-то да обучились всему, от дела-то отбились. Один в заграницу уехал, другой на какой-то цыганке женился, третий пулю в голову пустил, и пошло все прахом. Бывало, кто под Девичьим гремит? Коняшины. А теперь и дома-то их незнамо кому попали...

— А Гусаковы-то: тоже сынки растрясли. Какие корпуса, братцы мои, стоят, а без окон, без крыши!.. Пройдешь мимо, жуть берет, а что прежде в этих корпусах делалось?!

В разговор ввязались курчаки, и пошли воспоминания о прежнем, оценка теперешнего. Захар встал, незаметно вышел из спальни и прошел опять под навес еще раз посмотреть, где и что как расположено.

VI

Вечером Иван Федорович позвал Захара в дом и дал ему выписку своих давальцев с их адресами, рассказал, когда к кому являться и к кому обращаться. А чтобы ему легче было все разыскать, он обещал дать ему на первый раз мальчика из красильни, который иногда ездил с прежним ездоком.

На другой день утром Захар стал справляться в город.

Во время закладывания лошади вышла заминка. Захар не мог легко закинуть ломовую дугу, и ему трудно было стягивать хомут. Иван Федорович, глядя на это, сурово сдвинул брови, но ничего не сказал.

— Смотри не перепутай, кому что,— крикнул вслед выезжавшему со двора Захару Иван Федорович.

— Будьте покойны!— уверенным тоном ответил Захар.

Он вернулся поздно, так как на первых порах ему пришлось делать большую объездку: наверстывать вчерашний день, но он все сделанное роздал и, где что было, снова взял. Он привез пять кип, рассказал, как какую кипу делать, и пока красильщики таскали бумагу, он выпряг лошадь, убрал ее, напоил, задал корму другим двум лошадям и пошел в артельскую кухню обедать. Кухня помещалась в подвале под хозяйским домом. В кухне в это время пили вечерний чай дядя Алексей, красильный мастер, Василий Федоров, угрюмый, пожилой мужик, раскрашенный, как попугай, во всевозможные краски, дворник Михайла, Гаврила и Федор Рябой. Захар сказал им: «Чай да сахар»,— и попросил кухарку собрать ему с мальчиком обедать.

Кухарка подала им большой ломоть хлеба, чашку щей и один паек говядины на большом деревянном кружке. Паек полагался Захару, мальчику говядины не было. Захар и мальчик с жадностью набросились на еду и ели долго, молча. Пока они обедали, все отпили чай и ушли из кухни, остался только дядя Алексей. Захар тоже подвинулся к самовару, налил себе чашку. Дядя Алексей подсел к нему и спросил:

— Ну, что, милая душа, съездил в город?

— Съездил.

— Разыскал давальцев?

— Разыскал.

— На чаек нигде не попало?

Захар вопросительно взглянул на него.

— Что глядишь? Ездокам ведь дают: сложит товар, а ему где пятачок, где гривенник. Егор так много нажил.

— Мне нигде не дали,— сказал Захар.

— Стало быть, не просил, а ты проси; как отделаешься, так и проси: пожалуйте, мол, на чаек.

Захар на это ничего не сказал.

— А еще больше, душа милая,— продолжал дядя Алексей,— он наживался вот как... хозяин-то не по всем давальцам ездит, с маленьких-то велит ездоку получать. Вот получит тот сто или полтораста рублей и сейчас на эти деньги купит сериев или еще каких бумаг, отхватит у них за год купоны и говорит: «Мне их за настоящую цену уплатили». Хозяину-то бы только получить,— он не погонится за тройчаткой или пятеркой; а у ездока-то от этого в кармане и припухнет.

— Всякие дела делаются!— вздохнув, проговорил Захар.

— А то как же! хорошо жить захочешь — все увертки выучишь...

— А это нешто хорошо? — спросил Захар.

— Не хорошо, да выгодно,— невозмутимо проговорил дядя Алексей,— грех, да сладко. На белом свете, милая душа, один бог без грехов, а нам, грешным, правдой-то не прожить.

— Особливо, если не будешь стараться,— слегка покраснев, проговорил Захар.

— И стараться будешь, на правде ничего не добудешь. От трудов праведных не наживешь палат каменных... А как маленько прилукавишь, оно и того... Вон Михайла-дворник семь рублей получает, а ходит щеголем да еще «Дюшес» курит, то и дело в пивную летает. Что же это он — с одного жалованья?.. Так-то, милая душа! А ты, что мимо рук плывет,— не упускай. Лови галку и ворону, а руку набьешь,— и сокола убьешь. Обидеть ты этим никого не обидишь, а у тебя все будут денежки водиться.

Дядя Алексей встал со скамейки, истово помолился на иконы, надел картуз, вздохнул, запрятал руки за грудь фартука и медленно пошел из кухни. Захар остался один.

VII

Захару приходилось ездить в город каждый день. Он вставал в пять часов, выкидывал навоз из конюшни, поил лошадей, засыпал им овса и шел пить чай. Потом он подмазывал полок, закладывал готовую бумагу, увязывал ее, закрывал брезентом и выводил запрягать лошадей.

В городе он только два раза сделал ошибку: один раз позабыл, в какой цвет красить заказ, а в другой — не заехал к одному давальцу. В остальном же у него все шло хорошо.

Он быстро понимал, что ему хотели сказать, толком разъяснял всякое дело из города. Кроме этого, у Захара оказались другие достоинства. Иван Федорович любил иногда вечерком, во время ужина рабочих или в чай, заходить в кухню и сообщать им то, что он сам узнавал из отрывного календаря, который он очень любил читать, или из Капиного учебника. Он останавливался в дверях и говорил, например:

— А что такое за слово «елемент»?

Рабочие разевали рты и оглядывались на него. Если Иван Федорович знал слово сам, то он объяснял, а если нет, то добродушно сознавался, что и он не знает. Иногда он загадывал загадку, иногда говорил арифметическую задачу; фабричным никому это было не по силам, и они обыкновенно молчали, смеялись и говорили: «где нам?», «не по нашему уму»; но с появлением Захара дело изменилось. Один раз Иван Федорович вошел в кухню и спросил:

— А ну, скажите, где небо без солнца?

— Во рту,— послышался быстрый ответ.

— Кто это сказал?

Оказалось,— Захар.

— А кто отгадает вот какую задачу: «Мужик шел в город по три версты в час; до города было тридцать шесть верст; он шел двенадцать часов. Оттуда он ехал на лошади и проезжал по восемь верст в час. Во сколько часов он доехал?»

— В четыре с половиной,— не задумываясь, ответил Захар.

— Молодец!— проговорил Иван Федорович.— А не знаешь ли ты, что за слово «кооперация»?

— Знаю.

— А «инду-видуум»?— затрудняясь в выговоре, опять спросил Иван Федорович.

— Индивидуум — человек, отдельный человек.

Иван Федорович даже слегка покраснел и опять похвалил Захара и вышел из кухни. Один из красильщиков, Матвей, неуклюжий, белобрысый, весноватый молодой мужик, взглянул на Захара и проговорил:

— А ты, должно быть, собаку съел: что ты знаешь-то!

— Что знает, а где живет!— проговорил еще один красильщик.— Жить бы тебе в боярском саду.

Послышался взрыв хохота, от которого Захара, видимо, покоробило. Но он ничего не сказал, а только сморщил брови и уставил глаза вниз на одну точку.

VIII

Поужинавши, курчаки и красильщики пошли по спальням. Дядя Алексей отправился на свою квартиру, а Захар опять пошел к лошадям. Поглядев лошадей и задавши им на ночь корму, он почувствовал, что ему не хочется идти на люди и захотелось побыть одному. Не долго думая, он полез на сеновал и лег напротив слухового окна.

Через минуту Захар услыхал, как кто-то вошел под навес и вступил на лестницу. Он изумленно поднял голову и увидал, что к нему лезет Ефим. Увидев его около себя, Захар удивился.

— Ты здесь, друг? — мягким, певучим голосом сказал Ефим.— И я к тебе. Ты что тут делаешь?

— Ничего,— сказал Захар,— так вот, полежать хочу.

— Тут хорошо лежать, особенно по вечерам. Я и прежде сюда ходил.

Он растянулся с Захаром и добавил:

— Ну что, брат, как дела?

— Да ничего...— промолвил Захар, не зная, что больше сказать.

— Привыкаешь помаленьку?

— Привыкаю.

— Привыкнешь... Как ты хорошо давеча Ивану Федоровичу ответил,— высказал свое удовольствие Ефим.

— Что ж тут мудреного? — сказал Захар.

— Все-таки... я, брат, таких люблю. У нас мало таких. Боятся их, как бы забастовку не устроили. Подобрались Тюха да Матюха да колупай с братом, а ты, я вижу, настоящий...

— Что ж у вас настоящих никогда и не было?

— Не было, не держали. Как чуть заметят, так и выживут, сами же рабочие выживут.

— Ну? — недоверчиво сказал Захар.

— Ей-богу!.. Да вот сам увидишь... Идолы у нас тут, а не люди. Брюханы... Все в одну утробу живут, ничего дельного не понимают и понимать не хотят... Зачем ты к нам приделился?..

— Куда ж мне было деваться? Я и такого места две недели ждал.

— Еще бы подождал... А из-за чего ты в Москву-то попал?

— Да так,— уклончиво ответил Захар.

— Аль нужда прогнала?

— Нет, мы нужды не видали...

— А из-за чего ж?

Захар, увидавши, что Ефим настойчиво хочет знать про него, и, очевидно, не найдя причины, чтобы ему скрытничать, ответил:

— Надоело. Больно уж глухо у нас. И серо и скучно. Народ у нас неотесанней здешнего.

— В деревне народ одинаковый,— согласился Ефим.

— Выйдешь на артель,— продолжал Захар, видимо ярко вспомнивший все свое прошлое и желая вылить все накипевшее своему собеседнику,— начнутся разговоры,— стоишь, слушаешь... Господи боже! Уши вянут: до того все глупо, пустяшно! Ну еще старик какой что-нибудь про старину расскажет... А молодые!.. У нас есть там один: семьдесят раз встретится и семьдесят раз спросит: «Что новенького? Не родила ль какая голенького?» Больше и сказать не знает что...

— Ну, да ведь не всем же таким, как ты, быть,— вздохнув, проговорил Ефим.

— Отчего же? Нешто я такой отменный? Все такой же, как и все: человек и человек.

— Все-таки вот рассуждаешь? А ребята у вас каковы?

— Ребята славные,— криво усмехаясь, проговорил Захар,— учились вместе, дружили, пока росли, водились, книжки читали, а чем дальше, тем больше врозь да врозь, теперь их не соберешь никого.

— Куда ж они делись?

— По другой дорожке пошли. Есть там у нас один солдат; у него сын — жених. Отец приучил его летом торговать в городе ягодами, грибами, яблоками. Вот он торгует, напасет на зиму денег себе, приедет в деревню и давай хороводиться. Под мышку гармошку, подзовет ребят да с ними в другую деревню. Там одна баба шинок держит, так они к ней; напьются, пойдут, «Марсельезу» поют, народ полошат, к встречным придираются.

— Д-да, делаются дела!.. А бунтов у вас не было?

— Нет. Господ у нас мало, земли много, засеваем довольно, скот есть.

— И в вашем доме хорошо?

— И у нас порядком; только отец у меня безалаберный. Жил, жил, как следует,— то, се,— под старость форсить вздумал: сбрую не сбрую, тележку не тележку... все деньги незнамо на что идут.

— Чего ж он рыскует?

— Сын — жених... У меня, говорит, вон какой сокол,— нужно за него невесту хорошую искать; перед хорошими людьми нужно и себя в грязь лицом не ударить... А хорошие люди-то это какие? Один жил в Москве, обобрал пьяного хозяйского сынка, приехал домой с деньгами,— вот и хороший человек. Другой урядником служил; в его участке лесную контору ограбили; он погнался за грабителем, пристрелил его, а деньги-то себе взял; след замел,— тоже богачом сделался. У обоих у них по дочери,— вот отец с ними и начал хороводиться.

— Что же, не подошло дело?

— Я отказался. Мне, говорю, эти невесты не нравятся, и я жениться на них не буду,— как хотите.

— Из-за этого ты и ушел?

— Из-за этого и ушел. Поживу вот,— домашнее маленько отстанет, а здешнее, може, пристанет; здесь, думаю, все полегче.

Захар замолчал и задумался. Ефим тоже молчал.

Смеркалось. На дворе было пусто и тихо. Из сторожки вышел дворник и, надевши на шею свисток и на фуражку бляху, отправился за ворота.

— Михайла, ты куда?— спросила его, глядя в окно сверху, Соломонида Яковлевна.

— Дежурить.

— Ты бы шубу надел,— ночью-то, чай, свежо.

— Ничего, стерпим,— проговорил Михайла и скрылся за калиткой.

— Как же, дежурить!— сквозь зубы проговорил Ефим,— обирай сайки с квасом. Небось в ночевку куда-нибудь.

И, поднявшись, он добавил:

— Нет, брат, пожалуй, и в Москве тебе не задастся. Если вот, как Михайла, поведешь себя, ну, еще туда-сюда, а то ни себе, ни людям...

Сказавши это, он спустился с сеновала и пошел в свою спальню. Захар, немного погодя, направился вслед за ним.

IX

Наступил канун праздника. Красильщики раньше обычного пошабашили, и кто мылся, кто чистил себе ваксой сапоги, кто пришивал пуговицу к пиджаку, кто чинил рубашку. В клеильне тоже покончили работу, и все собрались наверх. Одни сидели, другие лежали, перебрасываясь меж

собой кое-какими словами. В этот вечер должна была быть получка. У всех были приготовлены книжки; только ожидали хозяина, который должен был выдать деньги. Он еще не приезжал из города.

— И ты сегодня пойдешь получать, милая душа?— спросил дядя Алексей, обращаясь к сидевшему на своих нарах Захару.

— Мне еще книжки не выдавали.

— Выдадут и книжку и деньги; наш хозяин вперед дает.

— Мне денег не нужно пока.

— Как не нужно, милая душа? а попойку-то ставить? Ты к нам в артель поступил, а у нас, брат, такое положение: кто в артель поступает, должен четвертную поставить как-никак.

Захар этого не знал и удивился. Дядя Алексей доказал ему, что это правило ненарушимое, и всякий должен ему подчиняться. Захар убедился.

— Вот ужо-тка, как все получат, ты, значит, и веди их. Я-то, братец мой, не пойду,— я в трактиры не хожу: водки не пью, а чаем-то у меня и дома хоть залейся. А другие пойдут.

В клеильню кто-то вбежал и крикнул:

— За получкой! Хозяин приехал.

Курчаки и клеильщики быстро повскакали с мест и, взявши книжки, торопливо пошли из спальни. Захар не знал, сейчас ли ему идти или после. Подумавши, он решил, что пойдет после, перешел к окну, выходящему на улицу, и стал глядеть сквозь него на Тейхеровскую фабрику, кто проходил тротуаром, кто ехал по улице. Так он провел все время, пока клеильщики получали получку.

Получивши получку, фабричные приходили уже не такими, как шли туда. Все были довольны, весело побрякивали деньгами, говорили, волновались, один натягивал пиджак, другой поддевку, третий сапоги. «В трактир! в трактир!» — галдели некоторые. Захар никогда еще не видал среди них такого оживления.

Позвали и Захара в дом. Иван Федорович подал ему новенькую книжку, и Егор Федорович спросил:

— Сколько тебе?

— Рубля три...— робко сказал Захар.

Егор Федорович взял от него книжку, написал в ней: «Дано три рубля»,— и подал ему деньги и книжку. Лишь только Захар вошел в спальню, как его встретил там Матвей.

Он был артельным старостой. Обратившись к Захару, он проговорил:

— Ну, милый гусь, справляйся попойку ставить,— мы ждем.

Захару неприятно было и самое лицо Матвея, и тон его речи. Он нахмурился и сквозь зубы вымолвил:

— Вы возьмите с меня деньги, там и делайте, что хотите, а меня ослобоните.

— Это, брат, нельзя,— сказал Федор Рябой,— закон порядок требует; сам с нами пойди!

— Ты что же это, чуждаться вздумал нас? Это, брат, нехорошо: один семерым не указ. Они в трактир — и ты в трактир; у нас хозяин этому не препятствует,— сказал Гаврила.

— А ты постником-то не будь,— сказал Захару, ударяя его по плечу, дворник,— со всеми водись; мы тебя, брат, куда следует произведем. Жениться захочешь — женим...

Курчаки, которые хотели идти в трактир, все уже подправились. Гаврила проговорил:

— Ну, идем же, что ль?

— Идем, идем!

Красильщики уже стояли кучей на дворе, ожидая Матвея. Всех собравшихся в трактир было человек тридцать.

— Смотрите вы, чтобы завтра утром «варку» закладать, а то я вас!— крикнул на выходившую со двора толпу Иван Федорович.

— Заложим, Иван Федорович, нешто не знаем!

Из Тейхеровской фабрики тоже выходил народ. Там жили мужчины и женщины. Жаровские были серые, неуклюжие, некоторые в деревенских кафтанах, больших сапогах. Там все были чище, подбористей, одеты в пиджаки, только лица у всех были бледные, испитые. Михайла, увидев их, заломил картуз на макушку, заправил руки в карманы, остановился и крикнул:

— Луша! Милая моя, что ж не здравствуешься! Ведь неделю не видались.

— Здравствуй!— крикнула с противоположного тротуара рыжая и весноватая девушка в старом, светлом платье и кофточке внакидку.

— Как я здоров?— опять крикнул Михайла.

— Подойди поближе,— я погляжу...

— Мигом!— крикнул Михайла и вприпрыжку побежал на тот тротуар.

X

Трактир, куда пришли фабричные, был обширный, низкий. Они прошли в самый грязный, но просторный зал и стали усаживаться за столы. Садились группами по четыре, по пять и по шесть человек. Все сначала требовали чаю, и когда чай подавали, заказывали: кто водку, кто пиво; непьющие требовали меду и клюквенного квасу. Всякий хотел как-нибудь спрыснуть получку. Захар уселся с Михайлой и Матвеем; к ним присоединились Федор Рябой и Гаврила. Они заказали пять пар чаю. Увидав, как другие заказывали разную выпивку, Матвей крикнул:

— Погодите вы, дайте попойку сперва выпить.

— Есть что,— отвечали ему.— Четвертной-то всем только губы мазать; мы уж на свои.

Матвей все-таки заказал четвертную. Захар спросил газету и только что хотел развернуть ее, как Михайла вырвал у него газету из рук и отложил в сторону.

— Вот чертовину выдумал!— с неудовольствием проговорил он,— читать тут! Зачитаешься — с ума сойдешь!

Захару было это очень неприятно, но он смолчал и, вздохнувши, стал наблюдать за тем, что происходит кругом.

Четвертная была подана и выпита. Все принимались за свое. Лица оживились еще больше, голоса возвышались, сыпались смех, шутки, делалось жарко. В зале зажгли лампы-«молнии». То и дело раздавался энергичный стук чайников; половые метались от стола к столу, чуть не высунув язык.

— Машину, машину заводи!— требовали фабричные.

— Нельзя: завтра праздник.

— Под праздник-то и повеселиться!

Компаньоны Захара тоже после четвертной выпили бутылку. Гаврила вынул деньги, отсчитал рубль с мелочью и сказал:

— Вот это можно прожить, а то домой послать. Пишут, чтобы посылал.

— И мне пишут,— проговорил, оскалив зубы, почесывая в затылке, Федор,— да нешто мы не знаем, как тут-то их прожить? И тут, брат, их за настоящую цену возьмут.

— Оно верно; только твое особое дело: у тебя жена здесь, детей нет, а у меня, брат, все дома...

— Там они за глазами...

Михайла поминутно выскакивал из-за стола и бегал в другую залу. Там сидели тейхеровские. Один раз он вер-

нулся, ведя за собой ту Лушку, с которой зубоскалил при выходе с фабрики. Он усадил ее рядом и потребовал отдельно полбутылки. Гаврила с Матвеем переглянулись между собой и лукаво улыбнулись. Федор сказал:

— Вот и у нас бабой запахло...

— А то что ж, зевать, что ль? Ну, вы-то старичье, вам простительно, а вот этот-то,— кивнул Михайла на Захара,— совсем монахом сидит.

— Какое ж мы, в рожь те зарыть, старичье?— обиделся Федор.— Что ж мы из годов, что ли, выжили? Мы тоже, брат, коли захотим, себя не выдадим. Знаешь пословицу «Старый конь борозды не портит»?

— Верно,— сказал Гаврила.— Что ты очень бахвалишься, куренок!..

Михайла, глядя на них, захохотал.

— Тоже топорщатся! Луша, нет ли у тебя подруг каких, поди позови: все равно гулять, а они попотчуют.

— Не беспокойся, сами найдем; мы тоже в редьке скус понимаем,— проговорил совсем захмелевший Гаврила.

Матвей только посмеивался. Наконец он потянулся к Гавриле и что-то шепнул ему. Тот радостно заржал. Оба они встали из-за стола, положили деньги за чай и, надвинув картузы, вышли из трактира. Захар тоже поднялся и стал рассчитываться.

— Что же это я один остаюсь?— опять выругался Федор.— Нешто можно одному! Луша, милая, не подыщешь ли мне товарку?

— Найдем!— уверенно сказал Михайла.— Лушка! Поди зови Федосью, ступай!..

— Сейчас,— сказала Лушка и, поднявшись из-за стола, вышла в другую залу.

Столы больше и больше пестрели: между поддевками и пиджаками появлялись и разноцветные платья. Жара в трактире увеличивалась. За столами уж не выговаривали, а выкрикивали слова. У всех были раскрасневшиеся лица, помутившиеся глаза. То здесь, то там затягивалась песня. Юркий, сутуловатый, белобрысый буфетчик выскакивал из-за стойки и просил не петь. Он говорил ласково, вежливо и доказывал, что это не его воля, а начальство велит.

XI

Когда Захар пришел домой, на дворе было темно и тихо. У хозяев вверху и внизу горели лампадки. В спальне кра-

сильщиков тоже виднелся огонь. Захар зашел туда поглядеть, что делается. Вся спальня почти была пуста, только в самом заду сидело несколько человек. На нарах был поставлен большой сундук, на сундуке стояла лампа. Вокруг него сидело пятеро красильщиков и дулись в карты в три листа. Они так были увлечены игрой, что не обратили никакого внимания на вошедшего Захара. Захар постоял, постоял, повернулся и пошел назад. Взглянув на лошадей в конюшне, он пошел в свою спальню. Там тоже было тихо и темно. Захар чиркнул спичку и заметил в углу фигуру спавшего человека, но когда он зажег свечку, то человек, оказалось, не спал. Он зашевелился и бодрым голосом проговорил:

— Что, не разрешил московского-то?

Захар по голосу узнал, что это был Ефим.

— Нет,— сказал Захар.

— Небось те-то назюзюкались?

— Кто как...

Ефим немного помолчал, потом проговорил:

— Вот всегда так: за копейкой гонятся, шут знает как — работают, ломают, обрывают себя во всем, а когда попадет эта копейка в руки, сейчас ее ребром.

— Погулять хочется,— чтобы сказать что-нибудь, молвил Захар.

— Да какой от этого гулянья толк! Налопаются, ходят, как мухи отравленные, начнут козла драть, с похмелья мучаются... за свои же деньги да так себя терзать?.. Дурачье безголовое!..

— А ты сам-то нешто не пьешь? — спросил Ефима Захар.

— Бог миловал.

— Куда ж ты деньги-то деваешь?

— Домой посылаю.

— У тебя кто же дома?

— Жена, старуха-мать, детей четверо.

— Что же, они хорошо живут?

— Хозяйствуют помаленьку, три души земли пашут.

— А с тебя деньги-то очень спрашивают?

— Еще как! Наши земли тощие,— в них больше вобьешь, чем с них получишь... Держат они теперь трех коров да двух лошадей, а зачем держат? Чтобы больше навоза было, а их зиму-зимскую нужно прокормить. Меняются они работой: скотина на них, а они на скотину...

Захару вспомнились подобные условия ихней деревенской жизни, и это ему показалось очень верным.

— Отчего же ты не велишь им сократить, коли ты так понимаешь?

— Отчего? А что ж им тогда будет делать! У меня два парнишки растут, одному семнадцать, другому четырнадцать лет; теперь они скотину убирают, а тогда что им делать?

— Сюда бы их взял да приделил бы куда.

— В эту пропасть-то?! Господи упаси! У меня баба говорит это, да я ее не слушаю. Пока жив, здоров, не пущу их сюда,— нечего в соблазн их вводить.

— В какой же соблазн? Може, они по трактирам-то ходить не будут, зададутся в тебя, будут трезвые.

— В трактир не пойдут, по другим местам будут шляться: в киятры да в цирки. В Москве блудных мест много...

— Театр не блудное место, там, говорят, иной раз плачут, как представляют.

— Все одно — притон: музыка да актерки. За последнее время вот их сколько развелось. Про Москву говорят, что она второй Вавилон,— Вавилон и есть.

— Зачем же ты живешь в этом Вавилоне? Ругаешь его, а сам живешь.

— Я живу тут только телом, а душа моя не принадлежит ему. Я душой, брат, далеко от Москвы. Во мне душа божья, она около бога и живет.

Стали возвращаться из трактира клеильщики и курчаки. Все были подвыпившие, некоторые совсем пьяные. Пьянее всех оказался Федор Рябой. Он шел шатаясь и говорил:

— Да, братец ты мой, дела! Фу ты, черт возьми! Хо-хо-хо!

Пошатываясь, он стал снимать с себя сапоги и копался с этим чуть не полчаса.

Другие курчаки шумно разговаривали и ругались. Одного замутило. Захар, расположившийся было на нарах, встал и вышел из спальни. Он прошел в конюшню, забрался на сенник и решился там провести ночь. Там ему никто не мешал, но все-таки ему долго не спалось; сегодняшние впечатления были для него, должно быть, сильны, и он не сразу переварил их.

XII

После этого Захар из всех фабричных дружественно стал относиться к одному Ефиму, от остальных же сторонился. Где бы то он ни был с ними, он больше молчал, отвечал только на вопросы, сам же никогда почти их не задавал. Дядя

Алексей, прежде ласково было к нему относившийся, стал теперь охладевать. Один раз работая, он проговорил:

— Ездок-то у нас — нарень с душком.

— Форц имеет,— сказал Федор.— Книжки читает да рихметику-гамматику знает,— думает: кто я есть!

— Ученые-то, брат, все такие,— вмешался в разговор Гаврила,— они только и видят, что себя, а об других-то и не понимают.

— Вон наш Ефим не много читает и то уж о себе только думает; ишь, с нами и не говорит,— вымолвил, косясь на Ефима, Сысоев.

— Ну, тоже указал на кого,— пренебрежительно сказал Федор,— нешто он человек?

— Ты делай знай свое дело-то; тебя не трогают! — с неудовольствием заметил Ефим.

— Я и делаю,— продолжал, плескаясь в корыте, Федор.— Вином брезгует, убоины не ест. Что зря мудрить — все человеку на радость сотворено.

— А коли на радость, ты и радуйся, а другие в другом радость находят,— сказал Ефим.

— В чем другом-то? Заберут себе в головы да других смущают, больше ничего. Отчего же это вся смута-то в простом народе пошла? Уставы нарушили... не я градоначальник,— я всех бы таких связал да в Яузу...

— Вот то-то бодливой корове бог рог не дал,— смеясь, опять сказал Ефим.

В клеильню вошел Иван Федорович и проговорил:

— Старый ездок открытое письмо прислал, пишет, что очень скучно ему; нога в лубках, а еще четыре недели держать будут: просит, кто-нибудь пришел бы навестить его.

— Кому ж идтить?— вздохнув, проговорил дядя Алексей. Все промолчали.

— А что скучно, то это верно,— опять сказал дядя Алексей.— Человек здоровый, все небось как следует, а нога не пускает. Кому хошь доведись...

Иван Федорович вышел из клеильни. Вошел Михайла; он сел на ступеньки лестницы, вынул коробку папирос и, закуривая, проговорил:

— А какую я сегодня историю видел!

— Какую?— с загоревшимися от любопытства глазами спросил Федор.

— Да стою я это, значит, на дежурстве, а из Сокольников идет, значит, парочка. Он подвыпивши, справный такой, вроде как из приказчиков; она в мантилье и в шляпке. И вот

он ее ругает, вот ругает, а она плачет, коровой ревет. Вот и встречает их молодой человек один. Увидал, что он ее обижает-то, да как крикнет: «Как вы смеете!» А тот: «А тебе какое дело?» — «Она, говорит, женщина».— «А я, говорит, мужчина»,— размахнулся да как раз его по скуле! Тот его за ворот. А мымра-то подскочила это к нему — да его за руку, а обидчик-то ему еще... Что смеху-то было!

— Ха-ха-ха!— смеялись клеильщики,— ловко! свои собаки грызутся — чужая не приставай!

XIII

Пришел еще праздник. Канун этого праздника и самый праздник прошел, как и первый. Все удовольствие для Захара состояло в том, что он походил по Сокольникам. На другой день этого праздника, вечером, когда все управились, поужинали и собрались в спальни, дядя Алексей хотел уходить, другие стали готовиться на спанье, Федор Рябой тоже начал справляться со двора.

— Ты куда?— спросили его.

— Да бабу навестить,— захворала она у меня.

— Что такое?

— В Косино вчера ходила; ну, оттуда-то жарко сделалось, она и спросила у одной бабы попить. Та ей водицы подала. И только, говорит, выпила, сразу почувствовала нехорошо.

— Стало быть, не благословясь выпила,— сказал Абрам.

— Может быть, не благословясь.

— А баба-то нехорошая: подпустила она ей,— ну, и взяло.

— Неужели это, братцы мои, порча?— спросил озадаченный Федор и сел на окно. На лице его выразился испуг.

— Видимое дело,— проговорил Сысоев,— подсудобила злодейка.

Захар, улегшийся было на своих нарах, поднялся и стал внимательно слушать, что говорят.

— На худого человека, милая душа, наскочить недолго,— проговорил дядя Алексей,— хорошего не скоро отыщешь, а на лиходея, того и гляди, нарвешься.

— Да вот я был нонче на святой в деревне,— стал рассказывать Гаврила,— у одного мужика даже лошадь испортили. Мужик богатый, лошадь хорошая, доморощенная, поглядеть — картина. Ехал он из города, а на дороге в одной деревне баба воду достает. «Дай, говорит, матушка, моей

лошади попить».— «Изволь»,— говорит. Напоила она лошадь. Приехал домой; пришел к ней на другой день, а она не подпускает, бьет ногами, зубы оскаливает, а сама, говорит, так и дрожит. Ведь вот какая паскудница!

— Диви бы попользовалась чем,— молвил Сысоев,— а то ни себе, ни людям.

— Так как же теперь быть-то?— испуганным голосом спросил Федор.

— А так: завертывай целковый да к той бабе ступай,— посоветовал дядя Алексей,— если она сделала, она и снимет.

— К доктору иди, а не к бабе!— сказал, невольно вмешиваясь в разговор и бросая недружелюбный взгляд на дядю Алексея, Захар,— как тут может помочь баба?

— А то доктор поможет! — покрасневши от раздражения, сказал Сысоев.— Много твои доктора в этих делах понимают!..

— У меня шурин в третьем году... Кил ему, братец ты мой, на руки насажали,— промолвил дядя Алексей притворно-равнодушным голосом и даже не удостоив взглядом Захара.— Ну, пухнет и пухнет рука, желваки по ней пошли. Он к доктору-то и пошел. Ну, тот резать ему руку-то. Резали, резали — ничего не помогает: болит и болит. Тогда его научили: «Съезди туда-то: есть человек такой, наговорит тебе на соль — все пройдет». Поехал, и что же, братец мой,— прошло!

— Это враки!— воскликнул Захар.

— Ну, вот и возьмите дурака!— злобно выругался дядя Алексей.— Ему говорят дело, а он — собака бела. Коли тебе говорят, так, стало быть, не враки!..

— А я говорю — враки!— уже не сдерживаясь, воскликнул Захар.— Как это можно килу присадить!

— А так!— уставясь гневно горящими глазами на парня, сказал дядя Алексей.— Вот скажет слово, и где задумает, там, значит, у тебя и вскочит: на глазу — на глазу, под носом — под носом, а ты ходи да почесывайся...

— Ну, это скажи кому-нибудь другому,— проговорил Захар.— Как же это от слова что сделается? У кого такая власть есть? Чем это объяснить?

— Мы тебе это объяснять не можем, а что есть, то есть. Мало ли людей чахнут!

— Зачахнуть можно по разным причинам, только сдуру это сваливают на колдовство.

— Нет, не сдуру. Тебе еще скажут, как тебя повредить-то хотят: «попомни», скажут,— ты и вспомнишь.

— У меня приятель один был,— сказал Сысоев,— встретилась с ним цыганка, поглядела на него; скоро, говорит, скоро в твоей жизни перемена выйдет. Если, говорит, в то воскресенье тебе будет кто что-нибудь давать — не бери, а возьмешь, говорит, покаешься. Правда, прошло две недели, придрались к нему хозяева — разочли. Вспомнил он цыганку и вспомнил, что в это воскресенье кухарка пирогом его угостила, а с кухаркой-то он жил не в ладу. А место-то какое было!

— Нечистый-то силен!..

— Так это все нечистый делает?— спросил Захар.

— Ну, а то кто ж?

— Так это что же, по-твоему, нечистого нет?— спросил дядя Алексей.

— Я его не видал.

— А ты почитай «Жития»,— сказал наставительно Абрам,— вот и узнаешь. Как же к преподобному Исаакию Печерскому бес в образе самого господа являлся да плясать заставлял?.. А Иоанн Новгородский на черте в старый Ерусалим к заутрене ездил.

— Это кто как понимает...

— Всем по одному понимать должно.

— А я, може, это понимаю по-своему.

— Так ты, стало быть, этого признать не хошь?— испуганно проговорил Абрам и даже поднялся с места. Дядя Алексей уставился на Захара и ледяным тоном проговорил:

— А я думал, милая душа, ты из порядочных, а ты вон из каких! Забастовщик ты, видимое дело. И наберет же в голову, тьфу!.. пойдем, Федор.

— Верно, забастовщик,— с явным презрением сказал и Сысоев и, севши на свою постель, стал скидывать сапоги.

— Еще царь Давид писал,— вздохнув, проговорил Абрам,— «Рече безумец в сердце своем: несть бог», а нынче этих безумцев-то расплодилось...

— Мы, кажется, о боге не говорили,— промолвил Захар.

— Не говорили, да видно, что кто думает.

— Коли думаешь не по-ихнему, значит, бога не признаешь,— подал свой голос из угла Ефим,— а ихний-то бог — кто? Утроба!

— Ты еще заступись!— зыкнул на Ефима Абрам.— Ты тоже такой колоброд!

Ефим смолчал; промолчал и Захар. В спальне мало-помалу успокоились.

XIV

На другой день утром, когда Захар уехал в город и курчаки паковали наверху бумагу, а клеильщики полоскались в своих корытах, в клеильню вошел Иван Федорович. Он был в добродушном настроении и, держа в руках листок отрывного календаря, проговорил:

— Календарь сегодня вот что врет: по Брюсу — жарко, так велит есть ботвинью из малосольной рыбы, карасей да свежие ягоды. Как думаете, не плохо?

— Это не про нас писано,— сказал Федор.

— Мы в этом столько же скусу понимаем, сколько немец в редьке...

— А не пишут там, как забастовщиков отличать?— спросил дядя Алексей.

— Нет, а что?

— У нас такие завелись.

У Ивана Федоровича сделалось испуганное лицо, и он дрогнувшим голосом спросил:

— Кто же это?

— Новый ездок. Вы послушали бы, что он вчера говорил! Вот они — свидетели,— кивнул дядя Алексей на других клеильщиков,— солгать не дадут.

— Что же это он за выродок?

— Выучился хорошо. Все от ученья это.

— Это надо Егор Федорычу сказать,— проговорил Иван Федорович и, вставши с окна, медленно пошел из клеильни.

Вечером, когда Захар вернулся из города, Иван Федорович пристально и внимательно глядел на него, насупив брови. Захар, заметив его взгляд, почувствовал себя неловко. И пока Захар выпрягал лошадь, раскрывал воз, потом убирал полок, Иван Федорович все не спускал с него взгляда, хотя ничего не говорил. Когда же ездок убрался совсем, Иван Федорович вздохнул и с глубоким сожалением проговорил: «Эх, люди, люди!» — и медленно направился в дом.

XV

После утреннего чая Захар только вышел из кухни, как натолкнулся на Егора Федоровича. Лукавая усмешечка на лице хозяина исчезла, и он казался необычайно суровым. Захар снял картуз и сказал обычное «здравствуйте». Егор Федорович еле приподнял свой картуз и гневным голосом сказал:

— Долго прохлаждаешься, барин! пора и воз накладать: сегодня всех надо объехать.

— Успею, объеду.

— Ан, пожалуй, и не успеешь. Надо бы пораньше позаботиться: сперва воз наложить, а потом уж чай пить. А вы вперед насчет своего мамона заботитесь-то, а потом уж о хозяйском-то деле!

Захар растерялся. Он ничем не заслужил подобной проборки. Войдя под навес, он быстро выкатил полок, развернул брезент и крикнул в клеильню:

— Бумагу носить!

Курчаки стали носить и укладывать на воз бумагу. Захар вывел из конюшни лошадь, надел на нее хомут и стал запрягать. Хозяин заглянул в конюшню и, увидевши там валяющийся клок сена под ногами, опять заругался:

— Что же это у тебя сено-то по навозу раструшено? Видно, тебе не жалко хозяйского добра! В навоз стелют солому, а не сено; сено-то небось в три раза дороже...

В этот день Захар объехал всех давальцев, набрал у них столько работы, что к нему на полок все не поместилось, и он должен был нанять ломового. Приехав домой и убравшись совсем, он пошел наверх. Ему было как-то не по себе, отчего-то щемило сердце, как будто предчувствуя что недоброе. Он лег на свою постель и в беспричинной тоске пролежал вплоть до ужина.

Во время ужина в кухню вошел Иван Федорович. На губах его играла улыбка, а глаза светились лукавым огоньком. Остановившись в дверях, он громко крикнул:

— Ну, кто знает, что за слово «суприз»?

— Кому ж больше знать, окроме ездока!— проговорил Матвей.

— Знаешь ты, Захар?

— Знаю,— нехотя проговорил Захар.

— Что же это за слово?

— Сюрприз — неожиданность.

— Так вот зайди после ужина в дом; хозяин хочет тебе суприз поднесть.

И Иван Федорович повернулся и вышел из кухни. Все примолкли, как будто бы задумались, что может преподнести Захару хозяин. Гаврила первый нарушил молчание:

— Чем же это он хочет тебя удивить?

— Може, жалованье прибавит,— сказал Федор, очевидно чувствовавший, что Захара ожидает нечто нехорошее, и засмеялся.

— Прибавит два белых, а третий как снег.— проговорил Сысоев и тоже усмехнулся.

Захар потемнел, и у него пропал аппетит. Он съел ложки две каши, потом отер рукой рот, перекрестился и полез из-за стола. Взявши картуз, он вышел из кухни и направился в хозяйский дом.

Пока фабричные доедали кашу, пили квас и топтались в кухне, прошло с четверть часа. Ефим один из первых поднялся в спальню. Захар в это время уже был там и копался что-то у своей постели.

— Ну, зачем тебя хозяин требовал? — спросил Ефим, подсаживаясь на его постель.

— Книжку велел приносить,— расчет хочет выдать,— дрожащим голосом проговорил Захар.

— Расче-от?— протянул Ефим.— За что-о же?

— Ничего не объясняет, а только сказал: «Принеси книжку и получай расчет».

Ефим с минуту молчал, потом в сильном негодовании воскликнул:

— Ну, не правду ли я тебе говорил? Не идолы ль они? Это они не стерпели — Ивана Федоровича настроили, а тот хозяина... Облоеды!..

Захар только махнул рукой и с книжкой в руках пошел в дом.

Когда он вернулся с паспортом и деньгами, Ефим горячо заговорил:

— Ты этим не печалься: бог не выдаст — свинья не съест. Москва не клином сошлась,— найдется такое место, где за тебя обеими руками ухватятся, а на этих-то и плюнуть стоит...

Утром на другой день Захар со своей котомкой за плечами, но уже не такой белой, вышел из спальни и направился со двора. Ефим проводил его до калитки и долго прощался с ним, всячески утешая. Захар благодарил его и обещал не прерывать с ним знакомство. Распростившись, Ефим пошел на работу, а Захар опять к своей тетке, от которой он сюда поступил.

Микола Ситников пришел в Батум несколько месяцев тому назад из Тамбовской губернии, откуда его выгнала злая голодуха и где, в деревне Зашибино, у него была своя изба на курьих лапах и свой кусок земли, давно уже от истощения переставшей родить. Бились-бились с ней — не родит, да и шабаш, даже тоска всех взяла. Собрали семейный совет и всем гуртом решили: идти Миколе на заработки. Микола стал собираться. Был выправлен годовой паспорт; жена напекла Миколе из заемной муки лепешек, накалила яиц на дорогу, выдернула на огороде пяток луковиц; старик отец отсчитал дрожащими руками полтину денег из заветного кошеля — и Микола отправился в неведомый путь. В городе ему сказали, что надо тянуть на Кубань, где будто бы хлеба родилось «невпроворот», и, пристроившись к артели таких босых и голодных мужиков, Микола пошел с ними «на линию». Шли они очень долго, где пешком, где зайцами на чугунке; однажды Миколе пришлось ехать в товарном вагоне с сеном, в котором он чуть было не задохся, а в другой раз даже в трубе холодного паровоза; когда же он, после всех этих мытарств, добрался, наконец, до Кубани, растеряв по дороге всех своих случайных спутников, оказалось, что наемка давным-давно уже кончилась, и толпы голодных горемык тянули обратно. Но Миколе возвращаться домой было незачем, и, пошатавшись туда и сюда по Кавказу, он, тоже по чьему-то совету, «подался» на Батум.

Когда утренний поезд Закавказской железной дороги выбросил Миколу на платформу вокзала, он в первую минуту совершенно растерялся и не знал, что ему делать и куда

идти. Кругом толкались черномазые, усатые рожи; слышалась незнакомая, странная речь; какой-то огромный турок, блестя яркими белками больших глаз, чуть не сшиб его с ног, и, увлекаемый этим пестрым, говорливым потоком человеческих тел, Микола, сам не зная как, очутился на улице. Здесь он передохнул немного и огляделся. Улица была широкая, гладкая, как пол; по тротуару росли невиданные деревья, покрытые то белыми, то розовыми цветами; Микола, разинув рот, полюбовался на них; дома были все хорошие, с балконами и широкими окнами, которые наглухо закрыты были зелеными решетчатыми ставнями. Красивые парные фаэтоны, бесшумно подпрыгивая на резиновых шинах, катились по мостовой; в фаэтонах сидели нарядные господа и барыни в белых костюмах, с розанами на груди и в руках, с веселыми, беспечными и улыбающимися лицами. «Ишь ты!» — подумал Микола, тоже беспричинно чему-то улыбаясь. «Ничего, хороший город, хорошо, знать, живут»... Но знакомое, острое и болезненное ощущение под ложечкой сбило его с этой мысли, и мгновенный подъем духа, вызванный в нем благоуханием диковинных цветов, мягким теплом утреннего солнца и зрелищем чужой сытости и нарядности, сменился озабоченностью и усталостью. «Да... хорошо живут... а жрать-то чего будешь? Жрать-то ведь небось надо»,— прозвучал в его душе чей-то грубый, насмешливый голос, и, повинуясь этому голосу, Микола покорно зашагал вперед. Машинально прошагал он одну улицу, потом другую, потом какой-то переулок и, наконец, вышел на широкий бульвар. Перед ним открылось море, безгранично-огромное, тихо волнующееся, сладко нежащееся под лучами яркого солнца. Микола, вообще равнодушный к красотам природы, от неожиданности ахнул и остановился, как столб. Он и раньше еще, из окна вагона, видел это море, но там оно только просвечивало сквозь деревья узкою, бирюзовою полоской, теперь же оно раскинулось и вдаль и вширь и, казалось, уходило в самое небо. Микола даже испугался. Ему стало трудно дышать; мурашки поползли у него по спине к затылку и забегали в волосах. Он потрогал себя за нос, чтобы убедиться, не спит ли он и не видит ли все это во сне. Но нет, не спит: и нос на месте, и море все тут, перед глазами, колышется и течет, как живое, и белые волны тихонько всползают на берег и убегают назад, а вон и лодка плывет, и треугольный белый парус качается и трепещет, как большая птица...

— О господи!— во всю грудь вздохнул Микола и перекрестился.— Господи боже мой, и чудеса же... Точно и

невзаправду! Зашибино-то, Зашибино-то наше теперь где? И, господи милостивый, земля-то какая большущая...

И Миколе даже удивительно стало, что вот он,— тот самый Микола Ситников, который когда-то жил в деревне Зашибино и, лежа, бывало, в поле под телегой, глядел в звездное небо и думал: «Вот теперича здесь Зашибино наше, а за Зашибином — Керша, а за Кершей — Зеленые Гаи, а там губерня, а там Москва, а за Москвой — Питер, да вот и вся Расея»... Ан, глядь, вон еще какие места есть, и какая же она огромная, Расея, до самого моря дошла; а за морем небось тоже земля есть, и тоже ведь разные народы живут... Микола вдруг показался себе таким маленьким и ничтожным в сравнении с громадною землей, громадность которой он впервые осознал и почувствовал при виде моря, что ему снова стало страшно.

А море все шептало и вздыхало, и молочно-бирюзовая грудь его тихонько вздрагивала под горячими солнечными лучами.

Под ложечкой у Миколы снова засосало, и эта старая, голодная боль заставила его опомниться. «Эх, закусить бы!» Он посмотрел на море, на зелень бульвара и потом на себя. Вид у него был неказистый: сбитые, пропыленные насквозь лапти, грязные опучи, заплатанная холщовая рубаха и такие же штаны. И странно было видеть эту мрачную фигуру с мешком за плечами, ни к селу ни к городу торчащую среди нарядного бульвара, на фоне вечно прекрасного моря и празднично-голубых небес. Микола это понял, и опять ему стало страшно за свое собственное ничтожество и убогость. А его уже заприметил городовой и со строгим лицом, со строгими усами, со строго нахмуренными бровями грозно надвигался на него.

— Ты чего сюда залез? А? — внушительно произнес он, останавливаясь перед Миколой.— Здесь не полагается! Слышь ты?

Микола виновато улыбнулся.

— Да ведь кабы знамо было...— начал он.— А то, вишь ты, я впервой... Ну и того... заблудился кабыть.

— Ну и поворачивай оглобли. Шляются тут... черти оголтелые!

Микола стоял и радостно смотрел на городового. Он так давно не слышал русской речи, русской настоящей ругани, что теперь даже этот сердитый городовой казался ему милее отца родного.

— Я сейчас уйду,— сказал он, когда городовой истощил, наконец, весь запас своей полицейской брани.— Мне бы вот только закусить где... От самого Тифлиса не жрамши,— ей-богу!

— Да ты откудова? — смягчился городовой и даже в карман полез за табаком, что служило признаком полного умиротворения его души.

Микола сказал.

— Ишь ты, откуда прут!.. Зачем? Нешто дома хлеба нету?

— Да, конешно, нету. Обедняла Расея, брат ты мой, вот как обедняла! До самого корня!

— Ну!.. Затянуться хочешь? На! Я, брат, сам нездешний, понимать могу. В России восемь годов не был,— аж сердце сосет... Вспомянешь иной раз... да что!.. И толковать не стоит.

— А что, нешто плохо здесь? — со страхом спросил Микола.

— Да не в том, что плохо... Жить можно. А только одно слово — туречина!

И, бросив наземь окурок, городовой сердито затоптал его ногой, точно это и была самая туречина.

Вдруг где-то близко, почти над самой головой, что-то грохнуло, рявкнуло и раскатилось. Точно земля разверзлась и грозно дохнула своим огненным дыханием. Микола от неожиданности подпрыгнул, зажмурился и присел.

— Батюшки! Заступница-матушка, что это такое? — пролепетал он.

Городовой хохотал, кашляя и захлебываясь от смеха.

— Ах ты, дубина стоеросовая! Чего испужался? Это пушка!

Микола открыл глаза и, видя, что городовой хохочет, ободрился.

— Ну, беды! Я уж думал, светопреставление! Пушка, говоришь? Ах, окаянная, вот напугала-то! Да на кой она здесь?

— Как на кой? Батарея! Каждый день учение идет, бонбы в море пущают, чтобы, например, ежели неприятель подойдет, ему для острастки. Вот, еще!

Пушка опять бухнула, и Микола опять присел.

— Фу ты, страсти господни!.. Да к чему же это она?

— Говорю, неприятель чтобы не подходил. Ведь ты здесь небось не в Тамбове у себя; здесь, брат, надо начеку. Видишь, вон горы-то? Не эти, не эти, а во-он, вон, словно тучи

оказывают! Ну, вот: здесь вот мы, а там уж и турки живут; понимаешь теперь, зачем пушка стреляет?

Микола поглядел на горы-тучи, на бесконечное море и вздохнул.

— И впрямь туречина! — вымолвил он, качая головой. И вспомнились тихие тамбовские поля, тихое Зашибино, тихая река Керша, протекающая в тихих лозняках. Там и люди живут тихие, и не нужно им быть постоянно начеку, не нужно пушек, не нужно «пущать бонбы...». «Эко ведь, куда меня занесло,— на край земли!» — подумал Микола и заторопился поскорее уйти от этого страшного места, где грохочут невидимые пушки, где синеют далекие горы, за которыми сидит невидимый неприятель.

По указаниям городового он вышел на пристань — и сразу точно в муравейник ввалился. У пристани разгружалась паровая шхуна, пришедшая из-за границы. На палубе безостановочно работал паровой кран; колеса оглушительно гремели, и длинная цепь (шкентель), лязгая и содрогаясь от натуги, точно змея, то вылезала из трюма с огромными тюками на гаке (крюк), то снова с рычанием уползала обратно под однообразные крики разгрузчиков: «Вира! Майна! Вира! Майна!»[1] По двойным сходням вереницей тянулись носильщики,— одни вниз, другие вверх: у каждого на спине был так называемый «куртан» — утолщавшаяся книзу подушка для переноски тяжестей,— и, согнувшись под куртаном в три погибели, опустив руки к земле, с хмурыми от напряжения лицами, они осторожно передвигали трясущиеся ноги, а освободившись от ноши, тяжко вздыхали и ругались между собою. Гортанная турецкая речь сливалась с картавым говором грузин; иногда в эту разноголосицу врезывалась непечатная российская ругань, а надо всем этим хаосом звуков властно грохотала лебедка и слышалось сдавленное, сердитое шипение «донки»[2]. Микола совсем растерялся и не знал, куда ему деться со своим мешком и своею неуклюжею фигурой, всем мешавшей и всем попадавшейся на дороге. Вот прямо на него прет здоровенный турок в красной, полинявшей феске с оторванной кистью, в дырявых, порыжелых шароварах, до того узких у колена, что, того и гляди, лопнут по всем швам; он широко открыл рот, как умирающая рыба, тяжко дышит и злобно косит черным глазом на Миколу. А вот статный аджарец в черном башлыке,

[1] Слова, употребляемые при разгрузке пароходов, причем «м а й н а» соответствует опусканию, «в и р а» — подыманию.

[2] Д о н к а — малая паровая машина. *(Примеч. автора.)*.

обмотанном наподобие чалмы вокруг бритой головы; куртан немного сдвинулся у него на сторону, и оттого ему неловко нести свою ношу; красивое лицо его искажено мучительной судорогой, и по лбу струится пот. За аджарцем, легко и свободно ступая мягкими чувяками, идет тощий грузин в белой войлочной шляпе, а сзади бегут зоркие армяне в своих низеньких шапочках, в синих куртках, и только длинные носы их смешно торчат из-под тюков, нагроможденных на их выносливые спины. Настоящие муравьи, когда разворошат их гнездо, и они засуетятся, торопясь попрятать в землю свои драгоценные яйца! И всех их, этих турок, армян, грузин, аджарцев, братски соединил здесь один властитель мира — Голод, и, корчась от страшного напряжения, обливаясь потом, они ползали и пресмыкались по земле, подбирая жалкие крохи хлеба, которые снисходительно бросал им другой царь — Капитал.

— Ишь ты! Ишь ты! — шептал про себя Микола, глядя на эту суматоху и поворачиваясь то вправо, то влево, чтобы дать дорогу носильщикам.— Господи ты боже мой, видно, оно везде трудно жить, не то что нашему брату-мужичку. Ишь ты, как ворочают, гляди-кось, какую махинищу волочат! Чисто быки, а не люди, прости ты меня, господи...

А лебедка все грохотала, один за другим выбрасывая на пристань тюки заморского товару, донка злилась и шипела, матросы выкрикивали: «Вира помалу! Вира веселее! Майна! Стоп!» И раскаленное солнце беспощадно жгло землю, и в горячем воздухе изредка бухала пушка, и носильщики, задыхаясь под тяжкою ношей, ползали взад и вперед, как жалкие черви.

Вдруг прямо на Миколу налетел с ручной тачкой какой-то жиденький человечек и, выронив наземь часть нагруженного на тачке товару, разразился крупной бранью на чистейшем русском языке.

— Эй ты, чучело лупоглазое, чего едало-то растяпил? С дороги, тебе говорят, а ты тут разъехался, словно печка голландская! Мало тебе места, полено дубовое? Шел бы на чугунку, да и стоял там заместо столба телеграфного!

— Чего ты лаешься? — добродушно сказал Микола, подбирая рассыпанные мешки и укладывая их обратно в тачку.— Я тебе ведь ненароком под ноги подвернулся, а ты бы и сам глядел хорошенько, по сторонам-то не зевал! Ну, вот тебе и мешки твои, волоки, что ль, с господом!

Они поглядели друг на друга. Низенький человек так же, как и другие носильщики, был одет в грязные лохмотья, в стоптанные чувяки на босу ногу и с куртаном за спиною, но его скуластое, обожженное солнцем лицо, покрытое рыжею, давно не бритою щетиной, его приплюснутый нос и голубенькие глазки резко выделялись среди всех этих горбоносых, бронзовых, черномазых турок и аджарцев и указывали на его несомненное российское происхождение. Микола сейчас же это сообразил и, забыв происшедшую распрю, с удовольствием смотрел на человечка, а тот, в свою очередь, уставился на Миколу и перестал ворчать.

— Земляки, что ли? — отрывисто спросил он.

— Аль признал? Земляк и есть. То-то и я гляжу, будто обличье-то у тебя расейское оказывается. Ан оно и взаправду...

— То-то взаправду! А под ноги-то зачем суешься? И отколе ты взялся? Чего здесь делаешь-то?

— Да чего? Ничего! Глаза вот продаю.

— Ну, брат, это дело плохое. Буркал твоих тут и задаром не возьмут; тут, брат, хлебушко-то горбом надо выколачивать, на манер хорошего буйвола, а глаза — это ни к чему. Хребет здоровый есть? Иди сюда. Нету? Вон пошел. Вот как у нас.

— А что ж, хребет так хребет,— я, землячок, и за хребтом не постою. Мне чего ни продать, все равно, только бы хлебом кормили. А хребта не жалко, небось не купленный.

Человечек еще раз пристально оглядел Миколу.

— Хребет, это точно, хребет у тебя здоровый,— с завистью сказал он и изо всей силы вытянул Миколу по спине кулаком.— Ишь, спинища-то,— чисто печь! Ну, ладно, заболтался я с тобой и про дело забыл. Отойди покаместь к сторонке, после потолкуем.

Он взялся было за свою тачку, но в это время у лебедки произошла какая-то заминка, и оба остановились.

Лебедка только что сбросила с гака огромнейший тюк, и носильщики озабоченно суетились около него, очевидно не зная, что делать с такой громадиной. Все неистово кричали, лезли друг на друга и так энергично жестикулировали, как будто бы собирались вышибить друг у друга зубы. Некоторые пытались прилаживать тюк к собственной спине, но ничего не выходило, и тюк снова грузно шлепался наземь, подымая целый столб едкой пыли. Надсмотрщик выходил из себя и сыпал ругательствами направо и налево; приемщик товара, толстый армянин с бронзовой цепочкой на животе

и с карандашом в руках, метался по палубе и, сверкая глазами, визгливо уверял всех, что ему ждать некогда и что каждая минута ему стоит пятьдесят рублей, а рабочие этого не понимают и жалеют своей спины, которая ничего не стоит.

— Ишь ты, жирная сатана! — проворчал новый Миколин знакомый, сердито поглядывая на армянина.— Разъелся, в три дня не обойдешь, а небось тоже муша́[1] был, сам на пристани тюки ворочал. Подымай сам, коли хочешь!

— Где Верблюд? Позовите его сюда! Эй, Верблюд! Живее! — кричали на палубе.

К толпе носильщиков подошел высокий и тощий грузин с длинной коричневой шеей, на которой выпукло обозначался большой кадык, с длинным горбатым носом, загибавшимся к самому подбородку, и большими, полузакрытыми глазами, над одним из которых был виден глубокий шрам. Это и был тот, которого называли «Верблюдом», и действительно, всею своей нескладной фигурой, длинною шеей с торчащим наружу кадыком, запрокинутою назад головой и мерною поступью он удивительно напоминал это терпеливое, покорное животное, как бы самою природою обреченное на тяжкий труд и вечное рабство. Улыбаясь во весь свой широкий рот и блестя жемчужными зубами, он подошел к тюку и, привычным движением поправив куртан, подставил согбенную спину.

— Клади! — отрывисто скомандовал надсмотрщик.

Четверо здоровенных муша́ с усилием взвалили тюк на Верблюда и, сняв шапки, вытерли струившийся по лицам пот. Верблюд сделал два шага, но пошатнулся, остановился и сбросил тюк обратно.

— Нельзя. Больно тяжел была! — сказал он, выпрямляясь.

С палубы снова посыпался град ругательств, и толстый армянин еще отчаяннее забегал взад и вперед.

— Эх ты, кацо́[2]! А еще верблюд называешься. Какой ты верблюд! Баба! Сало морское!

Верблюд, кротко улыбаясь, отошел в сторону. Наблюдавший всю эту сцену Микола вдруг тряхнул плечами, поплевал на руки и вопросительно взглянул на своего знакомца. Все тело его так и зудело от желания по-деревенски, по-мужицки показать свою силу.

---

[1] М у ш а́ — носильщик. *(Примеч. автора.)*

[2] К а ц о́ — по-грузински человек. *(Примеч. автора.)*.

— А сам-ка я попробую, а? — нерешительно вымолвил он.

— Ты? — проворчал знакомец недоверчиво.— А ну... постой-кась...

Он подбежал к кучке носильщиков и начал что-то объяснять им, пуская в ход все известные ему грузинские, турецкие и армянские слова. Потом махнул рукой Миколе и торопливо прошептал ему на ходу:

— Иди... На чай дадут... Ты не сумлевайся!

Микола живо снял с себя мешок, приладил к спине чей-то куртан и нагнулся. Тюк взвалили на него, и он, легонько крякнув, отнес его на место, при одобрительных возгласах носильщиков. Его окружили, хлопали по спине, щупали ему руки, а он только улыбался во все стороны и крякал. Он был рад, что дорвался, наконец, до какой-нибудь работы, и теперь, сгоряча, ему казалось, что не только какой-то паршивый тюк, а даже и целый пароход он подымет на своих плечах.

— Ну, молодчина! — прохрипел его знакомец.— Потому — русак, а супротив русака ни одна сатана заморская не выстоит. А ты, брат-верблюд, отставной козы барабанщик, вот что! Иди на ять, голубей гонять, только тебе и всего! Мы теперь с земляком всему отродью вашему нос утрем. Тебя как звать-то, земляк?

— Миколай.

— А меня Иван Рогуля. Знакомы будем. Ты не робь, землячок, не пропадем! С эдакой спиной-то да пропадать... Ни за мятный пряник! Покурим, что ли, брат ты мой любезный?

Он рылся по всем прорехам своего костюма, шарил за пазухой, наконец, вывернул карманы, но табаку нигде не было. В это время, воспользовавшись короткою передышкой, носильщики расположились группами, кто прямо на земле, кто приткнувшись к тюкам, и, выпрямляя сгорбленные под куртанами спины, наскоро закусывали хлебом, огурцами, помидорами или свертывали папиросы и с наслаждением затягивались. Верблюд, сидя по-турецки на земле, тоже полез к себе за пазуху.

— Тютюн есть? — спросил его Рогуля.

— Есть, мало.

— Давай сюда, мы с земляком воскурим. Эх, Верблюд-Верблюд, осрамился ты нынче, зашиб тебя Микола!

Верблюд между тем вытянул из-за пазухи висевший на веревочке кожаный кошель и развязал его. Там,

вместе с звякавшими медяками, оказался и табак. Микола смотрел на Верблюда с удивлением.

— Ишь ты, где табак-то носишь! — сказал он.— Заместо креста! А крест где?

— Крест пема! — с детской улыбкой отвечал Верблюд.

— Какому же богу молишься?

— Бог? — переспросил Верблюд и задумался, стараясь вникнуть в смысл вопроса. Лицо его сделалось серьезным, и полураскрытые глаза смотрели на небо, как бы ища там ответа. Но вдруг лицо его снова озарилось улыбкой, и, торопливо перекрестившись, он отвечал: — Вот бог!.. На небе... Иса. Вот как молись!

— Ишь ты! Крестится...— воскликнул Микола.— Стало быть, бог-то у нас один, а я думал, ты нехристь... И чудно же, братец ты мой,— сколько годов живу на белом свете, и не знал, что земля эдакая огроменная и везде один господь-батюшка...

Его философствования были прерваны возобновившимся грохотанием колес и лязганием шкентеля; на пароходе снова заходила лебедка; носильщики нехотя поднимались, бросали докуренные папироски и, жуя на ходу, возвращались к прерванной работе. А на палубе опять послышались однообразные выкрики: «Вира! Майна! Вира помалу! Вира веселей!..»

— Ну, заревела чертова дочка! — пробормотал Иван Рогуля.— Пойдем, Верблюдушка, наша барыня голосок подала. А ты, Микола, обожди тут, мы еще с тобой потолкуем, а коли жрать захочешь, вон тебе лавка, там и хлеб есть, и всякая всячина... А то к Османке в духан иди,— спроси только Османку, тебе всякий укажет...

Вечером, когда небо черным бархатом обогнуло землю и сладкий запах цветущих белых акаций заглушил даже керосиновую вонь, разлитую над Батумом, Иван Рогуля сидел с Миколой у Османки в духане, угощал его дешевым вином и вонючим сулучаном (овечий грузинский сыр) и рисовал ему широкие перспективы будущего житья.

— Что ж, брат, здесь ничего,— говорил он.— Здесь жить можно. Наймешься в муши́, горб у тебя здоровый, а в нашем деле горб — первое дело. Кабы мне эдакий горб, да я бы...

Он так же, как и давеча, потрепал Миколу по «горбу», и Микола скромно крякнул.

— Работа, оно правда, тяжелая, много нашего брата на этой работе пропало, да за то и деньга хорошая,— рупь двадцать в день.

— Рупь двадцать! — захлебываясь, повторил Микола, и в уме его пронеслись сейчас же самые радужные соображения. Двадцать копеек за глаза проесть довольно, а рупь — в мошну. В месяц — это тридцать рублей, а в два — и все шестьдесят... Поправиться можно. Корова — двадцать... лошадь... одежа... семена... Счастливо улыбаясь, он поделился зтими соображениями с Рогулей.

Но Рогуля отнесся к его мечтам скептически. Он давно уже потерял свою родину и свое настоящее звание, скитаясь по широкой Руси и живя где день, где ночь — сутки прочь. Если у него когда-нибудь и было свое Зашибино, то он уже так основательно порвал с ним всякие связи, что у него и воспоминания об этом не сохранилось. И планы Миколы, связанные с каким-то Зашибиным, затерянным бог знает где, чуть не за две тысячи верст отсюда, показались ему пустыми и нелепыми. У него были свои планы...

— Ну, брат, ты еще с коровой подожди! — насмешливо остановил он Миколу.— Какая там корова? Ты еще сначала влезь в куртан, а потом и думай о корове. Первое дело — в куртан надо влезть, потому — здесь все армяшки заграбастали, у них артель, а нашему брату ходу не дают. Ну, да это наплевать, обладим как-нибудь, а главная вещь — ты пустяки брось: тут не коровой дело пахнет...

— А что? — спросил Микола и невольно пощупал себя за гаманок, висевший на кресте, как бы уже чувствуя в нем тяжесть заработанных денег.

Рогуля таинственно оглянулся. В духане было мало посетителей: только два грузина с азартом играли в кости, кидая друг на друга горящие враждебным огнем взоры, да сам хозяин, представительный турок с окладистой черной бородой, сидя на коврике, бесстрастно тянул кальян. В отворенную дверь вместе со сладким запахом акаций доносились нежные звуки музыки, игравшей на бульваре, и могучие вздохи моря.

— Что, говоришь? — прохрипел Рогуля.— А то, братец ты мой, что со сноровкой здесь таких делов можно наделать,— мое почтение! Потому — кругом деньга, только подбирай.

— Ну?

— Вот тебе и ну! Видишь, вон Османка сидит, кальян курит? Тоже муша́ был, а теперь у него духан, а потом магазин откроет либо гостиницу, а потом будет в карете ездить,— вот тебе и муша́!

— Каким родом?

— А таким, что здесь земля такая.

— Родит дюже? — с благоговением спросил Микола.

— Э, дура! — рассердился Рогуля.— Ничего не родит, камень один. Не в этом сила, а в том, что деньга кругом. Копнул в одном месте — чистая медь; копнул в другом — целый фонтан керосину. Ведь это что? Тыщи!

Товарищи поглядели друг на друга разгоревшимися глазами и умолкли. Нежные звуки музыки продолжали литься в отворенную дверь, и все так же загадочно и мощно вздыхало море.

— Ну, пойдем! — тяжело поднимаясь, сказал Рогуля.— Бог напитал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел. Завтра на пристань выдем пораньше... а на корову плюнь!

Сытый, отяжелевший вышел Микола на улицу, голова у него кружилась, как пьяная, но не от вина, а от удивительных речей Рогули. В глазах у него стлался золотистый туман, и сквозь этот туман наяву мерещились груды денег, фонтаны керосину, глыбы сверкающей, как золото, меди. «Тыщи!» — как в бреду, прошептал он и, проходя мимо, с уважением посмотрел на Османку, который в созерцательной дремоте все еще сидел на ковре и курил кальян. Может быть, и ему в сизых волнах дыма чудились груды золота, блестящий магазин на Святополк-Мирской улице, карета и дом с зеркальными окнами...

На улице он немного пришел в себя и, взглянув на бархатное небо, расшитое золотыми и серебряными узорами, глубоко вздохнул. Ему казалось, что он спит и видит все это во сне. Отдаленная музыка будила в его душе какие-то новые, необычные ощущения и желания, высказать которых он и сам бы не мог. Но вот музыка смолкла; только море немолчно пело во мраке свою вечную песню далекому небу.

Микола остановился.

— Постой-ка...— прошептал он.— Слышишь?

— А что? — спросил Рогуля тоже шепотом и насторожился, как травленый волк, всегда готовый к встрече с врагами.

— Море-то... Шумит!

— А, чтоб тебя! — проворчал Рогуля, плюнув.— Я думал, бознать что...

— Зашибино-то, Зашибино-то где теперича? Спят небось и не чуют ничего. И во сне не видят, где ихний Миколка гуляет?

— Э, ну тебя с Зашибином! Нашел об чем думать. Спать пойдем,— сказал Рогуля и во весь рот аппетитно зевнул.

Микола побрел за ним, но душа его ныла, и ему до тоски жалко было Зашибино, которое спало в эту минуту тяжелым сном в тени своих тощих лозняков.

Влез Микола в куртан и вместе с другими, под команду: «Майпа — вира!» стал ворочать на пристани тюки с товарами. Сначала было трудно, но потом он приспособился и привык к своему воловьему труду так, как будто и родился в куртане. За свою огромную силу и здоровый «горб», способный поднимать не один пяток пудов, он приобрел среди товарищей всеобщее уважение и кличку «Большого Дяди». Слава Верблюда, как первого силача, померкла, но добродушный кацо́ безропотно уступил Миколе свое первенство и даже полюбил Большого Дядю, ухитряясь вести с ним продолжительные беседы во время передышек. Предметом этих бесед были преимущественно религиозные вопросы, и Микола всячески старался вразумить Верблюда насчет некоторых пунктов его символа веры, которые казались ему сомнительными.

— Всем бы ты хороший человек, Верблюдушка, да вот нету в тебе этого самого, настоящего, стало быть, веры-то истинной в тебе нету, вот что! — говорил он, озабоченный спасением Верблюдовой заблудшей души.— Вот хоть бы взять посты: пост, например, а ты шашлык жрешь; садишься кушать, а лоб перекрестить забыл; заместо креста у тебя табак на шее,— какой же ты после этого хрестьянин выходишь, а?

— Бог один,— упрямо твердил Верблюд, кротко глядя на Миколу своими наивными полузакрытыми глазами.— Один бог — Иса!..

— Иса-то Иса, а шашлык в Петровки... все-таки жрешь. Неладно, милый человек. Или хоть бы, к примеру, имя у тебя... Как тебя звать-то говоришь?

— Цица.

— Ну, вон видишь как — Цыц! Нешто это настоящее имя? Ну, звали бы тебя, скажем, Иван, или Андрей, или еще как, а то ишь ты ведь что — Цыц! Эх, жалко мне тебя, Верблюдушка, пропадешь ты, право слово!..

— Один бог,— продолжал свое Верблюд, указывая на небо.— Бог — там, люди — здесь; бог большой — люди маленькие...

Он устремлял свой туманный, загадочный взор на небо

и задумывался. Задумывался и Микола, стараясь вникнуть в смысл бессвязных речей Верблюда. «Ишь ты, ведь что лопочет? — думал он.— Бог большой, а мы маленькие... Что ж, ведь оно и правда...» Он в свою очередь принимался глядеть на небо, и небо было такое далекое и огромное, а они — такие маленькие и ничтожные...

Иногда в их беседы вмешивался Рогуля и своим грубым скептицизмом разрушал созерцательное настроение собеседников, в которое оба любили погружаться.

— И что вы тут болты-болтаете? — сердито ворчал он.— Бог да бог... попы вы, что ли? Есть когда нашему брату, рабочему человеку, о боге думать, за это, чай, нам денег не платят. Я уж давно и забыл, где бога́-то в церкви стоят, а они тут разводят... Бог! Вон он, наш бог, ишь как забулдыривает,— айда, ребята, на работу пора!

И пустив по адресу хрипящей донки крепкое словцо, он молодецки встряхивал куртаном и шел на палубу, где уже давно грохотала лебедка.

К концу первого месяца в гамане у Миколы уже было 15 рублей, которые он не без гордости и отослал домой, в Зашибино. Почему 15, а не 30, как рассчитывал раньше Микола? Увы, у Миколы явились новые потребности, развились особенные вкусы, и двугривенного в день «на проежу» оказалось мало. Во-первых, после тяжелого рабочего дня необходимо было выпить и закусить как следует, а Иван Рогуля знал такие соблазнительные места насчет выпивки и закуски, что устоять против них не было никакой возможности. При этом Рогуля всегда так вразумительно доказывал законность и выпивки, и закуски, что Миколе только оставалось с ним согласиться. Затем Микола полюбил во время досуга сыграть с хорошими людьми в кости и в дамки, и не один целковый выскочил из его гамана на это удовольствие. Наконец, он привык курить настоящий турецкий табак и пить в духане настоящее кахетинское вино, а это тоже чего-нибудь да стоило. Правда, армяне и турки, работавшие тут же, на пристани, питались одними помидорами с хлебом и ухитрялись каждый грош прятать в свои лохмотья, но, по словам Рогули, на то они и нехристи были, а православный человек так жить не мог, потому что он привык к пище тяжелой, и брюхо у него уже так устроено, что помидор ему все равно что наплевать...

Микола и с этим соглашался, и хотя на душе у него немного скребло, когда он высчитывал, сколько у него останется денег на посылку домой, но все-таки и селянку

заказывал, и кахетинское пил, и табак курил в 13 копеек четверка, вместо злобинского, шестикопеечного.

На следующий месяц он уже совсем не посылал денег в Зашибино, и на сердце у него не только не скребло, но было довольно легко и приятно. Он справил себе приличную одежу и в свободные часы ходил гулять на бульвар, где слушал музыку, щелкал семечки и угощал ими разных «мамошек», которые, точно бабочки у огня, постоянно толклись в боковых аллеях. Из деревни писали ему жалостные письма и просили деньжонок, и хотя у Миколы в гамане оставалась еще заветная десятка, но он не торопился ее посылать. Теперь уже не корова и не лошадь были у него на уме; воображение его работало в другом направлении, и, отравленный фантастическими планами Рогули, он лелеял другие мечты. Ведь богатеют же другие, отчего же и ему не разбогатеть? Чем он хуже какого-нибудь Аветки или Седраха, которые вот так же, как и он, таскали кули, а теперь имеют свои дома, свои кареты, свои пароходы? Каждый день между грязными, оборванными носильщиками, отдыхавшими среди груды чужих товаров, шли бесконечные разговоры о том, что вот такой-то муша́ скопил сотню рублей, купил участок земли, стал копать и выкопал целый миллион. Говорят, что на днях ему из Петербурга прислали вагон с деньгами, а деньги-то все были в чистом золоте, в кованых сундуках, и когда эти сундуки выгружали, их охраняла целая рота солдат с ружьями и примкнутыми штыками... Усталые, голодные, измученные люди слушали эти рассказы и верили им; верил и Микола и, судорожно ощупывая гаманок, шептал про себя: «О господи!» Глаза бедняков разгорались алчным огнем, дыхание спиралось в груди, и, когда с палубы доносилось властительное грохотание лебедки, они нехотя, точно буйволы, которых ткнули в бок вилами, подымались со своих мест и возвращались к своей каторжной работе. «Вира — майна!..»

Иногда, впрочем, разговоры носильщиков имели другой характер. Рассказывалось, как в прошлом году с гака сорвался тюк в 80 пудов и задавил двоих муша́; как рябой Муратка оступился со сходней, полетел в море и сломал себе ногу; как у Сафатки хрястнула спина, и его замертво стащили в больницу. Но эти рассказы производили мало впечатления, и каждый муша́ думал про себя, что это именно ему суждено получать вагоны с золотом, а сломает спину кто-нибудь другой.

«Надо это дело обмозговать!» — думал Микола, и

днем, сгибаясь под куртаном, и ночью, ворочаясь на жестких нарах «фатеры». «Копить надо... Вот доколочу до сотни, а тогда и шабаш,— тоже землю рыть начну. Что ж, в самом деле, а вдруг и мне счастье?»

Он засыпал горячечным сном, и во сне ему снились исполинские фонтаны нефти, столбом вылетавшие из земли, горы меди, сундуки с золотом. После этих снов он вставал расслабленный, невыспавшийся, и должен был перед тем, как идти на работу, выпить хороший стакан водки. Водка бросалась ему в голову, а шум улицы, знойное солнце, тонкий запах цветущих мимоз, блестящие магазины, веселые или озабоченные лица людей, мчащихся куда-то в красивых экипажах, еще более возбуждали в нем желание получить свою долю на празднике жизни. По временам замечтавшемуся Миколе начинало казаться, что он уже не Микола, не бедный муша́ в лохмотьях, а какой-то совсем другой человек, и весь этот город его, и туманные горы, синеющие вдали, принадлежат ему, и грозные пушки на батареях бухают для него, охраняя его несметные богатства от невидимого неприятеля...

От этих дум Микола даже похудел, сгорбился и расслаб. А из Зашибино ему писали: «Сын наш единородный, Николай Савельевич! Шлем тебе наше родительское благословение, навеки нерушимо, и низкий поклон, и слезно просим вас, утри ты наши горькие слезы, пришли деньжонок хоть самую малую малость»... Микола получал эти письма и ничего не отвечал на них. «Пущай подождут! — думал он.— Вот доколочу до сотни, тогда что бог даст»... Ему хотелось сначала затеять дело, а потом уж и объявиться во всем блеске перед зашибинцами. Он даже от Рогули начал таиться и не говорил ему, сколько у него в гамане денег. Ему не нравились в Рогуле его легкомыслие и бесшабашный характер, и он решил, что Рогуля — человек ненадежный и полагаться на него нельзя. Когда у Рогули не было денег, он ворчал, хрипел и подлаживался к тем, кто мог угостить, но как только в кармане у него заводились гроши, он становился заносчив, дерзок, суетлив, и не успокаивался до тех пор, пока не спускал всего. Он любил производить вокруг себя шум, любил, чтобы перед ним все ходило ходуном, жужжала зурна, лились пьяные, бессвязные песни,— для этого он не жалел ничего, собирал с пристани всякую рвань, нанимал музыкантов, поил всех вином и сам, лежа растерзанный в центре оргии, орал диким голосом:

Чудный ммесяц плывет над рреко-о-ю!..

На Миколу он сердился за то, что тот уклонялся от его пиршеств, и часто упрекал товарища.

— Скупой ты человек, прижимистый! Надо же рабочему человеку потешить себя, а ты и не развернешься никогда. Копишь, что ли?

— Может, и коплю,— отвечал Микола.

— Зачем? Коровушку купить, лошадушку? — иронически хрипел Рогуля.

— А может, и не коровушку...— загадочно говорил Микола.

Рогуля устремлял на него свои пронзительные голубенькие глазки и долго всматривался в похудевшее, серьезное лицо Миколы.

— Ну, ну, копи! — задумчиво говорил он.— Шут тебя знает, может, и достукаешься до дела... Тогда, брат, и Рогулю попомни!

«Ладно! — думал Микола.— Подожди... вот как доколочу до сотни»...

А до сотни оставалось еще далеко.

Был жаркий полдень. Даже небо побелело от нестерпимого зноя и тяжело висело над роскошным городом. На горах клубились серые, пухлые тучи, и море, молочно-бирюзовое у берегов, чуть-чуть темнело на горизонте под набегавшим ветерком. Все изнемогало от жары, и муши́, черные от пыли, мокрые от пота, едва волочили ноги, таская тюк за тюком и непременно ругаясь. Наконец, и ругаться перестали,— лень было ворочать языком,— и усталые, озлобленные, молча подставляли спины под ношу. Гора тюков на пристани росла, разгрузка подходила к концу. «Ах, скорее бы уж!» — шевелилось в усталых мозгах, и эта мысль объединяла всю разноплеменную толпу рабочих, жаждавших отдыха и прохлады. Даже неугомонная донка как будто устала и не так ретиво ворочала колеса крана.

У Миколы давно уже во рту пересохло от жажды, коленки тряслись и глаза заливал какой-то красный туман, но он не отставал от других. «Ну, уж жара! — думал он, медленно передвигая ноги по сходням.— Никогда такой не бывало... В голове так и гудет, словно на колокольне»...

— Вира! Вира веселей!...— охрипшим голосом кричал на палубе надсмотрщик.— Вира, вира... Майна! Стоп!

«Ну и гудет же...— продолжал думать Микола, подставляя спину.— Ну и пущай гудет... не пропадать же целковому».

Ему взвалили на спину громадный тюк. Микола крякнул и подался вперед, красный туман еще гуще застлал ему глаза. «О, идол же, и здоровый только! Ишь, черти, какой навалили... Ну, да ладно, мне бы только до сотни доколотить»...

Вдруг ему показалось, что сходни уплывают куда-то у него из-под ног, красный туман залил и пристань, и тюки, и шумную толпу, в ушах загудело, в груди что-то лопнуло, и он тяжело рухнул наземь со своей ношей.

На пристани поднялся страшный гвалт. Донка замолчала; крюк, беспомощно покачиваясь, так и повис над трюмом, и носильщики, побросав тюки, окружили Миколу.

— Черти! Дьяволы! — кричал Рогуля, грозя кому-то кулаком.— Нешто можно на человека экую махину грузить? Буйвол он, что ль? Анафемы треклятые!

Прибежал Верблюд и, увидев распростертого и придавленного тюком Миколу, взвыл и принялся стаскивать тюк.

Когда беднягу извлекли из-под тюка, он был без памяти. Из-под полузакрытых век видны были только налитые кровью белки; на губах пенилась сукровица, в горле что-то скрипело и хлябало, точно развинтившаяся гайка. Один из носильщиков принес воды, и Рогуля, ругаясь и плача, мочил товарищу голову, а Верблюд сидел около на корточках, смотрел на небо и выл что-то по-своему.

На мостике показался капитан.

— Эй вы, чего побросали работу? Что там такое? — закричал он.

— Человек упал, ваше благородие! — отвечали ему из толпы.

— В больницу! Носилки тащи! Где носилки, черти?

— Есть!

— Ишь ты, сейчас и носилки! Убили человека, да и носилки! — орал Рогуля.— Ты сам, жирный дьявол, ложись на них, на носилки-то! Разлопался на нашей кровушке, хряк тамбовский!..

— Эй, кто это там орет? Дайте ему в зубы, такому сякому! На работу, на работу, живо! Уберите тело!

— Есть, ваше благородие!

Лебедка опять загрохотала, но никто и не думал возвращаться к работе. Муши волновались и шумели, с тупым страхом заглядывая в искаженное лицо Миколы. Ведь не сегодня, так завтра каждого из них подстерегала такая же неожиданная и жестокая смерть.

Явились носилки, и матросы приготовились поднимать Миколу.

— Не трожь, дьявол! — закричал Рогуля.— Постой, говорю, он отлежится!

— Где уж отлежится! — сказал матрос равнодушно.— Небось давно все пульцы остановились.

— Говорю, не трожь, черти! Верблюд, скачай, брат, за водкой, живым манером! От водки он у нас сейчас очухается.

Верблюд вскочил и своею обычною иноходью, вытянув шею и закинув голову назад, понесся за водкой.

Вдруг полузакрытые веки Миколы дрогнули и поднялись, по лицу промчалась судорога. И взгляд помутившихся глаз прояснился. Он пришел в себя и с удивлением смотрел на склоненные над ним испуганные лица, на плачущего Рогулю, на светлое, горячее небо вверху.

— Братцы... что это? — хотел было он сказать, но язык не ворочался, и только хриплый стон вылетел из разбитой груди.

— Очнулся, очнулся! — радостно закричал Рогуля.— Миколушка, подлец ты эдакий, жив? Ах ты анафема! Братцы, еще водицы! Лей, лей, вот так... Теперь бы еще водочки,— первое дело! Ну что, Микола, как?

Лицо Миколы опять задергалось.

— Ни-чего...— прошептал он с мучительным усилием.— О-шибся маненько... ничего...

Он попробовал подняться, но ни руки, ни ноги не двигались. «Чудно!.. Легко так и нигде не больной, а владания ни в чем нету... А небушко-то какое большое да светлое... правду Верблюд говорил: небо большое, а мы — маленькие...» И чудится Миколе, что небо становится все шире и ближе, а он сам — все меньше и легче, и тела у него совсем уже нет, и только в голове что-то еще жужжит и вертится...

— Рогуля...— коснеющим языком проговорил он.— Гаман... гаман-то... возьми... тут... 40 целковых... в Зашибино... я тебе сказывал...

Он заикнулся, подавившись собственной кровью, которая густым, черным клубом хлынула у него изо рта.

Небо стало еще шире и светлее. Микола все смотрел на него и с улыбкой, без всякой боли чувствовал, что уходит в это огромное, открытое небо,— наконец, ушел совсем.

На пристань мчался Верблюд с бутылкой водки, а за ним торопливо шагал городовой, уже осведомленный о «происшествии».

— Кончился!..— мрачно сказал Рогуля, держа в руках Миколин кошель и обильно орошая его слезами.

Верблюд сунул бутылку в одну из своих прорех, поднял руки к небу и начал молиться. Микола кончился, Миколы уже не было здесь, на земле. Но Микола был там, наверху, у большого бога, о котором он так любил говорить с Верблюдом. И Верблюду казалось, что Микола теперь все знает, все слышит и все понимает,— понимает даже то, что говорит ему Верблюд. И Верблюд просил Миколу сказать большому богу о том, как тяжко и горько живется на земле маленьким людям.

Между тем раздавленное тело положили на носилки и унесли. Донка зашипела, и мушй, понурив головы и еще ниже согнув спины, молча поползли по сходням. Все пришло в свой обычный порядок, только Рогули не было. Рогуля исчез.

Он пропадал целую неделю. На пристани рассказывали, что видели его в разных злачных местах и мертвецки пьяного. Он водил за собою целую толпу пьяного сброда, пил сам и других заставлял пить за упокой души какого-то раба божия Николая, и то рыдал и диким голосом пел «вечную память», то разъярялся и кричал на весь Батум, что довольно уже им, лохмотникам, гнуть свои горбы для миллионщиков, что он скоро сам будет богаче всех богачей и что тогда пусть самый последний муша́ посмотрит, каков таков есть человек он, Иван Рогуля... И в ответ ему жужжала зурна, гремели бубны, и босая, пьяная, буйная толпа кричала: «Ура, Иван Рогуля!»

Но через неделю опухший, желтый, как тыква, и еще более обносившийся и обтрепавшийся Иван Рогуля появился на пристани, надел куртан и, как ни в чем не бывало, снова пошел таскать тюки. К нему подошел было Верблюд. «А Микола-то?» — сказал он с чувством. Но Иван Рогуля так поглядел на него своими оплывшими глазами, что Верблюд уже не продолжал и торопливо зашагал от него в сторону.

Работа на пристани кипела. Тюк громоздился на тюк, лязгали шкентели, донка хрипела и задыхалась от напряжения. И среди всей этой адской музыки монотонно повторялись одни и те же крики: «Вира! Майна!»

I

Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдешь работу. Всегда найдешь... Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нем не настоишь. Бегут оттуда люди... не дюжат! Вот ты и повози денек. По семь копеек с тачки дадут, чай... На день-то ничего, хватит.

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолически замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня; он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.

— Коли не дюжишь... приходи сюда отдыхать... Расскажешь... Тут недалеко, верст пяток... Да... Вот поди-ка!

Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом «на соль». Было жаркое августовское утро, небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле, на желтом берегу лежали белые пятна,— то Очаков; сзади — курень утопал за буграми ярко-желтого песка, сильно оттененного аквамариновой водой моря...

Я очень много наслушался в курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его.

Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи.

Три квадрата земли, сажен по двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом — она сгребалась в кучки. Сгребавшие ее женщины, с лопатами в руках, по колена топтались в блестящей черной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на черном, блестящем фоне жирной, соленой и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погибели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед. Колеса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращенных к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колес грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих-возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя над высокой кучей соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик,— высокого роста, черный, как уголь, мужчина, в синей рубахе и белых широких шароварах,— во все горло командовал ввозившим по доске вверх тачечникам:

— Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тебя в становую жилу! Кол тебе в глаз! Куда ты прешь?!. Куда?!. Ах ты чертов ноготь!..

Затем раздраженно вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль, изо всей мочи стукая по ней лопатой. Рабочие автоматично ввозили тачки кверху, так же автоматично опрокидывали их по команде «направо! налево!» и, с усилием расправляя спины, тяжелым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожавшим и вязнувшим в черном жирном иле доскам снова за солью.

— Возись проворней, черти! — покрикивал им взад кладчик.

Но они возились так же молчаливо-пришибленно, и только их хмурые, усталые и истомленные, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздраженно

подергивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи; передние тачки уезжали, задние вставали, и двигающая их сила, в лице отрепанных и грязных босяков, тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо шестпадцатипудовой тачки снова на доску.

А с безоблачного, подернутого знойным туманом неба жаркое южное солнце все с большим усердием раскаливало землю, точно ему непременно сегодня и во что бы то ни стало нужно было убедить ее в своем жарком внимании к ней.

Посмотрев, стоя в стороне, на все это, я решил попытать счастья и, приняв возможно более независимый вид, подошел к доске, по которой рабочие шли с опорожненными тачками.

— Здравствуйте, братцы! Помогай бог!

В ответ получилось нечто совершенно для меня неожиданное. Первый — седой, здоровый старик, с засученными по колена штанами и по плечи рукавами рубахи, обнажавшими бронзовое, жилистое тело — ничего не слыхал и, не сделав ни движения в мою сторону, прошел мимо. Второй — русый молодой парень, с серыми злыми глазами — зло посмотрел на меня и скорчил мне рожу, крепко ругнув вдобавок. Третий — очевидно, грек, черный как жук и кудрявый — поравнявшись со мной, выразил сожаление о том, что у него заняты руки и что он не может поздороваться своим кулаком с моим носом. Это у него вышло как-то не подобающе желанию равнодушно. Четвертый насмешливо крикнул во все горло: «Здравствуй, стеклянные зенки!» — и сделал попытку лягнуть меня ногой.

Этот прием был как раз тем, что в культурном обществе, если не ошибаюсь, называется «нелюбезным приемом», и этого никогда не случалось со мной в такой резкой форме. Обескураженный, я невольно снял очки и, сунув их в карман, двинулся к кладке, намереваясь спросить у кладчика,— нельзя ли поработать. До места кладки я еще не успел подойти, как он окрикнул меня:

— Эй, ты! Чего тебе? Работы, что ли?

Я сказал.

— А ты на тачках работаешь?

Я сказал, что, мол, возил землю.

— Землю? Не годится! Земля — совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. Пшел к свиньям на хутор! Ну, ты, кикимора, вали прямо на ноги!

Кикимора — оборванный сивый геркулес, с длинными усами и сизым прыщеватым носом — ухнул во всю грудь и

опрокинул тачку. Соль посыпалась. Кикимора ругнулся, кладчик переругнул его. Оба довольно улыбнулись, и оба же сразу обратили на меня свое внимание.

— Ну, чего ж тебе? — спросил кладчик.

— А ты, кацапе, мабудь вареники исти до соли прийшов? — подмигивая ему, говорил Кикимора.

Я стал просить кладчика принять меня на работу, уверяя его, что я привыкну и что стану возить не хуже других.

— Ну, здесь, прежде чем привыкнешь, хребет себе вывихнешь. Да ин бог с тобой, ступай! Первый день больше полтины не положу. Эй! Дайте ему тачку!

Откуда-то вынырнул малый в одной рубахе, с голыми ногами, перевязанными до колен грязными тряпками, скептически посмотрел на меня и сквозь зубы проговорил:

— Ну, иди!

Я пошел за ним к груде тачек, наваленных друг на друга, и, подойдя, стал выбирать себе полегче. Малый чесал себе ноги и молча осматривал меня.

— Чего ты взял-то? Али не видишь,— у ней колесо кривое,— проговорил он, когда я, облюбовав себе тачку, взял было ее,— и, равнодушно отойдя в сторону, он лег на землю.

Я, выбрав другую тачку, стал в ряд и пошел за солью, чувствуя, как какое-то неопределенное, тяжелое чувство давит меня, не позволяя мне заговорить с товарищами по работе. На всех физиономиях, несмотря на усталость, искажавшую их, ясно выражалось глухое, пока еще скрываемое раздражение. Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колесами тачек, на «рапу», этот скверный, жирный и — соленый ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнущие раны,— на все окружавшее их. Эта злоба была видна по косым взглядам друг на друга, по забористым, ядовитым ругательствам, изредка вырывавшимся из воспаленных жаждою глоток. На меня никто не обращал внимания. Только входя в квадрат и расходясь с тачками по крестообразно разложенным доскам к кучкам соли, я почувствовал удар по ноге сзади и, обернувшись, получил прямо в лицо злое восклицание:

— Подбирай пятки, длинный черт!

Я поспешно подобрал пятки и, поставив тачку, стал лопатой насыпать в нее соль.

— Полней насыпай! — скомандовал мне геркулес-хохол, стоявший рядом со мной.

Я насыпал, как мог, полно. В это время задние скомандовали передним: «Вези!» Те поплевали на руки и, кряхтя, двинули тачки, снова сгибаясь чуть не под прямым углом, и, выдвинув корпуса вперед, как-то странно вытянули шеи, как будто бы это должно было облегчить труд.

Заметив все эти приемы, я точно так же елико возможно согнулся и вытянулся вперед, приподнял тачку — колесо пронзительно завизжало, кости ключиц заныли, напряженные до последней возможности руки задрожали... я, шатаясь, сделал шаг, два,— меня мотнуло влево, потом вправо, дернуло вперед... колесо тачки съехало с доски, и я полетел в грязь прямо лицом. Тачка назидательно стукнула меня по затылку ручкой и потом лениво повернулась вверх дном. Оглушительный свист, крик, хохот, приветствовавшие мое падение, точно еще больше забивали меня в теплую жирную грязь, и, барахтаясь в ней, тщетно пытаясь поднять увязшую тачку, я чувствовал, как что-то холодное и острое режет мне грудь.

— Эй, друже, а ну — помоги! — обратился я к хохлу-соседу, хохотавшему во все горло, взявшись за живот и покачиваясь из стороны в сторону.

— О, трясца твоей матери!.. Тю-тю-тю, дурню?.. Выдыбай на доску! Карету-то гни налево! Тю!.. А щоб тоби рапа засосала! — И он снова грохотал со слезами на глазах, хватаясь за бока и охая.

— Пошел, черт, по бревнам!..— сокрушенно махнул рукой, глядя на меня, передний седой старик и, крякнув, повез тачку.

Передние тачечники уехали; те, что были сзади меня, стояли и довольно недоброжелательно смотрели на меня, вспотевшего от усилий вытащить тачку и покрытого толстым слоем грязи, стекавшей с меня. Помочь никто не хотел. А с кладки доносился голос кладчика:

— Что застряли, дьяволы? Собаки!.. свиньи!.. Аль дальше с глаз — дольше день?! Лешие!.. черти!.. Вези, анафемы!..

— Прочь с дороги! — гаркнул хохол сзади меня и двинул тачку, чуть-чуть не задев меня по голове ее крылом.

Я остался один, кое-как вытащил тачку и, так как соль из нее высыпалась и она была вся облеплена грязью, повез ее, пустую, вон из квадрата, намереваясь выбрать себе другую.

— Что, брат, упал? Ничего, спервоначалу это со всяким бывает!

Оглянувшись в сторону, я увидал за одной из кучек соли на положенной в грязь доске парня лет двадцати, присевшего на корточки и сосавшего себе ладонь. Он смотрел на меня из-

за руки добрыми, улыбавшимися глазами и кивал мне головой.

— Ничего, брат! Это с непривычки бывает. Что у тебя с рукой-то? — спросил я.

— Да вон сцарапал, а рану-то разъедает; не высосешь, так бросай работу, болеть будет здорово! Вали, вали, поезжай, а то кладчик заругает!

Я поехал. Со второй тачкой у меня сошло благополучно; вывез и третью, и четвертую, и еще две. На меня никто не обращал внимания, и я был очень доволен этим вообще очень грустным для человека обстоятельством.

— Шабаш! Обедать! — прокричал кто-то.

Все, облегченно вздохнув, пошли обедать; но и тут никто не проявил ни оживления, ни радости отдыху. Все делалось как-то подневольно, с худо скрытым отвращением и злобой. Казалось, никто не видел в отдыхе ничего приятного для своих наломанных работой костей и разморенных зноем мускулов. У меня сильно ныла спина, ноги и руки в плечах, но, стараясь не давать другим заметить этого, я бодро пошел к котлу.

— Погоди! — остановил меня старый угрюмый босяк-рабочий, в синей рваной блузе и с таким же, под цвет блузе, синим запойным лицом, украшенным хмуро сдвинутыми густыми бровями, из-под которых дико и насмешливо сверкали красные, воспаленные глаза.— Погоди! Тебя как зовут?

Я сказал.

— Так! Дурак был твой отец, коли дал тебе такое имя. У нас к котлу Максимов не пускают в первый день работы. Максимы первый день на своих харчах работают. Так-то! Вот кабы ты Иван был или еще как — другое дело. Меня вот Матвеем зовут,— ну — я и пообедаю, а Максим пусть посмотрит. Пшел от котла!

Я удивленно посмотрел на него и, отойдя в сторону, сел на землю. Меня сбивало с толку такое отношение ко мне, отношение, мной не вызванное и до сих пор не испытанное. Раньше и позднее мне случалось не один десяток раз входить в артель, и всегда я сразу вставал на простую товарищескую ногу. На этот раз все было как-то невероятно странно, и, несмотря на тяжесть и остроту моего положения, мое любопытство было затронуто очень глубоко. Я решил поискать ключа к этой высокоинтересной для меня загадке и, решив, наружно спокойно посматривая на обедавших, стал ждать начала работы... Нужно узнать, почему ко мне так относятся.

II

Вот они пообедали, порыгали и стали закуривать, расходясь от котла. Геркулес-хохол и малый с перевязанными ногами подошли ко мне и сели так, что загородили собой от меня ряд тачек, оставленных на доске.

— Ну что, братику? — спросил хохол.— Покурить хочешь?

— Давай! — сказал я.

— А разве у тебя нет своего табака?

— А был бы, так я бы и не спросил.

— Ото верно! На, покури.— Он подал мне свою трубку.— Что ж ты, будешь возить?

— Да, буду, пока могу.

— Так! А ты откуда сам?

Я сказал.

— Эге! А что, это далеко?

— Тысячи три верст.

— Ого! Добре далеко. А чего ж ты сюда пришел?

— Да как и ты же, все равно.

— Ага! Так тебя, значит, тоже за воровство из твоей деревни выгнали?

— Как так? — спросил я, чувствуя, что сел в лужу.

— Да я потому пришел сюда, что меня за воровство деревня вон выгнала, а ты говоришь, что пришел, как и я же...— И он захохотал, довольный своей ловкостью.

Его товарищ сидел молча и подмигивал ему глазом, хитро улыбаясь.

— Погоди...— начал я.

— Некогда годить-то, братику! — работать надо. Пойдемка, становись сзади меня на мою тачку; у меня хорошая, верпая тачка. Пойдем!

Мы пошли. Я хотел было взять его тачку, но он торопливо сказал:

— Погоди, я сам отвезу. Давай твою, а мою в нее положим, она прокатится, отдохнет немного.

Эта любезность показалась мне подозрительной, и, идя рядом с ним, я пытливо рассматривал лежавшую кверху колесом его тачку, желая убедить себя, что мне не подстроено какой-нибудь каверзы, но не усмотрел ничего, кроме того, что я вдруг сделался предметом общего внимания, почему-то скрываемого, по неумело; я ясно замечал его в частых подмигиваниях в мою сторону, в кивках головой и в подозрительном перешептывании. Я понял, что нужно смотреть в оба, и насторожился в ожидании чего-то, что должно быть, судя по началу, очень оригинально.

— Приехали! — сказал хохол н, сняв свою тачку, поставил ее мне.— Насыпай, брат!

Я посмотрел кругом. Все усердно работалн, и я стал насыпать. Ннчего не было слышно, кроме шороха соли, сбрасываемой с лопат, н эта тишнна тяжело давнла грудь. Я подумал, что мне, пожалуй, лучше уйтн отсюда.

— Ну, берись! Чего заснули?! Везн! — скомандовал синий Матвей.

Я взял за ручки тачку и, с усилием прнподняв ее, двинул вперед... Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть рукн к себе. Боль повторилась, но вдвое сильнее: я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемленную в ручках тачкн. Скрипя зубамн от злобы и боли, я осмотрел ручкн н увидал, что они былн с боков расколоты топором и расперты щепочкамн. Это было сделано очень незаметно и очень умно. Рассчитывалось, что, когда я сильно сожму ручки, щепки выскочат нз щели, и дерево, сомкнувшись, защемит мне кожу. И этот расчет оправдался. Я поднял голову и посмотрел кругом. Крики, хохот и свист летелн мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые, торжествующие рожи. С кладки доноснлась циничная ругань кладчика, но никто не обращал на нее вниманння,— все были заняты мной. Я смотрел кругом тупо и бессмысленно н чувствовал, как внутри меня все снльнее вскнпает обнда, желанне мести и ненависти к этим людям. А они, собравшись толпой против меня, сыпали насмешкн н ругательства. Мне страстно, до боли страстно захотелось оскорбить и унизить нх.

— Мерзавцы! — вскричал я, протягивая к ним сжатые кулаки, и так же цинично, как ругалн они меня, стал ругать их, ндя к ннм навстречу.

Они как будто дрогнули и, смутившись, подались назад. Только геркулес-хохол н синий Матвей, оставаясь на месте, хладнокровно стали засучивать рукава рубах.

— А ну, иди, иди!.. а ну, ну!..— тнхо н радостно бормотал хохол, не сводя с меня глаз.

— Дай ему тютю, Гаврила! — советовал ему Матвей.

— За что вы меня обидели?! — кричал я.— Что я вам сделал?!. За что?!. Разве я не такой же, как вы, человек?!. — Кричал еще какие-то жалкие, нелепые, злые, бессмысленные слова и весь дрожал дрожью бессмысленного бешенства, в то же время зорко следя, как бы не совершнли надо мной еще какой-либо остроумной выходки.

Но глупые, бессмысленные физиономнн смотрели на ме-

ня уже не так безучастно, и по некоторым из них скользнуло как бы сознание вины передо мной за эту злую шутку. Хохол и Матвей тоже подвинулись назад. Матвей стал одергивать блузу, хохол полез в карман.

— Ну, за что же? За что?!.— спрашивал я их.

Они тупо молчали. Хохол вертел сигарку и смотрел себе в ноги. Матвей вдруг очутился сзади всех; остальные пошли было к своим тачкам, угрюмо почесываясь и не говоря ни слова. К группе шел кладчик, громко крича и грозя кулаками. Все это произошло так быстро, что бабы, огребавшие соль шагах в двадцати от нас и, как я заметил, бросившиеся на мой крик, подошли уже тогда, когда ребята стали расходиться к тачкам. Я оставался один, с горьким чувством незаслуженной и неоплаченной обиды. Это усиливало обиду и боль. Мне хотелось ответа па мои вопросы, хотелось возмездия. Я крикнул им:

— Стойте, братцы!

Они остановились, хмуро глядя на меня.

— Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же быть у вас совесть!

Они молчали, и это молчание как бы отвечало мне за них. Тогда, немного успокоившись, я начал говорить им. Я начал с того, что я такой же человек, как и они, что мне так же хочется есть, что для этого я так же должен работать, что я пришел к ним, как к своим, родным мне по положению людям, что я считал их не ниже и не хуже себя...

— Все мы равны,— говорил я им,— и должны понимать друг друга и, поскольку это каждый умеет, помогать друг другу.

Они внимательно слушали, толпясь вокруг меня, но избегая моих взглядов. Я замечал, что мои слова действуют на них и это вдохновляло меня. Взглянув кругом, я еще более убедился в этом. Чувство радости, острой и яркой, охватило меня, и, бросившись на кучу соли, я заплакал. Заплачешь!..

Когда я поднял голову, кругом не было никого. Работать кончили, и возчики, разбившись на группы по пять-шесть человек, сидели там, около кладки, рисуясь на розоватом фоне соли, освещенной лучами заходившего солнца, большими, неуклюжими, грязными пятнами. Было тихо. С моря веяло прохладой. По небу плавно двигалось маленькое белое облачко; от него отрывались тонкие, прозрачные дымки и исчезали, расплываясь по голубому фону неба. Это было очень грустно...

Я встал и пошел туда, к кладке, с твердым намерением

проститься и уйти в рыбацкий курень. Когда я подошел к группе из хохла, Матвея, кладчика и еще троих солидных пожилых босяков, они поднялись ко мне навстречу, и, прежде чем я успел заговорить с ними, Матвей протянул ко мне руку и сказал, не глядя на меня:

— Вот что, друг! Ты пойди от нас своей дорогой, куда тебе надо! Да! А на дорогу мы вот собрали тебе малость грошей. На-ка возьми!

В его горсти лежали медяки, и рука его дрожала, когда он протягивал ее мне. Я растерялся и, ничего не понимая, смотрел на них. Они стояли, понуро опустив головы и молча, ненужно и нелепо оправляли свои отрепья, одергивались, переминались с ноги на ногу, поглядывали по сторонам, всем, каждым движением и жестом выражая крайнее смущение и желание кончить скорее со мной.

— Я не возьму! — сказал я, отталкивая руку Матвея.

— Нет, уж ты возьми, не обижай нас. Мы что ж? Мы понимаем, что обидели тебя; но только разве это верно, коли рассудить правильно? Совсем, брат, неверно. Потому главная причина — жизнь! Какая жизнь наша? Каторжная! Тачка — шестнадцать пуд, рапа ноги рвет, солнце палит тебя, как огнем, целый день, а день — полтина! Али этого мало, чтобы озвереть? Работаешь, работаешь, заработок пропьешь — опять работаешь! — вот и все. И как годов с пять проживешь этим манером, так и того... облик человеческий и утратишь,— зверюга, да и шабаш! Мы, брат, сами себя еще больней обижаем, чем тебя, а мы все ж ведь друг друга знаем, ты же — чужой человек... Чего тебя жалеть-то? Так вот так-то! Говорил ты там... разное, ну-к что ж? Оно, конечно, это ты там ловко все... правильно, надо быть... только не к разу... не в строй. Ты не обижайся... шутки ведь. Все-таки у нас сердце... Д-да! Ну, и иди себе, куда хочешь, с твоей правдой, а мы останемся здесь с своей. Возьми на, гроши-то! Прощай, брат! Мы пред тобой не виноваты, и ты пред нами — тоже. Плохо вышло у нас, это верно. Ну, да ладно! Хорошее-то не про нас. А оставаться тебе здесь не рука. Какая ты нам... пара? Мы, брат, друг к другу пристрочены вот как, а ты так себе привалился... слегка... Ничего у нас не может выйти... Ну, значит, и отчаливай! Вали своей дорогой!.. Прощай!

Я посмотрел кругом, убедился, что все согласны с Матвеем, и, вскинув на плечи котомку, хотел идти.

— Погоди, человече! Дай и я скажу слово! — остановил меня за плечо хохол.— Коли б кто другой, а не ты это был, так я бы проводил его кулаком в боки. Чуешь? А ты вот

идешь себе свободно, да еще и гроши на дорогу мы тебе давали. Говори спасибо за то нам! — И он, плюнув в сторону, стал вертеть кисет вокруг пальца, победоносно поглядывая вокруг, точно хотел сказать: дивуйтесь-де, какой я умный!

Подавленный всем этим, я поторопился проститься с ними и пошел берегом моря назад к куреню, в котором ночевал. Небо было чисто и знойно, море пустынно и важно, к ногам моим, шумя, катились зеленые волны... И мне было невыносимо больно и стыдно за что-то. Медленно и убито шагал я по горячему песку берега. Море спокойно блестело на солнце, волны толковали о чем-то непонятном и грустном...

Когда я подошел к куреню, мне навстречу встал знакомый рыбак и торжествующим тоном человека, предположения которого оказались верны, произнес:

— Что, брат, али солоно пришлось?

Я промолчал, взглянув на него.

— Ишь ты! Пересолено малость! — уверенно произнес он, оглядев меня.— Есть хошь? Иди ешь кашицу! Там ее до черта наварили... половина, поди-ка, осталась! Иди, дуй на ложку! Ха-арошая кашица... с камбалой, с севрюгой...

Минуты через две я сидел в тени за куренем, весь грязный, очень утомленный, очень голодный, и ел, с тоской и болью в сердце, кашицу с севрюгой и камбалой.

Поэма

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая кренделя и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил

окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали,— наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса — тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова, и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища,— она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на него жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза — безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто, устав смотреть на рабов и не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга,— девять против девяти,— мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались — ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко — в чем может быть

виновен человек, если он полумертв, если он — как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые все уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей,— для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристает другой, и — вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню,— она вскипает, как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает серые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую, песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжко вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «эх!» — поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем,— широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя почти все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя

горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую,— прислонялось маленькое, розовое личико с голубыми, веселыми глазами и звонкий, ласковый голос кричал нам:

— Арестантики! Дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие, белые зубы, блестевшие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и — вот она,— веселая такая, милая,— входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и все улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх,— порог двери выше пола на четыре ступеньки,— мы смотрим на нее, подняв голову кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова,— они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче, и шутки легче. У нас для нее — все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:

— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом — все то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и все вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тане мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть, потому, что она была маленькая и очень

красивая, а все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Лучше ее — никого не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале, — никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец — наверно, это главное — все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям: мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идолу, это стало почти священным обрядом и с каждым днем все более прикрепляло нас к ней. Кроме кренделей, мы давали Тане много советов — теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязанок дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас, но мы не обижались на это: нам нужно было только показать, что мы заботимся о ней.

Часто она обращалась к нам с разными просьбами, просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров, — мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и все другое, чего она хотела.

Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, сказала:

— Вот еще. Стану я, как же!..

Мы очень посмеялись над чудаком и — никогда ни о чем больше не просили ее. Мы ее любили, — этим все сказано. Человек всегда хочет возложить свою любовь на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда пачкает, он может отравить жизнь ближнего своей любовью, потому что, любя, не уважает любимого. Мы должны были любить Таню, ибо больше было некого нам любить.

Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал рассуждать так:

— И что это мы балуем девчонку? Что в ней такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!

Человека, который решался говорить такие речи, мы скоро и грубо укрощали — нам нужно было что-нибудь любить; мы нашли себе это и любили, а то, что любим мы, двадцать шесть, должно быть незыблемо для каждого, как наша святыня, и всякий, кто идет против нас в этом, — враг наш. Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо, но ведь нас — двадцать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое нам видеть священным для других.

Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и, может быть, именно поэтому некоторые гордецы утверждают, что наша ненависть более лестна, чем любовь... Но почему же они не бегут от нас, если это так?

Кроме кренделей, у нашего хозяина была еще и булочная; она помещалась в том же доме, отделенная от нашей ямы только стеной; но булочники — их было четверо — держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей, и поэтому, считая себя лучше нас, они не ходили к нам в мастерскую, пренебрежительно посмеивались над нами, когда встречали нас на дворе; мы тоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин из боязни, что мы станем красть сдобные булки. Мы не любили булочников, потому что завидовали им: их работа была легче нашей, они получали больше нас, их кормили лучше, у них была просторная, светлая мастерская, и все они были такие чистые, здоровые — противные нам. Мы же все — какие-то желтые и серые; трое из нас болели сифилисом, некоторые — чесоткой, один был совершенно искривлен ревматизмом. Они по праздникам и в свободное от работы время одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из них имели гармонии, и все они ходили гулять в городской сад, — мы тоже носили какие-то грязные лохмотья и опорки или лапти на ногах, нас не пускала в городской сад полиция — могли ли мы любить булочников?

И вот однажды мы узнали, что у них запил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого, и что этот другой — солдат, ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы, один за другим, то и дело стали выбегать на двор.

Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив в дверь, он отворил ее и, оставив открытой, встал на пороге, улыбаясь, и сказал нам:

— Бог на помощь! Здорово, ребята!

Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымчатым облаком, крутился у его ног, он же стоял на пороге, смотрел на нас сверху вниз, и из-под его белокурых, ловко закрученных усов блестели крупные, желтые зубы. Жилетка на нем была действительно какая-то особенная — синяя, расшитая цветами, она вся как-то сияла, а пуговицы на ней были из каких-то красных камешков. И цепочка была...

Красив он был, этот солдат, высокий такой, здоровый,

с румяными щеками, и большие, светлые глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На голове у него был надет белый туго накрахмаленный колпак, а из-под чистого, без единого пятнышка, передника выглядывали острые носки модных, ярко вычищенных сапог.

Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь; он не торопясь сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель — все, что можно и нужно было сказать о хозяине, но нельзя написать здесь. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым взглядом.

— А у вас тут девчонок много...— вдруг сказал он.

Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что тут девчонок — девять штук.

— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая глазом.

Опять мы засмеялись, не очень громко и сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не смел сделать этого, ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав:

— Где уж нам...

— Н-да, вам это трудно! — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас.— Вы чего-то... не того... Выдержки у вас нет... порядочного образа... вида, значит! А женщина — она любит вид в человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы все — аккуратно! И притом она уважает силу... Рука чтобы — во!

Солдат выдернул из кармана правую руку с засученным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал ее нам... Рука была белая, сильная, поросшая блестящей золотистой шерстью.

— Нога, грудь — во всем нужна твердость... И опять же — чтобы одет был человек по форме... как того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят. Я их не зову, не маню,— сами по пяти сразу на шею лезут...

Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любят его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился. Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил. К нам никто не ходил, никто не

разговаривал с нами так, дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих его успехах у золотошвеек, которые, встречаясь с нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили нас сторонкой, или шли прямо на нас, как будто нас и не было на их дороге. А мы всегда только любовались ими на дворе, и когда они проходили мимо наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и шубки, а летом — в шляпках с цветами и с разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы говорили об этих девушках так, что если б они слышали нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.

— Однако как бы он и Танюшку... не испортил! — вдруг озабоченно сказал пекарь.

Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы както забыли о Тане: солдат как бы загородил ее от нас своей крупной, красивой фигурой. Потом начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит себя до этого, другие утверждали, что ей против солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в случае, если солдат станет привязываться к Тане, — переломить ему ребра. И, наконец, все решили наблюдать за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она опасалась его... Это прекратило споры.

Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую, но о победах над девицами не рассказывал, а все только усы крутил да смачно облизывался.

Таня каждое утро приходила к нам за «кренделечками» и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с нами. Мы пробовали заговорить с нею о солдате, — она называла его «пучеглазым теленком» и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начинали относиться к солдату пренебрежительно. А ее еще больше полюбили, еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам.

Но однажды солдат пришел к нам немного выпивши, уселся и начал смеяться, а когда мы спросили его, над чем это он смеется? — он объяснил:

— Две подрались из-за меня... Лидька с Грушкой... Ка-ак они себя изуродовали, а? Ха-ха! За волосы одна другую, да на пол ее в сенях, да верхом на нее... ха-ха-ха! Рожи

поцарапали... порвались... умора! И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются? а?

Он сидел на лавке, здоровый, чистый такой, радостный, сидел и все хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз.

— Н-нет, как мне везет на бабу, а? Умора! Мигнешь и — готова! Ч-черт!

Его белые руки, покрытые блестящей шерстью, поднялись и вновь упали на колени, громко шлепнув по ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным взглядом, точно и сам искренно недоумевал, почему он так счастлив в делах с женщинами. Его толстая, румяная рожа самодовольно и счастливо лоснилась, и он все смачно облизывал губы.

Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг насмешливо сказал:

— Не великой силой валят елочки, а ты сосну повали...

— То есть — это ты мне говоришь? — спросил солдат.

— А тебе...

— Что такое?

— Ничего... проехало!

— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?

Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет готовые и с шумом швыряет на пол, к мальчишкам, нанизывающим их на мочалки. Он как бы позабыл о солдате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в какое-то беспокойство. Он поднялся на ноги и пошел к печи, рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты, судорожно мелькавшей в воздухе.

— Нет, ты скажи — кто такая? Ты меня обидел... Я? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне говоришь такие обидные слова...

Он действительно казался искренно обиженным. Ему, должно быть, не за что было уважать себя, кроме как за свое уменье совращать женщин; быть может, кроме этой способности, в нем не было ничего живого, и только она позволяла ему чувствовать себя живым человеком.

Есть же люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носятся с ней все время жизни и лишь ею живы, страдая от нее, они питают себя ею, они на нее жалуются другим и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе, и, кроме этого,— у них нет ничего. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жиз-

ни,— они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить; а можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки.

Солдат обиделся, лез на нашего пекаря и выл:

— Нет, ты скажи — кто?

— Сказать? — вдруг повернулся к нему пекарь.

— Ну?!

— Таню знаешь?

— Ну?

— Ну и вот! Попробуй...

— Я?

— Ты!

— Ее? Это мне — тьфу!

— Поглядим!

— Увидишь! Ха-ха!

— Она тебя...

— Месяц сроку!

— Экий ты хвальбишка, солдат!

— Две недели! Я покажу! Кто такая? Танька! Тьфу!..

— Ну, пошел прочь... мешаешь!

— Две недели — и готово! Ах ты...

— Пошел, говорю!

Наш пекарь вдруг освирепел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас, помолчал и, тихо, зловеще сказав: «Хорошо же!» — ушел от нас.

Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный, громкий говор и шум.

Кто-то крикнул пекарю:

— Не дело ты затеял, Павел!

— Работай, знай! — свирепо ответил пекарь.

Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство — что будет? Устоит ли Таня против солдата? и почти все уверенно кричали:

— Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь!

Нам страшно хотелось испробовать крепость нашего божка; мы напряженно доказывали друг другу, что наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из этого столкновения. Нам, наконец, стало казаться, что мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и что нам нужно хорошенько

разбередить его самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно нервной жизнью,— так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чертом, и ставка с нашей стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников, что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам сделалось жутко хорошо и до того любопытно жить, что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь нашим возбуждением, набавил нам работы на четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам,— и уж это будет не та, прежняя Таня, а какая-то другая.

Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем споре. Ни о чем не спрашивали ее и по-прежнему относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отношение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане — и это новое было острым любопытством, острым и холодным, как стальной нож...

— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе.

Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки встрепенулись.

— Гляди на нее... сейчас придет! — предложил пекарь.

Кто-то с сожалением воскликнул:

— Да ведь разве глазами что увидишь!

И снова между нами разгорелся живой, шумный спор. Сегодня мы узнаем, наконец, насколько чист и недоступен для грязи тот сосуд, в который мы вложили наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего божка может уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то никто из нас не спросил ее, как она относится к нему? А она продолжала аккуратно каждое утро являться к нам за крендельками и была все такая же, как всегда.

И в этот день мы скоро услыхали ее голос:

— Арестантики! Я пришла...

Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла, то, против обыкновения, встретили ее молчанием. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем

спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривычной для нее встрече,— и вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась на месте и сдавленным голосом спросила:

— Что это вы... какие?

— А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.

— Что я?

— Н-ничего...

— Ну, давайте скорее крендельки...

Никогда раньше она не торопила нас...

— Поспеешь! — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица.

Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.

Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворотясь к печке:

— Значит — готово!.. Ай да солдат!.. Подлец!..

Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал:

— А может, еще...

— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.

Мы все знали, что он человек умный, умнее нас. И окрик его мы поняли, как уверенность в победе солдата... Нам было грустно и неспокойно...

В двенадцать часов, во время обеда, пришел солдат. Он был, как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него.

— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь.— Так вы выходите в сени и смотрите в щели... поняли?

Мы вышли и, навалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходившей на двор. Мы недолго ждали. Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью на погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились...

Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи и лужи морщились под их ударами. День был сырой, серый — очень скучный день. На крышах еще лежал снег, а на земле уже появились темные пятна грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым, грязноватым налетом. Дождь шел медлен-

но, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...

Первым вышел с погреба солдат: он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы,— такой же, как всегда.

Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И шла она как во сне, пошатываясь, неверными шагами...

Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу бросились к двери, выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.

Она вздрогнула, увидав нас, и встала, как вкопанная, в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи.

Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей некуда идти, что она окружена нами и мы можем издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы — все больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов.

Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали.

А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас — двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она все молчала, все смотрела на нас дикими глазами, и всю ее била дрожь.

Мы смеялись, ревели, рычали... К нам откуда-то подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты...

Вдруг глаза ее сверкнули; она не торопясь подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам:

— Ах вы, арестанты несчастные!..

И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как будто нас и не было пред ней, точно мы не преграждали ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути.

А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:

— Ах вы, сво-олочь... га-ады...

И — ушла, прямая, красивая, гордая.

Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца.

Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше — солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда!..

Деревенский кузнец Назар приехал в город за покупками по хозяйству и по устройству паровика, имея в кармане на эти покупки тридцать рублей.

Он шел по главной улице, разыскивая магазин с техническими принадлежностями, но магазин все как-то не попадался ему на глаза.

Наружность у Назара самая непривлекательная: он — сутулый, с пологими плечами, с длинной жилистой шеей и угловатым лицом, с козлиной бородой.

Голова его наклонена, задумчивый взгляд устремился в землю, а походка тяжела и неуклюжа.

Кузнец Назар — странный и «чудной» мужик. Вся деревня смеется над ним, хотя и считает его «докой» и «хитрецом».

Однодеревенцы отказываются понимать его: он иногда толкует им о том, что можно сделать «вечный двигатель», или вдруг придет в умиление, смотря на восход или закат солнца, радуется красивому цвету облаков.

А паровик он сделал хотя и хорошо, «умственно» и «хитро», но — «ни к чему», так как гораздо дешевле было бы купить его готовым.

И много было в Назаре такого, что всем казалось непонятным, странным и смешным.

Сооружение паровика стоило ему огромного умственного напряжения; приходилось много постигать, изобретать, проводить бессонные ночи, но это нравилось ему, и он вложил свою душу в совершенно не нужный ему паровик.

Теперь он почти даром отдает его напрокат.

За все эти поступки вся деревня хохочет над ним, и ругательски ругается жена, женщина умная, почтенная, религиозная и хозяйственная.

Вот и теперь Назар, вместо того чтобы попасть в технический магазин да потом идти на базар за покупками по поручению жены, внезапно остановился у огромного окна магазина художественных вещей и фарфоровых изделий.

Его поразила маленькая фарфоровая группа: молодой нагой парень, будто бы ангел с крылами, упал на острый камень около воды; так и видно, что упал он откуда-то с облаков и разбился о камень, и так жалостно и красиво лежит его аккуратное тело, а из-за белых плеч, как паруса, легли изломанные, разбитые крылья.

И еще две голые девицы поплыли к нему из воды, русалки должно быть, любопытные, и заглядывают ему в мертвое пригожее лицо.

И вдруг умиление и слезы почувствовал Назар, и сам не знает отчего: то ли история чувствительная представлена, то ли в линиях и очертаниях этих фарфоровых тел есть что-то умилительное, тонкое, так бы вот все и смотрел, и плакал.

Необыкновенное волнение овладело Назаром: ему казалось, что можно вечно стоять здесь и любоваться на эти удивительно красивые тонкие линии, и от этого любования слезы навертывались на глаза.

И все его хозяйство, и паровик, и жена показались ему пустяками в сравнении с тем счастьем, которое должен испытывать обладатель этой вещицы. Почти бессознательно отворил он дверь магазина и остановился у порога, стаскивая шапку.

— Чего тебе? — небрежно крикнул на него барин, стоявший за прилавком, — хозяин, должно быть.

Тогда Назар ткнул корявым пальцем в вещицу и спросил дрожащим голосом, заикаясь:

— Сколько стоит?

Приказчик удивленно и недоверчиво посмотрел на мужика и ответил:

— Это — «Икар», стоит двадцать пять рублей, ты — от кого?

Назар молча завернул полу кафтана, дрожащими руками вынул деньги и, отдавая, сказал внушительно и проникновенно:

— Получи.

Затем он бережно положил за пазуху тщательно запакованную драгоценность, нахлобучил шапку и удалился из магазина своей тяжелой походкой, неуклюжий, с наклоненной задумчиво головой, пологими плечами и длинной мужицкой шеей в рубцах и складках.

Назар вернулся домой без покупок, но радостный и улыбающийся своей тихой, детской улыбкой.

Жена удивилась праздничному лицу Назара.

Трое ребятишек обступили его, ожидая гостинцев. Жена стояла в двери чулана и проницательно смотрела ему прямо в лицо.

— Что это, Назар, каким ты именинником приехал нынче? А где у те покупки-то?

Назар молча и загадочно улыбнулся, и все стоял посредине избы, и все нащупывал что-то за пазухой.

— Покупок я не купил, оставил до другого раза,— медленно, с расстановкой заговорил он и все улыбался своей хорошей, трогательной улыбкой, которая удивительно преображала его некрасивое лицо.— А вот, жена, погляди-кось, какую вещу я тебе привез! Двадцать пять рублев отдал, потому и не купил, все деньги извел...

Тут он бережно вынул «Икара», дрожащими руками развернул его и любовно поставил на стол.

При взгляде на голые человеческие фигуры почтенная женщина долго не могла вымолвить ни слова, пораженная горем и негодованием. Наконец она всплеснула руками и неожиданно для Назара вдруг разразилась энергичной и звонкой бранью:

— С ума ты сошел, старый дурак, греховодник ты этакий, бесстыжие твои глаза!.. Голых баб купил, батюшки мои светы! Да неужто не стыдно тебе глядеть-то на этакую пакость, бесстыдник ты, охальник, озорник бессовестный! Да неужто двадцать пять целковых? Батюшки! Ограбил! Разорил! По миру пустил, разбойник... душе-гу-уб! Что мы есть-то теперь будем? Дети-то босиком да без хлеба! Ай, батюшки! Да и что это с тобой попритчилось?

Ее укоры мало-помалу перешли в причитания и слезы. Мысль о двадцати пяти рублях, истраченных так глупо, все более и более ужасала ее.

Она плакала с воем и причитаниями, как плачут по покойникам. Ребятишки, глядя на нее, тоже завыли.

А Назар стоял среди них, как бы пробужденный от сна, и силился что-то сказать, и на добром лице его выражалась острая и внезапная боль.

Смотреть на бесстыдных «голых баб» Назару строго воспрещено. И только по воскресеньям, когда жена с детьми уходит в церковь, Назар отпирает сундук, бережно вынимает оттуда «Икара», садится за стол, держит хрупкую вещицу в своих огромных, корявых пальцах, долго любуясь ею, и детская, прекрасная, трогательная улыбка появляется на его лице.

шел по набережной мимо одного грязного трактира. Вдруг мне послышалось, что кто-то изо всей мочи крикнул мое имя. Оглянувшись, я увидел в окне толстобрюхую фигуру мясника Сидорыча, моего давнишнего приятеля. Он приятельски осклаблялся, поманив меня рукой, и орал зычным басом:

— Гаври-илыч!.. Гаври-илыч!..

— Чего тебе? — крикнул я ему.

— Зайди на минутку! Дело есть!

Когда я вошел в трактир, то сразу не мог разобраться, так было накурено и так скверно пахло. Трактир, по случаю воскресенья, был полон, стоял гул голосов, входили и выходили люди, бегали бледнолицые половые с грязными салфетками, и я остановился на пороге, ища глазами Сидорыча...

— Сюда! Сюда! — раздался его голос из угла.— Иди сюда!..

Сидорыч встал из-за стола, за которым он сидел с кем-то. взял меня за руку, подведя к собеседнику, торжественно спросил меня:

— Знаешь ли, кто это со мной сидит? — и, потрясая вилкой, на которой был кусок сосиски, завопил: — Это - ком-по-зи-тор!

Сидорыч был уже порядочно пьян. На столе стояла водка с неопрятной кабацкой закуской. Тот, кого Сидорыч назвал

композитором, поднял голову и поглядел на меня пьяными, добрыми глазами. Это был мускулистый человек лет около тридцати, с густыми волнистыми кудрями и рыжеватыми усами. Его лицо являло все признаки долголетнего пьянства: оно было измято, с характерными морщинами и мешками под глазами, нос был ноздреват и красен, но черты лица были красивы и выразительны, а голубые детские глаза положительно напоминали мне что-то забытое...

— А ведь мы с вами знакомы были! — произнес он хриплым, пропитым голосом и улыбнулся застенчивой улыбкой.— Органов!

Я был поражен... Несколько лет тому назад я знал Органова, странного, симпатичного юношу с голубыми, наивными глазами. Он тогда ничего не пил и был очень красив, говорил и пел звучным, приятным баритоном, с детства пел в церковных хорах и удивлял меня своими способностями, в особенности музыкальными. Играл на всех инструментах оркестра, выучившись этому самоучкой, превосходно знал музыку и тогда еще писал какие-то музыкальные пьесы и разыгрывал их на фисгармонии, которую сделал сам. Сам же сделал себе и концертную гармонию. Жил слесарным ремеслом, которым занимался дома, квартируя в лачуге на краю города со старухой матерью. Зарабатывал мало, занимаясь большею частью только починкой самоваров и часов. Зато постоянно сидел за фисгармонией... Из бедной лачуги вечно неслись стройные тягучие аккорды. Его часто приглашали на мещанские свадьбы играть на гармонии. Играл он как артист.

Сидорыч был одним из тех смешных любителей музыки, которые сами ничего в ней не понимают и не имеют слуха. Он не мог спеть ни одной самой простой песни, а между тем замирал от восторга, когда слышал пение или музыку. Понятно было его преклонение перед «композитором».

— Он в тоску может человека вогнать! — хвалил Сидорыч своего собутыльника.— До смерти люблю, когда он со слезой заиграет! Ему, брат, пятьсот целковых за его ноты давали, а он, чудак, не продает!..

— Да ну тебя!— укоризненно прервал его Органов.

— Что же вы не продали ваши сочинения?— спросил я.

— Да так. Не к чему. Денег мне не надо: все равно пропьешь. Пускай после моей смерти возьмут...

— У него гвоздь в башке! — объяснил мне Сидорыч странный ответ композитора.— Он на чем упрется, не

собьешь! А ты лучше вот что: сейчас берем с собой бутылку водки и — к тебе. И Гаврилыча возьмем. Ты нам сыграешь... Идет?

— Идет.

Компания была подвыпившая, но Органов всегда мне казался интересной личностью, каким-то человеком не от мира сего, и, кроме того, мне хотелось послушать его игру. Я согласился поехать к Органову. Мы сели втроем на извозчика, причем композитор кое-как прилепился на козлах. Ехать пришлось на самый край города, имевший совершенно сельский характер: тянулись пустыри и заборы, по улице ходили коровы и свиньи, убогие лачуги смотрели печально. Мы, наконец, остановились у одной избы, над воротами которой висела сапожная вывеска.

— Стоп машина! — сказал Сидорыч, слезая.

Через низкие и темные сени мы вошли в мастерскую сапожника, который сидел на низеньком круглом стуле и работал, обнажив по локоть мускулистые руки. Кругом валялись обрезки кожи, колодки и сапожные инструменты. Пахло тяжелым кислым запахом. Он посмотрел на нас исподлобья и ничего не сказал. Встретила нас старуха, одетая по-деревенски.

— А ты бы погодил нынче напиваться-то! — раздраженно сказала она Органову.— Скоро свадьбу идти венчать, все бы сколько-нибудь заработал!

Мы прошли в соседнюю маленькую комнату с одним окном. Там стоял голый стол, три стула, кровать и фисгармония. Пахло все тем же сапожным запахом. Комната отделялась тонкой дощатой переборкой, и было слышно все, что говорили в доме.

— Человека только что в хор приняли, через час ему надо идти на свадьбу, а тут разные пьяницы приходят спаивать,— слышался недовольный голос старухи.

— Пропащий человек! — подтвердил сапожник.

Органов ухмыльнулся.

— Это мой брат,— сказал он.— Сердит он, да ведь мне наплевать... Не пойду я на свадьбу, потому что пьян, все равно денег не дадут, а только оштрафуют. Вы посидите, а я сбегаю в лавочку за закуской.

И нахлобучил картуз.

Едва он вышел, как вошла старуха.

— Неудачный у меня сынок-то! — со вздохом начала она.— Ни к какому делу неспособен, пьянствует! Уж вы, не знаю, как вас, не давайте ему напиваться-то. На свадьбу

ему надо идти, все, глядишь, хоть целковый принесет, а житье наше бедное... Наказал господь таким сыном.

— Разве он много пьет? — спросил я.

— Каждый день напивается... Совсем от дела отбился... А ведь слесарь-то какой хороший был!..

Она прибрала немного в комнате и направилась к двери. Я вышел за ней и остановил ее.

— Вы не сердитесь на нас,— сказал я.— Может быть, он из-за нас не пойдет на свадьбу, так вот...

И я сунул ей целковый.

Это произвело на старуху ошеломляющее впечатление... Она вся просияла и совсем переменила обращение. Принялась благодарить и долго допытывалась, кто я такой: мой поступок показался ей удивительным.

— Уж вы извините, батюшка, я ведь думала, что вы такой же шарамыжник, как эти, которые к нему все ходят... Да кто вы такие будете? Из каких вы?.. Да я вам горячепькой картошечки на закуску-то подам...

В это время явился сын, и старуха скрылась. Он положил на стол соленые огурцы и кусок скверной колбасы. Мать подала в тарелке жареный картофель... Сидорыч откупорил бутылку, и мы выпили... Он прищелкивал языком и пальцами и чувствовал приступы музыкального восторга. Наконец, не выдержал и, умильно посмотрев на молодого человека, сказал просительным тоном:

— А ну-ка ты, тово... вальни что-нибудь!

— Надо выпить сначала! — возразил музыкант.

Выпили еще.

Наконец, Органов сел к своей самодельной фисгармонии и взял несколько аккордов. Фисгармония была небольшая, но звуки были верные и мягкие. Сколько труда, вероятно, потратил бедный самоучка, чтобы соорудить этот инструмент!

Сидорыч замер в ожидании.

— Что же играть? — спросил Органов, оборачиваясь к нам.— Хотите, Моцарта сыграю? А то из оперы что-нибудь?

— Духовное сыграй! — сказал Сидорыч.— О душе... и слова говори...

— Ладно... я сыграю одну пропорцию концерта «Высшую небес...». Вы его нигде не услышите...

Органов заиграл печальную мелодию... Чистые, жалобные звуки сплетались в благоговейные аккорды и, казалось, улетали к небу... Но они были слишком слабы и беспомощны

и снова возвращались назад и болезненно пели о земле, о слезах и страданиях... Низкие басовые аккорды гудели тоже болезненно, тихо и меланхолично... В этих звуках чувствовался какой-то разлад, тихая жалоба на что-то, что-то беспомощное и глубоко печальное... Музыка шла отдельными короткими фразами, которые, вероятно, нужно было петь вдумчиво, вразумительно, вникая в их печальный смысл... И Органов запел как бы про себя фистулой своего болезненно-разбитого баритона:

От многих моих грехов...

Тут он взял аккорд тихий, как вздох, и продолжал, аккомпанируя болезненно-жалобными звуками:

Немоществует тело...

И, словно после некоторого раздумья и вздоха фисгармонии, добавил более низко и тихо, просто и меланхолично:

Немоществует и душа!..

— О-о-хо-хо! — тихонько вздыхал Сидорыч, наливая в рюмки.

Органов имел способность извлекать живые звуки, передавать их настроение. Меланхолия воцарилась в комнате, и мы с Сидорычем сидели печальными, пока он вдумчиво, с паузами, пел грустные слова, пояснявшие грустную музыку.

— Будет! — вдруг сказал музыкант.— Надо выпить.

— Ах ты, господи! — восхищался Сидорыч, чокаясь.— И как это он может прямо, можно сказать, за сердце человека взять?.. А?..

— А вы своей композиции сыграйте что-нибудь! — попросил я.

— Своей композиции — это на гармонии или на скрипке... Да у меня какая композиция? Вроде старинных русских песен... без слов... У меня до двухсот старых песен на ноты положено... Этих песен уж и не поют теперь... Я собирал...

Он снял с окна концертную гармонь с каким-то особенным устройством ладов и заиграл что-то протяжное, русское, напоминающее степные, размашистые песни, полные нежности и тоски, но тем не менее, это не была обыкновенная народная песня: мотив был облечен и обработан в строй-

ную музыкальную форму с удачным сохранением народного духа. Передо мною был один из тех народных композиторов, никому не известных, создающих самые народные песни, до такой степени характер его музыки был сходен с народной музыкой. Для него, вероятно, ничего не стоило выразить свои настроения так, что получалась подлинная народная песня, правильно положенная на ноты. Пусть это были даже подражания народным мотивам, все же от этой музыки веяло такой юношеской свежестью, глубиной и силой, что как-то не верилось, будто душа этого спившегося слесаря могла породить их на свет.

А огромный материал исчезающих народных песен, которым он владел, не представляет ли он, может быть, огромной ценности? Да и сам народный композитор не мог ли сделаться чем-нибудь замечательным, если бы не погиб в засасывающей мещанской среде, никем не понятый и даже сам себя не понимающий? Органов играл, сидя на стуле и прислонившись спиной к стене. По временам он встряхивал густыми кудрями, а голубые глаза загорались каким-то особенным радостным блеском. Казалось, что хмель соскочил с него, и в чертах его измятого лица я вновь узнавал забытый симпатичный образ прежнего юноши с застенчивой улыбкой и прекрасными голубыми глазами. Казалось, что вдохновение, таившееся в душе композитора, вновь одухотворило его преждевременно обрюзгшее лицо и сделало его юным и прекрасным. А гармония пела дрожащими, задушевными звуками. И представлялся тихий летний вечер и степи, безбрежная ширь и даль, чуткая тишина и нежная гармония всевозможных степных звуков; и на этом фоне далеко плыла и уходила в необъятную даль надрывающая душу песня: в ней словно кто-то прощается навеки, рыдает томительно-сладким рыданием. И все закончилось тонким, уходящим вдаль, тающим звуком, потонувшим в печальной тишине...

Сидорыч молча вытер слезы и вновь наполнил рюмки Бутылка быстро убывала.

Я стал говорить Органову, что у него, по всей вероятности, есть талант, что ему нужно заняться собой, бросить пить, уйти из мещанской обстановки и поехать в большой город продолжать музыкальное образование.

Он ничего не ответил. Опять взял гармонь и заиграл всем известный, избитый шарманками вальс.

Но я не узнал этого вальса в его исполнении, столько было в звуках страстной и безнадежной тоски, отчаяния

Лицо его приняло почти трагическое выражение, а голубые глаза потемнели, как темнеет река в хмурую погоду.

Он играл «Невозвратное время».

И вдруг рванул гармонь и заиграл «камаринского». Бесшабашная, неудержимая удаль заговорила в каждом звуке, дразня и подмывая к пляске... Приунывший было Сидорыч поднял голову и начал передергивать плечами, потом притопывать тяжелой ножищей. Темп камаринского все учащался, делаясь все удалее и забористее... Правда, Органов забыл опустить какой-то винт, делавший звуки дрожащими и рыдающими, и мне странно было слышать развеселую плясовую песню, сквозь которую пробивались рыдающие звуки. Но Сидорыч уже не выдержал, вскочил, распустил руки, как крылья, и поплыл настолько грациозно, насколько позволяла ему его семипудовая фигура.

Потом он топнул так, что все задрожало, и запрыгал на носках, как воробей... В комнате все затряслось.

— Эх, ходи, изба, ходи, печь! — крикнул он и начал «откалывать» новое колено. Каждая жилка плясала в Сидорыче, на жирном, красном лице сияла блаженная улыбка.

Органов весело потряхивал кудрями и играл все забористее и зажигательнее...

— Сидорыч, не выдай! — покрикивал он.

А сквозь дикое веселье камаринского слышались дрожащие, плачущие звуки.

КУЗНЕЦ

Вот скажите, пожалуйста, этим баранам, которые ни черта не понимают, а суются не в свое дело,— скажите им, что паровик может работать! Так закричал разъяренный Федор Иваныч, кузнец, машинист и руководитель по постановке вновь открываемого парового кирпичного завода. Он закричал так, обращаясь к эксперту и указывая огромной черной ручищей на хозяев своих, трех купцов,

которые стояли прямо перед ним и смотрели на него с глубокой ненавистью.

В это мгновение он был замечательно картинен и по-своему красив: высокий, статный, широкоплечий, в синей грязной блузе и высоких сапогах, он стоял перед ним в энергичной, уничтожающей позе. Лицо у него было смуглое, окаймленное черной подстриженной бородой, черные цыганские глазищи горели из-под густых бровей, густые черные волосы как бы встали дыбом и сдвинули на затылок промасленный картуз, и весь Федор Иваныч, черный, грязный, мечущий искры из глаз, казалось, горел каким-то внутренним огнем.

— Действительно! — совершенно спокойно сказал эксперт, старик почтенного вида, низенького роста, с длинной седой бородой и умными глазами.— Хоша воды и меньше, чем показывает стрелка, но это совсем не вредит. Паровик может работать, а вы, господа купцы, напрасно беспокоитесь! Если бы, скажем, воды в паровике было и еще меньше, то и тогда...

Он толково и серьезно, обстоятельно объяснял купцам положение дела. Купцы внимательно слушали. Один пожилой и толстый, старинного типа, в длиннополом сюртуке и высоких сапогах, другой помоложе, в поддевке синего сукна, а третий — совсем молодой, в куцем пиджачке, жокейском картузике и обуви велосипедиста.

Они все трое были взволнованы только что происшедшей крупной ссорой с Федором Иванычем: купцы нашли какое-то упущение в постановке нового, недавно выписанного паровика и набросились на машиниста с ругательствами. Федор Иваныч, по обыкновению, дал им отпор в сильных выражениях. Послал за экспертом, приговор которого и решил дело в пользу Федора Иваныча.

Вся сцена происходила в кузнице, временно устроенной в отгороженном дощатыми стенами углу завода. Здесь был кузнечный горн, на земляном полу, посредине кузницы, стояла наковальня, окруженная грудой железных обломков, у стен виднелись верстак и железный токарный станок. Всюду валялись молотки, щипцы, слесарные и токарные инструменты.

В раскрытую дверь кузницы был виден отлогий берег Волги и сама она, спокойная, как зеркало, и блестящая под темно-красными лучами летнего заката. Завод стоял за городом, на берегу Волги.

Купцы сделали вид, что пропустили «баранов» мимо

ушей, но едва только эксперт ушел, как они снова набросились на Федора.

— Ты что это делаешь? — закричал на него старший купец, представитель компании.— Тебе слово скажешь, а ты — десять?

— А то как же? — спокойно отвечал Федор Иваныч.— Что, я вам спускать, что ли, стану?

— Охальник ты! — возразил купец.— Что ты есть тут такое, что за фря? По какому случаю поднимаешь морду? Ты — рабочий, такой же чертоклеп, как и все другие кузнецы! Должен ты хозяина уважить или нет? Делай, что велят,— и баста.

— Тоже! — раздраженно подхватил другой купец, одетый в поддевку.— Чай, ведь он образованный! Прочитал две книги — и думает, что умный! Да ведь тебя, цыгана, еще утюжить да полировать надо! Дудки, брат,— нет еще в тебе настоящей политикатуры!

— Что ему! — поддержал велосипедист.— Для него завод-то хоть лопни! С него, голяка, взятки гладки, а наших тут восемьдесят тысяч ухлопано!

И, наступая на Федора Иваныча, они все трое закричали, указывая на завод:

— Тебе тут мало горя! Твоего тут ничего нет!

— Как? — повышая звучный, металлический голос и сверкая глазами, закричал Федор Иваныч.— Как моего тут нет? А труда-то моего тут сколько вложено! Вы его ни за что считаете? Вы платите мне только пятьдесят рублей, потому что у меня семья и нужда, а попробуйте-ка выписать ученого механика! Заплатите ему двести! Как же вы говорите, что моего тут нет? Да тут каждый винт, каждая гайка облиты моим потом да еще и кровью! Ха! Тут много моего! Разве вы не видели, как я работаю, как день и ночь кую для вас ваше богатство? И все-таки — моего тут нет? Вы — хозяева? Вы — в ответе? Нет? Вы — хозяева завода, а я — хозяин дела, хозяин этих машин, в которых вы ничего не смыслите! Кто ответит, если вы сделаете взрыв? Небось сами ж на меня тогда весь ответ взвалите! Ведь не вы, а я расписываюсь в книге, когда приезжает фабричный инспектор! На мне — весь труд, на мне — весь ответ! Ведь вы мне вздохнуть не даете за пятьдесят-то рублей. Вы кровь мою из меня выжимаете, да еще издеваетесь надо мною и ругаетесь скверными словами! Вы думаете, что я ваш раб?

Федор Иваныч ударил себя кулаком в грудь и звонко крикнул:

— Нет! Я — вольный слуга! Вы не имеете права мешать моей работе и делать мне глупые приказания! Вы забыли, что есть и на вас управа!

— Какая?

Федор Иваныч схватил молот и, оглушительно грянув им о наковальню, крикнул:

— Фабричный инспектор! Вот какая!

Как был — грозный, в замасленной блузе и с черными от сажи руками, взволнованный и взбудораженный гневом, он яростно бросил молот, нахлобучил картуз и выбежал из кузницы, оставив своих хозяев в самом озлобленном настроении.

— Сходи, сходи к нему, друг! Ха-ха-ха! Сходи!

— Пожалься ему! Чево тут!

— И пойду,— гремел Федор Иваныч.

Федор Иваныч вышел из квартиры фабричного инспектора омраченный и разочарованный. Он крепко хлопнул большой парадной дверью и сошел с крыльца.

Смеркалось. В небе зажглось несколько серебряных звезд, и полная луна медленно выплывала из-за облаков. Над городом стояла золотистая пыль и трескотня извозничьих пролеток по мостовой.

Федор Иваныч постоял немного в раздумье и затем с чувством, изысканно и сильно выругался.

Потом повернул за угол и пошел по тротуару, напирая на встречных, толкаясь и никому не уступая дороги.

Он злился на фабричного инспектора, на купцов, на свою бедность и на всю жизнь. Хороший машинист, слесарь и токарь, он давно уже создал себе репутацию беспокойного и неуживчивого человека и действительно нигде не уживался. Он уже не гнался за тем, что за труд ему платили бессовестно мало, он искал только одного: чтобы с ним хоть обращались-то деликатнее. Но обращение было везде грубое, а на грубости Федор Иваныч всегда отвечал еще более грубо и, обладая горячим характером, даже пересаливал в этом отношении и никогда не оставался в долгу у своих обидчиков. От этого своего непокорного характера он страдал всю свою жизнь, страдала его любящая, кроткая жена Маша, голодали ребятишки.

Федор Иваныч еще раз выругался сквозь зубы и толкнул кого-то плечом.

Вот и теперь: шел к фабричному инспектору защиты просить, а вместо этого и тут стычка вышла. Он злобно припоминал подробности объяснения: вышел инспектор к нему

в прихожую, важный, толстый... «Что тебе нужно?» — «Так и так...» — вежливо начинает рассказывать Федор Иваныч, смягчая свой громкий голос.

— Ну, и что же? Делай, что велят! — с неудовольствием говорит инспектор.

А в зале, слышно, кто-то на музыке играет и женский голос про любовь поет.

— Ка-ак? — повышает голос Федор Иваныч.— Да как же это можно? Да я...

— Молчать! Пшел вон!

Инспектор вспылил, раскраснелся и ушел из прихожей, а у Федора Иваныча в груди так и запылало. Обидело его такое обращение. Не понял его инспектор, да и понимать не хотел.

— Кто твой хозяин? — крикнул он на горничную около двери.— Татарин али русский?

— Русский,— пробормотала она, отшатнувшись от Федора Иваныча.

— Ну, так скажи ему,— и голос его загремел по всей квартире, так что даже музыка прекратилась и про любовь перестали петь,— скажи ему, что дур-рак он!

Рявкнув так, Федор Иваныч изо всей силы хлопнул дверью и ушел.

Ему хотелось излить кому-нибудь свое горе, всю свою наболевшую душу. Он вспомнил, что давно обещался побывать у брата; брат у него, сравнительно с ним, богатый человек: своя лавка, свой дом на набережной, лошадь, корова, свиней сколько, кур одних сорок штук. Вот еще обещал ему брат пару кур да петуха на обзаведение. Добрый он мужик, брат-то, только скучный — сытый больно, да покой своей жизни очень любит, а жена у него — сущая ведьма: скопидомка, жадная и скупая, все боится, как бы бедному брату от богатого чего не перепало. Из-за нее они с братом и отдалились друг от друга.

Зайти разве к брату?

Федор Иваныч вышел на набережную, разыскал небольшой серенький домик с палисадником.

На крыльце сидел брат. Он был приземистый, лысый, с длинной рыжей бородой и нисколько не был похож на Федора Иваныча. Сквозь ситцевую рубаху, подпоясанную под мышками, «выщелкнулось» довольно объемистое брюхо.

— Что поздно? — сказал он Федору, подвигаясь и давая место рядом с собой.

— Да так... завернул! — промычал кузнец, присаживаясь.

Он снял с головы потный картуз и, смотря в него, вздохнул.

— Что невеселый? Али все не ладишь с купцами?

Федор Иваныч крякнул, надел опять картуз и заговорил.

Он заговорил о том, как оскорбили его купцы, как он с ними ссорился, как был у инспектора и что вышло из этого.

Говорил о том, как тяжела жизнь рабочего человека, как трудно ему бороться и как все труднее становится жить.

— «Что ни год — уменьшаются силы, ум ленивее, кровь холодней»...— неожиданно ввернул он стихи из Некрасова и заключил задушевным, грустным тоном, понижая голос почти до шепота:— Эх, брат, хоть бы ты помог мне! Не купцов же идти просить! Они скажут: «р-ра-ботай!», а ведь я работаю вот уже тридцать лет, брат!

Федор Иваныч грустно улыбнулся.

Брат покачал бородой.

— Я-то что же? Чем я помогу?.. А ты бы, того... покорился бы им.

— Покориться? Не-ет! — вскричал Федор Иваныч, и черные глаза его вновь загорелись сатанинской гордостью.— Не могу покориться! Понимаешь? Не могу!

Он побледнел и глубоко задышал. Ему уже стыдно было, что он вдруг расчувствовался перед братом.

Брат молчал.

Луна ярко освещала их несходные фигуры: одну — благодушную, а другую — мрачную; облила, словно молоком, кусты акаций в палисаднике и посеребрила неподвижную гладь Волги. У берега стояли черные баржи и суда, неподвижные и таинственные, как спящие чудовища.

— Я бы их! — с глубокой сдержанной злобой воскликнул вдруг Федор Иваныч и сжал кулаки.

Брат немного отодвинулся от него.

— Да-да-а! — протянул он, захватив горстью свою длинную бороду и не находя что сказать.— Трудно тебе, Федор, эх, трудно!

Потом он зевнул.

— О-охо-хо! Господи Иисусе Христе! сколько горя-то на свете!

И, вставая, добавил совсем в другом тоне:

— Что, возьмешь, что ли, кур-то?

— Давай! — мрачно ответил Федор и тоже встал.

Они вошли в калитку на двор, и хозяин отворил дверь курятника.

— Хватай прямо с нашести! — сказал он добродушно.

Федор Иваныч исчез в курятнике, где тотчас же начался куриный переполох.

— Кто там? — раздался из окна звонкий голос.

— Бери скорее! — торопливо зашептал брат.— Проснулась, волк ее заешь!

Федор Иваныч разбойничал в курятнике. Куры отчаянно кудахтали и хлопали крыльями. Скоро он выскочил из низенькой двери, держа вниз головой в одной руке двух куриц, в другой — петуха.

Но толстая женщина в юбке, без кофты и босиком, уже шла из сеней к ним.

— Это что за разбой? — завопила она, всплеснув руками, увидев обоих братьев на месте преступления.

— Так что... куры вот... Федору...— робко бормотал муж.

— Куры! Куры! — передразнивала она его желчно.— Твои, что ли, куры-то? Я их сама выводила да сама кормила! Мое это добро, не дам никому! Ах, ты, бардадым, бардадым! Рохля! Дурак!

— Да ведь не чужому... брату! Что ты!

— Какому брату? Какой он тебе брат? И на дух не надо мне твоей родни! Все они у тебя шобонники, голоштанники! Только норовят что-нибудь стащить, пьяницы!

— Тьфу! — плюнул муж.

И она, подступая к Федору Иванычу, задорно и звонко кричала:

— Отдай назад, грабитель!

Федор Иваныч в эту минуту был похож на браконьера; он держал в левой руке всех трех птиц, а правой отстранял от себя бабу. Он свирепо глянул на нее исподлобья и сказал:

— Отойди, тетка, не отдам!

Он выскочил в калитку с курами в руке и быстро зашагал к берегу.

В это время из окна домика высунулась длиннобородая лысая голова старшего брата, ярко освещенная луной, и прокричала:

— Поезжай на бударе! У берега моя будара стоит!

На Волге было тихо. Вдоль всего берега неподвижно спали длинные, черные баржи. Где-то в трюме слышался глухой и мерный стук водолива, струя воды, которую выкачивали, падала из отверстия в боку баржи и мягко шумела, выливаясь в реке. Где-то далеко играли на гармони, и дрожащие звуки протяжной песни тихо плыли в теплом воздухе. Кое-где на баржах разводили огонь и кипятили ужин в котелке. На других судах рабочие садились в кружок и ужинали, другие молились, обратясь лицом на восток; их черные фигуры отчетливо вырезались на светлом фоне реки, которая блестела под серебряным светом луны. Вдали, за Волгой, чернела узорчатая полоса лесистого берега.

Так, кое-где, словно светляки или чьи-то кровавые глаза, краснели точки далеких рыбацких костров. Фонари на мачтах судов казались издали разноцветными звездами.

Федор Иваныч почти неслышно ударял кормовым веслом, пробираясь вдоль берега между бесчисленных баржей, пароходных конторок, судов и плотов. Черный, он плыл в тени почти невидимый. Вода здесь казалась тоже черной и тихо журчала под плавными, неслышными ударами длинного кормового весла.

Федор Иваныч сидел в корме крохотной долбленой душегубки, нос ее высоко поднимался над водой, и казалось, что кузнец плывет по реке на каком-то сказочном водяном звере.

Волга несколько смягчила его мрачное настроение.

В городском саду играла музыка. Большой город, залитый лунным светом и осыпанный огнями, потихоньку уплывал назад, удаляясь от Федора Иваныча. Кузнец миновал пристань и плыл теперь мимо бесконечной вереницы плотов. Здесь было совсем тихо, только из города нежно доносилась струнная музыка.

Острое чувство гнева и обид, испытанных за день, мало-помалу притуплялось в груди Федора Иваныча и как бы опускалось на дно его души, чтобы присоединиться там к прежним тяжелым чувствам, которые лежали в темной ее глубине, словно охлажденные куски раскаленного железа, брошенного в воду.

Теперь он уже испытывал не злобу, а презрение к врагам; баба, которая хотела отнять у него кур, показалась ему смешной. Экая дура! А с купцами он сыграет шутку!

Ненавидят они его ото всей души, а уволить все-таки не решатся... до поры до времени... потому что трусы и рабы они собственной копейки, он слишком нужен и выгоден

им. Ну, а вот когда он им сделает все самое главное... спасет их от разорения, тогда, конечно, выгонят... вышвырнут вместе с детьми на мороз... Да что ж! — он этого не боится: сколько уж раз так бывало, привык! Слава богу, молот еще из рук не вываливается, и его тотчас же примут в мастерские, где, впрочем, знают уже характер Федора... Э, черт с ними! Будь что будет, а холуйствовать он ни перед кем не намерен! Нет, уж этого от него никогда не дождутся,— у него есть гордость и человеческое достоинство!

Куры затрепыхались у его ног и закудахтали. Федор Иваныч взглянул на них и тут только заметил, что худая бударка почти до половины наполнилась водой, связанные куры плавают в ней, а вода очень быстро прибавляется: должно быть, ототкнулась какая-нибудь щель. Стоило хорошенько качнуться в лодке, чтобы она пошла ко дну... А до завода было еще далеко.

Сильным ударом весла Федор Иваныч повернул к плоту.

— Эй! Эй! — заорал с плотов зычный голос, колыхая дремотную тишину реки.— Куда лезешь? Какого черта надо? Нельзя! Эй! Э-эй!

И по реке гулко прокатилось эхо.

— О! э!

Из-за караулки показалась плечистая фигура высокого старика с длинным багром в руке, которым он намеревался оттолкнуть от плотов тонувшую бударку Федора Иваныча.

— Эй!— грозно орал старичище.

Но Федор Иваныч с проворством гимнаста вскочил на плот.

— Какого дьявола орешь, леший?! — закричал он на сторожа плотов.— Тону ведь! Не видишь, что ли? Черт!

И он одним махом вытащил бударку на плот, опрокинув вверх дном вместе с водой и курами.

— Кто те знает, что ты за человек? — смеясь, ответил старик, осматривая Федора.— Может, что слизнуть хочешь. Вон ты какой... темный!

— Небось потемнеешь!— ответил Федор Иваныч, переворачивая лодку и помещая в нее мокрых, измученных кур.— Эх, какая дырища-то! Дай-ка пакли, что ли? Я машинист вон с того завода. Али не знаешь? Нашли кого испугаться, черти! Чуть не утопили.

Старик дал ему пакли, но все еще недоверчиво на него поглядывал.

— Много больно тут всякого жулья! — оправдываясь, бормотал он.

Федор Иваныч починил бударку и спустил ее на воду.

— Вот и готово! — весело сказал он. — Поплыву теперь дальше! Спасибо, дед!

Он сел в корму, оттолкнулся веслом от плотов и, ударяясь в серебристое лоно реки, запел размашистую волжскую песню:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет...

Его металлический, резкий голос словно разрубал неподвижный воздух и далеко разносился среди ночной тишины.

Старинный плавный мотив песни, сложенный на волнах, за веслами, мчался словно быстрая шестивесельная лодка по широкому раздолью мерно дышащей Волги.

Старик некоторое время стоял на краю плота и слушал песню, опираясь на свой длинный багор.

Голос Федора Иваныча, быстро удаляясь, все глуше и глуше доносился из речной дали:

В ней сидел молодец...
Волны резал веслом...

Наконец, не слышно стало песни. Она словно растворилась в лунном свете.

— Ну, этого не скоро заездят! — сказал сторож, поворачиваясь и шагая с багром по бревнам плота. — Много в ём блох!

Когда Федор Иваныч поднялся с курами в руках из-под отлогого берега к заводу, около которого стоял сарай, заменявший ему с семьей квартиру, глазам его предстала приятная картина: у него были гости и, очевидно, уже давно поджидали его.

Гостей было двое, они сидели за столом, вынесенным из сарая и поставленным на «воле» таким образом, чтобы сидящие за ним свободно могли любоваться на Волгу.

На столе кипел самовар, стояли домашняя закуска и бутылка водки. Гости, по-видимому, чувствовали себя прекрасно и встретили хозяина радостным смехом.

Один был с продолговатой бородой, сухой и крепко устроенный человек в косоворотке и в пиджаке. Руки у него были большие, мозолистые, серые глаза смотрели пронзительно.

Другой был с закинутыми назад длинными кудрями, с рыжеватыми усами и в белом кителе телеграфиста.

— Будьте настолько перпендикулярны, Федор Иваныч,— галантно сказал телеграфист,— выпейте и закусите огурцом!

— Птицелов! — насмешливо приветствовал Федора слесарь.— Аника-воин!

Чай разливала Маша, жена кузнеца, молодая женщина, с лицом симпатичным и грустным. Подле нее сидела старшая дочь, девочка лет двенадцати, белокурая, похожая на мать. Она играла про себя на большой звучной гитаре, которая закрывала почти всю ее хрупкую фигурку. Около стола ездил на игрушечном велосипеде шестилетний Володька, бутузый крепыш, с черными глазами, похожий на Федора Иваныча. В сарае слышались голоса других детей.

— Вот это хорошо вы сделали, что водки-то захватили! — сказал Федор Иваныч.— Хорошо выпить с устатку!

Он смачно выпил большую рюмку водки и покрутил головой, пережевывая свежий огурец.

— Я нынче за день столько ругался, братцы, столько ругался — и-их ты, боже мой!

— Знаем! — сказал слесарь.— Воевал — одно слово!

— Был у инспектора? — спросил телеграфист.

Федор Иваныч выпил еще, плюнул и стал в лицах рассказывать о своих приключениях.

Гости слушали и выпивали.

Когда он кончил рассказ, слесарь, погладив бороду, сказал:

— Выгонят они тебя!

— А велика печаль! — возразил Федор Иваныч.— Видел, в какой квартире меня держат? А ведь скоро холода настанут. О чем жалеть-то? Вот еще! Была бы голова, а петля всегда найдется.

— Вот он всегда так говорит! — вмешалась Маша.— Ни себя, ни семью свою не жалеет! Век живем — мучаемся! Хоть бы о детях вспомнил! А я так думаю: нехороший характер у него!

— Маша! — с пафосом вскричал Федор Иваныч.— Неужто я когда забывал о тебе?— Он ударил себя в грудь кулаком.— Ты всегда была для меня — моя жизнь, моя отрада!

Женское сердце Маши ни на минуту не устояло против этих страстных слов, она улыбнулась.

— А я так думаю,— сказал телеграфист,— у тебя, Федор, геройская натура! Без врагов и без сражений — тебе и жизнь не в жизнь! И каждому делу, каждому чувству ты отдаешься весь целиком, без раздумья! Тебе бы надо жить во времена Стеньки Разина! Ты — человек цельный, из одного куска! Ты даже и не знаешь, что значит иметь трещину в душе. «Через весь мир прошла великая трещина, весь мир расколот пополам, и мое сердце расколото!» — так сказал великий поэт Генрих Гейне!

— Ну, уж и герой! — язвил слесарь.

— Будьте перпендикулярны, выслушайте меня,— продолжал телеграфист, вставая и чокаясь.— Ты, Федор, человек без трещины в душе, созданный из всего здорового, ты стоишь на здоровой, твердой почве, а я, человек с расколотым сердцем, говорю тебе: валяй, не робь! Не позволяй наступать себе на горло! Не корись никому! Плюнь в морду твоим купцам! Вот! За твое здоровье! Будемте перпендикулярны, господа!

— Уж вы, пожалуйста, не раззадоривайте его,— возразила Маша.— Такого горячего человека останавливать надо, а не натравливать! Оставьте, пожалуйста, этот разговор!

— И то правда,— сказал Федор Иваныч,— и вправду оставим! Да и какого черта вы взялись меня жалеть или вроде того? Да я — счастливый человек! — воскликнул он, размахнув руки и как бы подставляя грудь ударам судьбы.— Я счастливее моих купцов! Знаю я, что у них дома-то делается! Какие кошки у них в сердцах скребут! У одного жена сбежала и у другого — от развратной жизни. Из детей никакого толку не выходит: все больные да слабоумные! А у меня-то, господи, моя-то Маша-то,— отрада жизни моей! Ребятишки — один другого озорнее, а на дочь на мою посмотрите: музыкантша! Зина, спой нам «Белый день занялся над столицей»! А? Она ведь у меня и поет и играет! — пояснил он гостям.

Девочка поправила свои льняные кудри, рассыпанные по плечам, и тихо заиграла на гитаре. Маленькие пальчики цепко заскользили по грифу, и под нежный аккомпанемент тихих струн Зина запела тоненьким мелодичным голоском:

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена!..

Аккорды правильно, музыкально следовали за пением, цепкие бледные пальчики извлекали нежно-мягкие, ше-

лестящие звуки, грустная песня о гибели труженика в устах ребенка звучала какой-то эпической, спокойной печалью, и детское личико певицы, склоненное над гитарой, было не по летам серьезно и умно. Ее тоненький, комариный голосок звенел так хорошо и тихо, что казалось, будто это пела невидимая крохотная фея, порхающая в лунном свете.

А все кругом было залито этим нежным серебряным светом. Угрюмый завод, жалкий сарай и пустынная, песчаная местность, такая скучная днем, такая прозаическая и унылая,— все теперь стало прекрасно и многозначительно. Словно все молча ожило и, полное тихого, вдумчивого спокойствия, облитое волшебным светом, вздохнуло, зашептало, взглянуло, прислушалось...

— Превосходно! — с важностью сказал телеграфист.— Я знаю в этом толк и определяю: музыкально и даже с чувством. Только вот что: не надлежит петь печальные песни нам, у кого жизнь и без того печальна. Наша песня должна поддерживать в нас дух бодрости. Веселый дух должен быть в бедном человеке, печаль же ослабляет сердце.

— Ну, однако, Зина, тебе пора спать,— сказала Маша,— дети все уже легли. Простись со всеми да и ложись.

Зина положила гитару, обняла и поцеловала отца, потом мать, а гостям подала руку. Потом пошла в сарай.

— Богу-то не забудь помолиться,— сказала ей вслед мать.

— Всякая песня бывает хороша, если ее хорошо спеть,— сказал Федор Иваныч, беря и настраивая гитару. Под его огромными и как бы железными пальцами струны зазвучали сильно, густо и резко. Он откинулся к спинке стула, сдвинув картуз на затылок, и, мощно ударяя в гулкие, звучные струны, размашисто запел своим резким, металлическим голосом:

Кто дорогу трудом пролагает,
Не жалея труда своего...

Он чувствовал себя сильным, смелым и правым человеком. Федор Иваныч был уверен в себе, в своих силах и внимавших его пению друзьях. Он бодро и отважно смотрел в будущее. В голосе звучало железо.

Кто безумного счастья не знает,
Милый друг...

Стальные струны гулко повторяли за ним:

Милый друг, помолись за того.

— Го! О!..— разносилось эхо.

Свет луны освещал весь воздух, обливал берег и таинственно спокойную Волгу, змеился по ней серебряной полосой и мелькал в ее струях мимолетными звездами, которые то загорались, то гасли словно играющие золотые рыбки.

ОБ АВТОРАХ

Н. С. ЛЕСКОВ
(1831—1895)

Николай Семенович Лесков — один из самых оригинальных художников слова в русской литературе прошлого века. Литературную деятельность он начал в 60-х годах как газетный корреспондент, журналист, очеркист. Автор таких популярных произведений, как «Очарованный странник», «Тупейный художник», «Левша» и другие, он завоевал симпатии русских читателей многих поколений своим всесторонним и подлинным знанием русской жизни, правдивым изображением действительности, мастерством обрисовки человеческих характеров и поразительным богатством языка.

«Лесков — самобытнейший писатель русский, чуждый всяких влияний со стороны. Читая его книги, лучше чувствуешь Русь»,— сказал о нем Горький, изумлявшийся неповторимому своеобразию языка его персонажей. Эту речь Лесков подслушал у самого народа: у крестьянина и мастерового, «у краснобаев, юродивых и святош», как он сам говорил. Годами собирал он ее «по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях».

Лесков по праву считается основоположником русского литературного сказа. С «легкой» руки Лескова русский сказ вошел туда, куда редко до него заглядывали рассказ и даже очерк и сказка: в шахты и рудники, в ткацкие мастерские и деревенские фабрички, на курные обжигательные делянки, на уральские заводы и прииски. Сказ отражал мировоззрение трудового человека, его взгляд на природу и общество, на мораль и нравственность, на любовь, воспитание и семью, на дружбу и товарищество — словом, на все важное в бытии своей нации. Поэтому народ — главное действующее лицо сказа.

В «Левше» Лесков создал обобщенный, почти символический образ русского труженика, талантливого мастера, государственно мыслящего человека. Это был новый герой в русской литературе, герой былинного склада, сыгравший значительную роль в развитии национального самосознания.

«Левша». Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе. Впервые — в журнале «Русь» 1881, № 49—51.

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
(1841—1871)

Федор Михайлович Решетников родился в Екатеринбурге в семье почтальона. В десятилетнем возрасте он был отдан в уездное училище, где у него пробудился интерес к литературе и театру. Окончив училище, Решетников поступил в уездный суд канцелярским служащим, а затем стал столоначальником горнозаводского отдела. В 1863 году ему удается переехать в Петербург, где вскоре в газете «Северная пчела» начали печататься его очерки чиновничьего и горнозаводского быта.

Жизненный путь Решетникова — это путь, типичный для писателей-разночинцев. По словам Горького, история демократической литературы 60-х годов — это «перечень мучеников». «Редкий из литераторов-разночинцев доживал до сорока лет, и почти все испытали голодную, трущобную, кабацкую жизнь».

Наиболее значительное произведение писателя повесть «Подлиповцы». Его перу принадлежат также повесть «Между людьми», романы «Горнорабочие», «Глумовы» и «Где лучше?», а также ряд очерков и рассказов, где изображается скитающийся, бродячий люд — порвавшие с деревней крестьяне, чернорабочие, мастеровые.

Благожелательно, но и требовательно относились к творчеству Решетникова Некрасов, Писарев, Салтыков-Щедрин, Г. Успенский. Щедрин с произведениями Решетникова связывал «плодотворный поворот нашей беллетристики к углубленному, правдивому и всестороннему изображению народа в литературе».

«Горнозаводские люди». Впервые — в «Северной пчеле» в 1863 году.

«Филармонический концерт». Впервые опубликован лишь после смерти писателя в тифлисской газете «Новое обозрение» в феврале 1884 года. Публикация сопровождалась следующим комментарием редакции: «Рукопись этого рассказа доставлена в редакцию вдовою покойного писателя, Серафимою Семеновною, при любезном содействии и посредничестве Гл. Ив. Успенского. Рассказ по времени относится, по-видимому, ко второй половине 60-х годов, фабула его — истинное происшествие, случившееся с самим автором».

А. П. ГОЛИЦИНСКИЙ

Даты жизни не установлены. О Голицинском не дошло почти никаких биографических сведений. Известно, что по профессии он был врачом. В 60—70-е годы Голицинский являлся постоянным сотрудником юмористических журналов. Его «Очерки фабричной жизни» — наиболее серьезное произведение писателя. Автор описывает положение фабричных рабочих перед «освободительной» реформой. Он высказывает предположение, впоследствии вполне оправдавшееся, что «свободные» рабочие окажутся в не меньшей зависимости от произвола хозяев, чем приписные, т. е. крепостные, прикрепленные к данному предприятию.

Очерки Голицинского, повествующие о дореформенных порядках, еще долгие годы после реформы служили в руках семидесятников для революционной пропаганды среди крестьян и рабочих.

«Очерки фабричной жизни». Впервые — в журнале «Развлечение» в 1861 году.

А. И. ЛЕВИТОВ
(1835—1877)

Александр Иванович Левитов родился в семье дьячка в Тамбовской губернии. Окончил духовное училище, учился в семинарии, где преследовался начальством за чтение прогрессивной литературы. Семинарию бросил и отправился пешком сначала в Москву, а потом в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Вскоре был выслан из Петербурга в г. Шенкурск на три года (1855—1858), где и написал свой первый рассказ «Сельский праздник».

С 1861 года Левитов начал сотрудничать в журнале «Современник», а затем в «Отечественных записках». Там он опубликовал свои лучшие очерки и рассказы, написанные под влиянием революционно-демократических идей. К ним относятся «Ярмарочные сцены», «Степные очерки», «Московские норы и трущобы». Чуткий ко всякой неправде, Левитов раньше других писателей сумел создать правдивые, емкие картины, рисующие проникновение капитализма в русскую пореформенную деревню.

«Сапожник Шкурлан». Впервые — в журнале «Развлечение», 1863, № 5.

Н. А. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
(1837—1899)

Николай Александрович Благовещенский был сыном полкового священника. Учился в духовной семинарии в Петербурге. Здесь у него прояви-

лись способности к литературе, музыке, живописи. В качестве вольнослушателя он посещал Петербургский университет. Вскоре занялся литературной деятельностью, сблизился с кругом некрасовского «Современника».

С 1864 г. Благовещенский начал сотрудничать в редакции журнала «Русское слово», печататься в ряде других журналов. Большую популярность имели его рассказы и очерки из цикла «Афон», обличавшие духовенство и церковь. Он — автор неоконченного романа «Перед рассветом», посвященного «новым людям».

В 1870—1873 гг. Благовещенский опубликовал серию очерков из жизни рабочих. Материалом для очерка «На литейном заводе» послужили наблюдения, почерпнутые писателем на Путиловском заводе.

«На литейном заводе». Впервые — «Отечественные записки», 1873, № 4.

Г. И. УСПЕНСКИЙ

(1843—1902)

Глеб Иванович Успенский родился в семье тульского чиновника. Учился в гимназии, затем в Петербургском и Московском университетах. Первый рассказ («Михалыч») опубликовал в 1862 году. Очерки и рассказы Успенский зачастую объединял в циклы. Наиболее известные, посвященные жизни пореформенной деревни и городских пролетарских низов: «Нравы Растеряевой улицы», «Новые времена, новые заботы», «Власть земли», «Разорение».

Реалистическое мастерство Успенского выдвинуло его в ряд крупнейших русских писателей. Высоко оценили его творчество И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, а позднее М. Горький, А. Серафимович, А. Пришвин. Превосходное знание крестьянства и «громадный артистический талант» писателя отметил В. И. Ленин.

«Михаил Иванович». Входит в цикл «Разорение», опубликованный в журнале «Отечественные записки» в 1869—1871 годах. Главным героем этого цикла замышлялся протестующий рабочий новой, пореформенной эпохи.

Н. И. НАУМОВ

(1838—1901)

Николай Иванович Наумов родился в семье мелкого чиновника в Тобольске. Служил юнкером, затем учился в Петербургском университете, откуда был исключен в 1861 году и арестован за участие в студенческих волнениях. Через год Наумов повторно арестовывается по делу народнической организации «Земля и воля».

В 1864—1869 гг. Наумов служил чиновником в Сибири, где хорошо изучил быт горнозаводских рабочих и крестьян. Большой успех имела книга

Наумова «Сила силу ломит», а сам автор, по словам Г. В. Плеханова, в 70-е годы пользовался «огромной популярностью» в передовых слоях народнической интеллигенции.

«Еж». Рассказ написан в 1873 году.

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК
(1852—1912)

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк родился в семье заводского священника близ Нижнего Тагила. Учился в духовном училище, в Петербургской медико-хирургической академии. Участвовал в кружках передовой молодежи под воздействием идей Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева. В литературу вступил в 1882—1884 гг. с рассказами и романами «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо», создавшими писателю репутацию выдающегося реалиста. Творчество Мамина-Сибиряка проникнуто любовью к трудовым людям, жгучей ненавистью к классу эксплуататоров. Он пишет о торжестве творческого духа уральских мастеровых, об их яркой талантливости и свободолюбии, однако и не скрывает их недостатков, говоря о народе «правду без всяких прикрас». Мамин-Сибиряк — автор целого ряда замечательных сказок, легенд, коротких рассказов. Современники высоко ценили талант Мамина-Сибиряка. Максим Горький ставил его в один ряд с Глебом Успенским. Чехов поражался силе и размаху его дарования. В некрологе, посвященном Мамину-Сибиряку, газета «Правда» писала от 3 ноября 1912 года: «Умер яркий, талантливый, сердечный писатель, под пером которого оживали страницы прошлого Урала, целая эпоха шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем... Мир праху твоему, чистая душа! Нарождается новый читатель и новый критик, которые с уважением поставят твое имя на то место, которое ты заслужил в истории русской словесности».

«Не у дел». Впервые напечатан в газете «Русские ведомости» 24 апреля 1888 года. В основу рассказа положены воспоминания детских лет, связанные с пребыванием на Висимо-Шайтанском заводе.

«Самородок». Впервые опубликован в газете «Русские ведомости» 18 и 21 сентября 1888 г.

«Вéртел». Впервые напечатан в журнале «Восходы», 1897, № 19.

С. КАРОНИН (Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)
(1853—1892)

Николай Елпидифорович Петропавловский родился в семье бедного деревенского священника в Самарской губернии. Начальное образование получил под руководством отца, затем учился в духовном училище, в гим-

назии, откуда был исключеи аа участне в революциоино-иародиическом движеиии. С первым арестом Квроиина (август 1874) иачииается пернод скитаиий по атапам и тюрьмам. Трн с половниой года тюремного ааключеиия подорвали адороаье Кароиииа, но не сломнли его моральио. Затем Кароиии повторио подвергается аресту и аысылке по этапу в Сибирь, которая продолжается до июля 1886 года. По возаращеиии нз ссылки жнл в Поаолжье под надзором полиции.

Первый рассказ («Безгласный») напечвтаи а 1879 г. а журиале «Отечественяые аапискн». Творчестао Кароцина, со аременем ао многом отошедшего от ндеалистнческих прожектоа народиикоа, посаящеио кореииому вопросу эпохи — крестьянскому вопросу. Это прежде асего циклы его рассказов — «Рассказы о парашкняцах» и «Рассказы о пустяках», где аслед за Чериышевскнм, Глебом Успеиским и другими революционными демократами «освободительиая» реформа 1861 года признается актом беззастенчивого ограблеиия иарода. В рассказах и повестях о разночииной интеллнгеицни Каронии («Мой мир» и «Места иет», «Бабочкин», «Барская колоиня» и др.) аапечвтлеаает не только период идейного тупика, плутаний по бездорожью, но и борьбу с отступиичеством и заблуждениими, и полагая, что «цель жизни русского интеллнгента — целнком израсходовать себи иа пользу нврода» (Горький).

М. Горький а статье, посвищеииой Кароннну, писал: «Удивительио светел был атот человек... Кааалось мне, что оп ие аамечает как жиает, аесь поглощениый исканнем «правды-спрааедлиаости».

«Вольиый человек». Впераые опубликован в «Отечестаениых аапискаx», 1880, № 5.

В. М. ГАРШИН
(1855—1888)

Всеволод Михайлоаич Гаршии родился в иебогатой двориискoй семье. Учился а Петербургском горном ниституте. В 1877 году, с начвлом русско-турецкой войны, Гаршии отправился доброаольцем яа фронт, был ранен, произведеи в офнцеры, по окончвиии войны уволен в запас.

Гаршин — первоклвссный мастер короткого рассказа. Широкую известяость получнли его рассказы «Четыре дня», «Красный цветок», «Денщик и офнцер», «Художники». Произведения Гврщинв высоко оценивали Л. Толстой, М. Салтыков-Щедрин, И. Тургенев.

В середине 80-х годов Гаршии сотрудинчал в издательстве «Посредиик», для которого написал «Сказаиие о гордом Аггее» и рассказ «Сигнал».

«Сигиал». Впервые опубликоааи а журпале «Сеаерный вестипк», 1887, № 1.

А. И. КУПРИН

(1870—1938)

Александр Иваноач Купрнн родился в Пензенской губернин в семье мелкого чиновника. Учился в кадетском корпусе, а звтем в юнкерском учнлище в Москве. Будучи юнкером, опубликоввл нервый рассквз «Последний дебют». Оставиа военную службу (1894), вплотную звнялся литературой, переменил множество нрофессий. Странствуя по России, Куприн познакомился с жизнью трудовых низов и получил богатый материзл для произведений широкого соцнального охввта. В рассказвх и поаестях он рисовзл страдания униженного маленького человека, обличал звтхлость военного быта, огрвниченность русского офицерства и его изолиро́вванность от общественной жизни. Наиболее известные пронзаедения: «Гранзтоаый браслет», «Штабс-канитан Рыбииков», «Гамбринус», «Реки жизни», «Изумруд», «Поединок», «Суламнфь», очерки «Листригонь».

В конце 90-х годов все большее место в творчестве Куприна занимает антикапиталистическая тематика. О противоречиях капиталнзма в России говорнли поаесть «Молох», рассказы «Путаница» и «В недрах земли», гдо реалистически изображен антагонизм наемного труда и капитвла.

В 1919 году эмигрировал во Францию. Весной 1937 года вернулся на Родину.

«В подрах земли». Впервые опубликован а газете «Приазовский край» (Ростов-на-Дону), 1899, впрель.

В. Г. КОРОЛЕНКО

(1853—1921)

Владимир Галактнонович Короленко, выдающийся писвтель-гуманист, родился в семье уездного судьи в Житомире. Мать его была дочерью богатого нольского номещика. Учась в гимназии, Короленко испытал сильное воздействие революционных событий в Польше (1863), в также от чтеиия русской литервтуры. Любимым нисателем Короленко был И. С. Тургенев. Сильное влияние на пего оквзали взгляды революционных демократов Н. А. Добролюбова и Н. А. Некрвсова.

Вся жизнь этого замечательного художника и человекв — это гражданский подвиг, целеустремленная деятельность во имя освобождения народа. Будучи студентом Петербургского технологического иститута и Петровской лесной вкадемии, Короленко страстно увлекся идеями народничества, даже готоаился к «хожденню а народ», участаоввл в революционом студенческом движении. Миогне годы провел в ссылквх в Сибири. За отквз от присяги в 1881 году Александру III Короленко был сослан на три года в Якутию. В дальнейшем ася общественно-публицистическая деятельность Короленко неотделима от таорчества. Им было нвписано около 700 статей, заметок,

очерков. Вершиной из них было его выступление против смертных казней а годы столыпинской реакции («Бытовое яаление»).

Первый рассказ «Эпизод из жизни искателя» написан а 1879 г. Наиболее известные рассказы — «Чудная», «Убивец», «Сон Макара», «Река играет», «Без языка», а также поаесть «Дети подземелья».

Короленко был писателем-реалистом, и свой эстетический идеал сформулироаал так: «художник — зеркало, но зеркало живое».

«На зааоде». Впераые — а газете «Русские аедомости», 1887, № 67, 74.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

(1863—1949)

Александр Серафимович Серафимович (наст. фамилия — Павлов) — аатор знаменитой эпопеи «Железный поток» (1924 г.), посаященной событиям гражданской аойны на юге России, родился в станице Нижне-Курманрской иа Дону. Отец его служил казначеем а казачьем полку. Будущий писатель закончил гимназию, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Впоследствии за революционную пропаганду Серафимович был сослан а Мезень, где, по его слоаам, «прошел аторой марксистский униаерситет». Сотрудничал в качестае журналиста а москоаских и донских газетах. В 1888 году апераые аыступил в печати с рассказами.

В творчестае 90-х годоа Серафимович следовал демократической литературе (Левитову, Г. Успенскому, Короленко). Он развивал их традиции, обращаясь к жизни рабочего класса. Описывал услоаия труда и быта трудящихся различных профессий: шахтеров Донбасса, типографских рабочих, железнодорожных рабочих и служащих (роман «Город в степи», рассказ «Наборщик»). Его рассказ «Под землей» высоко оценил Короленко.

Горячо принял Октябрьскую революцию. В 1918 году вступил в партию. Много и плодотворно работал в соаетское время, воспитывал новое поколение писателей.

«Под землей». Впераые опубликован в журнале «Русская мысль», 1895, № 11.

«Никита». Впервые опубликован в «Новом слове», 1906, № 5.

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

(1852—1906)

Николай Георгиевич Михайловский родился в Петербурге в семье военного. Учился а Одесской гимназии, окончил институт путей сообщения в Петербурге. Работал инженером на постройке Сибирской железной дороги. Много путешествовал. Литературную работу начал (1892) как очер-

кист. В 1906 году печатался в большевистском «Вестнике жизни». В литературе выступил как реалист и демократ, рисуя образы технической интеллигенции и рабочих и проводя идеи необходимости рационального устройства жизни («Вариант», «На практике» и др.). Сотрудничал в издательстве «Знание». Наиболее известные произведения — тетралогия: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».

Талант писателя высоко оценивал Горький, указывая на его близость к марксизму: «Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности».

«На практике». Впервые напечатан в «Журнале для всех», 1903, № 10. Рассказ написан на автобиографической основе, о работе на железной дороге в Бессарабии в качестве студента-практика в 1876 году.

«Вариант». Впервые опубликован в журнале «Русское богатство», 1910, № 2. В основу содержания положен действительный факт из биографии писателя, принимавшего участие в постройке Уфа-Златоустовской железной дороги в 1888 году.

С. Т. СЕМЕНОВ
(1868—1922)

Сергей Терентьевич Семенов, талантливый писатель-самоучка, родился в деревне Андреевская Московской губернии, в бедной крестьянской семье. Выгнанный нуждой из деревни, он был мальчиком на побегушках в городском трактире, продавцом, подручным водопроводчика, разнорабочим на резиновой фабрике, приемщиком в литографии, поводырем слепого купца. Все это дало ему материал для будущего творчества. Его первый рассказ «Два брата» одобрил Л. Н. Толстой. Он был опубликован в 1887 году в издательстве «Посредник». Главным достоинством произведений Семенова Л. Н. Толстой считал искренность; «кусочками жизни» он называл правдивые и простые истории, рассказанные Семеновым. «Для народа хорошо выходит у тех, кто сам знает народ и живет с ним» (Л. Н. Толстой). На протяжении долголетнего знакомства с Толстым Семенов получал всякую поддержку в лице первого писателя России. (Так, его первый сборник «Крестьянские рассказы» вышел с предисловием Л. Н. Толстого.)

Семенов был прозаиком, драматургом, писал стихи. При жизни писателя был издан шеститомник его рассказов, мемуарная книга «Двадцать пять лет в деревне», книга очерков. В период первой русской революции Семенов стремился сблизиться с Горьким и его средой. За связь с профессиональными революционерами был приговорен к ссылке.

Радостно встретил Семенов перемены, принесенные Октябрем.

В декабре 1922 года Семенов пал жертвой кулацкой банды, убитый

невдалеке от родной деревни. Известие о его трагической гибели потрясло Горького. Но она открыла глаза многим людям, а значит, по словам Горького, «окупилась работа всей жизни, значит, можно верить в ее великое значение?.. Ну что же может быть лучше, дороже этого для человека!».

«Брюханы». Впервые напечатан во втором издании рассказов Семенова в 1911 году, т. 5.

В. И. ДМИТРИЕВА
(1859—1947)

Валентина Иововна Дмитриева родилась в селе Воронино Саратовской губернии за два года до отмены крепостного права. Отец ее был крепостным. Будущей писательнице удалось окончить гимназию, а затем врачебные курсы в Петербурге. Много лет работала сельской учительницей, а затем врачом в Воронежской губернии. По доносу ей было запрещено заниматься педагогической деятельностью. Участвовала в революционных кружках и студенческих выступлениях, была связана с народниками. Начала выступать в печати с 1877 года. Лучшие журналы дореволюционной России — «Русская мысль», «Русское богатство», «Вестник Европы» печатали ее на протяжении сорока лет. В произведениях Дмитриевой отразилась неугасимая вера в творческие силы русского народа, в неизбежность крушения социальных порядков самодержавной России. Большую известность получили ее дореволюционные повести «Тучки», «Доброволец», «Друзья детства» и роман «Червоный хутор». Главной и ведущей силой в ряде произведений выдвигается рабочий класс. Непосредственно революции (1905—1907 гг.) посвящен рассказ «Один» (1907). Широко известны детские рассказы Дмитриевой, в частности, «Малыш и Жучка», ставший классическим произведением детской литературы.

«Майна — вира». Рассказ. Впервые — в сборнике «На славном посту» 1900 г. Неоднократно выходил отдельным изданием.

М. ГОРЬКИЙ
(1868—1936)

Максим Горький — псевдоним Алексея Максимовича Пешкова. Родился в семье столяра-краснодеревщика. Рано лишился отца и начал трудовую деятельность. Переменил множество профессий, исходил и изъездил значительную часть России. За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Сидел в Петропавловской крепости. Печатался с 1892 года (рассказ «Макар Чудра»).

Максим Горький — один из крупнейших писателей XX столетия, родоначальник литературы социалистического реализма. (По словам

В. И. Ленина, «громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»[1].) Перу М. Горького принадлежат романы «Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1924—1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925—1936), многие повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи.

М. Горький был выдающимся организатором, руководителем и редактором: издательское товарищество «Знание», издательство «Парус», журнал «Летопись», в советское время — серии «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др., журналы «Работница», «Крестьянка», «СССР на стройке» и др. (Крупнейший общественный деятель, тесно связанный с международным рабочим движением, Горький был личным другом В. И. Ленина.) Один из организаторов и первый председатель Союза писателей СССР (1934—1936).

«На соли». Впервые опубликован в «Самарской газете», 1895, 22 и 26 января. Рассказ носит автобиографический характер. Горький работал на солевых промыслах Днепровского лимана.

«Двадцать шесть и одна». Впервые опубликован в журнале «Жизнь», 1899, № 12. Рассказ автобиографичен, связан с жизнью писателя в Казани и работой в булочной.

С. Г. СКИТАЛЕЦ
(1869—1941)

Степан Гаврилович Скиталец (Петров) родился в Самарской губернии в семье столяра. В молодости странствовал по России, сменил множество профессий, сотрудничал в газетах. С 1902 года начал печататься в издательстве «Знание». Дореволюционное творчество Скитальца отмечено влиянием Горького, проникнуто протестом против самодержавия, любовью к трудовому человеку (рассказы: «Октава», «Кузнец», «Огарки» и др.). Скиталец является одним из представителей революционной поэзии начала XX века. Автор романа «Дом Черновых», воспоминаний о Л. Толстом и М. Горьком.

«Икар». Впервые опубликован в 1904 г. в сборнике «Знание».

«Композитор». Рассказ напечатан в 1900 г. в «Самарской газете».

«Кузнец». Впервые опубликован в 1903 г. в сборнике «Знание».

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 49.

СОДЕРЖАНИЕ

Составители
Николай Дмитриевич Ткаченко
Анатолий Дмитриевич Шавкута

РОДИНА МАСТЕРОВ

Редактор
В. М. Курганова

Художественный редактор
Г. В. Шотина

Технический редактор
Т. С. Маринина

Корректоры
А. З. Лазуткина, Т. А. Лебедева,
С. В. Мироновская, Н. В. Бокша

ИБ № 4581

Сдано в набор 23.01.86. Подписано в печать 04.07.86. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,57. Уч.-изд. л. 28,30. Тираж 500 000 экз. (2-й завод 100 001—300 000 экз.). Заказ № 1277. Цена 2 р. 60 к. Изд. инд. ЛХ-27.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного Комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»